Ян Карский

Я свидетельствую перед миром

История подпольного государства

[memoria]

CORPUS

Написанные как крик о помощи оккупированной Польше, воспоминания Яна Карского при всем своем трагизме читаются как захватывающий триллер.

The Guardian

Ян Карский
Я свидетельствую перед миром
История подпольного государства

CORPUS

192

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга Яна Карского, легендарного курьера польского антигитлеровского Сопротивления, впервые вышла в 1944 г. и потрясла мир. Это уникальное свидетельство участника событий, происходивших в оккупированной Польше, разделенной между Германией и СССР по пакту Молотова — Риббентропа. Мобилизованный 24 августа 1939 г., молодой поручик Ян Козелевский (Карский — его подпольный псевдоним) сначала испытал ужас поражения от немцев, а затем оказался в советскому плену. Чудом избежав Катыни, он вернулся в Варшаву и стал работать в подполье. Он первым принес союзникам и польскому правительству в Лондоне весть о массовом уничтожении евреев нацистами. Однако не все захотели ее услышать…

Награжденный в годы войны Крестом храбрых и дважды — орденом Воинской доблести, Карский не принял просоветский режим в Польше и остался жить в США. Лишь в 1995 г. он был признан героем на родине и принял из рук Леха Валенсы орден Белого орла. А в 2012 г. Ян Карский, почетный доктор нескольких университетов, получивший от Израиля звание Праведника мира, был посмертно награжден высшим знаком отличия, присуждаемом в США гражданским лицам, — Президентской медалью Свободы.

- Ян Карский
  - ○
  - ○ Предисловие к русскому изданию
  - ○ Предисловие к французскому изданию 2010 года
  - ○ Я свидетельствую перед миром:
    - ■
    - ■ Глава I
    - ■ Глава II
    - ■ Глава III
    - ■ Глава IV
    - ■ Глава V
    - ■ Глава VI
    - ■ Глава VII
    - ■ Глава VIII
    - ■ Глава IX
    - ■ Глава X
    - ■ Глава XI
    - ■ Глава XII

        - Глава XIII
        - Глава XIV
        - Глава XV
        - Глава XVI
        - Глава XVII
        - Глава XVIII
        - Глава XIX
        - Глава XX
        - Глава XXI
        - Глава XXII
        - Глава XXIII
        - Глава XXIV
        - Глава XXV
        - Глава XXVI
        - Глава XXVII
        - Глава XXVIII
        - Глава XXIX
        - Глава XXX
        - Глава XXXI
        - Глава XXXII
        - Глава XXXIII
        - Эпилог[***]
    - Иллюстрации
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20

- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64

- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108

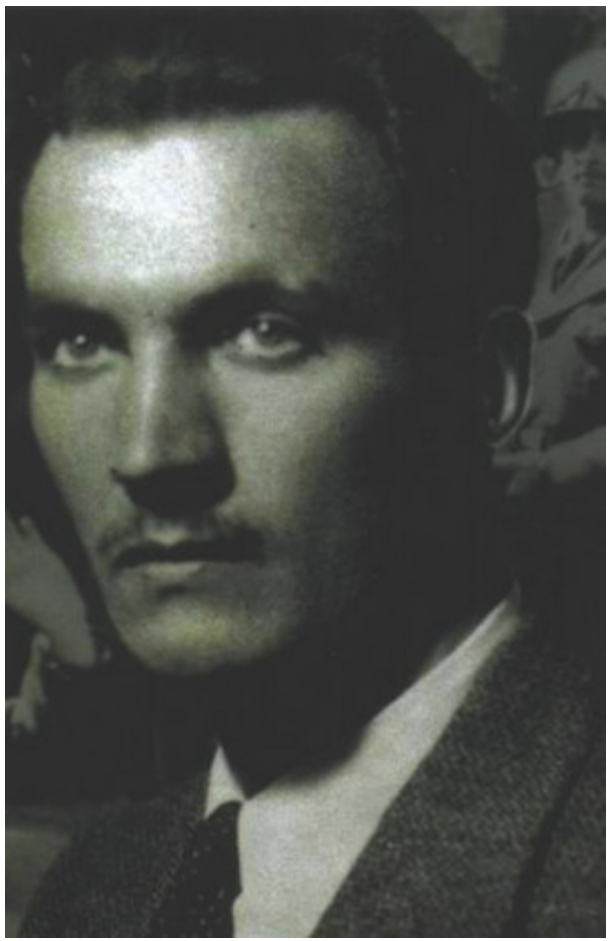
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152

- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ ***
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183

Ян Карский

Издательство благодарит Мариуша Щельского за помощь в подготовке книги.

Издание осуществлено при техническом содействии Издательства АСТ.



«Человек, пытавшийся в одиночку остановить Холокост», — так называют легендарного курьера польского Сопротивления Яна Карского, который первым принес в Англию и США весть о массовом уничтожении евреев нацистами. Чудом избежав расстрела в Катыни и смерти от пыток в гестапо, Карский впервые

выпустил свои воспоминания в 1944 г. Это уникальное свидетельство о разделе и захвате Польши, о борьбе с оккупантами, об ужасах варшавского гетто потрясло мир. Кавалер нескольких военных орденов, почетный доктор восьми университетов, получивший от Израиля звание Праведника мира, Ян Карский посмертно награжден в 2012 г. в США Президентской медалью Свободы.

Написанные как крик о помощи оккупированной Польше, воспоминания Яна Карского при всем своем трагизме читаются как захватывающий триллер.

The Guardian

Без пафоса, простыми словами в этой незабываемой книге рассказывается эпопея молодого поляка-католика, которого в 1939 году война застигла врасплох. Отступление под натиском немцев, советский плен, бегство, нелегальная работа связного, попытки заставить власти Англии и США остановить массовое уничтожение евреев в захваченной Гитлером Европе… Невероятный, героический путь.

Le Figaro

Книга Яна Карского является классикой не только потому, что это великий исторический документ. От приключений эмиссара Карского невозможно оторваться.

The Telegraph

Предисловие к русскому изданию

«Я не претендую на то, что дал в своей книге исчерпывающее описание польского Сопротивления, его деятельности и структуры. <…> Я основывался на своем личном опыте, старался вспомнить все, что со мной происходило, рассказать о событиях, в которых я участвовал, и о людях, с которыми встречался», — так писал Ян Карский в постскриптуме к своей «Истории подпольного государства».

Ян Карский рассказывает историю личную, описывает только то, через что прошел сам, но в его драматической судьбе отражается история всего поколения, история Польши почти всего прошедшего столетия. Однако это вовсе не взвешенный, обобщенный и объективный синтез. Что же тогда представляют собой его воспоминания? Это рассказ молодого интеллигента, готовящегося к дипломатической карьере, затем, в сентябре 1939 года, — солдата разбитой польской армии, впоследствии офицера подпольной армии, тайного курьера, связывающего польское подполье с правительством в изгнании, наконец, многолетнего эмигранта, имя которого в Польше нельзя было произносить без малого пятьдесят лет.

В его свидетельстве есть важнейшие ключевые даты и события, такие как начало войны 1 сентября 1939 года и неожиданное нападение на Польшу 17 сентября 1939 года СССР — тогдашнего союзника гитлеровской Германии. Есть наивные надежды осени 1939 года, связанные с союзниками — Францией и Великобританией: Польша ждет гарантированной международными соглашениями помощи, но та не приходит. Есть беспросветность оккупационных лет и чудовищная трагедия польских евреев. Находясь с важной миссией в Лондоне, Карский не станет свидетелем восстания в гетто в апреле 1943 года, когда пол-Варшавы сровняют с землей и погибнет шестьдесят тысяч человек. До этого в течение нескольких месяцев около четырехсот тысяч варшавских евреев будут вывезены в лагеря смерти.

Когда же год спустя Красная Армия подойдет к Варшаве и надолго задержится на восточном берегу Вислы, а в нескольких сотнях метров оттуда, в центре города, будет догорать Варшавское восстание (за восемь летних недель погибнет двести тысяч человек, а более полумиллиона окажется изгнано из города), — Ян Карский уже будет в Соединенных Штатах. И будет знать, что сообщения, которые он передал вершителям судеб тогдашнего мира, так и не были услышаны.

«Я делаю то же, что и тысячи других» — так польский курьер

Карский отвечал в феврале 1943 года министру иностранных дел Великобритании Энтони Идену, выразившему восхищение его героизмом. Действительно, молодых людей, которые нелегально проникали через «зеленую границу»[1] на Запад — сначала во Францию, затем в Великобританию — или оставались в Польше и включались в подпольную деятельность, были тысячи. Среди них элита — тщательно законспирированные правительственные курьеры.

Судьбу, почти зеркально отражающую судьбу Карского, мы можем увидеть, например, в биографии Ежи Солтысика. Двадцатидвухлетний юноша, подпоручик, служивший в зенитной артиллерии, в сентябре 1939 года участвовал в обороне Бреста. После вторжения Красной армии на территорию Польши так же, как и Карский, попал в плен и так же, как Карский, сумел бежать из эшелона и добраться до оккупированного Советами Львова. Тогдашний Львов оказался коварной западней для десятков тысяч человек, которые после начала войны двинулись из Варшавы на восток, — бежавшие от немцев поляки попадали под оккупацию СССР. Солтысик, опасаясь быть арестованным НКВД, в декабре 1939 года нелегально пробрался в Венгрию и оттуда во Францию, где вступил в одну из польских вооруженных частей. После поражения Франции был переправлен в Великобританию, где под псевдонимом Ежи Лерский стал курьером польского правительства в изгнании и эмиссаром генерального штаба Армии Крайовой. К этой работе Лерского привлек именно Ян Карский. После окончания войны Лерский не мог вернуться в коммунистическую Польшу. Он поселился в Америке, преподавал историю в Университете Сан-Франциско.

Похожая участь выпала еще одному легендарному курьеру — Здиславу Езёранскому (подпольный псевдоним Ян Новак): оборона Польши в сентябре 1939 года, подполье, опасный путь через все европейские границы во Францию и Великобританию и возвращение в Польшу уже в роли тайного курьера. Езёранский в 1939 году так же, как и Карский, сражался в артиллерии, с 1941 года участвовал в Сопротивлении, а в 1943-м стал курьером Армии Крайовой и передавал секретные материалы в польское посольство в Стокгольме. Затем с тщательно изготовленными фальшивыми документами на имя Новака ему удалось попасть в Лондон, где в марте 1944 года он рассказал о ситуации в оккупированной Польше представителям польского правительства и высшим английским властям, в том числе Уинстону Черчиллю. 25 июля 1944 года, почти за неделю до начала Варшавского восстания, Новак-Езёранский в очередной раз пробрался в Варшаву, став последним курьером,

проделавшим этот путь. По прошествии двух месяцев, накануне капитуляции Варшавского восстания, по приказу командующего Армией Крайовой генерала Тадеуша Бура-Коморовского, Новак в последний раз отправился в Лондон, везя с собой сотни документов и фотографий разрушенной Варшавы. После войны он в течение долгих лет был легендарным директором польской редакции радио «Свободная Европа».

Опыт поражения, войны, конспирации, геноцида, пережитый этими людьми в молодости, оставил в судьбе каждого из них след на всю жизнь. Перед нами «История подпольного государства», незаурядные воспоминания Яна Карского. Ежи Лерский оставил мемуары под названием «Эмиссар Юр». Ян Новак — автор знаменитого «Курьера из Варшавы». Эти книги в Польше — евангелие для всех, кого интересует история военных лет. Или шире — судьбы целого военного поколения.

Сколько еще было подобных биографий, о которых мы никогда не узнаем? Сколько молодых солдат и подпольных курьеров так и не дождались конца войны, не оставили своего свидетельства?

Все трое в своей долгой жизни в эмиграции, в свободном мире — в США и Западной Европе — оставили себе прежние конспиративные фамилии. Ян Козелевский навсегда остался Яном Карским, Ежи Солтысик — Ежи Лерским, Ян Новак так и не вернулся к имени Здислав Езёранский. Несколько военных лет не только перепахали их мировоззрение, оставили в их душах неизгладимую печать пережитого, но и изменили их личности.

В Соединенных Штатах воспоминания Яна Карского были изданы очень быстро, еще во время войны, в 1944 году. Через четыре года книга появилась во Франции. С тех пор прошло почти семьдесят лет — целая эпоха. Несмотря на то что воспоминания разошлись в Америке и Франции огромными тиражами, Карскому казалось, что он остался на обочине. Предоставленный самому себе, лишенный возможности вернуться на родину, продолжить карьеру дипломата, он выбрал университетские стены. Ялта, Тегеран и Потсдам поставили окончательную точку в разделе Европы, а неудобный польский вопрос перестал играть сколько-нибудь важную роль в зарубежной политике мировых держав. Большой мир не интересовался судьбами малых народов. Геноцид евреев, трагедия варшавского гетто, проклятые места — нацистские лагеря смерти в Аушвице-Биркенау, Майданеке, Треблинке, Белжеце, Собиборе, Штуттхофе — проиграли политическому прагматизму первых мирных лет с их «холодной войной», превратились в постыдное табу.

Однако в сегодняшней России мы будем читать эту книгу

иначе, чем в Америке и Франции конца сороковых. Во-первых, мы уже имеем дело не со свидетельством, записанным по горячим следам, а с документом прошедшей эпохи. Во-вторых, и это представляется наиболее важным, «История подпольного государства» наконец дошла до мира, в котором десятилетиями торжествовала официальная пропагандистская историческая ложь, но в котором по сей день сохранилась совершенно другая, личная память войны.

Прежде всего, «перезагрузки» требуют понятия и факты, очевидные польскому и западноевропейскому читателю. Дело тут не только в заполнении белых пятен истории, но и в ином языке. Главный камень преткновения: Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года — именно тогда немецкая армия впервые столкнулась в Европе с жестким сопротивлением. Ночь с 21 на 22 июня 1941 года для Карского и его читателей — важный поворот в истории войны, длившейся к тому времени уже почти два года. Был нарушен пакт Молотова — Риббентропа, на основании которого в 1939–1940 годах Германия и СССР оккупировали Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, часть Финляндии и Румынии. Но эта дата не являлась, как гласила советская пропаганда, началом новой — другой — войны, хотя для СССР она с этого момента стала Великой Отечественной.

Не менее важный «водораздел» — день 17 сентября, когда на территорию Польши вступили войска Красной армии. Карский описывает свои первые впечатления от встреч с жителями оккупированного Советами Тернополя:

> Они знали, что Польша раздавлена. Знали и понимали смысл происходящего лучше, чем вся варшавская интеллигенция, все мои просвещенные друзья и осведомленные коллеги-офицеры: Польша перестала существовать.

Российскому читателю предстоит не только разобраться в событиях и датах, но и понять, насколько активно жило подпольное «государство», как действовало конспиративное представительство эмигрантского лондонского правительства в Польше, как функционировала в подполье пестрая коалиция довоенных политических партий; понять значение Армии Крайовой и роль польского правительства в изгнании.

Карский вспоминает об этом многократно: целью польского подполья было не столько бряцанье оружием, сколько сохранение непрерывности деятельности государства, даже если это государство-невидимка с конспиративными структурами. Сохранение политической жизни даже в ситуации смертельной

опасности, объединение различных политических партий ради всеобщего сопротивления оккупантам. Действительно, в Польше не появилось сил, готовых пойти на переговоры с немцами и создать коллаборационное правительство. У Польши не было ни своего Квислинга, ни режима Виши во главе с маршалом Петеном.

Воспоминания Яна Карского демонстрируют порой наивность тогдашних политических расчетов. Летом 1939 года Польша жила опасениями перед надвигающейся войной и вместе с тем — уверенностью, что польская армия сильна и окажет достойный отпор Гитлеру.

Позднее, уже после сентябрьского шока, осенью 1939 года царило всеобщее убеждение, что война будет кратковременной, а гарантированная международными соглашениями помощь французов и англичан вот-вот придет. Когда стало понятно, что спасения в ближайшее время ждать не приходится, поляки все еще верили, что послевоенная Польша будет продолжением Польши довоенной, все вернется на круги своя, сохранятся старая иерархия и порядки и в целом послевоенный мир будет тем же, что до войны.

Последствием подобных иллюзий и политических просчетов стало решение начать Варшавское восстание 1 августа 1944 года. «По поводу этого восстания поляки будут спорить еще сто лет» — так по прошествии многих лет Ян Карский вспоминал разговор с Юзефом Реттингером, одним из ближайших советников Владислава Сикорского. Действительно, дискуссия о цене этого великого и трагического подъема не прекращается в Польше до сих пор. Одни утверждают, что у подпольных властей не оставалось выбора, город чувствовал, что немцы вот-вот уйдут, и хаотичные бои происходили бы все равно. Другие считают, что только так жители Варшавы могли показать миру, что они не пассивны, что они сражаются за свою свободу, что им нужна помощь. Третьи говорят, что нет такого политического решения, которое оправдало бы смерть сотен тысяч невинных людей. Ярослав Ивашкевич, один из величайших польских писателей XX века, в своем дневнике 1944 года так описывал повстанцев, пробиравшихся на окраины и приносивших вести из центра города:

> Ужасно — безрассудность командования, недостаток снабжения. Им велели выполнять совершенно другое задание, чем то, к которому они готовились в течение трех месяцев. <…> Мысль, что восстание не было подготовлено или разразилось не вовремя, не умещается

у меня в голове.

Спустя многие годы восьмидесятичетырехлетний Ян Карский оценит решение о начале восстания:

> Это была величайшая трагедия в истории Польши. Ее причиной стал ошибочный расчет <…> И общество, и Бур-Коморовский, и Миколайчик, глава правительства в изгнании, сменивший на этом посту погибшего Сикорского, считали, что, начав восстание, поляки докажут, что они — не враги России. Когда вспыхнуло восстание, Миколайчик отправился в Москву, будучи настроен весьма оптимистически. Он собирался сказать Сталину: вот, мы ваши друзья, мы подняли на борьбу с врагом весь народ. Он не понимал, что для Сталина был не партнером, а лишь жалким попрошайкой, который клянчит помощи. Приняв Миколайчика только после трех дней ожидания, Сталин сказал ему, что не знает, о чем речь. «Мне докладывали, — говорил Сталин, — что никакого восстания у вас нет». А позже заявил, что восстание организовали безответственные авантюристы. <…> В сложившейся тогда международной ситуации не существовало правильного решения. С той политикой, которую вели Англия, Америка и Советский Союз, поражение было неизбежным. Поляки оказались в безвыходном положении.

Каждый год в день начала восстания в Варшаве воет сирена в память о погибших и сотни тысяч людей собираются на старом варшавском кладбище Повонзки, где погребен прах повстанцев.

Ян Карский был первым свидетелем-очевидцем Холокоста — геноцида евреев в оккупированной Польше — и первым польским курьером, добравшимся до самых высоких кабинетов мира и рассказавшим о том, что видел. Он разговаривал с Энтони Иденом, министром иностранных дел Великобритании; 28 июня 1943 года был принят президентом США Франклином Рузвельтом. Неоднократно встречался и с польскими политиками за границей: президентом Польши в изгнании Владиславом Рачкевичем, премьер-министром генералом Владиславом Сикорским, вице-премьером и министром внутренних дел Станиславом Миколайчиком. Одно из самых пронзительных воспоминаний в книге Карского — разговор с эмигрантом из Польши, представителем Бунда в Лондоне Шмулем Зигельбоймом.

«История подпольного государства» была опубликована в

Польше только в девяностые годы. Имя Яна Карского, легендарного деятеля подполья и многолетнего эмигранта, могло, без оглядки на цензуру, прозвучать у него на родине только после 1989 года. Двадцать с лишним прошедших с того времени лет в Польше продолжалась работа по возвращению памяти — многие годы запрещенной, но отчасти и вытесняемой общественным сознанием. Памяти, в частности, о том, что до 1939 года в Польше проживало многомиллионное еврейское меньшинство. Нацисты обрекли на уничтожение шесть миллионов людей просто за то, что они были евреями.

Книга Яна Карского — один из главных в польской мемуаристике документов, необходимых для понимания этой истории. Вот только возможно ли ее вообще понять? Марек Эдельман, великий польский еврей, легендарный руководитель восстания в варшавском гетто, как-то обронил в разговоре с двумя пишущими о нем книгу журналистами: «Нет, вы меня не раздражаете. Просто мы говорим на разных языках».

Марек Радзивон,

директор Польского культурного центра в Москве

Предисловие к французскому изданию 2010 года

Мир вспомнил о Яне Карском в октябре 1981 года, когда в Вашингтоне открылась Международная конференция освободителей узников нацистских концлагерей, организованная Эли Визелем и Американским мемориальным советом по Холокосту. Откликнувшись на приглашение Эли Визеля, бывший эмиссар польского Сопротивления нарушил молчание, которое хранил с 1945 года. Он снова публично докладывал о преступном уничтожении евреев, свидетелем которого был летом 1942 года. Когда-то, в ноябре того же сорок второго, проделав опасный путь из оккупированной Варшавы в Лондон через занятую Гитлером Европу, он упорно пытался довести свое свидетельство до сведения союзников, выполняя чрезвычайное поручение представителей варшавского гетто.

Его доклад на конференции назывался «Как открылась правда о существовании плана „окончательного решения“». Карский задавался вопросами, что и когда узнали об этом власти западных стран, как они получили эту информацию и какова была их реакция. «Я был в числе тех, кто сыграл в этом некоторую роль», — сказал он.

Тогда-то многие из присутствовавших на конференции и вспомнили о его вышедшей в 1944 году в США книге «История подпольного государства» *(The Story of a Secret State)*. Первый тираж в триста шестьдесят тысяч экземпляров разошелся мгновенно, и вскоре последовало английское издание. Уже в 1945 году книгу перевели на шведский, в 1946-м — на норвежский, а в 1948-м — на французский язык. Французская версия получила двойное название: «Я свидетельствую перед миром. История подпольного государства» (к первоначальному заголовку прибавили заголовок последней главы).

Выступление Яна Карского на конференции 1981 года стало сенсацией в США и Израиле.

> Когда окончилась война, — сказал он, — я узнал, что ни правительствам, ни политическим лидерам, ни ученым, ни писателям ничего не было известно о судьбе евреев. Все они были удивлены. Убийство шести миллионов невинных людей прошло для них незамеченным… В тот день я стал евреем. Как семья моей жены, присутствующей здесь, в зале… Я еврей-

христианин. Еврей-католик. И не считаю ересью свое убеждение в том, что человечество совершило второе грехопадение: одни — исполняя приказ, другие — не обращая внимания, одни — не желая знать, другие — оставаясь равнодушными, одни — из эгоизма или лицемерия, другие — по холодному расчету. Этот грех будет преследовать людей до конца света. Он преследует и меня. И это справедливо.

В июне 1982 года иерусалимский институт Яд Вашем присвоил Яну Карскому звание Праведника мира.

А в 1985-м французская публика увидела на экране его прекрасное, залитое слезами лицо — в документальном фильме Клода Ланцмана «Шоа» (съемка происходила в 1978 г.).

В 2004 году появилось исправленное и снабженное комментариями французское издание книги Карского, знакомящее новое поколение читателей с уникальной историей польского Сопротивления. Книга привлекла широкое внимание, тираж был быстро раскуплен, а в 2009-м ее автор стал героем сразу двух непохожих друг на друга романов. Это еще больше подогрело интерес к «подлинному» Карскому.

Настоящее имя человека, известного всему миру как Ян Карский, — Ян Козелевский. Он родился 24 июня 1914 года в Лодзи и был восьмым и последним ребенком в семье ремесленника, владельца шорной мастерской. Никаких фамильных замков и гербов в его родословной нет, что он считал нужным повторять каждому, кто восхищался его «аристократическим» видом. Нет, он принадлежал к почтенному семейству из польского среднего класса и был воспитан как ревностный, но не фанатичный католик и патриот в духе Юзефа Пилсудского[2]. На его личность наложила отпечаток атмосфера многонационального города, где прошло его детство.

Его мать, Валентина Козелевская, овдовевшая в 1920 году, жила в доме 71 по улице Килинского, большинство жителей которой составляли евреи. Так что среди друзей мальчика по двору и по лицею было немало детей из еврейских семей. Посетив Лодзь в мае 2000 года (за два месяца до смерти) в качестве почетного гражданина, Карский сказал: «Мысленно я всегда оставался здесь. Без тогдашней Лодзи не было бы сегодняшнего Карского»[3].

В Лодзи он стал активным участником католического миссионерского движения мирян «Легион Марии», здесь же сложились его планы на будущее — он хотел стать дипломатом. В 1931 году он поступает в Львовский университет Яна Казимира.

Ставший после смерти матери опекуном Яна старший брат Мариан поддерживает его. Учится он блестяще, после окончания курса (дипломатии и права) и обязательной годичной военной службы стажируется в Женеве и Лондоне. Во Львове Ян вступает в созданную сторонниками Пилсудского студенческую организацию «Легион молодых». В беседе с одним журналистом об этих годах он пояснял: «Да, в юности я много и часто кричал: „Да здравствует Пилсудский!“ Но еще больше работал»[4].

Мечтая о дипломатической, то есть, по определению, гражданской, карьере, он, однако, проявляет свойственное ему во всем рвение и на военном поприще: заканчивает в 1936 году конноартиллерийское училище во Владимире-Волынском первым в своем выпуске и получает в награду почетную шпагу от президента Польской Республики. Первым стоит его имя и в списке выпускников элитной дипломатической школы (1938 г.). Наконец, 1 февраля 1939 года, его принимают на службу в МИД.

Ровно через год подпоручик Ян Козелевский (в то время он носит подпольный псевдоним Ян Каницкий), прибыв из оккупированной Варшавы во Францию, кратко описывает для премьер-министра польского правительства в изгнании[5] генерала Сикорского путь, который он прошел с сентября 1939 года, после разгрома Польши: «шесть недель провел в заключении у большевиков под Полтавой», выдан Германии как простой солдат, уроженец Лодзи, «десять дней пробыл в немецком концлагере в Радоме», бежал, стал работать в подполье. «С подпольными заданиями побывал во Львове, Лодзи, Вильно, Познани, Люблине и т. д. Я брат пана Конрада, то есть полковника Козелевского». Вместе с Марианом — «паном Конрадом» — они уже в декабре 1939 года составили первый отчет о положении польского населения и общественном мнении в стране (который был передан правительству в изгнании неким дипломатом нейтральной страны) — отсюда глубокая осведомленность, которую Ян проявил в 1940 году в Париже и Анже, куда был послан курьером от польских подпольщиков. В Париже он записался добровольцем в формирующуюся польскую армию, но в том же документе приписал: «Если правительство сочтет нужным, я готов вернуться в Польшу и оставаться там. Мое желание — служить Польше в самых трудных условиях». Слово «трудных» подчеркнуто Сикорским.

Между тем в Анже, где тогда находилось польское правительство, и генерал Сикорский, и его сподвижник, бдительный министр внутренних дел профессор Станислав Кот, приняли Карского довольно сдержанно, опасаясь, не относится ли он к ярым последователям маршала Пилсудского. Однако Кот,

опытный педагог, очень скоро понял, что перед ним человек редкостных качеств — позднее в Лондоне он назовет его настоящей жемчужиной, — высоко оценил его дисциплинированность, цепкую память, аналитический ум и решил сделать его доверенным эмиссаром правительства. «Вы покорили профессора Кота», — удивленно сказал Сикорский молодому подпоручику. А тот, по приказанию Кота, выучил наизусть длинные и сложные инструкции, которые правительство передавало руководителям Сопротивления.

> — Ты все понял?
> — Да, пан профессор.
> — Я должен бы привести тебя к присяге, взять слово хранить тайну. Но какой в этом смысл? Я тебе верю. Если бы ты захотел стать предателям, все равно бы стал им. Да хранит тебя Господь[6].

Моральными и профессиональными качествами эмиссара неизменно восхищались все, с кем он работал. Когда в апреле 1940 года, вернувшись в Варшаву, он отчитался перед лидерами политических партий, они были буквально потрясены. Сам же он скромно называл себя «граммофонной пластинкой, которую записывают, пересылают и прослушивают», и считал своим долгом скрупулезно выполнять то, что ему поручали.

Из страха заговорить под пыткой в гестапо он пытался покончить с собой — патриотическая жертва, значимость которой для ревностного католика трудно переоценить. Когда же он отправлялся с другим важнейшим заданием, причем двойным — от Делегатуры (представительства польского правительства в изгнании внутри страны) и от евреев гетто, — иерархи католической церкви оккупированной Польши дали позволение вручить ему медальон с частицей Святых Даров. Одновременно подпольщики снабдили курьера дозой яда. Понимая несовместимость этих вещей, он перед отъездом отказался от яда. Карский совершенно искренне считал себя новым миссионером, это подтверждают его слова, сказанные сорок лет спустя, в 1981 году: «Бог выбрал меня, чтобы я увидел то, что увидел, и засвидетельствовал это».

В Польше Карский работал под началом генерала Ровецкого, верховного главнокомандующего Союза вооруженной борьбы, внутренних вооруженных сил Сопротивления, переименованных в феврале 1942 года в АК — Армию Крайову (то есть Отечественную армию)[7]. В 1940–1942 годах поручик Ян Козелевский носил псевдоним Витольд. Под этим именем его знали в подполье. Витольд Кухарский был арестован в Словакии,

передан в гестапо, подвергнут пыткам и бежал. Именно это имя стояло в указе, подписанном генералом Ровецким в феврале 1941 года, о награждении эмиссара орденом Воинской доблести *(Virtuti Militari)*. Сам герой узнал об этом только в девяностые годы от историка Анджея Кунерта, нашедшего указ в секретных архивах. Не знал о нем и генерал Сикорский, когда в январе 1943 года вручил орден *Virtuti Militari* Яну Карскому в Лондоне.

Псевдоним Ян Карский присвоило Витольду лондонское правительство, когда летом 1942 года он готовился, по поручении главы Делегатуры Сирила Ратайского и лидеров политических партий, к крайне рискованной поездке в Лондон в качестве посланца внутреннего гражданского Сопротивления.

В 1987 году Ян Карский пересказал своему биографу Станиславу М. Янковскому разговор, который состоялся у него с Ратайским незадолго до отъезда в Лондон:

> — Я хочу попросить вас встретиться перед отъездом с представителями еврейских организаций. Вы сможете это сделать?
>
> — Разумеется, пан делегат.
>
> — Вы повезете в Лондон поручения от политических партий. Они к этим партиям не принадлежат, но они тоже польские граждане. И надо выслушать их, если они хотят что-то передать.

О том, что последовало дальше, рассказано в незабываемой главе «Гетто», которая начинается со встречи курьера с одним из руководителей еврейской социалистической партии Бунд Леоном Фейнером и одним из лидеров сионистов. Это была официальная часть его «еврейской миссии»: запомнить и передать по назначению вопросы еврейской общины правительству и ее наказы двум представителям еврейского меньшинства в лондонском Национальном совете: адвокату Игнатию Шварцбарту и рабочему-бундовцу Шмулю Зигельбойму. Карский знал, что еврейская секция бюро информации АК уже собрала и микрофильмировала все документы, которые подтверждали преступления, творящиеся в варшавском гетто, и акции по уничтожению евреев, начавшиеся в Треблинке, Белжеце, Собиборе. В Лондоне и Нью-Йорке считали информацию об этих зверствах преувеличенной. Поэтому Ян Карский согласился дополнить официальную часть добровольной ролью очевидца, понимая, что это может стоить ему жизни. Зато он получит право говорить о том, что видел собственными глазами, и просить ускорить помощь.

Драгоценные микрофильмы, которые он привез в Париж

запаянными в обычный ключ, попали в Лондон 17 ноября 1942 года. А 28 ноября, когда в Лондон прибыл сам курьер, польские власти заверили его: первый двухстраничный доклад, обобщающий материалы об уничтожении евреев, передан правительствам союзников и еврейским организациям в Лондоне. Этот первый «доклад Карского» послужил подтверждением информации, которую в августе 1942 года обнародовал в Швейцарии член Всемирного еврейского конгресса Герхарт Ригнер и которую подвергли сомнению в Соединенных Штатах.

2 декабря Карский передал устные воззвания из гетто обоим еврейским представителям в Национальном совете. Он также выступил перед польским Советом министров и лично беседовал с министром иностранных дел Эдвардом Рачинским, которому было поручено передать привезенную им информацию британским властям и распространить ее как можно шире. 17 декабря Рачинский выступил по радио *BBC,* прямо ссылаясь на Карского.

В феврале 1943 года Карский дважды встречался и с британским министром иностранных дел Энтони Иденом. Однако, к разочарованию поляков, до Уинстона Черчилля Иден его не допустил. Решение отправить эмиссара Карского в США, принятое в мае сорок третьего, связано с ухудшением польско-советских отношений.

Чтобы добиться личной аудиенции у Рузвельта, были пущены в ход все средства. Польский посол Ян Чехановский в начале июля разослал приглашения множеству людей из американской администрации, в том числе члену Верховного суда Феликсу Франкфуртеру, привлекая их внимание к посланцу польского Сопротивления и одновременно — очевидцу еврейской трагедии. Усилия посла увенчались успехом — 28 июля ему и Карскому был назначен прием у Рузвельта. Карский не раз рассказывал об этой беседе и всегда подчеркивал, что президента больше всего интересовало положение внутри Польши, вопрос о границах и о необходимости компромисса с Советским Союзом. Когда Карский спросил Рузвельта, что он хотел бы передать полякам, тот ответил: «Скажите им, что мы победим! <…> А еще скажите своему народу, что в этом доме у него есть друг». Ян Карский всегда вспоминал, какое потрясающее впечатление произвел на него Рузвельт, олицетворявший всю мощь Америки. Однако в машине на обратном пути в посольство Чехановский резонно заметил: «В общем-то, президент почти ничего не сказал».

Карский вернулся из США в Лондон 19 сентября 1943 года, твердо надеясь, что его опять пошлют в Польшу. Но премьер-министр Станислав Миколайчик (который сменил на этом посту

погибшего генерала Сикорского) сказал, что об этом и речи не может быть, поскольку, несмотря на все предосторожности, курьер «засветился» — в перехваченных нацистских радиограммах говорилось о «некоем действующем в Америке Яне Карском, большевистском агенте на содержании у американского еврейства». В действующую армию его тоже не пустили, а приказали оставаться в Лондоне в распоряжении премьер-министра, чтобы, используя свою популярность и безупречную репутацию, противостоять развернутой в просоветской прессе кампании, объявлявшей правительство в изгнании «реакционным», а Армию Крайову — «незаконной». Кроме того, Энтони Иден вынуждал Миколайчика уступить территориальным требованиям Сталина в обмен на земли в Восточной Пруссии и Силезии. И вот Ян Карский выступает с новой серией докладов о польском Сопротивлении, пополняя собственные данные сообщениями польского подпольного радио «Свит». С осени сорок третьего он стал постоянно употреблять термин «подпольное государство» — *the Polish Underground State*, а первая его статья под таким заглавием появилась 15 декабря 1943 года в *Polish Fornightly Review,* газете, издаваемой польским Министерством информации и пропаганды.

Между тем на Тегеранской конференции (28 ноября — 2 декабря 1943) Черчилль и Рузвельт согласились со всеми требованиями Сталина относительно Польши и других стран Центральной и Восточной Европы. Энтони Иден упомянул об этих решениях, выступая перед палатой общин 15 декабря, Рузвельт — перед американским конгрессом и января, а Миколайчик все ждал, когда Вашингтон назначит ему дату приема у президента. Он собирался взять с собой Карского, который при поддержке своего старого знакомого, министра информации Станислава Кота, готовил для американской общественности целую программу по защите Польши. Предполагалось также снять в Америке фильм о польском подполье — эту идею Карский подал еще летом 1943 года, и теперь она была одобрена. Он уже написал сценарий и подготовил документальную базу.

20 февраля 1944 года, не дождавшись приглашения для премьера, Карского отправили в Вашингтон одного, поручив его Чехановскому, которому также было поручено объяснить американцам, что Карский не может вернуться в Польшу до конца войны.

> На этот раз главной задачей Карского будет с Вашей помощью довести до конца план создания фильма о польском Сопротивлении, — писал послу новый министр

иностранных дел Т. Ромер. — Правительство считает это делом первостепенной важности.

Однако никакой правительственной субсидии Карский не получил и должен был продвигать идею фильма как свою частную инициативу. Кроме того, ему предписывалось выступать с лекциями и писать статьи в польскую, европейскую и американскую прессу.

В Вашингтоне Ян Карский сразу понял: надеяться на то, что фильм будет снят, не стоит, поскольку «Голливуд не расположен затрагивать польскую тематику». Но американцы не забыли отважного поляка, его имя было на слуху, лекции имели успех. Поэтому Чехановский посоветовал ему вместо фильма написать книгу и поручил своему пресс-атташе найти подходящего издателя. Им стал Эмери Ривз. 23 марта 1944 года Карский телеграфирует Станиславу Коту:

> Издательство Эмери Ривза, которое продвигало на американский рынок книги Черчилля, Идена, Даффа Купера, хочет выпустить книгу о польском движении Сопротивления, написанную на основе моего опыта. Там полагают, что такая книга произведет сенсацию. Я уже готовлю материалы — предположительно на несколько сотен страниц. Если это состоится, книга сыграет большую пропагандистскую роль. Даете ли Вы с премьер-министром мне разрешение взяться за нее?

Разрешение было немедленно дано. Польское посольство сняло номер-офис в гостинице на Манхэттене, наняло секретаршу-билингва, и Карский, не откладывая, принялся за работу на условиях, поставленных издателем: быстрота, никакой пропаганды, ничего антисоветского, никакой полемики. «Что нам за дело до ваших споров со Сталиным!» Помимо этого, издательство оставило за собой право вмешиваться в текст, чтобы сделать его «более привлекательным», и львиную долю прибыли — пятьдесят процентов потиражного авторского вознаграждения.

15 августа 1945 года Карский отчитывается:

> Написание польского текста объемом около тысячи страниц заняло два месяца, перевод и сокращение до четырехсот книжных страниц — еще два; книга была завершена к концу июля 1944 года.

А в частном письме Коту признается, что работал днем и ночью, прерываясь только на еду и сон.

Результат был великолепный. Карский с гордостью сообщает в Лондон, что Ривз и его редактор Уильям Постер, «ознакомившись с рукописью, пришли к выводу, что книга отличается свежестью, хорошей композицией, высоким литературным уровнем и может быть издана с незначительными поправками».

Однако очень скоро Карский убедился, что поправки оказались не столь незначительными, — начались довольно ожесточенные споры. «Американцы хотят выпятить мою личную роль и сделать акцент на приключенческой стороне сюжета в ущерб идейно-политической», — писал он. Ривз усомнился в правдивости некоторых сцен, отличающихся особым драматизмом, и это страшно оскорбило автора. Для разрешения конфликта понадобилось письмо за подписью премьер-министра Миколайчика, удостоверяющее от имени Польской республики подлинность всех фактов, изложенных эмиссаром Карским. Наконец, встал вопрос о «восточном соседе» и участии коммунистов в Сопротивлении. Тут компромисса достичь не удалось. Ривз безжалостно выкинул целую главу, где говорилось об этом.

Карский постоянно советовался с Котом, детально рассказывал ему, как построена книга, что он хотел выразить и какие возникли трудности. «Прошу Вас высказать свои замечания, пожелания, исправления. Мне не хотелось бы допустить ни одной оплошности», — писал он министру. Судя по всему, первоначальный замысел сценария оказал влияние на характер и строение глав, нередко перекликающихся друг с другом.

Книга описывает все пережитое автором с 24 августа 1939-го до 28 июля 1943-го. Последняя глава кончается аудиенцией в Белом доме, которой увенчалась миссия курьера Витольда, и его печальными раздумьями у подножия памятника Костюшко на Лафайет-сквер.

«Автор рассказал только то, что сам видел, слышал и испытал», — настаивал Карский.

Главным достоинством своего свидетельства он считал его честность. Так, в 1982 году, в ответ на предложение главного редактора польского эмигрантского журнала Ежи Гедройца издать его книгу на польском языке он написал:

> Наконец-то все увидят, как честно и точно я рассказывал людям в 1943–1945 годах о польском подполье. Все действующие лица и события таковы, какими они были на самом деле. Конечно, я надеялся, что после войны мы вернемся на родину, моя книга

выйдет на польском и ее прочтут и оценят руководители и участники Сопротивления.

Когда же под конец жизни Карского, в 1999 году, первое польское издание все же появилось, он предварил его такими словами:

> Когда я писал эту книгу в 1944 году, то честно и достоверно пересказал все, что помнил. Но в обстановке того времени не обо всем позволялось говорить.

Конспирация требовала не называть подлинные имена, а подчас и псевдонимы многих выведенных в книге персонажей, изменять названия, не выдавать еще действующие явки и места пересечения границ. В июне 1944 года Карский пишет Коту, что все-таки упоминает много имен:

> Это необходимо, чтобы книга не казалась выдумкой. Но имен подпольщиков там, разумеется, нет. Все, что касается Сопротивления — имена, названия, а часто и обстоятельства, — изменены.

А в 1982 году в уже упоминающемся письме Гедройцу уточняет:

> Я придумал свою систему шифровки. Например, первая буква вымышленной фамилии всегда соответствует настоящей.

По желанию автора польское издание 1999 года дает множество комментариев, объясняющих, кто и что имеется в виду. Уважая эту его волю, мы также снабдили текст обширным аппаратом.

Ян Карский — или поручик Витольд — стремился прежде всего рассказать союзникам Польши, а потом и всему миру об уникальном феномене польского подпольного государства, подробно и настойчиво описывая его полноценные институты, демократические принципы и подчеркивая, что польский народ признавал только эту власть и не шел на сотрудничество с оккупантами.

Особое место в книге занимает «рассказ о трагедии еврейского народа, о том, как он просил о помощи и не получил ее».

> Чем большее время и расстояние отделяет меня от родины и от линии фронта, тем более ужасающей

представляется трагедия польских евреев.

Возможно, поэтому он отчасти уступил настойчивой просьбе издателей «написать о борьбе евреев гетто, хотя эти факты не связаны с композицией книги».

Другими важными темами своей книги автор называет реакцию английских и американских государственных деятелей на его сообщения о зверствах оккупантов.

Тем читателям-соотечественникам, которым в 1999 году книга могла показаться слишком антинемецкой, Карский напомнил, что она писалась в 1944 году, когда в нем кипела ненависть к врагу.

> Я был переполнен ненавистью к немцам, ненавистью к большевикам. Во мне говорило больное сознание.

Карскому необходимо было получить от своего правительства внятное одобрение того, что отброшенная издателем глава о «восточном соседе» и «действиях партизан и Польской рабочей партии» заменена «постскриптумом».

Напомним, что происходило в тот момент в Польше, о чем Карский и польский посол знали и что с оптимизмом освещала американская пресса. 22–25 июля 1944 года Армия Крайова вместе с Красной армией освободила Люблин и гражданская администрация местного отделения Делегатуры вышла из подполья. 27 июля все ее работники были интернированы, а затем арестованы НКВД. В Люблине обосновался привезенный из Москвы Польский комитет национального освобождения, который объявил себя законным правительством и передал Красной армии (точнее, НКВД) право распоряжаться на всей освобожденной территории Польши. Концлагерь Майданек принимал новых узников: разоруженных солдат АК и схваченных гражданских должностных лиц подпольного государства. 1 августа вспыхнуло Варшавское восстание, продлившееся до 2 октября.

Но Ривз и представители издательства «Хоутон» ссылались на то, что Миколайчик в то время договаривался со Сталиным и его люблинскими ставленниками о компромиссе. Карский вспоминает:

> Мне предложили следующий выход: я напишу постскриптум, в котором, не оценивая по существу деятельность коммунистов в Польше, упомяну, что они тоже боролись с оккупантами, но я не являюсь членом их партии и никак с ними не связан, поэтому ничего не могу об этом рассказать. Я ответил, что, поскольку речь

идет о политическом вопросе, я должен согласовать его с нашим послом. Посол просмотрел предварительный текст, уточнил некоторые стилистические и политические оттенки, издатели были удовлетворены, таким образом на последней странице книги появился «Постскриптум» <…> Он отредактирован так удачно, что никак не противоречит официальной доктрине движения Сопротивления и оставляет мне возможность, если понадобится, правдиво осветить этот вопрос, основываясь на материалах, которые я привез из Польши.

В рассказе о лагере в Избице Любельской, который Карский принял за Белжецкий лагерь, в первоначальном тексте книги было сказано, что его провожатым был эстонский охранник и сам он переоделся в форму эстонской охраны. В принципе такое было возможно, но в данном случае лагерь охраняли украинцы. Карский изменил их национальность по указанию польского правительства в Лондоне, которое еще надеялось сохранить Львов в составе Польши (как обещал Энтони Иден) и не хотело портить отношения с влиятельной украинской эмиграцией. В польском издании 1999 года Карский восстановил истину, и мы в настоящем издании последовали его примеру.

«История подпольного государства» в обложке, украшенной белым польским орлом, появилась на прилавках книжных магазинов 28 ноября 1944 года, но еще в сентябре отрывки из книги были опубликованы в журналах: рассказ о еврейской трагедии — в *Colliers* и *The American Mercury*, а в женском *Harper's Bazaar* — о женщинах-подпольщицах. Насчитывающий шестьсот тысяч членов клуб *Book of the Month Club* объявил «Историю подпольного государства» лучшей книгой месяца (декабря 1944). Общий тираж американского издания достиг, как уже говорилось, трехсот шестидесяти тысяч экземпляров. Карского разрывали на части — в течение следующих нескольких месяцев он исколесил Соединенные Штаты, выступая с лекциями по приглашениям разных клубов и ассоциаций. 20 декабря посол Чехановский передал президенту Рузвельту экземпляр книги с дарственной надписью автора, снабдив его письмом, где напоминал президенту «об аудиенции, которой он удостоил 28 июля поручика Яна Карского». Стерлинг Норт в журнале *New York Post* писал:

> Московских поляков в Люблине эта книга приведет в ярость. Ян Карский отнимает лавры у коммунистов.

В марте 1945 года довольно широко распространявшийся в США журнал *Soviet Russia Today* опубликовал за подписью некой Евы Грот статью под названием *Not the Whole Story* («Не вся история»), полную едких нападок на польское правительство в Лондоне, на польское Сопротивление и на самого Карского. Автор статьи называла его аристократом, ничего не знающим о трудовом народе, провокатором, который смеет отрицать военные заслуги союзников и называть Ялтинскую конференцию «новым Мюнхенским сговором» (Карскому действительно случилось как-то раз, не сдержавшись, публично произнести такие слова), да еще и «антисемитом, связанным с польскими националистами». По мнению самого Карского, эта публикация отрицательно повлияла на успех книги. А вскоре, на фоне эйфории от общей победы и всеобщего восхищения доблестными русскими, книга стала попросту неуместной. Вышел только французский перевод 1948 года, а готовившиеся испанская, португальская, китайская и ивритская версии так и не были изданы.

Видя, как развиваются события в 1944–1945 годах, Карский больше не строил иллюзий относительно того, что появление его книги как-то поможет Польше и ее законному правительству:

> Еще раз подчеркиваю: мой теперешний успех не самоценен. Он является результатом десятков тысяч долларов, вложенных Book of the Month Club и Houghton Miffin Co в рекламу книги и моей особы.

Он чувствовал себя истощенным, здоровье его сильно пошатнулось. В письмах Станиславу Коту он писал, что в течение всех четырех последних месяцев (с апреля по июль 1944 г.), пока писалась и готовилась в печать книга, он не прекращал пропагандистской деятельности: шесть радиопередач, двадцать лекций, десятидневное турне в Детройт, включающее шесть выступлений.

> Должен предупредить: работать становится все труднее; и тема лекций, и то, как я ее трактую и отвечаю на вопросы, все меньше нравится публике и все больше ее расхолаживает. Это, несомненно, связано с общей политической обстановкой. Иногда я сталкиваюсь с враждебным отношением ко мне и к предмету моих лекций — думаю, оно будет усиливаться.

Он просил, чтобы его заменили кем-нибудь другим — ведь бросать пропагандистскую деятельность было нельзя, — и предлагал своего старого друга Ежи Лерского, который недавно

прибыл в Лондон из Польши. Но он не знал, что Лерский постоянно критиковал премьер-министра Миколайчика за готовность пойти на «территориальный компромисс» и уступить требованиям Советов, поддерживаемым союзниками, тогда как сам Карский считал себя обязанным поддерживать линию правительства — таковы были его принципы: неукоснительная лояльность, верность государственным интересам. За это кое-кто даже упрекал его в просоветских настроениях, что ему было особенно больно слышать. Узнав об этом, он, по собственному признанию, не спал несколько ночей. Карский не одобрял позицию «непримиримых» потому, что прекрасно понимал необходимость физически сохранить польский народ. Новак-Езёранский, эмиссар Армии Крайовой и лондонского правительства, автор книги «Курьер из Варшавы», так передает слова Карского, сказанные им в январе 1944 года, незадолго до отъезда из Лондона в США:

> В сущности, Польша проиграла войну уже в Тегеране. И наши политики, вместо того чтобы слепо упорствовать в праведных желаниях, лучше бы подумали все вместе, как проиграть войну. <…> Как уменьшить количество потерь и жертв, как вооружить население и подготовить к тому, что его ждет.

5 июля 1945 года Соединенные Штаты и Великобритания перестали признавать легитимность польского правительства в изгнании и завязали официальные отношения с посаженным Сталиным Правительством национального единства (Франция сделала то же самое 29 июня). В первое время этот удар был несколько смягчен для Карского последним поручением, на этот раз полученным от американцев: он на четыре месяца вернулся в Европу, чтобы убедить правительства разных стран в изгнании передать свои архивы и документы о Второй мировой войне в Институт Гувера, созданный при Стэнфордском университете в Калифорнии. Побывав в Лондоне, Париже и Риме, он получил согласие не только поляков, но также латышей, эстонцев и литовцев.

Вернувшись в США, он понял, что о нем все забыли, — он был теперь никому не известным европейским эмигрантом, таким же, как множество других. «Я ненавидел тогда весь мир и хотел отстраниться от него». Забыть, забыть военный ад, никогда и ни с кем больше о нем не говорить, никому больше не рассказывать о трагедии евреев, свидетелем которой он был. Для простоты оформления документов в иммиграционных службах он не стал восстанавливать имя Козелевского и навсегда остался Карским.

Он попытался зажить нормальной жизнью, завести семью, но брак его распался через два года. Ему удалось добиться разрешения на выезд из Польши для любимого брата Мариана и его жены Ядвиги. Сразу обосноваться в Америке они не могли, и Карский на последние остатки полученных за книгу денег купил им маленькую ферму в Канаде, недалеко от Монреаля.

Возобновить дипломатическую карьеру оказалось невозможно: в Госдепартаменте он как уроженец страны, подконтрольной коммунистам, мог рассчитывать только на самую незначительную должность, а чтобы попасть на службу в ООН, ему пришлось бы перейти на сторону варшавского режима — такой шаг он для себя исключал.

Оставался один путь — получение ученой степени и преподавание в университете. Ректор дипломатического отделения Джорджтаунского католического университета Эдмунд Уолш принял Карского с распростертыми объятиями и выхлопотал ему стипендию для обучения в докторантуре. В 1952 году степень доктора политологии была получена, и Карский стал преподавать. Отныне он связал свою судьбу с Джорджтаунским университетом, где проработал больше тридцати лет.

В 1954 году профессор Ян Карский получил американское гражданство. Зная его репутацию антикоммуниста, американская администрация не раз привлекала его как эксперта и поручала ему различные задания. В течение двадцати лет он готовил по собственной программе специалистов для Пентагона и часто ездил по заданию Госдепартамента читать лекции в Азию, Африку и на Ближний Восток. Никто из его коллег и студентов в Джорджтауне, кроме ректора Уолша, с которым он познакомился еще в 1943 году, не знал о его прошлом, но все ценили его как благородного человека и прекрасного лектора. У него учился выпускник 1968 года Билл Клинтон.

В 1954 году в вашингтонской синагоге, куда Карский пришел на концерт современной танцевальной труппы, он встретил Полю Ниренскую, урожденную Ниренштайн, варшавянку, свою старинную знакомую — они общались в Лондоне в 1938 году. В июле 1965-го они поженились. Поля, у которой все родственники, кроме успевших уехать в Палестину родителей, погибли, перешла в католичество. Супруги условились никогда не говорить о прошлом.

Помимо преподавания в университете, профессор Карский в течение многих лет писал книгу, посвященную политике великих держав в отношении Польши. Монография в семьсот страниц *The Great Powers and Poland. 1919–1945. From Versailles to Yalta* («Великие державы и Польша. 1919–1945. От Версаля до Ялты»)

вышла в 1985 году. «Печальная книга», — скажет ее автор. Проанализировав огромное количество архивных данных, он приходит к выводу, что в циничной игре с Польшей «морально более виновен Черчилль, а физически — Рузвельт».

В 1987 году Карский скажет своему биографу Станиславу М. Янковскому:

> За тридцать с лишним лет я не написал ни одной статьи о своем военном опыте. Но прошлое настигло меня! В 1977 году ко мне пришел режиссер Клод Ланцман, потом Эли Визель, израильский юрист Гидеон Хауснер, и началось: Яд Вашем, фильмы, статьи, газеты…

В 1978–1985 годах, когда бывший эмиссар польского подполья Витольд снова заговорил, уточняя, подчеркивая нравственное и историческое значение той необычайной миссии, которую он выполнял в ноябре сорок второго по поручению своих соотечественников-евреев, окончательно складываются — на этот раз в глазах всего мира — его образ свидетеля и его не для всех удобная позиция. Человеком, который попытался остановить Холокост, но не был услышан, назовет его польский историк Бронислав Геремек, а Эли Визель сочтет, что он сыграл существенную роль в том, что у союзников проснулась совесть и это облегчило судьбу евреев Будапешта.

Клод Ланцман, снимая свой фильм в 1977–1978 годах, разбудил память свидетелей Холокоста. Готовый фильм «Шоа» вышел на экраны весной 1985-го, и сразу после этого главный редактор польского эмигрантского журнала *Kultura* Ежи Гедройц попросил Карского написать о нем статью. Статья появилась в ноябрьском (1985 г.) номере, затем в ноябре 1986-го была перепечатана парижским *Esprit,* а в июле 1986-го — американским *Together*. Карский искренне восхищается фильмом, но сожалеет, что в сорока минутах, которые отобраны из его восьмичасового рассказа, смещен акцент с того главного, про что мог сказать только он, — про глухоту западных стран к призыву о помощи, переданному через него евреями варшавского гетто.

Карского увлекла идея сделать фильм, дополняющий «Шоа» и показывающий «нынешним и будущим поколениям», что в этой катастрофе честь человечества спасали тысячи простых людей, которые помогли выжить какой-то части евреев. «На глазах всего мира» — так называлось сообщение, обнародованное Карским в январе 1993 года по случаю грядущего пятидесятилетия восстания варшавского гетто и упоминавшее о «докладе

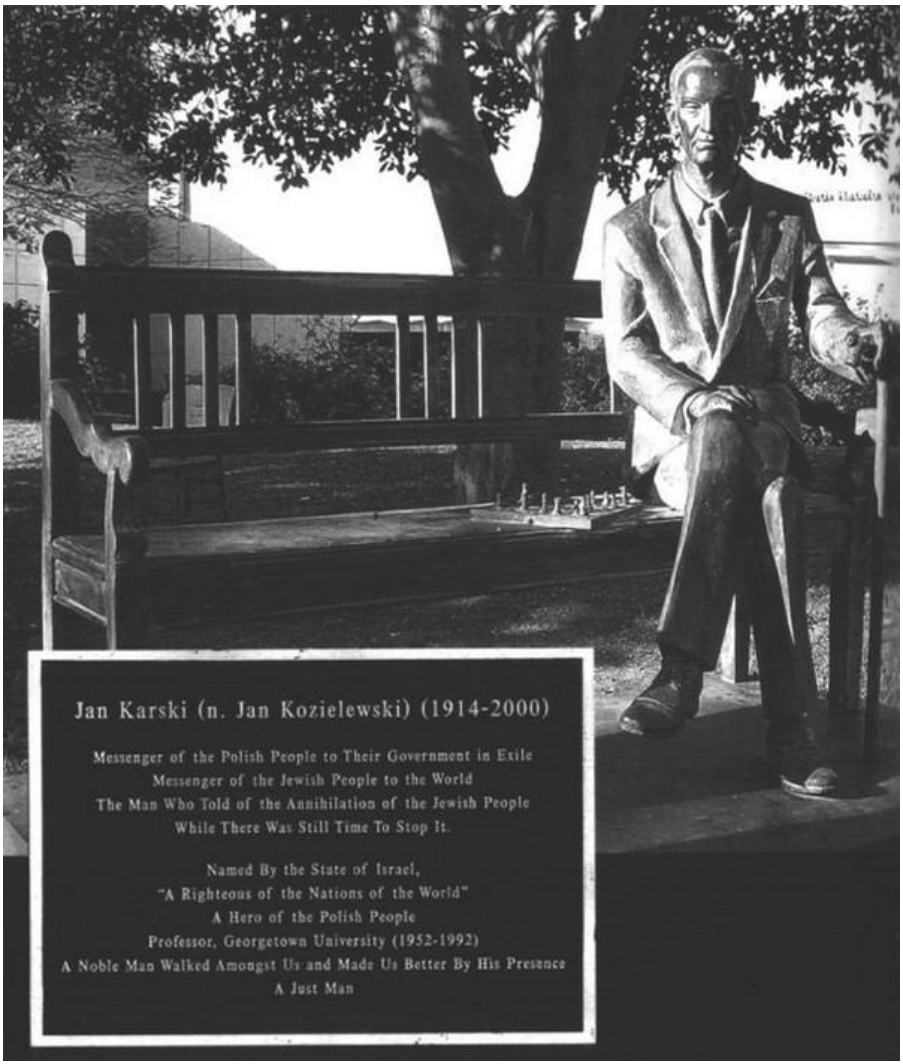
Карского», который польское правительство передало союзникам в ноябре 1942 года и который был найден историками в британских архивах. По мнению Карского, которое он твердо отстаивал, «польское правительство в Лондоне сделало все, что могло, чтобы помочь евреям. Но у него в то время не хватало сил не только самому спасти их, но и защитить независимость своей страны».

Фильм «Шоа» вынудил польское правительство генерала Ярузельского частично снять запрет с имени Карского, но не с его книги — она оставалась запрещенной. И только в апреле 1987-го, через сорок с лишним лет после окончания Второй мировой войны, поляки впервые увидели фотографию героя Сопротивления Яна Карского в двух газетах. В ноябре 1987 года публицист Станислав Янковский впервые встретился в США с Карским — это стало началом его работы над большой книгой. В декабре того же года Карский предоставил Янковскому все свои личные архивы и вел с ним долгие беседы у себя дома в Вашингтоне. И наконец, в 1991-м, в связи с выходом в свет написанной Янковским биографии «Эмиссар Витольд», Карский приехал на родину, и независимая Польша восторженно приняла его. В 1995-м он снова посетил Польшу по случаю издания польского перевода с английского книги Томаса Э. Вуда и Станислава М. Янковского «Как один человек пытался остановить Холокост».

В девяностые годы несколько университетов мира присвоили Карскому звание доктора *honoris causa*. В 1994-м он стал почетным гражданином Израиля. В 1995-м первый польский президент Лех Валенса наградил его орденом Белого орла. В 1998 году Израиль, отмечавший пятидесятилетие еврейского государства, выдвинул Карского на соискание Нобелевской премии мира. Двое историков из поколения «Солидарности» (Анджей Рознер и Анджей Кунерт) убедили Карского дать согласие на публикацию «Истории подпольного государства» по-польски, и в декабре 1999 года, через пятьдесят пять лет после написания, книга вышла в свет на родине автора. Бывший боец польского подпольного государства снабдил это издание посвящением:

> Солдатам и участникам Сопротивления, боровшимся за свободу и независимость Польши, тем, кто отдал за это свою жизнь, тем, кто выжил, и всем тем, с кем свела меня судьба на дорогах войны.
>
> *Селин Жерве-Франсель*

Я свидетельствую перед миром: История подпольного государства



Памятник Яну Карскому, установленный 10 сентября 2002 г. в парке Джорджтаунского университета в Вашингтоне, где он преподавал в течение сорока лет.

Надпись на табличке у подножия памятника гласит:

> «Ян Карский (Ян Козелевский), 1914–2000, посланец польского народа к правительству в изгнании, посланец еврейского народа ко всему миру, первый человек, рассказавший страшную правду об уничтожении евреев,

когда его еще можно было остановить, и получивший от израильского государства звание Праведника мира, польский герой, преподаватель Джорджтаунского университета (1952–1992), благородный, праведный человек, живший среди нас и делавший нас лучше самим своим присутствием».

Глава I
Поражение

23 августа 1939 года я был приглашен на веселую вечеринку к сыну португальского посла в Варшаве г-на Сезара де Соузы Мендеша[8]. Мы были почти ровесники — ему было двадцать пять лет — и добрые приятели. У него было пять сестер, все хорошенькие и обаятельные. С одной из них я довольно часто встречался и в тот вечер сгорал от нетерпения поскорей ее увидеть.

К тому времени я только недавно вернулся в Польшу. Закончив в 1935 году Львовский университет Яна Казимира и проведя год в конноартиллерийском училище, я уехал стажироваться сначала в Швейцарию, потом в Германию и, наконец, в Англию. Меня интересовали вопросы демографии. Три года я работал в крупнейших библиотеках Европы, готовил свою диссертацию, старался получше овладеть французским, немецким и английским и усвоить образ жизни в этих странах, пока смерть отца[9] не призвала меня в Варшаву. Мне по-прежнему больше всего нравилось изучать демографию, но постепенно стало ясно, что писать научные труды — не моя стезя. Я никак не мог закончить диссертацию, все тянул и отлынивал, а уже написанную часть работы у меня не принимали. Но это было единственное облачко на светлом, солнечном горизонте открывавшихся передо мной возможностей, и оно не слишком огорчало меня.

На вечеринке все чувствовали себя беззаботно и радостно. Просторный зал посольства был изящно, хотя, пожалуй, чересчур романтично украшен. Собралась приятная компания. Очень скоро завязались оживленные разговоры. Помнится, с большим жаром отстаивали достоинства Варшавского ботанического сада по сравнению с хваленными европейскими, обсуждали новую постановку «Мадам Сан-Жен»[10], а когда кто-то заметил, что Стефан Лечевский и Марселла Галопен, которых я хорошо знал, выскользнули из зала вдвоем, стали отпускать банальные шуточки по этому поводу — все как обычно. О политике почти не говорили.

Мы пили хорошие вина, беспрестанно танцевали, в основном европейские танцы — вальсы и танго. А под конец Элен де Соуза Мендеш с братом исполнили для нас сложные фигуры португальского танго.

Вечеринка закончилась поздно ночью. Потом все еще долго

прощались и даже на улице никак не расходились: болтали, договаривались о встречах на следующую неделю. Я вернулся домой уставший, но в голове роились радужные планы и не давали уснуть.

Разбудил меня громкий стук в дверь, причем мне показалось, что я проспал не больше минуты. Я вскочил с постели и побежал вниз по лестнице, ускоряя шаг и раздражаясь, оттого что стучали все сильнее. Наконец открываю дверь. На крыльце стоит хмурый, заждавшийся полицейский. Протягивает мне красную карточку, бормочет что-то невнятное и поспешно уходит.

Это был секретный приказ о мобилизации. В нем сообщалось, что я как подпоручик конной артиллерии должен в течение четырех часов покинуть Варшаву и явиться в расположение своего полка. В город Освенцим[11] на польско-немецкой границе.

То, как и в какое время был мне вручен этот приказ, который опрокидывал все мои планы, мгновенно настроило меня на самый серьезный и даже мрачный лад.

Я отправился к брату с невесткой и поднял на ноги обоих. Однако они приняли известие совершенно спокойно, и вскоре мне самому показалось смешным, что я так запаниковал.

Пока я собирался и одевался, мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что объявлена частичная, весьма ограниченная мобилизация, которая касается небольшого числа офицеров запаса и затеяна лишь для того, чтобы они не теряли боеготовности. Мне посоветовали отправляться налегке, невестка даже отговорила меня брать с собой теплые вещи.

— Не в Сибирь же едешь, — сказала она, глядя на меня как на пылкого школьника. — Через месяц вернешься домой.

Я успокоился. Возможно, все не так плохо и даже предстоит что-то интересное. Я припомнил, что Освенцим находится в красивых местах, среди равнин. И представил себе, как несусь по ним в офицерской форме на прекрасном армейском скакуне — верховую езду я любил страстно. Я надел свои лучшие сапоги. Как будто готовился к военному параду. Заканчивал сборы уже в отличном расположении духа. И даже в шутку посочувствовал брату: дескать, на этот раз «стариков» в армию не зовут. Он ответил парой крепких словечек и пригрозил всыпать мне как следует, если я не уймусь. А невестка велела нам перестать ребячиться. Наконец спешные приготовления завершились.

На вокзале было столько народу, будто там столпились все мужчины Варшавы. «Секретной» эту мобилизацию, подумал я, можно назвать только в том смысле, что нет никаких объявлений — ни на стенах, ни в газетах. Но призваны были сотни тысяч человек.

Вспомнились ходившие пару дней назад слухи о том, что правительство давно собиралось объявить всеобщую мобилизацию перед лицом немецкой угрозы, но его удерживали английские и французские дипломаты. Зачем «провоцировать Гитлера»! В то время Европа еще верила в возможность мирных переговоров. И лишь ввиду практически открытых военных приготовлений Германии Польше наконец разрешили провести «тайный» призыв[12].

Обо всем этом я узнал намного позже. А тогда хоть и вспомнил о слухах, но встревожился так же мало, как и услышав их впервые. Перед вагонами толпились тысячи мобилизованных в штатском, их было легко распознать по походному чемоданчику. В этой толпе выделялись офицеры запаса в щегольской форме, они издали подавали друг другу знаки, перекликались, обменивались приветствиями. Но мне, как я ни искал, не попалось ни одного знакомого лица. Я стал протискиваться к поезду, что оказалось очень и очень нелегко. Вагоны были переполнены, все места заняты. Народ набился в коридоры и даже в туалеты. Настроение у всех было приподнятое, бодрое, почти веселое.

В дороге я постепенно начал понимать, насколько серьезно обстоит дело. Правда, мне все равно не приходило в голову, что вот-вот начнется война, но уже было ясно: о приятной прогулке можно забыть, происходит самая настоящая всеобщая мобилизация. На каждой станции к составу подцепляли новые вагоны для новобранцев, теперь уже в основном крестьян. Вид у всех был бравый и уверенный, не считая, разумеется, женщин — жен, матерей, сестер, наводнявших платформы; настоящие Ниобеи, они рыдали, заламывали руки, цеплялись за своих мужчин и не хотели отпускать. Молодые парни, стесняясь, вырывались из материнских объятий. Помню, на одном полустанке мальчишка лет двадцати кричал: «Хватит, мама, отпусти, скоро приедешь ко мне в Берлин!»

Дорога в Освенцим заняла вдвое больше времени, чем положено, поскольку поезд все время останавливался, к нему прицепляли дополнительные вагоны и сажали новых солдат. До казармы мы добрались только к ночи, и задора в нас поубавилось, сказывались жара и усталость — шутка ли, столько часов проехать стоя! Однако после довольно плотного ужина — за время пути все изрядно проголодались — силы вернулись, и я решил пройтись по территории, где мы были расквартированы, вместе с другими офицерами, с которыми познакомился в столовой. Нашел кое-кого из нашего дивизиона, но не всех. Две батареи конной артиллерии уже отправились на фронт. В казарме

оставались только третья и четвертая.

Трудно сказать почему, но, собираясь по вечерам в офицерском клубе, мы по молчаливому согласию старались не говорить и не спорить о главном. Если же все-таки заходила речь о нынешнем положении и о том, что ждет нас впереди, все высказывались примерно одинаково, укрепляя общий оптимизм, который прекрасно отгонял сомнения и страхи и заглушал попытки трезво оценить изменения в европейской политике. Да и менялась она так стремительно, что даже при всем желании разобраться в этом клубке было бы нелегко. Что до меня, то я просто запрещал себе делать мыслительные усилия, которые могли бы открыть чудовищный смысл происходящего. Это подорвало бы все мои тогдашние представления о жизни.

Кроме того, я хорошо помнил, что говорил мне брат[13] в первые часы после мобилизации, — ведь он был старше меня почти на двадцать лет, занимал важный пост в правительстве и всегда, сколько я помню, принадлежал к «хорошо информированным кругам».

Другие опирались на мнения друзей, знакомых и собственные соображения. Из всего этого мы заключали, что наша мобилизация — тонкий ход в войне нервов с немцами. Германия слаба, Гитлер просто блефует. Когда он увидит, что Польша «сильна, едина и готова дать отпор», то отступит, и мы вернемся по домам. Если же нет, то Польша, с помощью Англии и Франции, как следует проучит этого сумасшедшего паяца.

А наш майор однажды вечером и вовсе заявил:

— На этот раз нам не надо никакой Англии и Франции. Мы и сами прекрасно справимся.

В ответ один из офицеров ледяным тоном заметил:

— Конечно, пан майор, сил у нас хватает, но… хорошая компания никогда не помешает.

На рассвете 1 сентября, около пяти утра, когда солдаты нашего конноартиллерийского дивизиона мирно спали, самолеты люфтваффе незамеченными долетели до Освенцима и, пролетая над нашими казармами, забросали всю округу зажигательными бомбами. Одновременно сотни мощных новейших немецких танков пересекли границу, и под их огнем все окончательно превратилось в руины и пепелища.

Трудно представить себе, сколько разрушений причинила эта атака всего за три часа, сколько погибло людей, какой воцарился хаос. Опомнившись и оценив положение, мы увидели, что не способны оказать существенного сопротивления. Хотя нескольким батареям удалось каким-то чудом довольно долго продержаться на своих позициях и даже обстрелять немецкие танки. К полудню

две наши батареи были уничтожены. Казармы разрушены до основания, железнодорожный вокзал сметен с лица земли.

Поскольку стало ясно, что сдержать немецкое наступление не удастся, был дан приказ отступать; наша резервная батарея покинула Освенцим и двинулась боевым маршем по направлению к Кракову, захватив с собой пушки, снаряды и провиант. Каково же было наше изумление, когда по пути к вокзалу прямо на городских улицах нас стали обстреливать из окон. Это были польские граждане немецкого происхождения, пятая колонна нацистов. Таким образом они заранее проявляли лояльность к оккупантам. Многие из нас готовы были немедленно ответить и открыть стрельбу по подозрительным домам, но старшие офицеры запретили. Такие действия внесли бы беспорядок в наши ряды, а именно этого и добивалась пятая колонна. Не говоря о том, что в этих же домах могли жить и честные поляки-патриоты[14].

На вокзале нам пришлось ждать, пока починят пути. Мы сидели на земле под палящим солнцем, и все время, пока не подали состав, перед глазами у нас проносились недавние картины: горящие строения, обезумевшие жители, предательские окна в Освенциме. В тягостном молчании разместились мы по вагонам, и поезд двинулся на восток, в сторону Кракова.

Ночью он много раз останавливался и подолгу стоял. Иногда на таких стоянках мы дремали, а иногда просыпались и обсуждали случившееся; все, как один, рвались в бой. На рассвете появилось полтора десятка «хейнкелей», целый час они бомбили и обстреливали из пулеметов наш поезд и разнесли в щепки больше половины вагонов. Почти все там были убиты или ранены. Мой вагон уцелел. Оставшиеся в живых покинули разбитый поезд и пешком, без всякого строя, продолжали путь на восток.

Шла не армия, не батарея, не взвод — просто много отдельных людей шагали скопом, неведомо куда и зачем. Дороги были забиты беженцами и отбившимися от своих частей солдатами, точно катила огромная приливная волна, увлекая за собой всех встречных. Целых две недели эта лавина медленно двигалась на восток. Сам я держался группы, которая еще сохраняла какое-то подобие воинского подразделения. Мы надеялись дойти до новой линии обороны, остановиться там и вступить наконец в сражение. Но каждый раз, когда, казалось, такая возможность была близка, наш капитан получал приказ продолжать отступление и, пожав плечами, понуро указывал нам путь дальше на восток.

Плохие новости настигали нас, как хищные птицы, и рвали в

клочья последние надежды: немцы заняли Познань, потом Лодзь, Кельце, Краков, наши самолеты и зенитки уничтожены. Дымящиеся руины городов, деревень и железнодорожных станций подтверждали эти горькие известия[15].

Через две недели, изнуренные, обессилевшие, ошалевшие и растерянные, мы подошли к Тарнополю[16]. Это было 17 сентября, я не забуду этот день до самой смерти. Дорога раскалилась на солнце, а наши ноги и обувь после четырех дней безостановочной ходьбы были в таком плачевном состоянии, что мы уже не могли шагать по пересохшей земле. Большинство предпочло идти по обочине, пусть даже получалось медленнее.

Так мы брели, без особой спешки, поскольку утратили всякое представление о цели, как вдруг толпа вокруг загудела и от одной группы к другой забегали люди — это означало, что появились важные новости или волнующие слухи. Меня окружало восемь офицеров медслужбы — незадолго до того я остановил одного из них и попросил перевязать мне пятку да так с ними и пошел дальше. И все мы сразу поняли: что-то случилось.

— Схожу узнаю, — сказал молодой капитан, которого мы все уважали за то, что он всегда старался следить за собой. — А вдруг хорошие новости!

— Ну да, — усмехнулся кто-то из офицеров, — наверно, Гитлер решил сдаться.

— Ладно, посмотрим, — сказал капитан и направился к группе пехотинцев, которые стояли метрах в двадцати позади нас и что-то оживленно обсуждали.

Мы решили дожидаться нашего добровольного гонца, укрывшись в скудной тени чахлого дерева. Он вернулся через несколько минут и, задыхаясь на бегу, еще издалека прокричал:

— Русские перешли границу! Слышите?! Русские перешли границу!

Его мгновенно окружили и забросали вопросами: откуда это известно, правда ли?

Оказалось, у кого-то из штатских было радио. Но что это означало? Русские тоже объявили нам войну? Они пришли как друзья или как враги?

Капитан не ручался за достоверность, но, по его мнению… Однако ему вежливо дали понять, что мнение его в данный момент никому не интересно. Нам нужны факты.

Судя по тому, что рассказали капитану, кто-то поймал по радио русскую станцию, вещавшую на польских волнах с территории Польши. Постоянно передавались обращения на трех языках — русском, польском и украинском, призывавшие поляков видеть в перешедших границу русских солдатах не врагов, а

освободителей. Они пришли «взять под защиту украинское и белорусское население».

Слово «защита» не сулило ничего хорошего. Мы все помнили, как «взяли под защиту» Испанию, Австрию и Чехословакию. Или русские будут, если понадобится, воевать с немцами? А как же пакт Молотова — Риббентропа, он расторгнут, что ли?[17]

Капитан ничего этого не знал. Он передал то, что сказали ему пехотинцы. А по их словам, русское радио ничего не объясняло, зато распространялось об «украинских и белорусских братьях» и о том, что «все славянские народы» должны как можно скорее «сплотиться».

Жариться на солнце и теряться в догадках не имело никакого смысла. Лучше всего было побыстрее добраться до Тарнополя и там точно все узнать. Оставалось всего-то километров пятнадцать. Несколько часов ходу быстрым шагом. Мы собрались с силами и продолжили изнурительный марш. Теперь у нас хотя бы была цель, ради которой стоило поторопиться, и от этого стало легче на душе.

По дороге мы все гадали, что бы значили известия, которые до нас дошли, — наконец-то можно было поговорить о чем-то еще, кроме того, как далеко продвинулись немцы по нашей территории.

Ответ мы получили, еще не дойдя до Тарнополя, когда километрах в трех от городской окраины до нас донесся гул толпы, который перекрывал голос из громкоговорителя. Шумело и грохотало где-то за поворотом дороги, так что видеть мы ничего не могли, а из слов говорившего слышали только невразумительные обрывки. Но поняли: там происходит что-то очень важное, и, несмотря на усталость, пустились бегом. Наконец мы миновали поворот, дальше дорога проходила по ровному открытому месту. Метров на двести она была пуста. Разрозненные группки бредущих солдат, которые мы привыкли видеть перед собой, сбились в плотную толпу на обочине. Вдали же виднелась длинная колонна военных грузовиков и танков, но чьи они — с такого расстояния было не определить. Нас то и дело обгоняли, и вот кто-то, судя по всему наделенный орлиным зрением, прокричал на бегу:

— Русские, это русские! Я вижу серп и молот!

А очень скоро уже и не требовалось особой зоркости, чтобы убедиться в его правоте. С каждым шагом речь из громкоговорителя становилась все более отчетливой. Говорили по-польски, но с теми певучими интонациями, какие бывают только у русских. Однако когда мы подошли совсем близко, голос замолк.

Зато поляки, окружившие, как мы поняли, русскую машину с радиоустановкой, принялись все разом обсуждать услышанное.

Теперь были отчетливо видны красные серпы и молоты на бортах автомобилей и танков. Грузовики были набиты вооруженными до зубов русскими солдатами. Итак, слухи, которые доходили до нас раньше, подтвердились: радиоголос призывал всех, кто тут стоял, присоединиться к «русским братьям».

Как поступить? Каждый судил по-своему, но наши споры оборвал нетерпеливый окрик — на этот раз из громкоговорителя, который держал кто-то, сидевший в одном из советских танков:

— Ну так что, вы с нами или нет? Мы не собираемся торчать тут посреди дороги и ждать, что вы решите. Бояться вам нечего. Мы не немцы, а славяне, такие же, как вы. И мы вам не враги. Я командир роты. Пришлите ко мне несколько офицеров для переговоров.

Поляки снова загудели — мнения разделились. Большинство солдат не доверяли русским и не хотели принимать их предложение, офицеры колебались и были недовольны всем, в том числе самими собой. Я же совершенно растерялся, сердце в груди бешено колотилось, кто-то о чем-то меня спрашивал, а я даже не мог ответить.

Кому-то из офицеров пришло в голову, что, если бы мы выглядели как организованная армейская часть, это придало бы весу нашей позиции на переговорах. Унтеры забегали, пытаясь разбить солдат на подразделения. Напрасный труд — мы давно уже превратились в смешанное, беспорядочное сборище рядовых, офицеров и унтер-офицеров, среди которых не нашлось бы и десятка принадлежащих к одному полку. Даже оружия у многих не осталось, не было ни пулеметов, ни пушек. Мы пребывали в нерешительности, которая грозила затянуться до бесконечности.

Среди офицеров было два полковника. Посовещавшись, они наконец выработали план действий. Сначала подозвали к себе самых старших по возрасту из офицеров и стали все вместе что-то негромко обсуждать. Потом от них отделился капитан, вытащил из кармана замызганный белый платок и, размахивая им над головой, медленным шагом направился к советским танкам.

Мы все смотрели на него, затаив дыхание, так зрители в театре смотрят на актера, который шествует по сцене в самый драматический момент пьесы. Он шел, а мы в настороженной тишине провожали его глазами, пока навстречу ему со стороны танков не выступил офицер Красной армии. Вот они сошлись, коротко отдали друг другу честь и, по всей видимости, вежливо заговорили. Советский офицер указал рукой на танк, из которого

говорил майор, и они пошли туда вдвоем. Увидев эти, пусть самые мелкие, знаки дружелюбия, толпа облегченно вздохнула.

Это, однако, не значило, что мы успокоились. Нас вконец измотали две с половиной недели постоянного напряжения. Измучил полный разброд мыслей и чувств. Мы уцелели физически, но морально немецкий «блицкриг» уничтожил нас, и мы настолько утратили всякие ориентиры, что едва понимали, что творится вокруг; мы не были ранены, но потеряли силы и волю.

Прошло с четверть часа, а польский капитан все не показывался. Мы ждали с тревогой и недоумением.

Ждали молча: события, которые разворачивались перед нами, казались такими нереальными и настолько отличались от всего, что мы видели или воображали, что даже говорить о них было страшно. Наконец эту воспаленную тишину прервал уверенный, сильный голос из громкоговорителя — слова звучали на чистейшем, без акцента, польском языке, все с того же советского танка.

— Офицеры, унтер-офицеры и солдаты! — начал он, точно генерал, обращающийся к своим воинам перед боем. — Говорит капитан Вельшорский. Десять минут назад я был послан на переговоры с советским офицером. И вот сообщаю вам важные новости. — Капитан сделал паузу, мы, оцепенев, ждали удара, и он обрушился на наши головы. — Красная армия пересекла границу, чтобы вместе с нами бороться с немцами, заклятыми врагами славян и всего рода человеческого. Ждать приказов польского верховного командования бесполезно. Ни верховного командования, ни правительства Польши больше нет. Мы должны присоединиться к советским войскам. Майор Пласков требует, чтобы мы сделали это сейчас же, предварительно сдав оружие. Потом оно будет нам возвращено. Я сообщаю это всем офицерам и приказываю всем унтер-офицерам и рядовым подчиниться требованиям майора Пласкова. Смерть немецким оккупантам! Да здравствуют Польша и Советский Союз![18]

Ответом была мертвая тишина. Все это было ошеломляюще, уму непостижимо. Мы стояли, потеряв дар речи. Онемели и застыли. Я был словно околдован, испытывал такое же удушье, как однажды, когда меня усыпляли эфиром.

Всеобщее оцепенение нарушил горестный всхлип. Я подумал, что мне послышалось, но звук повторился — кто-то отчаянно и все громче плакал навзрыд. Потом рыдания перешли в крик:

— Братья! Это четвертый раздел Польши! Господи, прости!

Грянул выстрел. Поднялась суматоха. Все хотели пробраться поближе к тому месту, откуда стреляли. Оказалось, один унтер-

офицер пустил себе пулю в лоб и умер на месте. Имени его никто не знал, и никто даже не попытался узнать, поискав у него в карманах документы.

У нас не хватало душевных сил отозваться на эту трагедию, примеру самоубийцы тоже никто не последовал. Зато все, как по команде, принялись говорить, размахивать руками, спорить со стоящими рядом. Так бывает в театре, когда спектакль кончается и опускается занавес. Офицеры только усиливали смятение. Они перебегали от солдата к солдату и требовали, чтобы те сдавали оружие. Убеждали колеблющихся. Если же рядовой упрямился, вырывали винтовку у него из рук.

С майорского танка между тем раздался новый приказ на польском с распевным русским акцентом:

— Польские солдаты и офицеры! Сложите оружие у белого домика под лиственницами слева от дороги. Пулеметы, автоматы, винтовки — все, что есть. Офицеры могут оставить при себе саблю, солдаты должны сдать штык и ремень. Всякая попытка утаить оружие будет рассматриваться как измена.

Все, как один, обратили взоры на сиявший на солнце белизной домик, окруженный лиственницами. До него было метров тридцать. Под деревьями с обеих сторон виднелись пулеметы, обращенные стволами на нас, — вот теперь все стало предельно ясно. Мы, однако же, нерешительно переминались, никто не хотел быть первым. Но вот оба полковника твердым шагом подошли к домику, отстегнули пистолеты и размашисто бросили их прямо к порогу.

Затем то же самое сделали два капитана. Начало было положено. Офицеры один за другим выходили и бросали оружие, солдаты ошеломленно на них смотрели. Когда подошла моя очередь, я действовал как под гипнозом и никак не мог поверить, что все это происходит на самом деле. Подошел к домику, тупо посмотрел на груду пистолетов, с сожалением вытащил свой собственный — как я старался содержать его в порядке и как мало он мне прослужил! Отличный, все еще блестящий, как новенький. Я бросил его в кучу и отошел с таким чувством, будто меня ограбили. После офицеров стали нехотя разоружаться солдаты. Причем оружия оказалось больше, чем мы думали. Я заметил даже солдат с пулеметом, а еще подальше две пары ломовых лошадей тащили орудие полевой артиллерии. До сих пор не понимаю, откуда оно могло взяться.

Наконец все до последнего ствола и штыка было сдано и свалено в огромную кучу, и тут, к нашему удивлению, из двух грузовиков выпрыгнули советские солдаты и выстроились цепью по обеим сторонам дороги, нацелив на нас винтовки.

Громкоговоритель приказал и нам построиться в колонну лицом к Тарнополю, а пока мы выполняли приказ, несколько танков завели моторы, быстро пересекли дорогу и встали позади нас на обочине, также обратив пушки в нашу сторону. Пушки на танках, стоявших впереди, тоже смотрели на нас. Колонна тронулась и, постепенно ускоряя шаг, двинулась к Тарнополю.

Итак, мы попали в плен к русским, а я даже не успел повоевать с немцами.

Глава II
В русском плену

Уже темнело, когда мы вступили в Тарнополь[19]. Жители, в основном женщины, дети и старики, высыпали на улицу и смотрели на нас. Они стояли с обреченным видом и не проявляли никаких эмоций. Две с лишним тысячи поляков, всего лишь две недели назад покинувшие свои дома с намерением гнать немцев до Берлина, шли теперь неведомо куда под дулами советских винтовок.

До сих пор мы шагали безучастно, а тут, под взглядами этих людей, вдруг с особой остротой осознали, какая участь нам уготована и как бесславно заканчивается наш поход. Именно тогда я в первый раз подумал о побеге. А по лицам товарищей по несчастью понял, что такая мысль зашевелилась у многих. Раньше они шли потупясь, теперь же осматривались по сторонам — искали взглядом брешь в цепочке русских конвоиров, куда можно было бы проскочить и смешаться с толпой. Колонна состояла из рядов по десять человек. Я был третьим слева. И примерно через каждые пять рядов шел вооруженный красноармеец. По воле судьбы один из них очутился в метре от меня. Я посмотрел на него, оценивая свои шансы, но он перехватил мой взгляд и свирепо сверкнул глазами. В этот самый миг четырьмя рядами дальше как будто что-то мелькнуло. У меня сильно забилось сердце. Затаив дыхание, я всматривался в то, что там происходит. Крайний в этом ряду выскользнул из строя и за спиной конвойного метнулся в толпу. Конвойный ничего не заметил. Как и другой, тот, что был рядом со мной, он слишком внимательно следил за «своими» пленными. Толпа мгновенно сомкнулась за смельчаком, а его сосед справа тут же занял пустое место в ряду. Остальные подтянулись за ним, и, поскольку ряды были не такими уж ровными, исчезновение удалось скрыть.

Все это не заняло и минуты. Но настроение пленных неуловимо изменилось: они увидели, что один из их товарищей, отказавшись от пассивного повиновения, задумал и совершил дерзкий поступок.

Когда стало ясно, что побег прошел благополучно, я наклонился к соседу и как можно тише спросил:

— Видел?

В ответ он чуть заметно кивнул. Но тут конвоир, замыкавший наш ряд, повернулся всем корпусом и уже не спускал с меня злобного взгляда. Неудача. Мало того что этот солдат все время

был настороже, так он еще явно сосредоточил особо пристальное внимание на мне. Он угрожающе вскинул винтовку, готовый в любой миг пустить ее в ход, и было бы слишком опрометчиво давать ему повод нажать на спуск.

Все время, пока мы шли в сумерках, я озирался по сторонам и искал удобного случая бежать, но безуспешно. Моему воспаленному воображению всюду чудились мечущиеся тени. Темнота все сгущалась, так что точно сказать не могу: может, какие-то из теней и были реальными. Лязг танков, блеск ружейных дул в лунном свете, напряженное вглядывание в потемки — все это усиливало впечатление какой-то жуткой игры. Когда же я увидел перед собой здание железнодорожного вокзала, то окончательно понял: мне придется разделить судьбу всех несчастных пленных, какой бы она ни была.

Удрученные лица тарнопольцев говорили о том, что они знали о нашей трагедии, и это меня поразило. Они знали, что Польша раздавлена. Знали и понимали смысл происходящего лучше, чем вся варшавская интеллигенция, все мои просвещенные друзья и осведомленные коллеги-офицеры: Польша перестала существовать. И они обступили нас, чтобы помочь спастись тем ее сыновьям, которые еще могли бороться. Многие женщины принесли гражданскую одежду. Одна из них протянула пиджак солдату, приготовившемуся проскочить мимо охранников. Впрочем, бдительность их значительно ослабла. Глядя на эту женщину, мне хотелось плакать от гордости и восхищения. Я вытащил из кармана кошелек, где лежали деньги, документы и золотые часы, подарок отца. И, не поворачивая головы, чтобы не привлекать к себе внимание, левой рукой швырнул его в толпу. Только эту малость я и мог сделать для отважных тарнопольцев, мне же содержимое кошелька вряд ли бы еще пригодилось. Самые важные документы, золотой медальон с образом Остробрамской Божией Матери[20] и немного денег, зашитых в одежду, остались у меня.

Наш жалкий марш в неизвестность окончился. Минуту спустя нас загнали в полутемный зал.

Здесь, в помещении вокзала, исчезли все шансы на побег, исчез и оптимизм, который поддерживал нас, пока мы шли по городу. В смрадном, битком набитом зале мы в полной мере ощутили накопившуюся за последние недели усталость и горечь утраченных надежд. Едва войдя, обессиленные люди садились или ложились на скамейки, ступеньки, а то и прямо на пол и засыпали свинцовым сном. Я тоже сел на пол, прислонил голову к скамейке, на которой храпели трое других офицеров, и уснул.

Проснулся я часа через два или три. Все кости ломило,

хотелось есть и пить, и вообще было так худо, что дальше некуда. Офицеры на скамейке тоже очнулись и беседовали вполголоса. Первый завел обычный для последних дней разговор о том, каково истинное положение польской армии и способна ли она еще сопротивляться. Ему печальным, тихим голосом отвечал серьезного вида поручик:

— Они не лгут. Польской армии больше нет. Пускай мы не сумели оказать никакого сопротивления немецким танкам и самолетам, но почему вы думаете, что другие части были лучше вооружены? Мы оказались совершенно неподготовленными, нам нечего противопоставить немцам, — продолжал поручик-пессимист. — А в наши дни на одной храбрости войну не выиграешь. Нужны авиация и танки. Вы видели хоть один наш военный самолет? Да у немцев их, наверно, в тысячу раз больше. Со всей остальной армией случилось то же, что и с нами. Мы много дней не получали никаких приказов от командования. Почему? Потому что никакого командования больше нет.

— П*о*лно! — вмешался третий офицер. — Вы слишком мрачно смотрите на вещи. Пусть нам не повезло, это еще ничего не значит. Сейчас у нас нет контакта с основной частью армии, но вполне вероятно, что мы скоро о ней услышим. Оглянуться не успеете, как мы вернемся на фронт, и немцев вышвырнут из Польши быстрее, чем они в нее вошли.

— Что ж, — ответил пессимист. — Если оттого, что вы верите в нашу победу, вам будет лучше спаться, верьте себе на здоровье! Я не собираюсь отнимать у вас последние иллюзии.

Он говорил спокойно, веско, а потому убедительно. Поначалу я склонялся к его мнению, но нарисованная им картина была так мрачна, что мне не хотелось ее принимать. Чтобы вся польская армия была разбита за три недели — не может такого быть! В конце концов, немцы не волшебники. И вообще, мы же знаем: Варшава обороняется, по всей стране идут бои.

Утром подошел длинный товарный состав. Советские солдаты стали заталкивать нас в вагоны. Никаких документов не проверяли, устанавливать личности даже не пытались. Просто считали по головам: шестьдесят человек — полный вагон. Видимо, путешествие предстояло долгое, потому что русский офицер велел нам набрать воды из крана во все, у кого какие есть, емкости. Одновременно прибывали новые колонны пленных, создавая дикую неразбериху. Как я узнал позднее, тогда много кому удалось бежать: люди находили места, которые хуже охранялись, выбирались из здания вокзала, а там уж им помогало гражданское население Тарнополя, особенно женщины.

Я попал в один из первых подогнанных к платформе

шестидесяти вагонов, и мне еще целых два часа пришлось ждать, пока заполнятся остальные. Посреди вагона стояла железная печка, рядом с ней было свалено кучей несколько килограммов угля. Из этого мы заключили, что нас повезут в холодные края, далеко на север. Всем раздали по полкило сушеной рыбы и полбуханки хлеба.

Ехали долгих четверо суток.

Каждый день поезд делал остановку на полчаса. В вагон приносили шестьдесят порций черного хлеба и сушеной рыбы. После раздачи пищи, часть из которой тут же съедалась, нам разрешали выйти из поезда на четверть часа. Мы могли немножко подышать свежим воздухом и пройтись взад-вперед по платформе, размять наконец затекшие ноги. А заодно посмотреть на местных жителей.

Уже на второй день мы заметили, что они одеты не как поляки и говорят на чужом языке. Последние сомнения исчезли: мы в России. Немногочисленные группки любопытных, по большей части женщины и дети, глазели на нас, не проявляя ни сочувствия, ни враждебности. Сначала мы не решались подойти к ним, потом кое-кто рискнул. Русские не отшатнулись, а продолжали смотреть на нас, некоторые даже улыбались. Они дали нам попить, женщины даже принесли папиросы, настоящее сокровище! Судя по всему, перед нами тут провозили других пленных, иначе откуда бы им знать, что может пригодиться.

На следующей остановке нам представился случай получше узнать, как относятся к нам русские. Посредниками и переводчиками служили двое-трое наших офицеров, бегло говоривших по-русски. Какая-то женщина протянула одному из них, здоровенному малому лет тридцати, не слишком опрятно одетому, но еще похожему на офицера, котелок с водой. Тот сердечно поблагодарил и сказал:

— Вы наши друзья. Мы будем вместе бороться с немецкими варварами и победим.

Но женщина нахмурилась и презрительно ответила:

— Вы? Вместе с нами? Вы, польские паны, фашисты?! Мы вас тут, в России, научим работать. Для работы у вас сил хватит, а чтоб угнетать бедняков — нет.

Нас словно обухом огрели. Офицер так и застыл, а молодая женщина стояла и сурово смотрела ему в глаза. Она верила в то, что говорила, как в Священное Писание. Польскому пленному, как она считала, можно было дать воды, просто по-человечески, из жалости, но «братских чувств» со стороны русских он не заслуживал. Тогда я понял, какая пропасть разделяет наши страны, такие близкие по географическому положению,

этнической принадлежности и языку, но столь далекие друг от друга в силу истории и разницы политических режимов. По мнению этих людей, готовых поделиться с нами водой, именно мы, польские офицеры, были виноваты в розни между двумя странами. Мы в их глазах были сворой господ, панов-бездельников, неисправимых паразитов.

На пятый день поезд остановился в неурочное время. Мы доехали до места назначения. Вагоны открыли, нам велели выйти и построиться в колонну по восемь человек. Неподалеку виднелась деревушка, столь убогая, что ей даже не полагалось станционного здания. Только голая платформа. Несколько разбросанных домиков — вот и вся деревня.

С той минуты, как мы высадились из поезда, и в продолжение всего времени, проведенного в России, у меня не выходила из головы мысль о побеге. Я тосковал по родине, чувствовал себя потерянным, забытым Богом и судьбой и видел перед собой единственную цель: вернуться в Польшу, вступить в ряды нашей армии, которая, как я, несмотря ни на что, верил, все еще ведет тяжелые бои, и отомстить за ту страшную бомбардировку в Освенциме первого сентября 1939 года.

Нас куда-то погнали, и мы побрели, под резким ветром, с трудом переставляя ноги и переговариваясь на ходу о том, что с нами будет. Те, кто постарше, как водится, вели себя мужественно и принимали свою участь достойно и безропотно. Мы же, молодые, ругались, жаловались, строили планы бунта, прикидывали шансы на побег.

Но за несколько часов изнурительного марша все мысли о побеге и бунте улетучились. Только теперь мы по-настоящему ощутили, какая страшная беда на нас обрушилась и как далеко от нормальной жизни забросило нас за какие-то три недели. Я и сам до этого не сознавал, что был решительно отрезан от всего, что мне дорого: от близких, от друзей, от всех надежд на будущее. И каждая мелочь, каждый час словно расширяли и углубляли эту пропасть. Я нагнулся подтянуть лакированные кожаные сапоги, которые больно натерли мне ноги, и вдруг увидел, как дико смотрится эта роскошь на русской дороге, покрытой коркой затвердевшей грязи. Сапожки, заказанные у Хишпанских, лучших варшавских сапожников! Я так долго ждал эту обновку! Меня мучила жажда, и я вспомнил вина, которые подавали на балу в португальском посольстве, музыку, беззаботное настроение, сестер Мендеш… Не прошло и месяца, а как все переменилось!

Наконец мы остановились на большой поляне, по краю которой росли высокие раскидистые деревья. А посередине стояло несколько бывших, судя по всему, монастырских строений:

церковь, жилые корпуса, хлева, амбары[21].

Нам зачитали в рупор на польском языке с сильным русским акцентом правила нашей новой жизни.

Прежде всего офицеров отделили от рядовых. Затем всех разбили на группы по сорок человек. К солдатам, к нашему удивлению, отношение было лучше, чем к офицерам. Русские с самого начала дали понять, что условия содержания будут тем лучше, чем ниже звание, — все наоборот! Простых солдат поселили в каменных строениях, оставшихся от церкви и монастыря, а нас, офицеров, — в деревянных бараках, переделанных из амбаров и хлевов; всего таких бараков было десять, по сорок пленных в каждом. Особо выделили полицейских и тех офицеров-резервистов, которые в гражданской жизни были судьями, адвокатами или чиновниками. Голос из рупора назвал их «угнетателями польских коммунистов и трудящихся». Остальным пленным приказали построить для них посреди монастырского двора специальные деревянные лачуги[22].

Офицеров заставляли выполнять самую тяжелую работу. Мы валили деревья в лесу и грузили бревна в вагоны. Как бы то ни было, я не раздумывал, справедливо или несправедливо со мной обходятся. Просто старался как можно лучше приспособиться к такой жизни и даже видел в ней нечто благотворное. Большевики старались всеми средствами внушить нам, «польским панам-выродкам», что, как гласит распространенный в Советском Союзе лозунг, «любой труд почетен».

Пищу для нас готовили в огромных чугунных котлах. Отчищать их было трудно и противно, эта работа требовала больших усилий, от нее очень скоро стирались ногти и начинали болеть руки.

Русские объявили нам, что мы должны чистить котлы сами — их солдатам некогда. Тем, кто возьмется за это добровольно, будет в награду разрешено доесть остатки, которые они соскребут со стенок котлов.

В офицерских бараках вызвалось только три человека, в том числе я. Работа, конечно, была неприятная и грязная, зато в течение всех шести недель, пока я ею занимался, я питался лучше других и, как ни странно, даже получал от нее некоторое удовлетворение. Ведь я доказывал самому себе, что, если понадобится, смогу выполнять домашнюю работу не хуже любого другого.

Каждую свободную минуту я проводил со своим товарищем, поручиком Курпесем, молодым, порывистым, энергичным и готовым бежать, рискуя головой, если только появится хоть какой-то шанс на успех; мы вместе обсуждали способы побега.

Выйти из лагеря не так трудно, но сесть потом в поезд совершенно невозможно, это нас и останавливало. До станции несколько часов хода, нас почти наверняка схватят по дороге. Да и поезда надежно охраняются. В общем, всякая попытка пробраться через холодную враждебную страну в наших мундирах, не зная языка, была обречена заранее. Оставалось ждать счастливого случая. И вот однажды поручик посвятил меня в свой, на первый взгляд несуразный, план.

Я шел на работу после обеденного перерыва, и вдруг кто-то хлопнул меня сзади по плечу. Это был мой приятель, запыхавшийся и пунцовый от волнения.

— Есть хорошая идея, — сказал он мне на ухо заговорщицким шепотом. — Думаю, дело выгорит.

— Какая? — так же пылко спросил я.

Но, заметив шагах в тридцати подозрительно наблюдавшего за нами русского охранника, пошел дальше и сменил тон.

— Успокойся, черт возьми, — сказал я, стараясь сохранить невозмутимость. — У тебя такой вид, будто ты собираешься взорвать весь лагерь.

Я незаметно указал ему на охранника. Он понял и зашагал рядом со мной. Теперь мы выглядели нормально: двое пленных идут куда-то по своей надобности.

Поручик рассказал мне, что готовится обмен военнопленными в соответствии с пактом Молотова — Риббентропа. Согласно одной из его статей, обмену подлежали только рядовые. Немцы отпустят в Россию всех украинцев и белорусов, а русские перешлют в Германию всех граждан Польши немецкого происхождения, а также уроженцев польских территорий, включенных в состав Третьего рейха на том основании, что это «исконно германские земли»[23].

— Отлично! — усмехнулся я. — Значит, через неделю я буду танцевать в Варшаве на балу! Остается превратиться в рядового, поменять свидетельство о рождении, убедить русских и не загреметь в гестапо. Все проще простого — и как это я сам не догадался!

— Янек, я считал, ты умнее. Надо выбираться отсюда как можно скорей.

— Ну ладно. Давай подумаем, что из этого можно извлечь. Какие территории они там присоединили к своему рейху? Лодзь в него входит?

— Да. Видишь, тут все просто. У тебя есть какой-нибудь документ, подтверждающий, что ты там родился?

— Есть. Свидетельство о рождении, немножко потрепанное, но выправленное как положено. А у тебя?

— Место, где я родился, не удостоилось чести быть включенным в Третий рейх. Но я с этим потом разберусь. Давай пока займемся твоим случаем. Тебе остается только стать солдатом, а это легко. Я вообще не понимаю, как тебя занесло в офицеры!

— А я не понимаю, как я могу сойти за солдата. Форму не переделаешь, а другой у меня нет. Разве что украсть?

— Зачем красть! Попроси! Можно найти солдата, который не может или не хочет возвращаться, и если в нем есть хоть капля патриотизма или простой человечности, он согласится поменяться с тобой формами. Сделать это надо за пределами лагеря, в лесу, во время работы, так что ты вернешься уже переодетым — вот и все!

План казался безупречным, по крайней мере, он позволял вырваться из России. Русские охранники никогда не проверяли пленных по именам и документам. Пересчитывали — и все. Если я уговорю кого-нибудь из солдат — а я был уверен, что это нетрудно, — то подмену одного человека другим и одной формы другой никто не заметит. А уж по возвращении в Польшу — будь что будет! Очутиться там было бы невыразимым счастьем, и я ничуть не сомневался, что найду способ присоединиться к действующей польской армии.

— А как же ты? — спросил я. — Тебе нужно достать свидетельство о том, что ты родился на присоединенной к Германии территории. Вряд ли кто-нибудь захочет отдать тебе свое. Что ж ты будешь делать?

— Остается одно из двух: или достать такой документ, или попробовать и без него уломать советских начальников. Я понимаю, о чем ты думаешь. Если у тебя все получится, ты должен ехать без меня! А для меня можешь сделать вот что: когда поменяешься формой, надо будет идти к начальству и просить, чтобы тебя отослали в Германию. Так вот, последи, как поведет себя офицер, насколько внимательно он будет проверять документы и так далее. А я уж буду действовать исходя из этого.

Мы подходили к баракам. Мне надо было на кухню, ему — в свой барак, а потом на работу в лес.

— Ну, прямо сейчас и возьмусь за дело, — сказал я с бьющимся сердцем и, чтобы заглушить чувство вины перед поручиком за то, что у меня все складывается так удачно, прибавил: — Надеюсь, уже к вечеру смогу тебе что-нибудь рассказать.

Он улыбнулся и помахал на прощание рукой.

На кухне рядом со мной работал толстый крестьянин-украинец по фамилии Парадыш; он был немного выше меня,

примерно того же возраста; мы неплохо ладили. Он сразу заметил, что я взбудоражен, и спросил почему. Я ответил, что мне нужна его помощь, что это очень важно, и, пока мы драили котлы, рассказал весь план действий. Идея ему понравилась, он согласился не раздумывая. Во-первых, он не верил в посулы немцев и не согласился бы на обмен, даже если бы имел на него право, а во-вторых, ему очень хотелось мне помочь. Решено было проделать все во второй половине дня на лесоповале, где работали и солдаты и офицеры.

Когда мы шли на вечернюю работу в лес, я затесался в тот отряд офицеров, который был ближе к выходящим из бывшей церкви солдатам. Охраняли нас не очень тщательно — русские понимали, что если кто-нибудь и сбежит из лагеря, то далеко не уйдет. По дороге я заметил, что мой друг Парадыш примкнул к самому ближнему к нам отряду солдат. Мы шли метрах в двадцати друг от друга, и между нами никого не было. Проходя мимо толстенного дерева, украинец указал на него рукой. Я кивнул.

Еще пара минут — и мы добрались до места работы. Я замахнулся топором и рубанул по лежавшему передо мной стволу, снова поднял топор и осмотрелся. Охранник находился от меня метрах в ста, других поблизости не было. Я отшвырнул топор и, стараясь не шуметь, побежал к дереву, которое показал мне друг. Он уже стоял за ним, полураздетый. Я бросился на землю и стал стягивать с себя форму.

— Слов нет, как я тебе благодарен, — смущенно выговорил я, снимая китель и рубашку.

— Ладно, помалкивай, — усмехнулся украинец. — И не переживай. Я даже не собираюсь жить с твоими офицерами. Надевай мою форму — назад пойдем вместе. Когда дойдем до церкви и нас пересчитают, ты входи, а я приотстану. Проскочу мимо охранников немного погодя. Документы у меня есть, а доказать, что я солдат, легче легкого — сорву погоны, и твоя форма сойдет.

— Отлично! — сказал я. — Хотя офицеры не такие уж плохие.

— А я и не говорю.

— Спасибо, спасибо тебе!

Мы переоделись. Сорвав знаки различия с моего кителя, солдат Парадыш быстро закопал их в землю. И мы оба поспешно вернулись на свои места. Чтобы справиться с лихорадочным волнением, я орудовал топором как бешеный. Когда настало время возвращаться в лагерь, я пошел налево и смешался с солдатами. Их предупредили о моем появлении, так что никто меня ни о чем не спрашивал. У входа в церковь охранники

проверили, сколько нас. Мой друг отстал и вскоре залез внутрь через маленькое неохраняемое окошко. Все прошло как по маслу. Теперь я был рядовым.

На следующее же утро я сказал охраннику, что хочу поговорить с комендантом лагеря. Узнав, по какому поводу, охранник повел меня в один из оборудованных в здании церкви кабинетов.

За столом сидел и что-то писал немолодой офицер. Он посмотрел на меня, зевнул, потянулся, заглянул в мои документы и спросил:

— Как зовут? Что надо?

— Рядовой Козелевский, бывший рабочий, родом из Лодзи.

— Ну и что ты хочешь?

— Вернуться на родину, пан комендант.

— Ладно. Я запишу. — Он уже отпустил меня, но вдруг передумал и небрежно спросил: — Чем ты можешь подтвердить место рождения?

Я показал ему свидетельство. Он мельком на него взглянул, взял листок бумаги, что-то на нем написал и усталым жестом положил на место. Потом снова зевнул, потянулся и потер глаза. Наверно, я невольно хмыкнул, глядя на него, потому что он вдруг взвился и заорал:

— Нечего тут торчать!

Меня отвели обратно. Я еле сдерживал ликование и с трудом сохранял спокойный вид. После обеда я отыскал в лесу поручика Курпеся, все ему рассказал и заверил:

— Этого без всяких документов легко убедить. Он и сам рад выпроводить всех, кого можно.

Поручик тоже так думал.

— Все-таки я попробую в ближайшие дни раздобыть документы, — сказал он. — Не стоит лишний раз рисковать.

— Хорошо бы мы поехали вместе.

— Да, если я успею к ближайшей отправке. Если же нет, встретимся в Варшаве. Тебе лучше ехать не откладывая. На случай, если больше не увидимся, прощай! Желаю удачи!

— Постарайся успеть. Тебе тоже удачи, будь осторожен!

С тех пор я его не видел. Уже на следующее утро меня отправили тем же путем, каким я ехал полтора месяца назад, только в обратном направлении, в составе двух тысяч солдат, которых русские меняли на такое же количество украинцев и белорусов.

Кто-то из тех, кого так же обменяли, потом сказал мне, что ехал вместе с Курпесем. Это все, что мне о нем известно. Больше наши пути не пересекались.

Глава III
Обмен и побег

Обмен пленных происходил в Пшемысле[24], городе на установленной пактом Молотова — Риббентропа советско-германской границе[25]. Конечным пунктом нашего пути был лагерь на городской окраине, куда мы добрались на рассвете. Нас тут же построили шеренгами по двенадцать человек. День был холодный и ветреный — начало ноября. С утра пошел и зарядил до самого вечера мелкий дождь.

Наша тонкая летняя форма давно истрепалась и превратилась в лохмотья. От непогоды мы защищались кто как мог, закутываясь самым причудливым образом. Нам пришлось ждать пять часов в грязи, под открытым небом. Многие солдаты сели на землю и накрылись циновками, сплетенными из соломы и скрепленными обрывками веревки.

Русские охранники, как всегда, были снисходительны, насколько позволяла военная дисциплина. Чтобы они били или унижали пленных — такого я не видел ни разу. В худшем случае могли пригрозить: «А ну уймитесь, не то в Сибирь угодите!» Так уж повелось: Сибирь — привычное пугало для многих поколений поляков.

Нередко советские солдаты даже вступали в разговор с польскими пленными. Я переходил от одной группы к другой, прислушивался и пытался разузнать, как обстоят дела и что нас ждет. Но не очень в этом преуспел — общению мешал языковой барьер. Всех охранников обижало то, что мы предпочли попасть к немцам, и они внушали нам, что это глупо и ничего путного из этого не выйдет: «У нас хорошо, у немцев хуже будет». Я слышал эту фразу так часто, что она застряла у меня в голове.

Если кто-то спрашивал, как поступят с нами немцы, ответ был неизменный: «Наше правительство просило немцев освободить вас. Они согласились, но сказали, что вам придется работать, вот теперь они и заставят вас вкалывать».

Большинство из нас были рады вырваться из советских лагерей, но все, как чумы, боялись немцев. Мне тоже было страшно очутиться в их власти, но я помнил, что делаю это, чтобы присоединиться к польской армии. И по-прежнему был уверен, что в стране существуют и отважно сражаются хотя бы партизанские отряды[26]. Но вот послышался шум мотора, к нам подъехала военная машина, и все разговоры оборвались. Кроме шофера, в ней были два советских и два немецких офицера.

Каждый норовил вежливо пропустить вперед остальных. Настоять на своем удалось русским: они шли на полшага позади немцев. Эта церемонная учтивость, призванная продемонстрировать воспитанность офицеров, о многом говорила и не ускользнула от внимания пленных.

— Ишь как эти сукины дети друг с другом вежливо обходятся! Чтоб им всем сдохнуть! — язвительно воскликнул стоявший слева от меня.

Эту опасную реплику могли услышать. Не глядя на соседа, я лягнул его в ногу. Офицеры медленно прошли перед нами, не отдав никакого приказа. Воинская дисциплина на нас не распространялась. Мы были просто рабы, разменная монета. Немецкие офицеры брезгливо нас рассматривали. Один из них показал пальцем на босого, растрепанного, грязного пленного с циновкой на голове и что-то сказал остальным. Наверное, отпустил шуточку, потому что все четверо покатились со смеху.

Когда офицеры ушли, я обернулся к возмущенному соседу. Это был паренек лет двадцати, не больше, с длинными темными волосами и огромными глазами на бледном исхудавшем лице. Форма висела мешком на его тощем теле, фуражки не было.

— Осторожно, — шепнул я ему, — если не хочешь, чтобы тебя расстреляли.

— Мне все равно, — с отчаянием в голосе ответил он, — в жизни все так запутано, кругом сплошная мерзость.

Я удивился его правильной речи. Другие солдаты говорили или по-деревенски, на разных диалектах, или на городском жаргоне. Но он, видно, совсем пал духом.

— Давай держаться вместе, — сказал я.

— Давайте.

Я улыбнулся. Как давно никто ко мне не обращался на «вы». Все были на «ты» и звали друг друга по именам или по прозвищам с бранными словечками в придачу.

После смотра мы прошли еще два-три километра и остановились у моста через широкую мутную реку[27]. На другом конце моста мы увидели, словно в зеркале, точно такую же пеструю толпу. Только охранники были немецкие. И тут стало понятно, что в нашей жизни начался новый этап: мы окончательно переходили под власть немцев.

Как правило, обмен пленными — радостное событие. В нашем случае это было не так: людей мучили сомнения, сожаления, зависть, чуть ли не каждый видел в другом врага.

Когда первая группа украинцев и белорусов поравнялась с группой поляков, вслед за которой должны были идти мы, посыпались грубые, злобные насмешки. Тон задал дюжий

украинец, заоравший во все горло:

— Посмотрите на этих олухов! Не знают они, куда их гонят.

Поляки на минуту оробели перед этим верзилой, но потом один из них набрался храбрости и крикнул:

— За нас не беспокойтесь! Мы-то знаем, что делаем. И вам не завидуем[28].

Немцы быстро построили нас в колонны. Один из офицеров, производивших смотр, обратился к нам с речью, которую нам тут же перевели на польский. Он обещал, что с нами будут хорошо обращаться, хорошо кормить и дадут работу. А унтер-офицеры, сопровождавшие нас на вокзал, эти обещания подтвердили.

Перед тем как посадить в поезд, нам дали минутку, чтобы напиться из колодца и наполнить водой бидоны и бутылки. Когда же мы погрузились, охранники стали кидать в вагоны буханки черного хлеба и банки с искусственным медом, приговаривая, что это вся наша еда на двое суток. В вагонах было по шестьдесят человек, а буханок кидали только тридцать. Каждую поделили на двоих.

Ехали два дня и две ночи. И всю дорогу гадали, что нас ждет. Спорили только о том, в каких условиях придется жить, а в том, что нас отпустят, почти никто не сомневался. С этой иллюзией мы прибыли в Радом, город в центральной части Польши. Немцы выстроили нас в колонну, действуя тычками и окриками. Командовать, тоже очень грубо, стали офицеры, и вместо обещаний мы услышали от них смутные угрозы. Это было неприятно, но ничуть не поколебало нашей уверенности в том, что мы получим свободу, — только эта мысль мешала нам искать способы побега начиная с самого Пшемысля и продолжала удерживать в колонне, пока нас гнали, почти без конвоя, в Радомский пересыльный лагерь. Хотя именно тогда, шагая по дороге, грязные и полумертвые от усталости, мы впервые заподозрили неладное.

Опасения подтвердились, когда мы увидели огромный зловещий лагерь, обнесенный мощными заграждениями из колючей проволоки.

Нас привели в самый его центр и опять посулили, что скоро отпустят и дадут работу, а пока что всякое нарушение дисциплины будет немедленно и жестоко караться. Того, кто попытается бежать, расстреляют на месте.

Из этого я сделал вывод: надо бежать, и как можно скорее. Такое откровенное предупреждение говорило об одном: нас собирались держать как заключенных самого строгого режима. Но, оглядевшись, я понял, что побег отсюда — дело практически невозможное. Лагерь надежно охранялся: со всех сторон была

натянута непреодолимая колючая проволока, всю территорию обозревали с вышек охранники.

С первых же дней Радом показал мне пример совершенно нового, доселе небывалого образа мыслей и диких, я бы сказал, нравственных принципов. Царившая там жестокость, бесчеловечность далеко превосходили все, что я когда-либо видел, и перевернули мои представления о мире.

Условия в лагере были неимоверно тяжелые. Кормили два раза в день помоями, такими отвратительными на вкус, что многие, в том числе и я, не могли заставить себя проглотить ни ложки. Кроме того, нам полагалось еще по двести граммов черствого хлеба. Жильем служило полуразвалившееся здание, в котором с трудом можно было признать бывшую казарму. Спать приходилось прямо на полу, прикрытом тонким слоем соломы, которую, верно, не меняли с самого начала войны. Ни одеял, ни плащей — ничего, что защитило бы от ноябрьской сырости, — не выдавали. О медицинской помощи не было и речи. Там я узнал, каким пустяком может считаться смерть человека. Сколько вокруг меня умерло людей, которые могли бы жить и жить, — от холода, от голода, от непосильной работы, от пули в наказание за нарушение лагерных правил, которого порой и не было!

Но больше всего меня ужасало не то, в каких жутких условиях мы жили, и даже не жестокость охранников, а то, что в их действиях, по всей видимости, не было никакого смысла. Их вовсе не заботила дисциплина, они не добивались от нас послушания, не старались предотвратить попытки побега, у них даже не было особого желания унижать нас, мучить, доводить до полного истощения, хотя получалось именно так, — все это просто доставляло им удовольствие, было следствием какого-то непостижимого изуверства.

Любое приказание или замечание неизменно начиналось с обращения «польская свинья». Они никогда не упускали случая двинуть пленному ногой в живот или кулаком в лицо. Малейший проступок или даже намек на какую-нибудь провинность карались немедленно и самым жестоким образом. За то недолгое время, что я пробыл в лагере, на моих глазах раз шесть расстреливали несчастных, которые якобы пытались перебраться через колючую проволоку.

В поезде я познакомился с тремя солдатами, и потом в лагере мы очутились рядом. Первая же ночь сплотила нас еще больше: мы не могли заснуть, все трое, как оказалось, мечтали бежать при первой возможности, и мы заключили союз, в котором у каждого была своя роль, объединив ради общего блага все, что у нас имелось, включая знания и умения. Двое из моих друзей были

крестьяне, основательные, выносливые, неунывающие и не сломленные выпавшими на нашу долю несчастьями. Третий же относился к разряду тех редкостных личностей, какие не раз встречались мне на войне; уже само присутствие такого человека вселяло надежду и помогало пережить самые тяжелые времена. Звали его Франек Мачёнг, до войны он работал механиком где-то под Кельце. Крепкий, здоровый малый лет тридцати с ежиком жестких, как проволока, черных волос, из-за которых все над ним подшучивали. Он был умен, сообразителен, свято верил, что нам удастся перехитрить немцев, к которым он питал величайшее презрение и ненависть. И, что ценнее всего, у него был неиссякаемый запас энергии и сердечного тепла.

Мы пересмотрели все свое имущество — у нас нашлось множество полезных вещей. У крестьян имелось несколько пар целых носков и кальсон, один из них прихватил с собой походные вилки-ложки, которые служили его отцу в Первую мировую. У Франека были бритва, складной нож и сотня злотых, зашитых в подкладку. От одного железнодорожника в Люблине мы, к радости своей, узнали, что польские деньги все еще в ходу, хотя и упали в цене. У меня на шее висел золотой медальон с образом Остробрамской Божией Матери, а в подметке ботинка были спрятаны двести злотых.

Бодрость и врожденный здравый смысл трех моих преданных добрых товарищей очень меня поддерживали. Они же, полагаясь на мою образованность и знание немецкого языка, ждали от меня советов и руководства. Думаю, они догадались, что я переодетый офицер, но вопросов никогда не задавали. Франек сразу окрестил меня «профессором», и это прозвище так за мной и осталось. Наше маленькое содружество оказалось очень сплоченным.

Мы договорились, что еду на всех четверых будет приносить кто-нибудь один, чтобы как можно меньше показываться «на кухне», где частенько расхаживал немецкий унтер-офицер, любивший размахивать направо и налево хлыстом под предлогом наведения порядка, а то и просто так, без всякого повода. Он же следил по утрам, чтобы мы вовремя вставали, и подгонял запоздавших хлыстом или ударами тяжелых подкованных сапог. Помогали мы друг другу и в поисках пищи, которые начались уже через три дня после прибытия в Радом.

Лагерь находился в пригороде, и мы скоро заметили, что кто-то невидимый постоянно то там, то тут перекидывает через проволоку бумажные свертки. Чаще всего в них были хлеб и фрукты, иногда ломтики сала, немного денег и даже обувь, ношеная, но не вовсе негодная, а для нас так просто бесценная. Новости в лагере распространяются мгновенно, и каждый день

толпа пленных рыскала в кустах вдоль проволоки, отыскивая эти сокровища.

Должен признаться, я проявил в этих поисках изрядную смекалку. Свертки, как я заметил, чаще всего попадались в одном и том же месте, куда имели доступ не все, кого взяли в плен немцы, а только мы, обмененные поляки. Это место находилось за нашим сортиром, где рос густой кустарник. Я стал наведываться туда при каждой возможности, и в конце концов мои старания увенчались успехом. Я нашел-таки сверток со снедью, в котором лежали кусок хлеба, намазанный жиром, завернутая в бумажку щепотка соли и бутылка с какой-то вонючей жидкостью непонятного предназначения.

Я гордо принес находку товарищам. Франек открыл загадочную бутылку и вскрикнул от радости. Это была настоящая драгоценность — средство от вшей и чесотки. Ведь у нас зудела вся кожа, паразиты кишели в волосах и в одежде.

После этого я еще три дня подряд находил там же по свертку и даже установил связь с нашим таким предусмотрительным благодетелем. Оторвал клочок бумаги от свертка и огрызком карандаша написал: «Не можете ли вы принести нам гражданскую одежду? Нас четверо, и мы хотим во что бы то ни стало бежать».

На другой день спозаранок я побежал к кустам и тут же наткнулся на сверток. В нем была еда — больше, чем прежде, и записка: «Одежду принести не могу — меня заметят. Через несколько дней вас выведут из лагеря и повезут на принудительные работы. Постарайтесь сбежать по дороге».

С этого времени мы с друзьями держались наготове.

Дней через пять нас разбудили еще раньше обычного. Унтер с остервенением орудовал хлыстом. В серых предрассветных сумерках всех собрали и без объяснений повели на ближайшую железнодорожную станцию. Мы вчетвером лихорадочно перешептывались, соображая, что делать, но нас слишком хорошо охраняли, так что никакой возможности выскользнуть из колонны не представилось. Рассудив, что бежать из поезда будет легче, мы решили подождать.

На станции уже ждал длинный товарный состав. Охранники, подталкивая нас штыками и ругая «польскими свиньями», стали загонять в вагоны — человек по шестьдесят — шестьдесят пять в каждый. До войны в этих вагонах перевозили скот, о чем говорил их вид и запах. Длиной они были метров пятнадцать с небольшим, шириной три и высотой два с половиной метра. Не считая дверей, свет проникал внутрь через четыре узеньких окошка на уровне глаз. Только мы расположились в вагоне, как вошел ефрейтор и с ним охранник, который принес черствый

хлеб. Пока он нам его раздавал, ефрейтор стоял у двери с пистолетом в руках. Охранник, следуя его примеру, выхватил свой. Ефрейтор осмотрелся, направил оружие на каждого из нас по очереди, чтоб сидели тихо, и прокричал на скверном польском:

— Внимание! Всех вас отправляют туда, где вы получите свободу и работу. Если будете вести себя как следует, бояться нечего. Но имейте в виду: поезд под надежной охраной, кто попытается бежать, будет немедленно убит. Каждые шесть часов вас будут выпускать на пятнадцать минут, а начнете шуметь и пачкать вагон — прикончат.

Он обвел нас суровым взглядом, словно пресекая возможное возмущение, и вышел из вагона, охранник за ним. Дверь закрыли на засов — мы услышали железный лязг.

После нескольких толчков поезд тронулся и поехал, медленно, то и дело останавливаясь и только изредка развивая приличную скорость.

Мы устроили совещание.

— Теперь или никогда, — сказал я товарищам. — Если не сбежим из поезда, всё — до конца войны нам не вырваться.

Они согласились. Оставалось выбрать подходящее место и время. Один из крестьян сказал, что лучше всего смыться на очередной пятнадцатиминутной остановке. Но мы отказались от этой идеи — на стоянках охранники были начеку.

Решено было дождаться вечера — когда въедем в леса, окружающие Кельце. Только вот выпрыгнуть из такого окошка непросто. Я припомнил, как мы делали в подобных случаях в детстве: трое поднимали четвертого и сначала пропихивали, а потом выталкивали его наружу.

— Но тогда, — заметил второй крестьянин, — нам понадобится помощь других солдат.

— Заручиться согласием всего вагона все равно придется, — возразил ему на это Франек. — Ведь из-за нас могут наказать всех, и если они воспротивятся нашему побегу, нам конец. — Он посмотрел на меня: — Ты должен убедить их. Скажи, кто ты и зачем собираешься бежать. Произнеси речь.

После секундного колебания я согласился. Роль моя в этом деле была такова, что отказываться не пристало. К тому же у меня имелся некоторый опыт в искусстве красноречия. В юности я намеревался стать великим оратором, много работал над собой, изучил любимые приемы всех крупных европейских политиков и дипломатов.

Итак, план был готов. Мы сидели как на иголках и ждали, когда стемнеет и начнутся леса. Франек то и дело выглядывал в

окно. Наконец он порывисто шепнул:

— Пора. Скоро подъедем куда надо. Толкай свою речь.

Я встал и громко заговорил:

— Поляки! Сограждане! Послушайте меня. Я не солдат, а офицер. Мы — я и вот эти трое — хотим спрыгнуть с поезда и скрыться, но наша цель — примкнуть к польской армии. Немцы лгут — мы знаем, что наши отважно бьются. Не хотите ли и вы выполнить свой воинский долг, бежать вместе с нами и сражаться за родину?

При первых моих словах люди встрепенулись, потом стали усмехаться, словно слушали бред сумасшедшего. Но чем дальше, тем серьезнее они становились, и многие явно собирались помешать нам. Я замолчал. Вагон зашумел — вскипели споры, одни одобряли, другие возражали. Человек семь-восемь солдат постарше в дальнем конце вагона яростно противились всем моим доводам.

— С чего это мы должны вам помогать? — кричал один из них. — Если вы сбежите, немцы расстреляют всех остальных. А нам самим бежать незачем. Когда мы начнем работать, немцы будут с нами прилично обращаться. Да и вам от побега никакого толку не будет, только хуже станет.

Несколько голосов поддержали его:

— Нет, нет! Не пускайте их! Нас всех расстреляют.

Я всегда считал, что ничто так не подхлестывает оратора, как злость. Нужные слова находились сами собой.

— Вы молоды, — говорил я. — Большинству из вас по двадцать лет, кому-то всего восемнадцать. Неужели вы готовы прожить всю жизнь в рабстве у немцев? Они хотят покорить Польшу и уничтожить поляков. Ведь так они и говорили. Допустим, когда-нибудь вы вернетесь домой. Что скажут ваши родные и друзья, когда узнают, что вы работали на врагов?

Мои противники сразу притихли. Может, я и не убедил большую часть солдат попытать счастья вместе с нами, но удерживать нас они раздумали. Восемь человек все же присоединились к нам. Еще несколько вызвались помочь выпрыгнуть из окошка. Уже достаточно стемнело, чтобы приступить к делу. К тому же пошел дождь, это означало, что мы промокнем и продрогнем, зато уменьшало риск напороться на охранника. Я наскоро объяснил, что надо делать, и мы выстроились перед двумя окошками — по шестеро перед каждым. Первым выбросили Франека. Один ухватил его под руки, другой — под коленки, третий взялся за лодыжки. Мы прислушались — все тихо. Я выглянул наружу, но Франека не увидел. Или ему удалось встать и побежать, или он лежал на земле и был

незаметен в темноте под дождем.

Железная дорога петляла по лесу, поезд ехал на малой скорости. Надо было действовать очень быстро. Каждого нового беглеца поднимали, просовывали в окно и выталкивали наружу. Таким образом выпрыгнули уже четверо, как вдруг грянул ружейный выстрел. И сразу мощный прожектор прошелся лучом по всему составу. Мы замерли. Я понял, что стреляли и светили с наблюдательного пункта, устроенного скорее всего на крыше последнего вагона, и крикнул: «Давайте скорее, пока поезд не остановился!» Остановится он или нет? Я надеялся, что немцы не станут менять свои планы ради какой-то горстки беглецов. Так и вышло — поезд шел себе и шел. Помощники выбросили еще четверых — раздались новые залпы. В промежутках между выстрелами вылетело еще двое солдат. Мы услышали, как один из них, упав, крикнул «Иисусе!» и застонал. Из всех, кто хотел бежать, в вагоне осталось только трое. Отступать было поздно. Кого-то вытолкнули из одного окна, меня поднесли к другому. Пара пуль просвистела совсем рядом, а потом меня тоже толкнули, и я полетел по воздуху.

Приземлился я на ноги. За счет прыжка и движения поезда меня отнесло вперед и влево. Я зашатался, попытался удержать равновесие, но все-таки свалился лицом вниз. Густая трава смягчила удар. Я ничего не повредил, только с трудом переводил дыхание. Опять прозвучали выстрелы. Я встал, побежал к лесу и, притаившись под деревом, стал ждать, не появится ли кто-нибудь из наших. Стрельба прекратилась, грохочущий поезд исчез вдали. Видимо, искать нас не стали.

Полчаса прошло в тщетном ожидании. Я мог только гадать, что случилось с другими, и жалеть, что не сообразил договориться о встрече с тремя моими друзьями, особенно с Франеком, который хорошо знал эти места. Наконец я увидел, что кто-то, шатаясь, бредет между деревьями. Я окликнул его, спросил, не ранен ли он. Он ответил «нет» и подошел ко мне — молодой солдат, лет восемнадцати, бледный, дрожащий, худенький, как мальчик, с курчавыми волосами. Такому не в армии место, а в школе или в сиротском приюте. Весь его вид говорил, что он отчаянно нуждается в помощи. Я предложил ему сесть и отдохнуть, сказал, что бояться нечего. Нам удалось бежать, мы целы и невредимы, преследовать нас немцы не будут. Он спросил, что я собираюсь делать, я ответил, что вообще-то хочу пробраться в Варшаву, но прежде всего нам надо раздобыть одежду, кров и еду. Варшава ему тоже подходила — у него там жила тетка. Сидя в темноте, мы стали обсуждать план дальнейших действий.

Ни я, ни он не знали той части Польши, где мы находились. Одетые в ветхую солдатскую форму, без всяких документов, голодные, обессилевшие от тягот последнего времени, а тут еще хлынул ливень, и мы промокли до нитки. Оставалось положиться на удачу. Мы решили постучаться в дверь первого попавшегося дома и долго шли напролом через лес, пока не наткнулись на узкую полоску утоптанной земли — тропинку или дорогу.

Три часа плелись мы под дождем; наконец вдали показалась деревня. На подходе к ней мы опасливо замедлили шаг. На цыпочках подобрались к первому дому, типичному крестьянскому жилищу, и нерешительно остановились у порога. Слабый свет пробивался из-под двери. Нервы у меня не выдержали, и, вместо того чтобы постучать, я саданул в нее ногой.

— Кто там? — спросил дрожащий голос, и у меня полегчало на душе.

— Пожалуйста, откройте, — сказал я, стараясь говорить вежливо, но настойчиво. — Это очень важно.

Дверь тихонько открылась, на пороге показался седой бородатый старик крестьянин. Он стоял в одном исподнем и трясся от холода и страха. Изнутри дохнуло теплом — я чуть не потерял сознание от острейшего желания согреться.

— Что нужно? — спросил хозяин дома не то испуганно, не то раздраженно.

Я не стал прямо отвечать на вопрос, а решил сыграть на его чувствах и спросил:

— Вы поляк или нет?

— Ясное дело. Кто же еще? — ответил он, не раздумывая и на удивление твердо.

— И вы любите свою родину? — продолжал я.

— Да.

— И веруете в Бога?

— Верую.

Старик уже не выглядел испуганным, ему не терпелось узнать, к чему я клоню.

— Мы польские солдаты, сбежали от немцев. А сейчас идем к нашим, чтобы сражаться за Польшу. Еще не все потеряно. И вы можете нам помочь, дать нам штатскую одежду. Если же вы откажетесь и выдадите нас немцам, Господь вас покарает.

Он посмотрел на меня сверху вниз — я не мог понять, взволновала, встревожила или рассмешила его моя речь, — и ровным голосом сказал:

— Заходите. Не стойте под дождем. Я вас не выдам.

Мы вошли и повалились на два кресла, когда-то роскошные, теперь же старые и рваные. Они странно смотрелись в соседстве с

прочей мебелью: столом, скамейками и парой стульев, сколоченных из грубо обструганных сосновых досок. Комнату освещала тусклая масляная лампа. Около печки, от которой исходило благодатное тепло, сидела старая крестьянка в платке, с обветренным морщинистым лицом.

— Это польские солдаты, сбежали от немцев, — сказал ей муж. — Они замерзли и хотят есть. Дай-ка им чего-нибудь для согрева.

Старуха улыбнулась и поставила греться на печку молоко. А когда оно закипело, разлила его в две массивные чашки и подала нам вместе с ломтями черного хлеба. Мы жадно набросились на еду, а когда насытились, я стал горячо благодарить хозяев, стараясь искупить резкий тон, который взял поначалу. Старик молчал с непроницаемым видом.

— Идите спать, — наконец сказал он без всякого выражения. — Отдыхайте, завтра поговорим.

Он подозвал нас и открыл дверь в темную комнатку:

— Там только одна кровать, но широкая, вдвоем поместитесь. Одеяла тоже есть, если надо.

Мы быстро разделись и залезли под одеяла. В первый раз за несколько месяцев мы лежали на матрасе. Пусть даже он был тонкий, жесткий и грубый — мы этого не замечали. Только успели подумать, как нам повезло, и тут же уснули. Ночью я несколько раз просыпался от каких-то укусов и покалываний по всему телу. Но был слишком сонный, чтобы искать причину этих ощущений, а поскольку мой спутник спокойно похрапывал, я решил, что мне просто чудится или болят чирьи, которых у меня было предостаточно. Оказалось, ни то и ни другое. В постели было полно блох. Они так и остались на нас, и мне потребовались недели, чтобы окончательно от них избавиться.

Проснулись мы около полудня, в узкое окошко над кроватью ярко светило солнце. Несмотря на блох, я чувствовал себя окрепшим, бодрым и полным надежды.

Хозяин услыхал, что мы зашевелились, и распахнул дверь, как раз когда мы занимались охотой на блох. Он густо захохотал:

— Их слишком много, всех не переловите! Простите, господа, что не мог предложить вам что-нибудь получше, но блохи — это не так страшно.

Я пробормотал, что все равно хорошо выспался, и поблагодарил его за гостеприимство.

— Вам от нас мало проку, — сказал старик. — Мы и раньше-то жили бедно, а теперь, при немцах, и вовсе худо стало. Помочь — поможем, всем, что у нас есть, поделимся, но вам надо уходить. В любую минуту могут прийти немцы и схватить вас.

— Вы хороший человек, — сказал я ему.

Старик отдал нам, видимо, свои последние драные одежки: две пары штанов и два старых потрепанных пиджака. Взамен мы оставили ему свою форму. А еще предложили часть наших припрятанных злотых, но он наотрез отказался. Хозяйка дала нам еще по чашке молока и две буханки черного хлеба в дорогу.

Когда мы уже стояли на пороге в наших прекрасных костюмах и с хлебом в руках, старик спросил, знаем ли мы, где находимся и куда идем.

— Наверное, недалеко от Кельце, — ответил я. — А идем мы в польскую армию, которая сражается с немцами.

— Значит, идти вам некуда, — возразил старик.

— Как это некуда?

— Польской армии больше нет. Отдельные солдаты еще встречаются, но армии уже нет — она разбита. Разве немцы вам не говорили?

Я остолбенел. И сначала подумал, что этому простому мужику заморочила голову вражеская пропаганда.

— Говорили. Но мы не поверили. Они врут, а нас так просто не обманешь.

— Они не врут. Все знают, что польской армии больше нет. Так говорят по радио и пишут в газетах. И мы это узнали не от немцев, а от своих соседей. Варшава и Поморье оборонялись несколько недель, но потом сдались. И теперь Польши не существует. Одну половину захватили немцы, другую — русские!

Мой спутник так и затрясся.

— Один Бог может нас спасти, — вмешалась старая крестьянка.

— Нет никакого Бога! — крикнул солдат.

— Есть, парень, — спокойно возразила она. — Бог есть. На него вся надежда.

Я обнял его за плечи и сказал:

— Не отчаивайтесь. Франция и Англия придут нам на помощь. Скоро они зададут немцам жару. — И, не отпуская парнишку, обернулся к старику: — Что слышно о Франции и Англии? Вы что-нибудь знаете о союзниках?

— Ничего. Знаю только, что союзники нас бросили[29].

Хозяйка подошла к солдатику и постаралась его утешить:

— Не падай духом, парень. С Польшей такое не впервой. Немцев еще прогонят. Возвращайся домой и не теряй веры. Ты жив и здоров — уже хорошо.

Тот ничего не ответил. Крестьянин показал нам дорогу на Кельце и Варшаву. Его жена поцеловала нас обоих на прощанье, и я чуть не прослезился, когда наклонялся к ней. Она благословила

нас, и мы пустились в путь.

Мы медленно шли по большой дороге в сторону Кельце. Мой спутник все время плакал.

До города мы добрались за три часа. Бедный малый не мог даже отвечать на мои вопросы, только кивал головой. В Кельце, вернее, на его руинах, я повстречал медсестру в форме польского Красного Креста и сказал ей, что мой друг нуждается в отдыхе и присмотре, иначе он покончит с собой. Она обещала помочь и сказала, что в Красном Кресте могут приютить меня тоже. Я поблагодарил и спросил дорогу на Варшаву. Сестра показала, пожелала мне удачи, и я пошел дальше один.

Глава IV
Разгромленная Польша

Задерживаться в Кельце я не стал — сразу после недолгой передышки двинулся в путь: через городские предместья и дальше, к Варшаве, которая представлялась мне землей обетованной. Меня тянуло в столицу, как в благодатную гавань; там, казалось мне, я обрету новый смысл жизни или хотя бы покой и безопасность, ну, на худой конец, пойму, что делать дальше.

Кончалась вторая неделя ноября 1939 года. Почти три месяца прошло с той ночи, когда мне вручили красную карточку с приказом о мобилизации. И чуть больше двух — с другой, когда немцы бомбили Освенцим и я проснулся от страшного грохота. Все это время было чередой потрясений. Мир, в котором я жил прежде, рушился. Я походил на потерпевшего кораблекрушение, которого швыряет с волны на волну посреди океана. Он борется, пока хватает сил.

Польши больше не было. Она перестала существовать. А вместе с ней исчезло все, из чего состояла моя жизнь. Теперь я начал понимать тех, с кем встречался раньше: офицера, который покончил с собой у Тарнополя, убедившись, что в мире все плохо и больше не для чего жить; парнишку, которого я оставил в Кельце тихо глотающим слезы. Они раньше меня поняли, что наша Польша разрушена. И, осознав это, поступали искренне и по-человечески. Были честны с собой. Не то что я, когда упрямо произносил безумные речи о польской армии, которая-де наверняка где-то еще сражается. Действительно ли я в это верил или просто хотел заглушить громкими фразами свою тревогу?

Почему для Польши поражение имеет совершенно особое значение?

Чем Польша отличается от других стран? И наша нация от других наций? Мне вспомнились лекции моих преподавателей во Львовском университете Яна Казимира, разговоры с отцом и братом…

У поляков чрезвычайно сильно чувство общности между отдельным человеком и всей нацией — чувство, подкрепленное историческим опытом, который показывает, что проигранная война влечет за собой губительные для всего народа последствия. В других странах за поражением следует оккупация, они выплачивают контрибуцию, вынуждены сократить армию, иногда дело доходит до изменения границ. Когда же польские солдаты

терпят поражение на поле боя, весь народ постигают губительные бедствия: соседи грабят и делят между собой территорию Польши, стремятся уничтожить ее культуру и язык. Вот почему война для нас — событие грандиозного масштаба[30].

Люди по-разному вели себя перед лицом катастрофы. Одни, понимая весь ужас происходящего, отгораживались от него «защитной стеной», не пускали его в свое сознание и жили словно бы в ином мире. Другие, зная, что означает поражение Польши, впадали в отчаяние, которое иногда кончалось самоубийством. Они тоже «отрицали» реальность, но по-своему — уходя в смерть.

Я шел вперед и сознательно отмахивался от осаждавших меня вопросов. Не желал допустить мысль о том, что Польша как государство окончательно и бесповоротно погибла. Во мне теплилась надежда, что союзники скоро разобьют Германию или заставят ее покинуть Польшу. Я уже знал, что сопротивление польской армии сломлено, но сам не мог смириться. Какая-то часть меня продолжала, вопреки рассудку, верить, что у Польши еще остались жизненные силы и они сосредоточены в Варшаве.

Поэтому я стремился в столицу. Все шесть дней пути торопился так, будто у меня назначена важная встреча, на которую нельзя опоздать. В окрестностях Кельце дороги были пустынны, но чем дальше, тем больше стекалось беженцев, спешащих, как и я, в Варшаву; когда же я наконец вышел на главное шоссе, оно было забито машинами, так что и не проберешься.

Мужчины и женщины, молодые и старые, пешком и на колесах стекались из разных мест или возвращались домой в столицу. Тут были и варшавяне — торговцы, рабочие, врачи, адвокаты и т. д., и уроженцы разбомбленных маленьких городов и деревень. Попадались крестьяне — они тащили с собой любовно отобранные из убогого скарба вещи. Женщины прижимали к себе детей и шли твердым, уверенным шагом, точно загипнотизированные. У кого-то были с собой продукты, у кого-то — одежда, а у некоторых — даже мебель. Помню, я заметил в одном фургоне блестящее пианино черного дерева.

Были и такие, кто, наоборот, направлялся из Варшавы за город, с трудом прокладывая путь против людского течения.

По дорогам двигались многотысячные толпы, состоявшие из самого пестрого люда, немало было и молодых парней вроде меня, на вид здоровых и целехоньких; им, как и мне, явно не довелось пустить в ход начищенное оружие, которое когда-то у них было. И никакой сплоченности между беженцами. Каждый слишком озабочен своими бедами, чтобы обращать внимание на чужие. Разговаривали мало. Все шли молча, с подавленным

видом.

Меня охотно пускали на телеги. Эти колымаги извлекли откуда-то, где они долго простояли без дела, и теперь их постоянно приходилось чинить на ходу. Драная упряжь ранила лошадей. Знания и сноровка, которые я приобрел по этой части, пришлись очень кстати, и меня везде привечали. За услуги я нередко получал не только место в телеге, но еще и пищу и ночлег. Повсюду были страшные следы «блицкрига» — «молниеносной войны». Каждый город, каждая станция пострадали от бомбежки. От жилых домов и общественных зданий остались только искореженные каркасы да груды обломков. Целые кварталы стояли в руинах. Я видел три огромные ямы на месте трех домишек — их разнесло бомбами в один миг, словно кто-то выдернул морковки с грядки. Во многих городах люди не успели похоронить своих близких до прихода немцев и тела сгребли в общие могилы, у которых собирались, молились и возлагали цветы родственники погибших.

Последние сорок километров я позволил себе проехать на поезде. Я страшно устал, а денег, полученных за починку телег и упряжи, как раз хватило на билет. Железнодорожное хозяйство было в ужасном состоянии. Немцы забрали и отправили в Германию все современные паровозы и вагоны. Осталась рухлядь, музейные экспонаты, выпущенные еще до Первой мировой. С выбитыми стеклами, облупившейся краской, ржавыми колесами и ветхими корпусами.

В поезде я первым делом осторожно расспросил пару пассажиров о том, какие документы требуют немцы, где ходят патрули и арестовывают ли кого-нибудь. Мне сказали, что патрулируют крупные вокзалы, документы спрашивают обычные, а арестовывают тех, чьи бумаги внушают подозрение и кто везет в город много продуктов. Я удивился: неужели запрещают провозить продукты? Но так оно и оказалось. Немцы сознательно морили голодом польские города[31]. Причиной же прочих арестов были вовсе не документы. Всех, кто выглядел молодым и сильным, отправляли в лагерь на принудительные работы. А предлог, чтобы задержать кого угодно, всегда легко находился.

Разузнав все, что нужно, я больше ни с кем не заговаривал. Жизнь под немцами стала совсем другой, новых правил я не знал, а потому рассудил, что чем незаметнее буду держаться, тем лучше. Сойти я решил где-нибудь в пригороде, чтобы не попасться немцам на вокзале. Точно так же поступили еще многие пассажиры. Значит, люди уже научились обманывать бдительность оккупантов — отлично!

Варшава выглядела злой карикатурой на себя самое: я и

представить себе не мог, во что она превратилась. От чудного города не осталось и следа. Прекрасные памятники, театры, кафе, цветы, милая, веселая, шумная столичная жизнь — все полностью уничтожено.

На улицах горы деревянных обломков и кирпичей. Грязные, почерневшие мостовые. Всюду бродят изможденные, растерянные горожане. Мертвых, видимо, не успевают свозить на кладбище, так что повсюду — в парках, общественных садах и даже посреди улиц — свежие могилы.

На пересечении Маршалковской улицы и Иерусалимских аллей, в самом центре города, рядом с вокзалом устроили огромную братскую могилу, в которой были похоронены безымянные солдаты. Могила засыпана цветами, вокруг горит множество свечей. И молятся, стоя на коленях, люди в трауре. Потом я узнал, что это бдение началось сразу после захоронения и не прерывается вот уже три месяца.

И еще долгое время, когда бы я ни проходил мимо братской могилы, тут всегда с раннего утра до комендантского часа собирались скорбящие варшавяне. Так что постепенно эта церемония стала не просто поминовением мертвых, а формой политического протеста. В декабре нацистский гауляйтер Варшавы Мозер[32], сообразив наконец, какое символическое значение приобрела братская могила, приказал откопать тела и перенести на кладбище. Но и после этого жители города продолжали приходить на перекресток, опускаться на колени и молиться, по-прежнему горели там свечи, будто это место стало святыней.

Я постоял немного около могилы и пошел на Прагу[33], к сестре[34]. Мне нравился ее веселый, жизнерадостный нрав, нравилось, что она никогда не унывает. Раньше я часто заходил к ней, был в прекрасных отношениях с ее мужем, тридцатитрехлетним инженером. И теперь всей душой надеялся, что с ними ничего не случилось и хотя бы там, у них, я найду уцелевшую частицу своей прежней жизни.

Дом сестры почти не пострадал. Прежде чем войти, я подумал о своем внешнем виде, машинально потянулся поправить галстук. Но наткнулся на месяц с лишним не мытую и не бритую бороду. Одежда на мне превратилась в лохмотья, и сам я был жутко грязный. Мне стало неловко и боязно. Дом казался безжизненным, немым. Все же я постарался выбросить из головы неприятные мысли и рывком открыл дверь подъезда. Это дом сестры, я снова в своем мире. Не колеблясь, я постучал в дверь ее квартиры и стал ждать. Никто не открывал. Постучал еще раз,

посильнее.

— Кто там? — спросил издалека голос, похожий на голос сестры, но невероятно глухой и вялый. Я подумал, что мне не стоит громко произносить свое имя, поэтому еще раз тихонько постучался. Послышались нерешительные шаги, наконец дверь открылась, и я увидел сестру, которая опасливо придерживала ручку двери.

Я хотел было обнять и расцеловать ее, но что-то в ее облике удержало меня.

— Это я, Ян, — сказал я, хотя не сомневался, что она меня узнала. — Ты не узнаешь меня?

— Узнаю. Заходи.

Я пошел за ней, огорошенный таким приемом. На первый взгляд в квартире ничего не изменилось. Все как всегда. И кроме нас, явно никого не было. Я ломал голову, почему сестра так холодно меня встретила. Она выглядела постаревшей и какой-то безразличной, одета была аккуратно, хоть и в очень простое платье. И все время молчала, никак не обнаруживая, рада она моему приходу или нет.

— Я убежал от немцев почти неделю назад, — сказал я, чтобы завязать разговор и хоть как-то расшевелить ее. — Нас везли из радомского лагеря в другой, на принудительные работы. Около Кельце я выпрыгнул из поезда. Неделю добирался до Варшавы и вот пришел прямо к тебе.

Она слушала, не глядя на меня и не проявляя никакого интереса к тому, что я говорил. Стояла вся какая-то напряженная, будто ее со страшной силой тянуло назад, так что она еле удерживалась, чтобы не упасть, потеряв сознание. Всегда отличавшая ее живость, непосредственность, с которой она обычно откликалась на каждое слово и каждое событие, совсем исчезли. Потухший взгляд был устремлен куда-то в дальний конец комнаты, на некий предмет справа или сзади от меня. Забыв о вежливости, я обернулся и увидел на письменном столе прислоненную к стенке большую фотографию ее мужа, сделанную лет десять тому назад. На ней он был молодой, красивый и улыбался широкой, радостной улыбкой. Сестра не сводила глаз с фотографии и не заметила моего движения.

— В чем дело? — обеспокоенно спросил я. — Что-нибудь случилось? Где Александр?

— Он умер. Три недели назад его арестовали, пытали, а потом расстреляли.

Она выговорила это ровным голосом. Казалось, горе притупило ее чувства и у нее не осталось сил страдать и печалиться. Только стояла и неотрывно, как в трансе, смотрела на

портрет мужа. Мне стало ясно: она рассказывает эти подробности, чтобы я больше не задавал вопросов. Я, конечно, не стал расспрашивать ее и тоже застыл, ошеломленный. Что ни скажи и ни сделай — все неуместно в такой ситуации. А сестра явно не хотела бередить свою рану.

Наконец она заговорила, все так же глядя на фотографию:

— Тебе нельзя долго тут оставаться. Слишком опасно. Нагрянет гестапо — возможно, тебя ищут. Я боюсь.

Я встал, чтобы уйти. Только тут она первый раз посмотрела на меня и, должно быть, заметила, какой я бледный, измученный, грязный и оборванный. Однако ничто не дрогнуло в ее лице, и она снова перевела взгляд на фотографию.

— Можешь переночевать, а завтра подберешь себе что-нибудь из вещей мужа и уходи.

После этого она окончательно замкнулась в себе и не обращала на меня никакого внимания. Я чувствовал себя непрошеным гостем. Тихонько, на цыпочках вышел из комнаты и прошелся по квартире, которую так хорошо знал. Все было почти так же, как раньше. Сестре как-то еще удавалось — прислуги у нее явно не было — поддерживать безукоризненную чистоту. Но холод стоял ужасающий — я ощутил это только теперь. Видимо, в Варшаве трудно с топливом. В буфете — шаром покати. У хозяйки, наверное, не было ни сил, ни желания ходить за продуктами. Я нашел в ванной кусок дешевого мыла и, как мог, помылся холодной водой. После мытья, проходя по коридору, я увидел сестру через открытую дверь гостиной. Она все так же сидела, словно окостеневшая. Совсем не та женщина, какую я знал; горе отделяло ее от меня непроницаемой стеной.

Я направился в кабинет хозяина. Тут тоже все было по-старому: кожаный диван, полки с научными книгами и журналами. Я достал из шкафа одеяло и разделся, сложив свою одежду на стул. Минуту поворочался на диване и заснул глубоким сном.

Проснулся я около полудня. За окном было серо, по стеклу бежали тоненькие струйки. Тело после сна отяжелело, отдохнувшим я себя не чувствовал, но понимал, что и так проспал больше, чем следовало. С трудом поднявшись, я подобрал в хозяйском гардеробе неброский костюм. Нашел в комоде рубашку и галстук и одетый вышел в коридор. Дверь в гостиную была закрыта. Я открыл ее и робко заглянул внутрь. Сестра вытирала пыль — устало, механически водила рукой. Услышав, как открылась дверь, она спокойно, будто ждала меня, обернулась. На миг просветлела лицом при виде моего костюма, но тут же сказала вместо приветствия:

— Тебе пора уходить.

Как и накануне, она смотрела мимо меня, не пуская в свое сознание мысль о том, что я здесь, и оберегая свое горе от вторжения посторонних.

— Тебе что-нибудь нужно?

Я покачал головой:

— Ничего. А я могу что-нибудь сделать для тебя, Лили? Чем-нибудь помочь?

Она не ответила. Или даже не услышала. Прежде она во все вникала, теперь же научилась отбрасывать все, что не относилось к тому единственному, что полностью занимало ее чувства.

— Тебе надо побриться, — бесцветным голосом сказала она. — А потом я дам тебе денег.

Я привел себя в порядок и снова зашел в гостиную. Сестра сидела на том же месте, что и накануне, — перед фотографией. При виде меня она встала, подошла к секретеру и достала из ящика три кольца, золотые часы и несколько банкнот. Потом подошла ко мне и вложила все это мне в руку:

— Возьми. Мне это не нужно.

Я опустил деньги, часы и кольца в карман. Хотел поблагодарить, но не смог выговорить ни слова. Сестра пошла к входной двери, я, смущенный и подавленный, — за ней. Она открыла дверь, выглянула на лестницу, чтобы проверить, нет ли там кого-нибудь подозрительного. Я взял ее за плечо и, пристально глядя в лицо, еще раз спросил:

— Я ничем не могу тебе помочь?

Она подняла голову и первый раз за все время посмотрела мне прямо в глаза, да так, что у меня вся душа перевернулась. Потом молча указала на открытую дверь.

Я вышел из дома. Дождь кончился, но небо оставалось серым и хмурым. Народу на улице было очень мало. По противоположной стороне торопливо семенила седая женщина, крепко прижимая к груди пакет. Чуть дальше под аркой сидели девочка и мальчик — оба в лохмотьях, с бледными, старчески-серьезными личиками. Сам не знаю почему, может, чтобы не встречаться взглядом с этими детьми, я повернулся и быстро зашагал в другую сторону — мне было все равно, куда идти.

Через полчаса я остановился на каком-то перекрестке и попытался сориентироваться. Раньше я часто бывал в этом районе, но после бомбардировок с трудом узнавал знакомые места. Где-то тут, совсем рядом, была квартира моего приятеля, которого не призвали в армию по состоянию здоровья. Было, конечно, маловероятно, чтобы после бурных событий последнего времени он все еще жил по старому адресу, но я все-таки решил

сходить туда.

Глава V
Начало

Мы дружили уже не первый год, и он был одним из самых близких моих друзей, хоть и младше меня года на три-четыре. Звали его Дзепалтовский[35]. Когда мы познакомились, я заканчивал третий курс Львовского университета Яна Казимира, а он готовился к школьным выпускным экзаменам. Я уважал его и восхищался его музыкальным талантом — он изумительно играл на скрипке. Кроме того, в отличие от многих музыкантов, любил и другие виды искусства и хорошо разбирался в них — вот уж кого действительно можно было назвать человеком эпохи Возрождения.

Он был из бедной семьи и своим успехом обязан исключительно собственному неустанному труду, постоянным жертвам и самоограничению. Скрипка была главным в его жизни, предметом страсти и преклонения. Свой талант он считал не какой-то случайной удачей или ценным преимуществом, а божественным даром, требовавшим взамен колоссальных усилий. Он давал уроки менее одаренным ученикам музыкальной школы, где его очень любили. Бывало, я встречал его на улице: он бежал с одного урока на другой и так спешил, что успевал только помахать рукой на ходу или крикнуть «привет!» с подножки трамвая.

Заработанные таким образом деньги он тратил не на легкомысленные забавы, до которых был не охотник, а на уроки музыки и книги, благодаря которым совершенствовался как музыкант и расширял свой культурный кругозор. Такая аскетичность и принципиальность несколько осложняли его отношения с родными, друзьями и учителями. При всей своей природной робости и скромности, заставлявшей его сторониться людей и всяких общественных сборищ, он пылко верил в величайшую важность музыки, а к своей одаренности относился с нередко раздражавшим окружающих благоговением.

Достаточно было кому-то затеять спор о музыке, пошутить или посмеяться над его талантом, как застенчивый Дзепалтовский превращался в тигра и набрасывался на противника с яростью, совершенно несоизмеримой с пустячным поводом. Помню, как-то раз один наш общий знакомый, студент-историк, циничный парень и записной бабник, стал доказывать, что страсть Дзепалтовского к скрипке — просто-напросто компенсация его неуверенности в себе, и в частности в своей

мужской силе. Для вящего наукообразия это рассуждение было подано под фрейдистским соусом. Дзепалтовский ответил бешеной атакой: осудил образ жизни, который вел его обидчик, и доказал, также опираясь на Фрейда, что все донжуанские подвиги, которыми тот так любил хвастаться, — не что иное, как проявление комплекса мужской неполноценности и полной неспособности поддерживать нормальные, устойчивые отношения со слабым полом. От такого натиска донжуан онемел и стушевался. Он навсегда перестал разговаривать и даже здороваться с Дзепалтовским. Большинство товарищей считали, что Дзепалтовский — неплохой парень, но уж очень категоричный, так что к нему и не подступишься. Я никогда не видел его с девушкой. Верно, душа художника целиком отдавалась Искусству и не опускалась до таких приземленных вещей, как флирт с подружкой.

Нас свел случай. В студенческие годы я с большим удовольствием участвовал в работе просветительских курсов, организованных Товариществом народных школ[36] для крестьянской молодежи Львовского воеводства. Цель была очень простая: сократить разрыв в культурном уровне городских и деревенских жителей.

Целых три года я каждое воскресенье ездил в польские и украинские деревни в окрестностях Львова и читал лекции по истории, польской литературе, гигиене и даже о кооперативном движении.

И вот однажды, чтобы сделать эти лекции более привлекательными, организаторы послали вместе со мной ученика музыкальной школы, который должен был, когда я закончу, играть на скрипке в поощрение тем, кто досидел до конца. Новшество имело огромный успех. Дзепалтовский играл отлично. Он исполнял Паганини, Венявского, и сельская молодежь слушала как завороженная. К тому же он был высокий и обаятельный. Когда он стоял на сцене, совершенно поглощенный игрой, его длинные волосы, бледное лицо, темные блестящие глаза производили фурор среди деревенских девушек.

Слушатели вознаградили его овацией, по сравнению с которой аплодисменты, которые обычно получал я, казались до смешного жиденькими. В глубине души я завидовал, но забота об успехе нашей просветительской работы возобладала над обидой, и мы договорились, что будем теперь по возможности ездить вместе. Послушать Дзепалтовского собирались толпы. Наши выступления имели оглушительный успех.

Мы оба страшно радовались и на обратном пути вели долгие оживленные разговоры. Говорили о важности нашей общей

работы, о том, что надо всячески способствовать взаимопониманию разных слоев общества, а то польские интеллигенты судят о крестьянах лишь по книгам да фильмам.

Вскоре я оценил не только талант, но и гибкий ум моего нового друга и был поражен тем, как отважно и целеустремленно этот юноша преодолевает препятствия на своем пути: бедность и хрупкость здоровья. Все время, пока я был за границей, мы переписывались. Я знал, что он живет в Варшаве и, как всегда, исступленно работает. Не успели мы возобновить старую дружбу, как грянула война. Я был уверен: если Дзепалтовский жив и никуда не переехал, он наверняка разделяет мои мысли и чувства. И не обманулся.

Друг сердечно принял меня, хотя встреча была не очень веселой, учитывая время и обстоятельства. Он был искренне рад видеть меня живым и свободным и опасался за мое здоровье, сокрушаясь, какой я тощий и серый. Он тоже изменился, но к лучшему. И робости и дерзости в нем поубавилось. Лицо сохранило юношескую тонкость, но черты стали более мужественными и жесткими. Он тяжело переживал поражение Польши, но не отчаивался и не падал духом.

Я спросил, что делается в Варшаве. Дзепалтовский улыбнулся и с каким-то особенным, загадочным выражением ответил:

— Дела не так плохи, как многие думают.

— Но кругом такой ужас! — возразил я. — Город не узнать. Мы потеряли родину. И я не могу осуждать людей, которые настроены мрачно и пессимистично.

— Ты так говоришь, будто никто, кроме Польши, не воюет и никаких боев больше не будет, — укоризненно сказал он. — Возьми себя в руки. Сейчас не время стонать о том, что произошло, надо набраться сил и думать о будущем.

Его явно тяготило мое подавленное настроение. Или мой тон заставлял почувствовать уязвимость его позиции — ведь сам он не слишком пострадал от войны? Я решил изменить тактику.

— Конечно, — сказал я, — рано или поздно союзники победят, но нам-то пока приходится жить здесь. Люди впадают в уныние, потому что ничего нельзя сделать. Это вполне естественно.

Дзепалтовский слушал, пристально глядя на меня, а потом медленно и чуть понизив голос сказал:

— Не все поляки, Ян, покорно приняли свою участь.

Мне послышался в этих словах скрытый смысл, но какой? Я ждал продолжения, а Дзепалтовский откинулся на спинку кресла и стал тщательно приглаживать волосы. Я подивился исходившей от него спокойной уверенности. Все, кого я до сих пор видел в

Варшаве, были во власти упаднических настроений. Они смирились со своим бессилием, опустили руки и не пытались сопротивляться. Дзепалтовский же, судя по всему, нашел занятие, которое давало ему удовлетворение, но я не мог угадать, какое именно.

— Чем ты сейчас занят? У тебя такой бодрый вид.

— Просто я не поддаюсь панике. Стараюсь не раскисать.

Уклончивый ответ. Настаивать было бесполезно. Он откроет мне свою тайну, когда захочет сам, или не откроет вовсе. Мой взгляд упал на его длинные, проворные, ни на минуту не замирающие пальцы. В углу высокой ровной стопкой были сложены ноты, почти скрывавшие пюпитр. Но скрипичного футляра нигде не было видно.

— А как твоя музыка? — спросил я. — Все еще берешь уроки?

Он грустно покачал головой:

— Нет. Занимаюсь понемножку, и только.

— Но это глупо, ты не должен бросать серьезные занятия. Иначе растеряешь все, чего достиг с таким трудом.

— Знаю. Но у меня нет ни времени, ни денег. Да и вообще, не так уж это важно… во всяком случае, теперь.

Да он изменился куда больше, чем мне показалось сначала! В былые времена, скажи я нечто подобное, он бы глаза мне выцарапал.

Дзепалтовский вскочил, нагнулся надо мной и участливо положил руку мне на плечо:

— Пойми меня правильно. Жить в Варшаве сейчас очень и очень нелегко. А такому, как ты, молодому здоровому парню еще и очень опасно. Тебя могут в любую минуту схватить и отправить на принудительные работы. Будь очень осторожен. Не ходи к родным. Если в гестапо известно о твоем побеге, тебе грозит концлагерь. Может, они уже тебя ищут.

— Откуда они могут узнать?

— У них много каналов. Берегись. У тебя есть какие-нибудь планы?

— Решительно никаких.

— А документы, деньги есть?

Я достал из кармана и показал ему то, что мне дала сестра. Дзепалтовский отошел к окну, постоял там в задумчивости и вернулся ко мне:

— Тебе нужны документы. Не побоишься жить под чужим именем?

— Да нет. Чего тут бояться! Но где же я возьму фальшивые документы?

— Можно достать, — лаконично ответил Дзепалтовский.

— Но я-то как достану? — настаивал я, чтобы вынудить его разговориться. — Надо кому-то заплатить?

— Ты задаешь слишком много вопросов, Ян. — Он заметил мой маневр. — А время такое, что излишнее любопытство ни к чему. Скажут — заплатишь.

Но я не внял его совету и спросил, кто же это мне скажет. Дзепалтовский будто и не слышал. Наконец я начал понимать, чего он хочет: чтобы я положился на него и без всяких рассуждений принимал то, что он предложит. Что ж, так я и поступлю. Последним моим приютом был деревенский дом, а с тех пор, как я ушел оттуда, меня носило, словно щепку по воле волн, неизвестно куда, неизвестно зачем. И только теперь, по ходу разговора с Дзепалтовским, ко мне понемногу стали возвращаться воля и трезвый рассудок. Я верил в его честность и смелость.

— Что же, по-твоему, я должен делать? — спросил я.

— Для начала тебе нужно жилье.

Он быстро подошел к стоявшему в другом конце комнаты письменному столу и что-то черкнул на бумажке. Я смотрел на него и улыбался. До чего же практичным стал мой друг — он, о ком я снисходительно думал как о витающем в облаках идеалисте.

Он протянул мне листок и дал подробную инструкцию, как я отныне должен жить:

— Прочти, запомни и порви. Это твое новое имя. Тебя будут звать Кухарский. Квартира, куда я тебя пошлю, принадлежит жене бывшего банковского служащего, который сейчас в плену. Ей можно доверять, но все же будь осторожен — и с ней, и со всеми остальными. Тебе надо привыкнуть к новой шкуре — смотри не выдавай себя! От этого зависит твоя безопасность… и моя тоже.

Все, что он говорил, и сам его тон будоражили мое любопытство. Я еле сдерживался, чтобы не засыпать его вопросами. Но он вытащил часы и посмотрел на них, давая понять, что разговор окончен:

— Уже поздно, а у меня еще много работы. Тебе пора. Иди по этому адресу. Продай одно кольцо и купи себе еды: хлеба, колбасы, спиртного. Постарайся сделать запас и как можно меньше выходи из дома. Я зайду к тебе на днях и принесу документы. Прощай и ни о чем не беспокойся. Хозяйке понадобится твой паспорт, чтобы тебя зарегистрировать, но она не будет спрашивать его, пока я не приду.

Так прошло приобщение — в тот день я, сам того не понимая, стал участником польского Сопротивления. Ничего необычайного и романтического в этом не было. Я не принимал никакого

решения, не испытал прилива мужества, во мне не взыграла авантюрная жилка. Вступление в подпольную организацию было просто следствием моего визита к Львовскому другу, шагом, продиктованным отчаянием и вынужденным бездействием.

Уходя от Дзепалтовского, я не отдавал себе отчета в том, что произошло. Гнетущее чувство, терзавшее меня после встречи с сестрой, не рассеялось, но у меня появилась некоторая надежда, что еще не все потеряно. Глядя на решительность Дзепалтовского, на то, как уверенно он говорил и действовал, я начал думать, что, возможно, в будущем и сам смогу служить той же цели и заниматься тем же делом, что и он.

По указанному адресу располагалась трехкомнатная квартира, пусть не слишком роскошная, но вполне удобная. Хозяйке, пани Новак[37], было лет тридцать пять, она жила вдвоем с двенадцатилетним сыном. Должно быть, совсем недавно это была красивая, элегантная женщина. Черты лица ее сохраняли изящество, но его постоянно омрачало выражение усталости, озабоченности и тревоги. Зигмусь был очень похож на мать, которая не сводила с него нежного беспокойного взгляда. Для своих лет он казался на удивление взрослым. Оба они приняли меня очень тепло, однако ни апатичная мать, ни робкий сын не стали досаждать мне вопросами. И слава богу, потому что Дзепалтовский не сказал мне, что я должен говорить. Имя — вот и все, что я знал. А кем я должен быть в своем новом обличье, не имел ни малейшего представления.

Меня поселили в хорошей просторной комнате, только вот мебели в ней было не густо, а все украшения сводились к дешевой репродукции «Мадонны» Рафаэля на стене да старенькой красной накидке на спинке единственного кресла. Я обо всем договорился с хозяйкой, дал ей денег, чтобы она купила мне еду, и ушел к себе под предлогом того, что страшно устал.

На третий день около полудня пани Новак постучала в дверь и впустила посетителя — молоденький, лет восемнадцати, не больше, паренек принес пухлый конверт от Дзепалтовского.

— Вы пан Кухарский?

— Да.

— Это для вас. До свидания.

Я торопливо вскрыл конверт. Это были документы на имя Кухарского. Из них следовало, что я родился в 1915 году в Луке, в армии не служил по состоянию здоровья, а сейчас работаю учителем начальной школы. По тогдашнему времени это был отличный вариант — к учителям, при условии, что они не нарушали приказов оккупационных властей, немцы относились лучше, чем ко всем прочим. В конверте лежала еще записка от

Дзепалтовского. Он называл адрес, куда я должен пойти сфотографироваться на паспорт, и предупреждал, что сможет навестить меня не раньше, чем через две-три недели.

«Фотоателье» помещалось в подсобке позади обычной бакалейной лавочки на Повисле[38], за грудой мешков и ящиков. Фотограф, похоже, все обо мне знал. В его задачу входило сделать мой портрет достаточно похожим, чтобы меня можно было на нем признать, но и достаточно расплывчатым, чтобы, если понадобится, я мог от него отказаться.

Это был низенький, лысый, подвижный человечек; сколько я с ним ни заговаривал, ответа никакого не получал. Наконец до меня дошло, что он молчит нарочно, чтобы сосредоточиться на своей работе, и я не стал мешать ему. Результатом его стараний явился настоящий миниатюрный шедевр фотографической двусмысленности. С довольной улыбкой он протянул мне карточку. Я посмотрел и громко восхитился:

— Невероятно! Гляжу и думаю: вроде бы мы где-то встречались с этим человеком, только не припомню, где именно.

Мастер усмехнулся, снял козырек, который надевал, чтобы колдовать над снимками, и удовлетворенно кивнул:

— Здорово, здорово вышло! Одна из самых удачных моих фотографий.

— Чертовски тонкая работа! — продолжал я, надеясь развязать ему язык. — И много вы таких делаете?

Он принялся хохотать, хлопая себя по ляжкам:

— Сам ты, милый мой, чертовски тонкая штучка! Хорошенький вопросик! Заходи через пару дней и спрашивай на здоровье о чем хочешь. А сегодня мне некогда. До свидания, господин Хочу-все-знать. Ха-ха!

Я так и ушел под его смех. Теперь мне было ясно, что Дзепалтовский входит в некую организацию или имеет тайные связи, о которых мне ничего не известно. Но теперь у меня, к счастью, были исправные документы, и впереди забрезжила надежда.

Прошли томительные две недели. Я изнывал в четырех стенах. Почитывал ерундовые книжки из хозяйской библиотеки, курил, ходил из комнаты в комнату. С хозяйкой у нас сложились самые дружеские отношения, но у нее не хватало времени и сил на общение. Найти работу было очень трудно, да я и не искал — рассчитывал продержаться несколько месяцев на деньги от продажи колец и часов.

Кроме того, я все еще был уверен, что война скоро кончится и победоносные войска Англии и Франции освободят Польшу. Так думало большинство людей и даже, как я позднее узнал, многие

руководители Сопротивления. Правда, легче от этого не становилось. Вокруг царили страшный хаос, разруха, ужасающая нищета и безысходность. Наглое поведение, жестокие порядки оккупантов наводили на всех страх и уныние. Не могу передать, как я обрадовался, когда наконец, по прошествии двух недель, явился Дзепалтовский. Он был в прекрасном настроении. Осведомившись, как я себя чувствую и что поделывал в последнее время, он сел, вытянул ноги и вдруг спросил, есть ли кто-нибудь в соседней комнате. Никого, ответил я. Тогда он с улыбкой сказал:

— А ты знаешь, Ян, что я завлек тебя в ловушку?

Я тоже улыбнулся, хотя почти через силу:

— Да? Довольно уютная ловушка.

— Я не о квартире.

Он снова вскочил и доверительно, дружески потрепал меня по плечу:

— Вот что, Ян, буду говорить с тобой прямо, потому что знаю, ты честный, отважный человек и настоящий патриот. Я состою в Сопротивлении. И втянул туда тебя, а ты принял нашу помощь, новые документы. Но мы хотим играть в открытую, так что можешь выбирать: или ты служишь нашему делу, или возвращаешься к обычной жизни. И знай, если ты как-нибудь выдашь нас, мне конец. Понятно?

Я внутренне ликовал. Вот оно — то, чего я так долго ждал: дело, которое избавит меня от жалкого прозябания. Я чуть не бросился другу на шею, но сдержался, чтобы не показаться этаким восторженным скаутом, и ответил делано спокойным тоном:

— Я так и думал, что где-то должна быть подпольная организация. Такая же, как в прошлую войну. Но не рассчитывал, что так быстро ее найду и меня так легко примут. Я ведь и от русских и от немцев бежал с единственной целью: вступить в армию и сражаться!

— Ну вот ты и в армии![39]

— Прекрасно! Ты меня знаешь, я буду делать все, что в моих силах.

— Что ж, тебе очень скоро представится случай кое-что сделать.

Мы поговорили о том о сем, и он ушел. А через два дня заскочил на минутку, чтобы сообщить:

— В ближайшие дни меня не будет дома, захочешь меня видеть — заходи к моей кузине. Я почти все время буду там. Посмотришь, какой у меня новый дом. Надеюсь, не станешь завидовать.

Все это было сказано веселым голосом, а в последних словах

ясно слышалась шутка. Перед уходом Дзепалтовский дал мне адрес своего «великолепного нового дома».

На следующий же день я туда отправился. Указанное место находилось в центре Варшавы, недалеко от американского консульства, в районе улиц Монюшко, Свентокшиской и Ясной. До войны это был квартал крупных фирм, книжных лавок, роскошных магазинов и дорогих ресторанов. Сам дом — четырехэтажный, сравнительно новой постройки, комфортабельный, со всеми удобствами — теперь представлял собой груду досок, камней, обломков мебели посреди причудливо изломанных устоявших кусков стен. О прежнем блеске свидетельствовала довольно большая часть задней стены и неповрежденная треть портала. Номер дома был написан на чудом уцелевшем столбике от ворот, которые вели в гараж.

Скорее всего, бомба упала прямо на крышу и, прежде чем взорваться, прошила дом насквозь. Обойдя дом, я увидел сзади на наружной стене дымохода надписи мелом — это перебравшиеся в подвал жители написали свои имена. Мел местами стерся, так что я не сразу нашел нужное имя. Стрелка под списком указывала, где вход. Я подошел к дочерна обгоревшей двери, открыл ее и очутился на верхней ступеньке полуразрушенной ведущей вниз лестницы, по которой стал осторожно, ощупью спускаться. Никаких признаков жилья. Мне стало не по себе, и я крикнул:

— Есть кто живой?

Чуть ли не прямо передо мной скрипнула дверь, я увидел желтый свет керосиновой лампы.

— К кому вы? — спросил женский голос.

Я назвал имя. Из двери высунулась голая рука и показала, куда идти:

— Через две двери по левой стороне.

Я пошел дальше в непроглядной темноте. Добравшись до нужной двери, постучал — мне сразу открыли и втянули внутрь:

— Входи, не бойся!

Услышав насмешливый голос Дзепалтовского, я облегченно вздохнул, а он рассмеялся:

— Пошли в другую комнату. Бог знает почему, верно, по привычке, мы называем это комнатами.

Я покорно пошел за ним, с отвращением вдыхая трущобный запах — гнилой картошки, сырости и еще какой-то дряни. В «другой комнате» было подвальное окно с решеткой.

Дзепалтовский зажег керосиновую лампу. Меня удивило, до чего все опрятно: мебель переломанная, но везде порядок, стены свежепобелены. Напротив входа погнутая колченогая железная

кровать, застеленная покрывалом. Слева в углу печка, над ней несколько полок с кастрюлями, стаканами и тарелками. Справа стол, прикрытый куском белого полотна.

Дзепалтовский был один. Он ждал, пока я все осмотрю, и старался прочесть по лицу мое впечатление.

— Дом почти полностью разрушен бомбежкой, — сказал он, — осталось только несколько квартир на первом этаже да подвал. Печь, к сожалению, пришла в негодность, зато подвал в отличном состоянии и прекрасно мне подходит. Квартиру в Варшаве сейчас не найдешь, больше трети домов необитаемы. Тут мой штаб. По-моему, превосходно, а?

Я пробормотал что-то неодобрительное.

— Ты еще ничего не смыслишь! — воскликнул он. — Это просто идеальное место, по многим соображениям. Дом в самом центре, и он в таком состоянии, что немцам в голову не придет его обыскивать. Кузина работает на табачной фабрике, а мне разрешила пользоваться своим жильем. Я храню тут бумаги, работаю, встречаюсь с людьми. Никто из местных меня не знает, и очень хорошо. Ты не понимаешь, насколько все это удобно и как важно быть постоянно начеку.

Я пробыл у Дзепалтовского до вечера. Он много рассказал мне о Сопротивлении и о том особом мире, где мне предстояло прожить ближайшие годы.

Но сам я больше его не расспрашивал — понял, что далеко не на все вопросы можно получить ответ.

Глава VI
Первые шаги

Дзепалтовский был одним из немногих, за кем я признавал право давать мне уроки, как школьнику. Первым авторитетным для меня человеком с начала войны. Когда же я узнал, что именно входило в его обязанности, восхищение мое возросло безмерно. Он приводил в исполнение смертные приговоры, вынесенные агентам гестапо и предателям. Сам он никогда мне этого не говорил, а узнал я, только когда он исчез.

В июне сорокового он получил приказ ликвидировать гестаповца Шнайдера. Слежка продолжалась несколько дней, пока наконец Дзепалтовскому не улыбнулась удача: немец зашел в туалет, там-то мой друг его и прикончил. А вскоре он был арестован на улице — видимо, тогда в туалете был кто-то еще, кто узнал его по приметной артистической шевелюре. Его допрашивали и пытали в гестапо на аллее Шуха[40], но он никого не выдал. В июле его расстреляли, причем он удостоился особой чести от немцев: по всей Варшаве висели объявления, извещавшие жителей о «казни польского бандита, уличенного в том, что он напал с целью ограбления на немецкого военнослужащего».

Но все в городе знали правду.

Для немцев стало одним «польским бандитом» меньше. Но оставалось много других, и число их росло на протяжении всего 1940 года.

За несколько месяцев мне стало ясно, какая трагическая, странная, парадоксальная ситуация сложилась в Польше. Подпольщику жилось тут намного лучше, чем тому, кто пошел на службу к немцам и тем самым обязался вести себя лояльно или, по крайней мере, нейтрально по отношению к оккупационным властям. Если не считать риска быть схваченным, со всеми вытекающими последствиями, участник Сопротивления пользовался недоступными никому другому преимуществами.

Прежде всего, его оберегала сама организация, располагавшая для этого целой отлаженной системой. Он имел безупречно подделанные документы, которые позволяли свободно передвигаться и выручали при облавах. Обычно ему выдавались материальные средства на личные нужды, он знал несколько надежных адресов, и если в городе свирепствовало гестапо, ему всегда было где поесть, переночевать и укрыться.

А главное, у него была чистая совесть, потому что он служил

правому делу. Он мог гордиться тем, что сохранил свободу и честь, тогда как коллаборационистов окружало всеобщее презрение.

Кто покорился, тот стал беспомощным. Ни на работе, ни дома, ни в пути — нигде он не был в безопасности. Немцам ничего не стоило в любой момент прикончить его, и ничто не спасло бы его от «коллективной ответственности» — так именовался один из самых страшных и бесчеловечных принципов, применявшихся на этой войне. Согласно ему, за действия отдельных людей отвечали все окружающие, и если виновников «преступлений» не находили, то карали население. В Польше часто случалось так, что партизанам, пускавшим под откос поезда, взрывавшим склады и поджигавшим вагоны, удавалось уйти целыми и невредимыми, а местные жители подвергались репрессиям и казням.

Например, в декабре 1939 года в одном из варшавских кафе были убиты двое немцев, которые от своих агентов слишком много знали о подполье. Руководители Сопротивления приговорили их к смерти, и приговор был исполнен. Исполнителей не поймали. Тогда немцы схватили и расстреляли двести поляков, никоим образом не причастных к убийству, но имевших несчастье жить поблизости от кафе. Погибло две сотни невинных человек![41] Но прекратить нашу деятельность значило бы признать, что немцы окончательно достигли своей цели.

Они как раз и хотели таким дьявольским способом вынудить нас прекратить вооруженное сопротивление. Уступи мы их нажиму — и они одержали бы победу. Однако, несмотря на столько невинных жертв, на страдания их близких, запугать себя мы не дали. Нельзя было допустить, чтобы захватчики вольготно чувствовать себя в Польше.

В июне 1940-го немцы устроили на улицах Варшавы грандиозную облаву и схватили около двадцати тысяч человек[42]. Их распихали по трем полицейским участкам, обыскали, допросили, проверили у них документы. Мужчин моложе сорока депортировали в Германию и использовали как рабсилу на заводах, чаще всего — военных. Девушек от семнадцати до двадцати пяти — в Восточную Пруссию, чтобы батрачили на фермах. А всех, у кого документы оказались не совсем в порядке или поддельные, кто не смог дать удовлетворительных объяснений относительно своих предков, рода занятий и политических убеждений или опровергнуть предъявленные им обвинения, — в концлагеря. Более четырех тысяч мужчин и пять тысяч женщин отправили в лагерь Аушвиц[43], где помочь им было уже невозможно.

Позже я узнал, что во время этой операции задержали около сотни участников Сопротивления. И всех до единого выпустили. Значит, у каждого были безукоризненные документы, каждый представил нужные сведения о работе и рассказал складную легенду о себе. Каждый, наконец, уверенно и правдоподобно ответил на все вопросы.

Это важные детали, без которых не понять, в какой обстановке находились те, кто решил работать в польском подполье. Они рисковали в каком-то смысле даже меньше, чем остальные. Ну а жалким прислужникам оккупантов приходилось опасаться всех, и прежде всего самих поляков. Они понимали, что их осуждают и презирают, и боялись приговора Сопротивления. Даже немцы не слишком жаловали таких неофитов: предателям не доверяет никто. Так что они оказывались между молотом и наковальней[44].

Важно сказать еще вот что: предателей не поддерживали и те, кто не принимал активного участия в Сопротивлении. Многие поляки по разным причинам не могли вступить в подпольные организации, но оставались честными, мужественными людьми и играли значительную роль в общей борьбе. Она заключалась в том, чтобы ни в чем не препятствовать, а иногда и помогать подпольщикам, что часто оборачивалось немалыми бедами и жертвами.

Моя квартирная хозяйка была как раз из таких людей. Ни к какой ячейке она не принадлежала. Да и вступить куда-либо было не так просто. Подпольная организация предъявляла особые требования к своим членам: они должны были обладать физической выносливостью и быть свободными настолько, насколько это необходимо для выполнения заданий. Такой одиночка, как я, вполне мог посвящать подпольной работе все свое время и все силы и жить где придется, в любых условиях. Для большинства же семейных людей такая жизнь была неприемлема, как и постоянная угроза расправы, которая тяготела не только над ними, но и над их близкими.

Пани Новак стоило огромных усилий прокормить себя и сына. Она целыми днями бегала по городу, чтобы достать немного хлеба и кусочек маргарина для мальчика. Пускалась в долгие утомительные поездки в деревню за мукой и куском колбасы. Все, что можно продать, она продала ради еды уже в самом начале войны.

Потом, закупив у крестьян табак, скручивала вместе с Зигмусем сигареты и продавала их на черном рынке. Добавьте ко всему этому тяжелую работу по хозяйству: уборка, кухня, топка — надо было колоть поленья, рубить на дрова ящики, а иногда и

мебель, и это еще не считая постоянных забот о здоровье и образовании сына.

— После целого дня работы я падаю и засыпаю, как от снотворного, — как-то сказала она мне. — А ночью просыпаюсь то от кошмара, то от криков на улице или тяжелых шагов на лестнице. Вскакиваю — сердце бешено колотится, кровь леденеет в жилах. Мне страшно. Вы себе не представляете, как страшно! Стою, оцепенев, около кровати и прислушиваюсь — жду, что вот-вот ворвется гестапо и отнимет у меня Зигмуся. А я хочу, чтобы муж, когда вернется из плена, увидел своего сына. Он у Нас такой хороший… и муж так его любит…

Первое время я ни во что ее не посвящал. Думал, что так лучше для нее же: ничего не знать и не тревожиться. Такая уж была наша работа — иной раз приходилось ставить под угрозу хозяев без их ведома. Что делать — иначе пришлось бы отказаться от борьбы, ведь и собой мы тоже рисковали.

Но вот однажды вечером я пришел совершенно разбитый и усталый. Пани Новак только что перегладила белье. Она усадила меня на кухне у огня, рядом с Зигмусем — он делал уроки — и налила эрзац-чая, который я с наслаждением выпил. Потом с радушной улыбкой — милой улыбкой гостеприимной польской хозяйки довоенного времени — намазала ломтик хлеба тонким слоем повидла и протянула мне.

Я поел, и мы стали болтать. Поговорили о Варшаве, о войне, о немцах, а затем, совершенно естественно, она рассказала о том, как тяжко ей приходится, о бессонных ночах, о том, как она волнуется за мужа и надеется, что он, чего бы это ей ни стоило, найдет сына живым и здоровым. А в конце концов расчувствовалась и разрыдалась. Зигмусь от неожиданности испугался, побелел, бросился к матери и обхватил ее руками.

Обнявшись, они безутешно плакали вдвоем, оба бледные, тщедушные, немощные и несчастные. У меня сердце разрывалось от жалости, и я почувствовал себя виноватым — ведь из-за меня их положение становилось еще опаснее. И я решился сказать хозяйке правду, хотя и понимал, насколько это неосторожно. Отослал мальчика спать, сказав, что хочу поговорить с его мамой.

— Я еще не доделал уроки, — сказал он. — Можно, я почитаю в постели? А когда вы закончите, мама меня позовет, ладно?

Пани Новак отвела его в детскую, а вернувшись, сказала с заговорщицкой улыбкой:

— Ну что же вы хотите мне сказать?

— Я знаю, что нарушаю правила организации, к которой принадлежу. Но считаю своим долгом вас предупредить. Мое присутствие в этом доме опасно для вас. Я работаю в

Сопротивлении. Иногда я приношу домой документы, подпольные газеты, радиосводки и часто держу их у себя по несколько дней — это может повредить вам и Зигмусю. Я не собирался этого рассказывать, но сейчас, глядя на вас, подумал, что мне лучше бы переехать.

Она встала, тепло улыбнулась и, протягивая мне руку, веселым голосом проговорила:

— Спасибо, большое спасибо.

Потом пошла в комнату сына и сказала:

— Иди к нам, Зигмусь. У нас тут нет ничего секретного.

Мальчик радостно вскрикнул и вернулся на кухню. Он сел на свое место и принялся писать. Но мать села рядом и попросила его оторваться.

— Я хочу, чтоб ты знал, — сказала она. — Пан Кухарский сообщил мне, что хочет съехать, чтобы не подвергать нас опасности. Он участвует в Сопротивлении, борется за нашу свободу и за возвращение твоего отца. И вот он боится, что если немцы арестуют его, то пострадаем и мы. Что же мы ему ответим, Зигмусь?

Повисло неловкое молчание. Я расстроился и ругал себя за то, что открылся, как дурак, слабой женщине и ребенку. Зигмусь неуверенно посматривал то на меня, то на мать, соображая, чего от него ждут. А пани Новак так и сияла, не сводя с сына взгляда, полного веры и гордости.

— Ну, Зигмусь, скажи! Что мы ему ответим? — Она улыбнулась.

Мальчик встал, подошел ко мне и вложил свою влажную ладошку в мою руку.

— Не бойтесь за нас, — сказал он, глядя прямо на меня ясными голубыми глазами. — Не уезжайте, мы и так знали, что вы боретесь с немцами. Мама ничего от меня не скрывает. Знает, что я умею хранить тайну. — Глаза его блестели, рука дрожала. — Не скажу ни слова, даже если меня будут бить. Оставайтесь у нас, пан Кухарский, прошу вас.

Наверно, у меня был озадаченный и растерянный вид, потому что мальчик выдернул ладошку и стал успокаивающе гладить меня по голове. А пани Новак, по-прежнему улыбаясь, сказала:

— Не надо опасаться. Не беспокойтесь, Зигмусь не проговорится. Он почти всегда рядом со мной и, главное, никогда не выдаст нас глупой болтовней. В войну дети быстро взрослеют.

Я молчал.

— Вы должны остаться, — продолжала она. — Это облегчает мою совесть. Укрывая вас, я чувствую, что хоть что-то делаю для Польши. Немного, но это все, что я могу. И я благодарна вам за

то, что вы даете мне такую возможность.

Я встал:

— Спасибо вам обоим за доброту и сердечность. Знайте, что здесь, у вас, я чувствую себя как дома, как в родной семье.

Глава VII
Боевое крещение

Когда руководство сочло, что я достаточно ознакомился с методами и правилами подпольной работы, мне дали первое задание. Я отправлялся в Познань, причем с меня взяли клятву, что я никогда не разглашу деталей этой миссии. В общих же чертах дело заключалось в следующем: я должен был встретиться с одним участником Сопротивления — до войны высокопоставленным государственным чиновником — и вместе с ним изучить, каковы шансы вовлечь в нашу борьбу его бывших подчиненных. По роду деятельности у него, как и у его сотрудников, имелись обширные связи среди немцев. Для Сопротивления эти связи и все, что он знал, представлялось чрезвычайно важным.

Повод для поездки придумали отличный. Дочь человека, к которому я ехал, назвалась моей невестой. Познань относилась к той части Польши, которая была присоединена к Третьему рейху. Жители этих областей имели право ходатайствовать о получении немецкого гражданства[45]. С ведома Сопротивления моя «невеста» воспользовалась этой привилегией, кроме того, она носила немецкую фамилию, что тоже было благоприятным обстоятельством. Подобную фамилию в интересах дела взял и я. Она испросила для меня в гестапо разрешение приехать к ней, объяснив, что ей не терпится помочь мне «осознать свое немецкое происхождение и почувствовать немецкую кровь». Разрешение выдали очень быстро, так что выполнить первое задание мне было легко — немцы сами этому поспособствовали.

До Познани я добрался без всяких затруднений. Этот город, один из древнейших в Польше, я хорошо знал еще до войны. Он расположен примерно в трехстах километрах к западу от Варшавы, и многие считают, что именно тут сложилась польская нация в те далекие времена, когда наша страна была сильной европейской монархией. Местное население — чистокровные поляки; на протяжении пятисот лет они успешно противостояли попыткам насильственной германизации. Одну из них предпринял Фридрих Великий: он отправлял молодых поляков в Германию и заставлял их служить в драгунских полках прусской армии. Фридрих всеми силами старался подчинить эту область немецкому влиянию, насаждал немецкую культуру, но безуспешно.

Позднее Бисмарк проводил сходную политику, лишая

польских землевладельцев их имений и превращая в рабов Пруссии. Периодически планы германизации Познани строились и после смерти Бисмарка. Все они провалились. В 1918 году, когда Польша обрела независимость, от немецкого влияния не осталось и следа, и Познань снова превратилась в область, заселенную коренными поляками.

Вот о чем я думал, шагая по познанским улицам. Теперь этот польский город с древними традициями совершенно онемечился. Вывески магазинов и банков, таблички с названиями улиц, надписи на памятниках — только на немецком. На всех углах продаются только немецкие газеты. И слышна повсюду только немецкая речь, часто с акцентом, порой даже нарочитым, но никакой другой язык не допускается.

Как мне рассказали, поляков, которые не пожелали германизироваться, почти из всех районов города просто выселили. Полякам запрещалось появляться на многих улицах, свободно передвигаться они могли только на окраинах. Зато десятки тысяч коммерсантов и «колонистов» приехали заселить этот «исконно немецкий город». На каждом углу развевались гитлеровские флаги, в каждой витрине красовался портрет фюрера.

Меня душил гнев при виде немецких солдат, вразвалочку прогуливающихся по улицам. Попади сюда сейчас самый беспристрастный наблюдатель — он сказал бы, что Познань действительно «чисто немецкий город». Я и сам не мог поверить, что передо мной тот самый город, который я знал до войны, — так сильно он переменился за считаные месяцы.

В целях конспирации мне выдали на время поездки паспорт на имя реально существующего поляка немецкого происхождения; сам он вот уже месяц как уехал в Париж, а его семья скрылась из Варшавы. Все сведения о своей «родне» я выучил наизусть. Итак, меня звали, скажем, Анджей Фогст, и я приехал к Хелене, скажем, Зиберт, которая поручилась за мое поведение в Познани и во всей Германии.

Если бы гестапо задумало проверить личность этого Фогста, разоблачить обман было бы не просто. Такой человек числился прихожанином евангелической церкви и был зарегистрирован по всей форме. В принадлежащей ему квартире жили дальние родственники, которые отлично знали его и получили указания, как вести себя, если вдруг их вызовут на допрос. На этот адрес писала ему и познанская «невеста». Фогст работал в компании по производству парикмахерского оборудования и там же, в парикмахерских, закупал натуральные волосы, дорогой в военное время товар. У него имелись все документы, необходимые для

свободного передвижения по всему Генерал-губернаторству[46].

Для полного счастья Фогсту не хватало только самому очутиться в Познани и получить от «невесты» горячие заверения в том, что он немец. Это тоже имело подтверждение, поскольку его дед действительно был немцем, который женился на девице из варшавского буржуазного семейства, а потому совершенно ополячился. Так что моя миссия была тщательнейшим образом подготовлена, чтобы свести риск к нулю. Не какие-нибудь дилетанты работали!

Я прибыл по указанному адресу, где меня ждала «невеста». Прелестная хрупкая темноволосая девушка — трудно было поверить, что передо мной один из лучших и храбрейших бойцов Сопротивления, как мне о ней говорили. Человек, с которым я должен был встретиться и обсудить то, ради чего меня послали, еще не пришел, в ожидании его мы устроились в просторной, обставленной в старинном духе гостиной. Поговорили о том, как я доехал, потом я рассказал ей последние варшавские новости. Она в свою очередь рассказала, что происходит в Познани. Всю интеллигенцию и всех более или менее состоятельных людей из города выгнали. То же самое творилось во всех областях, присоединенных к рейху. Остаться разрешили только тем полякам, которые признали себя немцами или согласились жить на положении неполноценных граждан. Этим последним приходилось терпеть немыслимые унижения. Они были обязаны уступать дорогу и кланяться немцам, им запрещалось ездить в автомобилях, трамваях и даже на велосипедах. Их права не защищались законом, и все их имущество, движимое и недвижимое, было в распоряжении немцев.

Девушка говорила бесстрастным, деловым тоном, будто зачитывала страницу из учебника истории и все это никак не касалось ее лично. Многие в Сопротивлении усвоили эту манеру рассматривать вещи, имевшие к ним самое непосредственное отношение, как бы со стороны. Опыт показывал: чтобы выполнить задачу с хладнокровием стоящего у операционного стола хирурга, нужен объективный подход, без лишних эмоций.

Я попытался отвечать ей в тон, хотя был новичком и все увиденное в Познани вызывало у меня чувства, которые плохо сочетались с трезвым научным мышлением.

Когда моя собеседница закончила детальное описание установившихся на присоединенных территориях порядков, я спросил, как, по ее мнению, мы сможем их потом изменить.

— Есть только один путь, — ответила она. — Сразу после победы над Германией нужно объявить массовый террор по отношению ко всем без исключения захватчикам, которые тут

бесчинствовали. Мы поступим с «колонистами» так же, как они поступали с нами, поляками. Выгоним их отсюда силой. И никаких компромиссов, иначе мы увязнем в проблеме «дегерманизации» Познани и других областей. Нам будут предлагать переговоры, референдумы, военные репарации, компенсации и обмен имуществом. Но не следует обольщаться: ситуация ухудшается, и остановить этот процесс и повернуть его в благоприятную для нас сторону можно только одним, радикальным способом — массовым террором.

Вот что я услышал из уст этой милой утонченной девушки.

Она тщательно подбирала слова. Но за внешним спокойствием чувствовалось глубокое волнение. Немцев она ненавидела с такой же неистовой силой, с какой любила родину.

Внешне девушка была спокойна, и только легкое подрагивание губ показывало, что творилось у нее в душе. Трудно понять, как при таком умонастроении она решилась, пусть даже формально и для дела, объявить себя немкой.

— Можно вас спросить, — осторожно начал я, — зачем вы записались фольксдойче? Разве без этого нельзя было приносить пользу Польше?

— Совершенно невозможно. У вас там, в Генерал-губернаторстве, совсем другие условия, а потому и методы другие. На территории рейха все поляки, и уж тем более интеллигенты, не имеют легального статуса. Это единственный способ остаться и работать тут.

— И много еще польских патриотов записались немцами?

— Честно говоря, к сожалению — нет. Даже мой отец вынужден скрываться в деревне, потому что не хочет объявлять себя немцем — тогда ему пришлось бы вступать в политическое сотрудничество с оккупантами, а на это он ни за что не пойдет. Многие патриоты, занимающие непримиримую позицию, сурово осуждают нас. Но в борьбе с нацистами нужно забыть о чести и порядочности. Большинство поляков немецкого происхождения совершили предательство еще в сентябре — выступили против нашей страны с оружием в руках. Вот почему, какая бы судьба ни ждала Польшу, мы не можем допустить, чтобы здесь жили немцы. Они верны только Германии. Мы в этом убедились. К ним присоединилась и жалкая кучка предателей-поляков. Остальные же, почти все без исключения польские патриоты, не пожелали стать немецкими подданными. Поэтому скоро тут вообще не останется поляков. А надо удержаться любой ценой, пусть даже для этого придется стать фольксдойче или рейхсдойче[47].

Это звучало убедительно, и я начал склоняться к тому, что она права. Она и сама восхищалась стойкостью поляков, которые,

обрекая себя на лишения, отказывались называть себя фольксдойче, но приходилось признать, что гораздо разумнее, особенно для тех, кто способен служить нашему делу, принять немецкое гражданство. Она заметила, что я изменил мнение.

— Понимаете теперь? За два месяца оккупации немцы выселили отсюда на территорию Генерал-губернаторства более четырехсот тысяч поляков.

— Как они это делают?

— Очень просто. Представителей среднего класса, которые не зарегистрировались как фольксдойче, арестовывают без предупреждения. Крестьянам, рабочим и ремесленникам приказывают оставить дома в течение двух часов. С собой разрешается взять пять килограммов багажа — только одежду и еду. В доме надо все прибрать и приготовить к появлению немцев, которые в нем поселятся, им же достанется все добро. Полиция часто заставляет детей украшать столы и пороги домов букетами цветов в знак гостеприимства.

Наш разговор прервал приход ее отца — ведь я его и дожидался. Он подтвердил, что дочь все правильно обрисовала, и согласился с ее выводами. Мы остались с ним наедине и обсудили вопросы, которые мне было поручено ему задать.

В общих чертах дело обстояло так: люди, о которых шла речь, готовы были работать в Сопротивлении, но не на присоединенных к рейху территориях, а в Генерал-губернаторстве, и хотели, чтобы им помогли пересечь границу.

По приезде в Варшаву я сразу явился на явочную квартиру и отчитался[48], а потом пошел домой.

Пани Новак очень мне обрадовалась, они с сыном смотрели на меня с таким восхищением, как будто я вернулся с фронта. На самом деле в этой поездке я подвергался минимальному риску, но все же чувствовал, что ученичество мое кончилось и я стал настоящим участником Сопротивления.

Глава VIII
Борецкий

По-настоящему разбираться в делах подпольной организации я начал только после той поездки в Познань. Дзепалтовский еще раньше познакомил меня с некоторыми ее членами, но тогда за этим ничего не воспоследовало. За мной не было закреплено никаких определенных функций, и завязать прочные связи с подпольщиками не получалось. Мне только изредка давали мелкие поручения. Причина заключалась в том, что в то время, к концу 1939 года, структура Сопротивления еще не устоялась. Она складывалась из множества разрозненных групп и ячеек, которые действовали самостоятельно, не подчиняясь никакому центру. Проникнуть в среду борцов мог каждый — для этого требовалась только личная отвага да еще немного фантазии, дерзости и упорства. Эти группы задавались разными целями, носили громкие названия, например «Мстители», «Карающая длань», «Суд Божий», и придерживались самых пестрых взглядов — от терроризма до мистицизма, не говоря уж обо всей гамме политических программ. Поляки вообще любят тайны и заговоры, а тут еще и обстоятельства к тому располагали. Многие верили, что война скоро кончится и что именно их группировка сыграет решающую роль в воссоздании польского государства.

Посреди этой самодеятельности и неразберихи мало-помалу все же стали появляться некоторые ориентиры и общие принципы. Наиболее устойчивыми оказались старые политические партии, отнюдь не уничтоженные немецкой оккупацией. Объединение происходило одновременно извне и изнутри: с одной стороны, укреплялись связи между подпольным движением в самой Польше и польским правительством в Париже во главе с генералом Сикорским[49]; с другой — сами партии сближались между собой перед лицом общей угрозы. Другим организующим началом стала армия. Стояла задача объединить разбросанные по стране остатки вооруженных сил в новую сильную структуру[50].

Свое второе задание я получил от Национальной партии[51], одной из самых активных движущих сил объединения. Я должен был отправиться во Львов, тогда оккупированный русскими, выполнить там кое-какие поручения, а затем постараться попасть во Францию и установить контакт с польским правительством. Генерал Сикорский приказал всем молодым полякам пробиваться во Францию и вступать в польскую армию. Этот приказ относился

в первую очередь к летчикам, авиамеханикам, морякам и артиллеристам, к которым принадлежал и я. Таким образом, очутившись во Франции, я мог бы выполнять двойной долг: повиноваться генералу и служить Сопротивлению.

В то время политическим партиям в Польше и парижскому правительству необходимо было укреплять связи между собой. Правительство нуждалось в поддержке населения оккупированной страны. А игравшие важную роль в Сопротивлении политические партии, единственные представители этого населения, нуждались в поддержке правительства и желали, чтобы их мнения были услышаны союзниками. Правительство в изгнании было единственным органом, который мог выражать эти мнения.

С помощью циркулировавших между Польшей и Францией эмиссаров были установлены правила сотрудничества. Каждая из ведущих партий должна была делегировать своих представителей в Анже. Ими могли стать члены кабинета Сикорского или кто-то из лидеров либо просто членов этих партий, уже находившихся во Франции. Таким образом, главные политические силы: Национальная[52] и Крестьянская партии[53], Польская социалистическая партия[54] и Партия труда[55] — получили возможность влиять на правительство. В самой же Польше эти партии вступили в коалицию, которая в свою очередь обеспечивала влияние правительства в изгнании на ситуацию внутри страны. Это придавало ему больше веса в глазах союзников, поскольку подтверждало, что правительство — не фикция, а властная структура, которая действительно управляет на расстоянии ходом событий в оккупированной Польше.

В Варшаве частичное соглашение между партиями установилось еще в сентябре 1939 года, в достопамятные дни обороны столицы. Тогда, несмотря на разницу во взглядах, политические организации проявили замечательную дисциплинированность и преданность общему делу, перейдя в подчинение защитникам города.

Во Львове мне предписывалось выполнить двойную задачу: во-первых, привести к такому же согласию тамошние отделения разных партий, во-вторых, установить тесную связь между местной и столичной подпольными организациями. Кроме того, я должен был рассказать львовским лидерам, какие порядки установили на оккупированных землях фашисты, и расспросить их о порядках, установленных советскими оккупантами, с тем чтобы потом передать всю информацию польскому правительству во Франции.

Инструктировал меня Борецкий[56], один из главных

организаторов Сопротивления. В межвоенный период он занимал ключевой пост в Министерстве внутренних дел, после переворота 1926 года его отстранили от должности, и он примкнул к оппозиции. Это был знаменитый адвокат, с обширной клиентурой и огромными связями. Я много слышал о нем до войны, но лично не знал. И очень удивился, что он продолжал жить в своем доме под своим именем. Меня принял высокий худощавый человек лет шестидесяти. Принял очень тепло — видимо, слышал похвалы в мой адрес. На всякий случай, чтобы не оставалось сомнений, тот ли я, за кого себя выдаю, мне дали запечатанный конверт с половиной газетного листа. Вторая половина, которая должна была идеально совпасть с первой, находилась у Борецкого. Я предъявил конверт, он взял его, унес, не говоря ни слова, в соседнюю комнату и очень скоро вернулся, улыбающийся.

— Рад видеть вас, — сказал он. — Все в порядке, и цель вашего прихода мне ясна. Вы отправляетесь во Львов, а потом во Францию.

Я кивнул. Борецкий любезно предложил мне сесть, как бы намекая на то, что, прежде чем погрузиться в сложные деловые разговоры, мы можем просто пообщаться по-человечески. Жил он один — семью отправил за город — и был доволен, что так хорошо устроился. Он заварил чай, налил две чашки и предложил мне печенье — далеко, как я заметил, не свежее.

— Я легко со всем справляюсь сам — спасибо маме и скаутским лагерям. Меня рано научили готовить, чистить себе обувь, пришивать пуговицы. Так что отлично могу о себе позаботиться, пока нет домашних. И очень хорошо, что их тут нет, потому что, если меня схватят, пострадаю я один.

Борецкий и со случайным гостем обходился так, что тот быстро осваивался и чувствовал себя на дружеской ноге с хозяином.

— Судя по всему, — сказал я, — топить печку вы, кажется, не научились.

— Не очень учтиво делать такие замечания, — укоризненно сказал Борецкий. — К тому же вы ошибаетесь. Мерзнуть как раз очень полезно. Надо привыкать к холоду. Весьма вероятно, что нам еще не одну зиму придется пережить в оккупации. Война может затянуться, а угля не достанешь.

В квартире действительно было страшно холодно. Хозяин ходил в пальто, да и у меня не возникало желания снять свое. Я знал о Борецком гораздо больше, чем он обо мне. Слышал о его активной подпольной работе, о попытках связаться с правительством во Франции и о неустанной заботе об организации польского Сопротивления.

— Вы не думаете, что опасно жить здесь под своим именем? — спросил я.

Он пожал плечами:

— Сегодня не угадаешь, что опасно, а что нет. Что касается меня, то было бы так же неосторожно, если бы я жил в Варшаве, где я довольно известен, под чужим именем. По своему официальному адресу я почти не бываю. Обычно живу и работаю там, где меня не знают.

— Ну и что это дает? Если гестапо заподозрит, что вы связаны с Сопротивлением, за вами установят слежку.

— Вы правы. Но я принял меры предосторожности. Меня всюду сопровождают свои люди. Если они обнаружат, что за мной следят, я сменю имя.

— Но будет уже поздно — ведь вас могут схватить прямо на улице.

— И это верно. Что ж, надеюсь, я хотя бы успею проглотить свой сахарок.

Он вытянул длинную костистую руку. На среднем пальце поблескивал странной формы перстень. Пальцем левой руки Борецкий нажал на перстень, вправленный в него рубиновый «глазок» отскочил в сторону — внутри лежала капсула с белым порошком.

— Я читал, что такие штучки были в ходу у Медичи и Борджа, но никак не думал увидеть нечто подобное в Варшаве, разве что в кино.

— Ничего удивительного, — спокойно возразил Борецкий. — Это только доказывает, что люди не меняются. Сходные надобности порождают сходные средства. Всегда находятся гонимые и те, кто на них охотится, кто ненавидит людей и рвется править миром. Я вижу, вы недавно в Сопротивлении.

— Да, я вступил в организацию недавно. И хотя горжусь этим, но, честно говоря, такая работа мне не по душе.

— А что вам по душе? Чем вы собирались заниматься до войны? Что делали?

— Собирался заняться научной работой. В частности, меня привлекала демография и история дипломатии. Правда, диссертацию мне защитить не удалось, но я все равно хотел бы спокойно заниматься научными изысканиями.

— Прекрасно! — сказал Борецкий. — Подождите, пока изобретут ракету, которая доставит вас на Луну. Вот там вы сможете спокойно заниматься своей наукой. Господь Бог, похоже, никак не поймет, что полякам хочется покоя. Мы должны быть частью Европы и разделять ее судьбу. Должны бороться, чтобы потом получить возможность мирно жить и работать. Судьба

отвела нам самое худшее, самое неспокойное место на всем континенте, в окружении могущественных, алчных соседей. На протяжении многих веков нам приходилось с оружием в руках отстаивать само свое существование. И не успеем мы вернуть себе то, что нам принадлежит по праву, как на нас тут же нападают и нас снова грабят. Словно какое-то проклятие тяготеет над Польшей. Но что же делать! Хотим жить — надо бороться! И, словно для того, чтобы заставить нас страдать еще больше, Создатель вселил в наши сердца неистребимую любовь к отчизне, к нашему народу, к родной земле и к свободе.

Борецкий сверлил меня взглядом, будто в ту минуту видел в моем лице всех заклятых врагов Польши. Потом вдруг резко отвернулся и принялся расхаживать по комнате, нервно сплетая и расплетая руки за спиной. Наконец он успокоился, сел на свое место и стал методично инструктировать меня по поводу предстоящей поездки.

Инструкции были подробные и точные, Борецкий говорил властным, отстраненным тоном, как начальник с подчиненным. Но во взгляде его чувствовалась почти отеческая приязнь, и брови он время от времени хмурил с притворной строгостью, совсем как отец, наставляющий сына. В перерывах мы пили остывший чай.

— Прежде всего, — начал он, — помните, что от вас многое зависит. Вы должны будете повторить все, что услышите от меня, по возможности слово в слово, тем, с кем увидитесь во Львове, потом в польском правительстве во Франции, а также, если понадобится, другим лицам. Смысл этого сообщения заключается в том, что мы не проиграем войну до тех пор, пока будем ощущать себя единой нацией, иметь юридически и морально легитимное государство и сохранять волю к борьбе. Это и есть цель Сопротивления. Правительство должно в течение всей войны защищать нас и наши права и нести перед нами ответственность. Только при таких условиях есть надежда, что мы сможем успешно бороться с врагом.

Борецкий помолчал и продолжал еще более напористо:

— Вот основные положения, которые вы должны запомнить.

Первое. Мы считаем оккупацию Польши абсолютно незаконной. Присутствие немецких оккупационных властей ничем не обосновано и противозаконно.

Второе. Польское государство продолжает существовать, только в другом, продиктованном обстоятельствами виде. То, что оно загнано в подполье, — лишь временный фактор, никак не влияющий на его легитимность. Ему принадлежит реальная власть.

Третье. Мы не потерпим никакого польского правительства,

сотрудничающего с оккупантами. Если такие предатели найдутся, они будут казнены. Хотя на территории Польши, — прибавил он с несколько циничной усмешкой, — легче убить немца, чем поляка.

Как я впоследствии понял, это был не столько цинизм, сколько результат многолетнего опыта. После каждой фразы Борецкий посматривал на меня, оценивая впечатление от своих слов и прикидывая, все ли я понял и запомнил.

— За границей нашему правительству обеспечена свобода и безопасность. И ему следует воспользоваться этой свободой и безопасностью для защиты наших прав и интересов. От посягательств не только врагов — немцев и русских, — но и… союзников. Помните: именно мы тут занимаемся главным делом — боремся с захватчиками. И будем бороться до конца, до последней капли крови, как поется в «Присяге»[57]. Мы, в свою очередь, обещаем правительству свою полную лояльность и поддержку.

Борецкий встал и снова принялся ходить взад-вперед, потирая руки. Я заметил, что они посинели от холода. Я тоже замерз, но забыл об этом, слушая пламенные речи Борецкого. Я смотрел на щуплого, сутулого пожилого человека, с виду такого болезненного и слабого, и поражался убежденности, несокрушимой вере и воле, заключенным в его немощном теле.

Я спросил, считает ли он возможным создать такую огромную, многоступенчатую организацию, несмотря на жестокий террор оккупантов. Он пожал плечами:

— Кто знает? Надо попробовать. Сопротивление должно стать не просто ответом на угнетение, а следствием официальной деятельности польского государства. Должна продолжаться политическая жизнь, причем в атмосфере полной свободы. Да-да, полной свободы, — повторил он, видя мое изумление.

— Какая может быть свобода? Немцы не допустят существования никаких политических партий!

— Разумеется. Немцы ничего не допустят, но мы не собираемся спрашивать разрешения. Будем действовать так, как будто их вовсе нет. Их присутствие ни на йоту не должно изменить наше поведение. Уйдем в подполье. Я имею в виду свободу в рамках движения Сопротивления. Каждая партия должна иметь все права внутри нашего государства. При условии, конечно, что она обязуется бороться с захватчиком и работать на благо демократической Польши. Ну и признаёт легальность польского правительства в изгнании и власть создающегося подпольного государства.

— Но тогда, — возразил я, — может получиться так, что все партии будут бороться с немцами порознь. Это распылит и

ослабит наши силы.

— Не совсем так. Деятельность Сопротивления будет координироваться. Специальные органы административного управления будут защищать население от оккупантов, собирать информацию о преступлениях захватчиков и готовить структуры, которые заработают сразу после освобождения. Политическая жизнь пойдет своим чередом, без всякого давления, и все группировки получат возможность участвовать в борьбе с оккупантами. Но самое главное вот что! — Он заговорил медленно и раздельно, на каждом слове похлопывая ладонью по столу: — Сопротивление должно иметь свою армию. Необходимо, чтобы каждая вооруженная акция проходила под руководством верховного командования. Состав армии должен соответствовать политической и социальной данности. Каждая группа сможет поддерживать контакт со своей партией, но все боевые подразделения будут подконтрольны верховному командованию.

Видимо, на моем лице отражалось сомнение в успехе этого сложного и дерзкого плана, и Борецкий стал горячо убеждать меня:

— Не думайте, молодой человек, все мы понимаем, сколько времени и сил потребуется для осуществления этого плана, но понимаем и то, насколько необходимо, чтобы он заработал. Возможно, эта война чревата многими неожиданностями. И наша организация может послужить образцом для движений сопротивления в других странах. Во всяком случае, в той части Польши, которую оккупировали немцы, политические партии присоединились к этому плану, а скоро их примеру последуют те, кто очутился на территории, захваченной русскими. Польское правительство в Анже тоже должно согласиться с нашим планом. Кстати, вам об этом плане расскажут лишь в самых общих чертах. Деталей сообщать не будут. Их доставит в Париж и Анже другой человек. И мы надеемся, что вы не обидитесь.

Он наклонился ко мне, положил руку мне на плечо, улыбнулся и проговорил прямо в ухо, так что я почувствовал на щеке его дыхание:

— Это не значит, что мы вам не доверяем. Просто сегодня очень опасно много знать. Те, кому досталось это бремя — а я в их числе, — изнемогают под его тяжестью. И никак его не стряхнешь.

Борецкий распрямился, словно показывая, что еще не совсем изнемог, заглянул мне в лицо и, машинально покручивая на пальце перстень, сказал:

— Теперь давайте обсудим подробности вашей поездки.

Подробности Борецкий излагал почти час и показал себя

столь же сведущим в искусстве конспирации, сколь и в хитросплетениях большой политики и организаторском деле. План его был прост. Для начала меня снабдят бумагой, удостоверяющей, что некая варшавская фабрика направляет меня на работу в один из своих филиалов на советско-германской границе. Документ будет подлинный, и без него никак не обойтись, потому что немцы имеют обыкновение обыскивать всех пассажиров. Проехать расстояние, превышающее 160 километров, можно только с их разрешения.

У границы я должен встретиться с человеком, который тайно переправляет людей на советскую сторону. Как я узнал позже, это был еврей, член еврейской подпольной организации, главной целью которой было спасать еврейских беженцев с территорий, оккупированных немцами и русскими. В Генерал-губернаторстве уже начались массовые репрессии против евреев. По всей вероятности, я перейду границу с группой евреев и на ближайшей станции сяду на поезд и поеду во Львов. Русские, говорят, пассажиров не обыскивают. Во Львове я являюсь по определенному адресу, где меня узнают по условному паролю. Обговорив все детали, Борецкий сказал, пристально глядя на меня:

— Я сказал вам, чего мы ждем от вас, но вы вправе знать, на что сами можете рассчитывать с нашей стороны. Если немцы схватят вас прежде, чем вы встретитесь с проводником, мы ничем не сможем вам помочь. Выпутывайтесь как знаете. Если же вы попадетесь после этой встречи, у вас больше шансов уцелеть. Нам сообщат, когда и где вы были арестованы, и мы сделаем для вас все возможное. Но и в этом случае вам придется запастись терпением. Ну а если вас задержат русские, тут все гораздо проще. Скажите, что убежали от немцев и хотите жить в советском государстве. Говорят, этот номер всегда проходит.

— Все продумано наилучшим образом, — сказал я. — Кажется, предусмотрено буквально всё.

— Всего не предусмотришь, — покачал головой Борецкий. — Мы стараемся делать что можем. Но во многом приходится надеяться на удачу.

Расставаясь, мы сердечно пожали друг другу руки.

Все произошло точно так, как наметил Борецкий. Я беспрепятственно добрался до Львова. А полгода спустя заработала система Сопротивления, созданная по его указаниям. Единственном, чего он не смог предвидеть, была его собственная участь.

В конце февраля 1940 года его схватило гестапо. Проглотить яд он не успел. Его переводили из одной тюрьмы в другую, подвергали чудовищным пыткам. Избивали чуть ли не сутками

напролет. Методично и со знанием дела ему переломали все кости. От ударов железным прутом спина превратилась в кровавое месиво. Он никого и ничего не выдал и был расстрелян.

А нацистские газеты сообщили, что военный трибунал приговорил к смерти польского бандита за неповиновение властям рейха.

Глава IX
Львов

Впервые с тех пор, как я бежал из Радома, у меня появилось чувство, что я делаю что-то важное и нужное. Я хорошенько выучил все, что было указано в фабричном удостоверении, чтобы легко ответить на любой вопрос.

Но никаких обысков в поезде не было, так что ни документы, ни психологическая подготовка не пригодились. Сразу на вокзале я нанял крестьянскую телегу и доехал до деревушки, расположенной километрах в двенадцати от города, у самой германо-советской границы[58].

…На краю деревни стоял беленый домик с аистиным гнездом на крыше, именно там я должен был найти человека, который переводит через границу евреев. Я постучал в дверь.

Довольно долго никто не отзывался, так что я забеспокоился. Обошел вокруг дома, постоял под окном, прислушался. Тишина. Наконец до меня донесся храп — кто-то там спал глубоким сном. Я успокоился, вернулся к двери и стал колотить в нее что есть силы, пока мне не открыл заспанный краснолицый парень в помятой одежде.

— Кажется, я заснул, — виновато пробормотал он. — Кто вы?

Я объяснил, что мне надо. Парень знал, что я приеду, и согласился перевести меня вместе с группой евреев через три дня. Он благополучно проделывал эти рискованные вылазки десятки раз и держался совершенно спокойно. Пока мы разговаривали, он надел теплую куртку и, обхватив меня за плечи, вывел на улицу:

— Пошли-ка поскорее, время дорого. Вам надо устроиться в деревне. Но сначала я покажу, где мы встретимся.

Он шел впереди широкими шагами, позевывая и потягиваясь на ходу. До условленного места было километра три с половиной. На меня он почти не обращал внимания. Чтобы завязать разговор, я спросил, почему он такой сонный. Он охотно рассказал, что прошлой ночью переводил на ту сторону очередную группу, а сегодня ему тоже не дали выспаться — то и дело приходили люди из новой группы, просили показать место встречи.

Мы перешли через ручей и оказались на поляне у мельницы.

— Вот здесь, — сказал проводник усталым голосом, как будто в сотый раз повторял одно и то же. — Встречаемся на этом месте через три дня, ровно в шесть. Ждать никого не будем.

— Я приду вовремя, — сказал я. — А где я могу пока остановиться?

— На другом конце деревни есть трактир. Он один-единственный, не ошибетесь. На обратном пути хорошенько запоминайте дорогу. Второй раз показать будет некому.

Я послушался и внимательно оглядел все вокруг: деревья, тропинку, ручей. Проводник подождал, пока я как следует осмотрюсь, и мы пошли обратно. Он шагал быстро и грузно, а один раз пошатнулся, и я заметил, что глаза у него полузакрыты. Я подтолкнул его локтем. Он мгновенно встрепенулся:

— Что такое?

— Ничего, но вы же спите. Я испугался, что вы споткнетесь и разобьетесь.

— Разобьюсь? Здесь? — Он презрительно посмотрел на ровную, покрытую грязью дорогу. — Да никогда, даже если напьюсь или ослепну!

Когда мы дошли до его дома, он без лишних слов свернул к нему.

Я действительно легко нашел трактир, который оказался на удивление приличным. Хозяин, старый морщинистый крестьянин, вопросов не задавал, но цену заломил изрядную, поскольку кое о чем догадывался. Три дня я прикидывался больным и не показывал носу из своей комнаты, чтобы не привлекать внимание. На поляну я пришел чуть раньше назначенного часа, но большинство беженцев уже были там.

Стемнело. Полная луна освещала поляну. Среди беженцев были старики, две женщины с малыми детьми на руках, молодые девушки и парни. Все — евреи. Должно быть, предчувствовали, что их народ будет безжалостно истреблен.

У всех в руках свертки, сумки, баулы. Кое-кто прихватил даже подушки с одеялами. Особенно выделялось семейство из восьми человек: пожилая чета с четырьмя дочерьми и двумя зятьями. Нам предстояло пройти двадцать километров по лесам и полям, так что вообще-то брать больных и младенцев не полагалось.

Но, видимо, наш проводник не очень строго следовал этому правилу — он только шикнул на матерей и велел им утихомирить своих отпрысков, которые разорались на всю округу. Женщины укачали и убаюкали младенцев, и мы пустились в путь.

Проводник шел впереди широким быстрым шагом, не глядя по сторонам и только изредка оборачиваясь, чтобы пресечь слишком громкие разговоры. Впрочем, вероятность встретить кого-нибудь, кто мог бы нас выдать, была невелика — стоял промозглый холод, кругом ни души, а голые деревья придавали пейзажу унылый вид.

Дорога петляла по лесу, огибала поля, мы переходили через речки и топкую грязь. Иногда казалось, что проводник сбился с

пути, но он шагал так уверенно, что всякие сомнения отпадали. Если луна скрывалась за тучей, нас накрывала тьма, мы шатались, спотыкались, цеплялись друг за друга, падали, обдирали колени и локти, лица у нас были исцарапаны и забрызганы грязью.

Когда луна появлялась вновь, я видел перед собой обеих матерей. Исхлестанные ветками, растрепанные, измученные, они одной рукой держались за идущих впереди мужчин, а другой прижимали к груди ребенка. У нас оставалась свободная рука, чтобы отвести ветки или удержать равновесие, они же натыкались на все камни, корни и колючки и подчас еле удерживались на ногах.

Каждый раз, когда такое случалось, младенцы принимались хныкать, а мы все замирали от страха. Но у женщин хватало сил успокоить их лаской. Время от времени проводник останавливался, велел нам оставаться на месте и ждать, пока он разведает дорогу, а потом подзывал нас и поторапливал. Мы шли по извилистой тропе, о которой знали только местные жители, так что не было риска столкнуться с советским или немецким патрулем.

Наконец мы вышли из леса прямо на большую дорогу. Проводник тихонько позвал нас и радостным голосом сказал:

— Граница позади. Можете теперь спокойно отдохнуть.

Мы свалились на влажную землю под стоящими вдоль дороги деревьями. Проводник разбил нас на три группы, которые по очереди повел в деревню.

Первые две состояли в основном из женщин и стариков, мы же, остальные, сбились в кучку на опушке и дрожали от холода. Разговаривать не хотелось, каждый старался хоть как-то привести в порядок одежду. Когда проводник вернулся за нами, он облегченно вздохнул и сказал:

— Ну вот, еще одну партию перевел.

— Давно вы этим занимаетесь? — спросил я, чтобы нарушить гнетущее молчание.

— С тех пор, как немцы взяли Варшаву.

— И долго еще собираетесь продолжать?

— Пока Варшаву не отвоюют.

Он довел нас до деревни и повернул обратно. Мы, пятеро мужчин и одна женщина, зашли в трактир. Хозяин, шустрый старый еврей, встретил нас шутками и прибаутками — верно, хотел поднять нам настроение. И тут же сообщил последние новости. Гитлер обречен. В Голландии произошло наводнение, утонула целая немецкая армия. В самой Германии готовится заговор против Гитлера, и скоро его убьют. Германия и СССР —

смертельные враги и вот-вот передерутся. Нарисовав такую радужную картину настоящего и будущего, хозяин напоил нас горячим чаем и предложил немного водки «по довоенной цене».

Всю первую половину следующего дня мы просидели в трактире, слушая россказни хозяина, а после обеда порознь пошли на станцию, расположенную в пяти километрах от деревни. Дочь трактирщика провожала нас. Несколько раз по дороге попадался советский патруль, и, чтобы не вызывать подозрений, мы поднимали сжатый кулак в коммунистическом приветствии.

На вокзале толпилось множество народу, все кричали, размахивали руками. В кассах билетов не было, но их продавали из-под полы втридорога. Дочь трактирщика за пять минут раздобыла шесть билетов до Львова. Львовский поезд уже был объявлен и прибыл почти вовремя. Доехали без приключений. Никаких проверок не было. Я заснул и даже успел немного отдохнуть в дороге.

На хорошо знакомом мне львовском вокзале висели советские флаги и все надписи были по-русски. Сразу по прибытии я отправился к своему бывшему университетскому преподавателю. Он жил в том же скромном домике, что и прежде, под своим именем. Я позвонил, он тут же открыл дверь, но посмотрел на меня с сомнением.

— Вам привет от Антека, — отчеканил я пароль. — Я привез от него письмо.

Профессор внимательно оглядел меня, ничего не ответил, но впустил в дом. Я начал понимать, что убедить нужных мне во Львове людей в том, что я на самом деле тот, за кого себя выдаю, будет непросто. Подпольная система оповещения была еще плохо налажена, поэтому участники Сопротивления все время держались начеку и никому не доверяли. На вид чудаковатый, невзрачный, профессор славился среди соратников бесстрашием и изобретательностью. У него были причины не раскрывать себя раньше времени. А возможно, до меня у него уже побывал другой курьер и сообщил измененный пароль.

Было крайне важно, чтобы он поверил мне, потому что именно он возглавлял львовское подполье и без него план, с которым я приехал, не мог бы осуществиться.

Это был сухощавый человечек маленького роста, с седыми волосами, птичьим профилем и часто мигающими карими глазками. Невыразительное лицо его походило на маску, голова, казалось, приросла к старомодному крахмальному воротничку. Нелепый вид довершал яркий галстук-бабочка.

— Пан профессор, я приехал из Варшавы, — начал я. —

Руководство Сопротивления…

Профессор слушал меня с нарочитым безразличием, а при слове «Сопротивление» совсем замкнулся, рассеянно подошел к окну и стал, теребя свой чудной галстук, смотреть на улицу, будто бы вообще забыв о моем присутствии.

— …Поручило мне ознакомить вас с новым планом организации работы, — говорил я довольно вяло.

Продолжать было бесполезно. Я замолчал, немного подумал, потом подошел к профессору и взял его за плечо. Он живо обернулся и сердито сверкнул на меня глазами.

— Разве вы не узнаете своего бывшего ученика? — спросил я и улыбнулся. — Не помните, как в тридцать пятом году, перед моим отъездом за границу, сказали, что будете всегда рады меня увидеть? Вот уж не ожидал от вас такого приема!

— Узнаю, конечно, узнаю, — ответил профессор, мигая.

Я понимал, что у него еще остались сомнения. Прежде он любил меня, но как знать, кем я стал сегодня! Он пытливо разглядывал меня, словно зоолог, изучающий особь неизвестной породы. И наконец нехотя проговорил:

— Сейчас я очень занят, у меня скоро лекция. Если хотите, давайте встретимся в два часа у входа в парк рядом с университетом.

— Хорошо, буду ждать вас там. Жаль, что по определенным причинам не смогу послушать вашу лекцию.

Профессор улыбнулся. Видимо, подозрения его несколько рассеялись, но он все еще остерегался полностью довериться мне, положась на старую дружбу. Ему нужно было поразмыслить. До сих пор он вел себя очень осмотрительно — если я все же шпион, он ничем себя не выдал. Поговорить по-настоящему можно будет не раньше, чем он решится на это сам. Я ушел.

До свидания в парке оставалось два часа, и я решил отыскать за это время своего старого львовского друга. Не знаю, чему я больше радовался, когда меня посылали сюда: важности поручения или возможности увидеться с Ежи Юром[59].

Ежи был года на три младше меня. Красивый малый, сын львовского врача. С нежным, как у девушки, лицом (приятели дразнили его из-за того, что у него не росла борода), голубыми глазами, светлыми волосами. Всегда безукоризненно одетый. Я познакомился с ним в университете, а потом мы вместе служили в армии — в одной артиллерийской батарее. Очень способный и умный, он был лучшим студентом на курсе, причем учебе никак не мешала политическая деятельность, на диво бурная даже для Польши, где политикой нередко занимаются шестнадцати-семнадцатилетние ребята и девушки. Таких, как он, обычно

называют фанатиками, маньяками, до тех пор пока они не добьются успеха. Ежи был ярым, последовательным сторонником демократии. И в школе и в университете он при каждом удобном случае излагал свои взгляды. Ни один школьный сборник на тему демократии не обходился без его статьи.

Все это огорчало его родителей, которые предпочли бы, чтобы сын больше времени уделял подготовке к будущей профессии. Помню, однажды мать при мне упрекнула его за то, что он слишком увлечен политикой. Ежи шутливо ответил:

— Такая уж у меня страсть. А что, мама, тебе бы больше понравилось, если бы я бегал по девочкам?

Аргумент подействовал — мать Ежи больше всего на свете боялась, как бы сын не связался с неподходящей женщиной. Она знала его влюбчивую натуру, видела, какой он молодой и красивый, и потому готова была смириться с чем угодно, лишь бы это отвлекало его от самой страшной опасности. Так Ежи добился разрешения заниматься после занятий «общественной работой».

— Она не знает, — сказал мне однажды Ежи, когда речь зашла об опасениях его матери, — что у меня хватает времени и на то и на другое.

Эта его «общественная работа» не всегда бывала удачной. В 1938 году во время студенческих волнений его избили политические противники, да так, что он чуть не месяц отлежал в больнице. К сожалению, в Европе борьба за демократию не всегда ведется демократическими методами.

По пути к дому Ежи я перебирал в голове воспоминания о нашей армейской дружбе и думал, удастся ли ее восстановить. Мне хотелось уговорить его поехать вместе со мной во Францию.

Я постучал в дверь — так, будто возвращался из университета и невзначай забежал к приятелю.

Открыла незнакомая пожилая женщина.

— Ежи дома? — спросил я.

— Его нет, — ответила она. — Он поехал погостить к тете.

— А его родители?

— Их тоже нет.

— А где они?

— Не знаю.

Больше я ни о чем не спрашивал. Все и так было ясно: родителей Ежи выслали на восток, в Россию.

— Меня зовут Ян Карский, — сказал я. — Можно мне зайти к Ежи недели через две?

— Ежи говорил о вас, — сказала женщина, глядя мне прямо в глаза. — Я тоже его родственница. Заходите, конечно, если хотите, но по нынешним временам дожидаться тех, кто поехал

погостить к тете, не всегда имеет смысл.

Ну понятно. Или Ежи скрывается, или он за границей.

Три месяца спустя я узнал, что он во главе десятка других молодых ребят бежал во Францию. Им удалось сохранить при себе много оружия: револьверов, ручных гранат и разобранных пулеметов. Каким-то чудом они перешли через Карпаты, пересекли венгерскую границу и при полном боевом вооружении предстали перед польским военным атташе. То есть в Венгрию прибыло настоящее воинское подразделение. Этот подвиг произвел сенсацию.

Впоследствии наши пути не раз сходились. Выполняя опасную работу подпольного курьера по особо важным поручениям, Ежи два раза за один год пересек туда и обратно все европейские фронты. Когда же мы встретились с ним в Лондоне, он выглядел умудренным и удрученным всем, что ему довелось пережить, но по-прежнему верил в будущее и отстаивал справедливость, свободу и порядок.

Я нашел профессора в парке, у старого здания университета.

На этот раз профессор был настроен на дружеский лад и решил мне открыться. Мы сели на скамейку, и я изложил ему намерения и планы варшавского руководства. Большую их часть он сразу же одобрил и даже стал предлагать какие-то конкретные действия. Профессор был готов принять участие в создании системы, предложенной Борецким, да и сам уже думал о чем-то подобном. Но чего-то он явно недоговаривал, я же не понимал, в чем дело. Однако он не стал делиться со мной сомнениями, а принялся расспрашивать о Варшаве, о том, насколько сильна наша организация и как она действует.

Слушал он внимательно, изредка задавая вопросы, чтобы уточнить какие-то, видимо необходимые ему, чтобы составить себе полное представление, детали. А под конец сказал:

— Есть кое-что, что вы должны понять и пересказать в Варшаве. Здесь совсем другие условия. Во-первых, гестапо и ГПУ сильно отличаются друг от друга. У советских органов внутренних дел больше опыта и лучше выучка. И методы у них более совершенные — это тщательно продуманная и организованная система. Большая часть приемов, которые удаются в Варшаве, во Львове не пройдут. Тут у нас даже местные группы Сопротивления часто не могут наладить связь между собой — очень трудно сбить со следа агентов ГПУ и просто распознать их[60].

— Я не думал, что у вас такая сложная обстановка.

— Мы живем в разных мирах.

Профессор теперь прекрасно владел собой, говорил размеренно и спокойно. Вопросы, которые он задавал, свидетельствовали о редкой прозорливости. Во всем, что он говорил, чувствовался мудрый расчет, твердое упорство, огромные знания. Все это никак не вязалось с его воробьиной внешностью, комичным долгополым сюртуком и все тем же кричащим галстуком-бабочкой. Я даже подумал, не нарочно ли он так эксцентрично одевается, сознательно или нет маскируясь.

— И все же, — продолжал профессор, — передайте пану Борецкому, что я полностью разделяю его взгляды и сделаю все возможное для осуществления его плана. Пусть только он имеет в виду, как нам трудно, по возможности оказывает помощь и не упрекает нас, если не все будет гладко.

Я сказал, что верю в наши силы — так или иначе, мы преодолеем все трудности. В парке темнело, а мы еще долго сидели и вспоминали былые времена.

Наконец профессор встал:

— Мне пора идти. Извините, что не приглашаю вас к себе домой, это слишком рискованно. Советую вам остановиться в гостинице «Наполеон». Старайтесь поменьше говорить и не привлекать внимания. Дорогу в город помните?

— Конечно. Но мне хотелось бы еще раз повидаться с вами, профессор.

— Приходите сюда, в парк, завтра, в тот же час. Всего хорошего.

На следующий день я пошел к другому влиятельному человеку — руководителю львовской подпольной военной организации, от которого, как и от профессора, зависел успех моей миссии. У него был свой магазин одежды в центре города.

— Добрый день. Чем могу быть полезен? — встретил он меня.

— Вам привет от Антека, — сказа я, понизив голос, хотя в магазине никого не было. — Я привез от него письмо.

Он окинул меня подозрительным взглядом. Я вспомнил, что профессор говорил мне о советских спецслужбах, и ломал голову, как внушить к себе доверие. С другой стороны, как убедиться, что это действительно тот человек, который мне нужен. На этот счет я очень быстро успокоился.

— Пройдемте вон туда, — бросил он, все так же пристально вглядываясь в мое лицо, словно надеясь прочитать на нем правду. Я же пошел за ним без колебаний — ясно, что это тот, кого я ищу: кто, кроме члена Сопротивления, повел бы меня в заднюю комнату, при том что в магазине не было ни души!

— Я из Варшавы, — начал я, — с известиями от Борецкого.

— Понятия не имею, кто это такой, — перебил он. — И

вообще я в Варшаве никого не знаю, кроме двух-трех родственников.

— Послушайте, меня зовут Ян Карский. Меня послали с поручением наладить взаимодействие между варшавскими и Львовскими организациями и рассказать вам о планах нового устройства.

Он снова внимательно посмотрел на меня.

Я подумал, что мое имя могло ничего ему не говорить и что, если его не предупредили о моем приезде, он никак не мог проверить правдивость моих слов.

— Я вас не знаю, и у меня нет никаких дел в Варшаве, — сказал он после секундного колебания.

Я был в отчаянии. Стена оказалась непробиваемой. К моему собеседнику вернулась полная невозмутимость. Он, видимо, посчитал инцидент исчерпанным и делано-беспечным тоном спросил:

— Чем еще могу служить?

Вечером я рассказал об этой встрече профессору. И он объяснил мне, что во Львове совершенно бесполезно пытаться разговорить человека, который решил молчать. И правильно решил, потому что полагаться на интуицию опасно. Известно немало случаев, когда люди, переоценив свою способность читать по лицам, попадались в лапы ГПУ.

Профессор сказал, что известия и указания, которые я привез, будут по возможности доведены до всеобщего сведения, и спросил, что я собираюсь делать. Я ответил, что получил приказ проникнуть через Румынию во Францию.

— Нелегкая задача, — сказал профессор. — Мало какая граница в Европе охраняется так же тщательно, как советско-румынская.

— Всегда найдется способ обмануть бдительность пограничников.

— Это верно по отношению к людям, но румынскую границу, кроме пограничников, стерегут специально обученные собаки. Прорваться, насколько я знаю, практически невозможно. Советую вам вернуться в Варшаву и выбрать другой маршрут. Иначе вы только потеряете время, к тому же рискуя понапрасну головой.

Я согласился и через несколько дней вернулся в Варшаву тем же путем, каким добирался до Львова.

Глава X
Миссия во Франции

В конце января 1940 года я отправился поездом из Варшавы в Закопане, откуда начинался мой маршрут во Францию. Закопане — это городок недалеко от польско-словацкой границы, у подножья Татр, самой высокой горной цепи в Карпатах. Довольно известный горнолыжный центр.

В небольшом домике на окраине я встретился со своим проводником и двумя молодыми офицерами, которым предстояло идти вместе с нами до Кошице, словацкого города, включенного после раздела Чехословакии в 1939 году в состав Венгрии[61].

Мы должны были выдать себя за группу лыжников. Я переоделся в лыжный костюм, который специально привез с собой. Проводник, высокий крепкий парень, раньше был инструктором по лыжному спорту. Оба офицера тоже отлично катались. Один из них, поручик пехоты, направлялся во Францию, чтобы, согласно приказу генерала Сикорского, примкнуть к польской армии. Другой, двадцатичетырехлетний князь Пузына, летчик, собирался присоединиться к польским военно-воздушным силам.

На рассвете следующего дня мы двинулись в дорогу через словацкие горы. Стоял мороз, в полутьме снег казался фиолетовым. Потом он стал розовым и, наконец, когда у нас за спиной встало солнце, — ослепительно белым. Мне было удобно и тепло в облегающем свитере, толстых носках и тяжелых ботинках. В рюкзаках у нас лежал запас провизии — мы решили все четыре дня пути не заходить в обитаемые места. Шоколад, сухая колбаса, хлеб, водка и сменные носки в придачу.

Настроение у нас было превосходное, мы так веселились, будто нам предстояла не опасная вылазка, а приятный поход, как в мирное время. Пехотинец принялся рассказывать о своих лыжных достижениях. Пузына полной грудью вдыхал воздух и‘не мог им нахвалиться. Проводника все это, кажется, слегка раздражало, он посоветовал нам успокоиться, сбавить ход и беречь силы, поскольку впереди долгая дорога.

Но мы не унимались. Погода стояла чудесная. Снежные склоны искрились на солнце, бодряще пахли сосны, мы чувствовали себя свободными, словно вырвались из долгого заточения. На другой день преспокойно перешли границу. А продвигаясь все дальше в горы никому не известными тропами, и вовсе перестали заботиться об осторожности. Люди попадались

очень редко, и мы с ними не заговаривали.

Ночевали мы в пещерах или пастушьих хижинах, а рано поутру снова пускались в путь.

Проводник все так же неодобрительно на нас поглядывал и старался образумить. Однажды, когда мы перевалили через горный гребень, Пузына, увидев раскинувшийся перед нашими глазами изумительный вид, закричал от восхищения. Проводник же с безразличным видом оперся о палки и, не скрывая скуки, подавил зевок.

— Да неужели, — обратился к нему Пузына, — вас нисколько не волнует эта красота?

Проводник усмехнулся:

— Вы — моя тридцать первая группа. Кого я только не водил: толстых и тощих, высоких и низких, старых и малых, богатых и бедных. И как только они себя не вели! Одни восторгались, как вы, другие ныли и стонали от усталости. Кому-то было все равно, лишь бы поскорее дойти. Я любил и люблю горы и лыжи. Но сейчас мне все это поднадоело.

Больше мы не пытались его расшевелить и обменивались впечатлениями между собой.

На венгерской границе мы разошлись в разные стороны. Пузына с поручиком двинулись во Францию по одной дороге, я — по другой, а проводник повернул обратно в Закопане. Пузына добрался до Франции, потом до Англии и там осуществил свое заветное желание — вступил в военно-воздушные силы. Он сбил немало самолетов, бомбил немецкие города. А в конце 1942 года я нашел его имя в списке пропавших без вести[62].

Вдоль венгерско-словацкой границы польское Сопротивление устроило своего рода сборные пункты для молодых поляков. Венгры смотрели на это сквозь пальцы. Оба мои товарища направились в один из этих пунктов, чтобы дожидаться своей очереди быть переброшенными во Францию. Я же добрался до Кошице и нашел там нашего человека, который досыта меня накормил, дал городское платье и отвез на машине в Будапешт. По дороге выяснилось, что я совершенно больной, чего раньше не замечал — было не до того. В горле страшно першило — пришлось погасить сигарету, я расчихался и раскашлялся. Руки потрескались и кровоточили, а больше всего болели ноги. Я осмотрел их, сняв носки и туфли: ступни и лодыжки ужасно распухли, к ним было не прикоснуться.

Мой спутник следил за мной с насмешливым любопытством. А когда я перестал ощупывать себя и охать, деловито сказал:

— Лыжный спорт — отличная штука.

— Но до сих пор я почему-то ничего не чувствовал, — мрачно

отозвался я.

— Так всегда и бывает, но это еще ничего. Не слишком большая цена за столь приятную прогулку. К тому же в Будапеште есть хорошие больницы, вас быстро вылечат.

— Да? А это не слишком рискованно?

— Ничуть. У нас тут все прекрасно организовано. Вам выдадут все документы, и вы сможете свободно передвигаться куда захотите.

Поездка заняла часов восемь; когда мы добрались до Будапешта, уже стемнело. К моему удивлению, все улицы города были ярко освещены, не то что в Варшаве. Мы подъехали к дому, где жил работавший в Венгрии главный посредник между правительством во Франции и Сопротивлением. Он жил в тихом квартале, так что, на мое счастье, никто нам не встретился. Ведь до подъезда я ковылял босиком, держа туфли в руках — так и не сумел засунуть в них больные ноги. Спутник представил меня и ушел. Вид у меня был далеко не героический, скорее я напоминал бравого солдата Швейка.

«Директор» (так его называли) распорядился принести мне бинты и мазь, задал кое-какие вопросы и отвел в отдельную комнату, заверив, что завтра же меня положат в больницу, а уж потом я успею познакомиться с городом. Из-за простуды я плохо спал и встал поздно. Отеки на ногах стали поменьше, но надевать туфли все еще было очень больно. После плотного завтрака «директор» выдал мне документы — удостоверение польского беженца, подтверждавшее, что я нахожусь в Будапеште с начала войны, и справку о лечении в больнице[63].

Паспорт и железнодорожный билет для поездки во Францию я должен был получить чуть позднее. А пока меня уложили в больницу, откуда спустя три дня я вышел окрепшим и с почти здоровыми ногами.

После этого я пробыл в Будапеште еще четыре дня, много гулял по городу то один, то в сопровождении двух помощников «директора». Это одна из самых красивых и заманчивых столиц мира. Но я чувствовал себя неприкаянным и с нетерпением ждал отъезда, хотя венгры относились к преследуемым полякам с симпатией и сочувствием, и я не раз с удовольствием ощущал это на себе. Наконец паспорт и билет были доставлены.

Я сел в Будапеште в симплонский экспресс, пересек Югославию и шестнадцать часов спустя прибыл в Милан. Прямо с помпезного, построенного фашистами вокзала быстренько сбегал в знаменитый собор, который поляки, бог знает почему, всегда считали лучшим в мире памятником архитектуры. А потом снова сел в поезд и доехал до Модана, городка на границе Италии и

Франции. Там мне в первый раз довелось увидеть, с какой осмотрительностью и осторожностью действует польское правительство во Франции, опасаясь немецкой разведки. Нацистские шпионы наводнили Францию, внедрились в стратегически важные системы, откуда их трудно было выкорчевать.

Польское правительство организовало в Модане особую службу контрразведки, которая тщательно проверяла каждого вновь прибывшего поляка, чтобы помешать немцам забрасывать во Францию своих агентов под видом польских беженцев или участников Сопротивления. Не одна такая попытка уже была пресечена, и мы были неплохо осведомлены о методах врага.

В Венгрии и в любом другом месте, где только можно было повстречать польских беглецов, немецкие шпионы пытались купить, отнять или украсть у них паспорта. Причем иметь дело предпочитали с простыми крестьянами. Сулили фантастические суммы, помогали перебраться обратно в Польшу, обещая, что там им вернут дома и землю. Когда же те, одураченные, возвращались на родину, их немедленно отправляли на принудительные работы.

В Модане я обратился к офицеру польской контрразведки, чье имя мне сообщили заранее. Он провел меня к другому офицеру, тот проверил мои бумаги и стал расспрашивать. Не на все его вопросы я мог ответить, поскольку миссия моя была секретной и я не имел права рассказывать о ней никому, кроме премьер-министра генерала Сикорского. Тогда офицер спросил, как звали человека, который снабдил меня паспортом и прочими бумагами в Будапеште. Я назвал имя «директора». Офицер попросил меня подождать и вышел. А через минуту-другую вернулся и проводил меня в кабинет третьего, на этот раз высшего офицера, который принял меня радостно и с полным доверием. Как оказалось, он уже давно получил телеграмму с подробным описанием моей личности и понял, кто я такой. Ему было приказано переправить меня во Францию. Меня поразило, как спокойно он прочитал мои документы и без малейших колебаний признал, что я действительно тот, за кого себя выдаю. Ведь в Сопротивлении не редкость, когда тебе наотрез отказываются верить, и я уже столкнулся с этим во Львове, когда пытался войти в контакт с тамошним командиром подпольной армейской ячейки.

— Надеюсь, вы понимаете, какова моя задача, — сказал офицер. — Мы столкнулись с огромными трудностями из-за немецких шпионов — их тут немыслимо много. Во Франции они повсюду.

— Я не знал. Но как им это удалось?

— Долго объяснять. Действуют они не то чтобы уж очень умно, но организованно, упорно и не брезгуя никакими средствами. Мы уничтожаем их, стараемся изо всех сил, но они как сорняки — сколько ни выпалывай, вырастают новые. У нас не хватает людей для этой борьбы, так что будьте осторожны. Не открывайтесь никому, пока у вас не будет полной уверенности, что это свой.

— А что же делают французы, чтобы избавиться от этой заразы?

— Кое-что, конечно, делают, но этого очень мало. Здесь ведь войну не очень-то всерьез воспринимают. Французов она еще не коснулась. Тут вам не Польша. Пока люди не потерпели такого сокрушительного поражения, как мы, им не втолкуешь, как страшны немцы и как надо с ними бороться.

Он вынул из ящика стола толстую пачку французских денег и протянул мне:

— Пересчитайте и распишитесь в получении. Это на расходы в Париже. Вам положена приличная сумма. Только, прежде чем туда отправляться, переоденьтесь. А то любой шпион по вашему виду сразу поймет, что вы едете с важной миссией. Лучше притворитесь обычным беглым солдатом, который хочет вступить в наше войско. В Париже сходите в центр комплектования польской армии и запишитесь добровольцем.

Я точно выполнил все инструкции. В купе первого класса поезда Модан — Париж вместе со мной ехало еще шесть человек. Я внимательно оглядел каждого. Пожилая женщина, погруженная в чтение «Фигаро»; двое мужчин, видимо коллеги, ехавшие по делам, все время говорили о друзьях, о работе, о войне. Остальные трое — молодые поляки, которые направлялись в армию. Я пытался расслышать, нет ли у кого-нибудь немецкого акцента. Порой мне вдруг казалось, что один из двоих французов допустил ошибку в речи. Но я тут же начинал сомневаться — может, и нет. Насчет поляков я мог бы поклясться, что это мои земляки, но, как знать, вдруг они немецкого происхождения, как те предатели в Освенциме. От греха подальше я закрыл глаза и притворился спящим, чтобы не участвовать в разговоре.

Центр комплектования польской армии располагался в Бессьере, северном предместье Парижа[64]. Собственно, тут был и лагерь для беженцев, и рекрутский пункт. Я прошел всю процедуру записи и там же переночевал, чтобы показать, что намереваюсь остаться. А на другое утро взял такси и поехал в центр города. Из первой же телефонной кабинки я позвонил Кулаковскому[65], личному секретарю генерала Сикорского:

— Я приехал и должен встретиться с вашим начальником.

Большего по телефону я сказать не мог. Кулаковский велел мне идти в польское посольство на улице Талейрана, около Дворца инвалидов, которое превратилось в резиденцию правительства. Встретил он меня очень сухо, предложил сесть и позвонил по телефону профессору Коту[66]. Кот, один из лидеров Крестьянской партии, занимал в правительстве Сикорского пост министра внутренних дел. Кулаковский описал ему меня и спросил, что со мной делать. Кот, видимо, был предупрежден о моем появлении, так как Кулаковский снабдил меня новой суммой денег, велел поселиться в Париже где угодно и на другой день в одиннадцать часов явиться в Анже, в Министерство внутренних дел.

— Но сначала я должен заехать в Бессьер, — сказал я. — Я оставил там чемодан и пальто.

— В чемодане есть что-нибудь важное?

— Разумеется нет!

— Тогда плюньте на свои вещи. Купите новые. В Бессьер возвращаться не стоит. Там могут быть немецкие шпионы. Эта зараза проникает повсюду. В Париже их пруд пруди.

— Мне уже говорили. А в Анже?

— И там небезопасно. Так что надо быть очень внимательным. Ну а сейчас найдите себе какой-нибудь уютный отель в квартале Сен-Жермен и заранее купите на завтра билет в Анже. Желаю удачи.

Я взял такси, велел шоферу ехать на бульвар Сен-Жермен и снял комнату в комфортабельном, но очень тихом отеле. В моем распоряжении были вечер и ночь, и я решил воспользоваться этим временем. В Варшаве я привык жить, постоянно чувствуя угрозу, и до чего же приятно было сознавать, что теперь это чувство отступило.

Парижанам не приходилось бояться гестапо. Хоть вечер был ненастный и собирались тучи, по бульварам гуляла толпа бодрых, хорошо одетых людей, еще более разноплеменная, чем в мирное время. Шла «странная война»[67], которая вот-вот должна была так страшно оборваться. Я дошел до «Кафе де ла Пэ», которое запомнилось мне как совершенно волшебное место. Ни одного свободного столика не было, и я с трудом отыскал себе место. Рядом посетители оживленно разговаривали, потягивая пиво, вино или кофе. Даже теперь, зимой, на террасе было полно народу, люди жались поближе к источающим тепло жаровням.

Остаток вечера я посвятил покупкам, потом побаловал себя роскошным ужином и еще немного побродил по бульварам, прежде чем вернуться в отель с кипой французских газет. Ничего нового я из них не вычитал и быстро заснул.

На следующее утро, надев новый костюм, я поехал в Анже. В этом городе французские власти разместили польское правительство. Там была официальная резиденция польских министров и зарубежных послов. Франция предоставила ей статус экстерриториальности, так что это было настоящее суверенное государство.

Найти резиденцию не стоило никакого труда. Первый встречный француз указал мне дорогу и прибавил, что все в городе считают за честь приютить у себя правительство «несчастной Польши, на которую так вероломно напали». В Министерстве внутренних дел меня учтиво, но сдержанно принял секретарь Кота. Проверил мои документы и сказал, что Кот хочет встретиться со мной в неофициальной обстановке, а потому приглашает пообедать с ним в соседнем ресторане. Когда я пришел туда в назначенное время, Кот уже ждал меня.

Он был невысокого роста, седой, явно скрупулезный до педантизма во всех своих делах и привычках. Мы представились друг другу, сели за столик. Кот сказал, что я больше похож на сытого парижского банкира, чем на курьера из голодной Польши.

Я ответил, что распространенные представления о том, как живется в оккупированной Польше, по большей части ошибочны.

Кот сверлил меня взглядом:

— И все же, несмотря на все ваши документы и пароли, я должен сохранять бдительность и убедиться лично, что вы тот самый человек, которого я жду. Расскажите о себе, о том, чем вы занимались до войны и что делаете теперь. О людях, с которыми вы работаете.

Мы долго говорили о тех участниках Сопротивления, с которыми я был знаком. Кот таким образом много чего разузнал не только обо мне, но и о других наших соратниках. Его вопросы и реплики выдавали в нем умного, хорошо осведомленного и проницательного человека. Одна из его особенностей состояла как раз в том, что, анализируя ту или иную ситуацию, он учитывал не столько обстоятельства, сколько человеческие характеры.

Когда мы перешли к подробному обсуждению конкретных дел, Кот велел мне изложить все письменно, чтобы у него осталось документальное свидетельство, и обещал прислать мне в Париж секретаршу с пишущей машинкой.

— Только не упоминайте никаких имен или названий политических организаций, назовите их устно, а секретарша запишет секретным шифром.

Мне понадобилось шесть дней на подготовку отчета[68]. Когда он был закончен, я снова позвонил секретарю Сикорского. Он

назначил мне встречу в посольстве и передал, что генерал Сикорский меня примет.

Я очень волновался. Сикорского в Польше весьма и весьма почитали. Называли «европейцем» за широкий культурный кругозор. Отважный генерал, известный своими либеральными, демократическими убеждениями, всегда оставался в оппозиции к Пилсудскому. После сентябрьского разгрома поляки возлагали все надежды именно на него.

Каково же было мое изумление, когда в приемной Сикорского я столкнулся со своим львовским товарищем Ежи Юром! Мы радостно поздоровались. Ежи подробно рассказал мне о своем героическом рейде через Карпаты, но когда зашла речь о сегодняшнем дне, мы оба замялись. Ни я, ни он не имели права болтать. Мы оба прекрасно понимали, что должны вернуться в Польшу, но говорить об этом было нельзя. Хорошо хоть парижскими адресами успели обменяться — вскоре меня пригласили в кабинет генерала.

Сикорскому в ту пору было лет шестьдесят. На вид отменно здоровый человек с армейской выправкой и по-французски безукоризненными манерами. У него было время усвоить их: находясь в оппозиции к Пилсудскому, он много лет прожил во Франции и, видимо, освоился там. Завел много знакомств в политических и военных кругах. Еще с конца Первой мировой у него остались прочные связи с французским Генштабом, и многие французские военные считали его отличным стратегом.

Наш разговор в кабинете генерала был очень коротким, и он пригласил меня пообедать на следующий день в кафе «Вебер».

Мы встретились в холле, и нас провели за стоявший в стороне от других столик. Я заказал аперитивы. Сикорский с улыбкой извинился:

— Если позволите, поручик Карский, я не буду с вами пить. Мне слишком часто приходится это делать на дипломатических приемах, и каждый раз потом бывает плохо.

Генерал был любезен и разговорчив, спрашивал о моем прошлом, о планах на будущее и с живым интересом выслушивал ответы. Поговорили мы и о военных перспективах. Сикорский соглашался с тем, что у немцев превосходная армия, но верил в конечную победу Франции. Прогнозировать, как долго продлится война, он не взялся.

— Что бы я ни думал, — сказал он, — Сопротивление должно рассчитывать на длительную войну и действовать, исходя из этого. Непременно передайте всем мои слова, поручик. Не следует питать иллюзий.

Много говорил он и о том, каким видит будущее Польши:

— Для Польши это не только война за независимость. Просто вернуться к тому, что было до 1 сентября 1939 года, мало. Мы не можем механически воспроизвести прошлое, которое в известной мере повинно в катастрофе. Учитывайте это там, в Варшаве. Нужно помнить, что мы боремся не только за независимость Польши, но и за новое, демократическое государство европейского образца, которое гарантирует всем своим гражданам политические свободы и социальный прогресс. К несчастью, наши бывшие правители считали, что Польша должна развиваться не в демократическом духе, а в условиях режима сильной руки. Хотя это противоречит нашим национальным традициям и европейским нормам. Это не должно повториться, и тех, кто ответственен за такую политику в прошлом, нельзя вновь допускать к власти. Надо, чтобы послевоенная Польша была отстроена объединенными усилиями политических партий, профсоюзов и граждан, — отстроена всеми, у кого есть опыт и добрая воля, а не какой-то привилегированной кастой. Я знаю, что многие соотечественники пока не понимают смысла того, о чем я говорю. Но вы и ваши друзья, молодое поколение, поймете меня. На вас я и рассчитываю. Сначала разделаемся с немцами, а потом возьмемся за тяжкий труд преобразования страны.

Под конец он предложил встретиться еще раз в Анже, в одном из отелей. Там я изложил ему мнение руководителей Сопротивления о необходимости создать объединенную организацию и о том, какова должна быть ее структура. Сикорский почти во всем был согласен с Борецким. Это движение, сказал он, не должно ограничиваться сопротивлением оккупантам, оно должно стать государством особого рода. Надо во что бы то ни стало восстановить все государственные органы. Подпольная армия должна быть частью государственного механизма, а не совокупностью отдельных групп, объединенных одной-единственной целью борьбы с врагом. Я вспомнил насупленный вид руководителя львовского военного подполья и полностью согласился.

— Армия, — продолжал генерал Сикорский, — ни в коем случае не должна вмешиваться в политическую жизнь. Это должна быть народная армия, призванная служить народу, а не управлять им.

Я задал ему один из самых болезненных вопросов, стоявших перед Сопротивлением:

— Как широко должен распространяться принцип отказа от сотрудничества с оккупантами? В некоторых ситуациях бывает полезно внедриться в немецкие организации. Но остается моральный аспект.

Ответ Сикорского был очень мудрым.

— Здесь, в Париже, полякам очень хорошо живется, — сказал он. — Мы едим досыта, спим в тепле, и лично нам ничто не угрожает. Поэтому мы не имеем права диктовать тем, кто страдает и голодает в Польше, как им себя вести. С моей стороны было бы безнравственно навязывать им свою волю. У польского правительства во Франции одна задача — отстаивать интересы Польши за границей. Если бы кто-то спросил мое мнение, я сказал бы, что, с международной точки зрения, любое сотрудничество с оккупантами идет нам во вред. Но пусть люди поступают так, как считают необходимым. Мы не можем отсюда командовать соотечественниками. У нас общая цель — бороться с немцами. Пусть вспомнят о нашей истории и традициях! Скажите им: мы здесь уверены, что они выберут правильный путь[69].

В заключение Сикорский еще раз подчеркнул, что задача Сопротивления и правительства во время этой войны — не только восстановить, но и преобразовать, изменить к лучшему польское государство.

На другой день я случайно встретился с Котом в «Кафе де ла Пэ». Должно быть, оно ему нравилось, а Кот был человеком привычки. В Кракове он с таким же постоянством посещал одно кафе, которое студенты прозвали «Кафе Кота». Кот тоже полностью одобрил предложения, которые я привез. Он был уверен, что оккупация кончится не скоро, а потому надо готовиться к длительной борьбе. Он посоветовал мне связаться с генералом Соснковским, главой подпольной армии[70].

Я позвонил адъютанту генерала, который устроил нам встречу в скромном бистро. Соснковский — типичный военный, лет шестидесяти пяти, высокий, крупный, с пронзительными голубыми глазами и густыми бровями. Он возглавлял штаб Пилсудского, когда тот перед Первой мировой организовывал подпольное сопротивление угнетателям. Конспиративная закваска осталась в нем навсегда.

Немудрено поэтому, что для начала он отчитал меня за то, что я вот так, в открытую, позвонил его адъютанту. Разве мне неизвестно, что телефон прослушивается? Я не ответил. Он спросил, что происходит в Польше, но никак не выразил своего отношения к социальным и политическим проблемам. Его дело, как он сам сказал, — это армия. Соснковский тоже считал, что Польша оккупирована надолго и очень важно, чтобы польский народ понимал: эта война отличается от других, а когда она кончится, все изменится.

Я пробыл в Париже полтора месяца и почти все время был занят составлением отчетов, которые должен был увезти с собой.

А в редкие свободные часы гулял по городу с Ежи Юром. Перед отъездом я в последний раз беседовал с Котом, и он назвал имена всех влиятельных людей из Сопротивления, с которыми мне следовало встретиться. Мы расстались друзьями, а напоследок Кот сказал:

— По всем правилам, я должен бы взять с вас клятву, что вы нас не предадите. Но если бы вы были низким предателем, то и клятву нарушили бы без зазрения совести. Так что давайте просто пожмем друг другу руки. Удачи вам, Карский!

Обратно я ехал под другим именем и с другими документами. Сначала Восточным экспрессом, через Югославию, прибыл в Будапешт. Там остановился на два дня и в интересах дела согласился вместо другого, обычного агента доставить в Польшу рюкзак с деньгами. Услуга была не такая уж пустячная — набитый бумажными купюрами рюкзак весит килограммов двадцать с лишним. Немалый груз, учитывая прочую мою экипировку. До Кошице я доехал на машине, а там встретился с тем же проводником, который перевел меня через горы. Все обошлось благополучно, если не считать того, что снег растаял, так что лыжи не пригодились. Я шел, нагруженный как мул, но счастливый, оттого что возвращаюсь.

Глава XI
Подпольное государство (1)

В конце апреля 1940 года я привез в Польшу важные распоряжения от правительства в изгнании: всем подпольным организациям предписывалось объединиться под эгидой подпольного государства. Перейдя границу, я на несколько дней остановился в одном из тайных убежищ, а потом добрался до Кракова, где связался с представителем Сопротивления. Уже тогда он рассказал мне, что основы для предстоящего объединения заложены, но понадобилось еще много времени, чтобы оно состоялось.

В Кракове меня посвятили в дела местного Сопротивления, и я впервые понял, какая слаженная организация и какая хитроумная тактика требовались для того, чтобы избежать провала. Меня ни на минуту не выпускали из виду. Как я вскоре убедился, обо мне знали всё: что я делал, что говорил и даже что ел на обед. Подходя к дому, я каждый раз заставал у ворот человека, с которым обменивался паролем. Если же никого не было, следовало немедленно повернуться и уйти.

Однажды мне было сказано, что в 9.45 меня будет ждать у ворот пожилая седовласая женщина с синим зонтиком и корзиной картошки в руках. А я как раз в то утро решил сходить в костел. Служба кончилась в половине десятого, к дому я подошел как раз в условленное время, увидел ту самую женщину, и она отвела меня на заранее назначенную встречу. На другой вечер ко мне пришел связной и передал, что руководство недовольно тем, что я не ночую дома и общаюсь с посторонними людьми. Выходит, та тихая седенькая старушка донесла, что я не вышел из дома, а, наоборот, подошел к нему, то есть ходил неизвестно куда.

Постоянная слежка действовала мне на нервы. Я поинтересовался, зачем она нужна. Во-первых, ответили мне, из опасения, как бы я по неосторожности не совершил какой-нибудь ошибки, а во-вторых, если вдруг меня схватит гестапо, надо, чтобы об этом тут же стало известно, иначе можно не успеть принять необходимые меры безопасности. Вот так обходились с курьером от правительства, который привез важные указания и который в то время был о себе весьма высокого мнения.

За четыре с половиной месяца, пока меня не было в Кракове, жизнь там очень сильно изменилась. После первых же встреч я убедился, что объединение всех подпольных групп практически уже произошло. В движении Сопротивления выделялись две

основные ветви: коалиция четырех основных партий — Национальной, Крестьянской, Польской социалистической и Партии труда — и военная подпольная организация.

В этой структуре не хватало еще одной, третьей, части — представительства (Делегатуры) правительства на территории оккупированной Польши, которое регулировало бы деятельность гражданских систем: административного управления, юстиции, экономики, социальной защиты и т. д. Конечно, сразу же встал вопрос о кадрах, и прежде всего — о кандидатуре на пост главного представителя правительства внутри страны.

В бумагах, которые я привез, были вполне ясные указания на этот счет: правительство в Анже примет любого кандидата, которого поддержат все партии. Сикорскому и его кабинету было не важно, кто это будет и к какой партии будет принадлежать. Главное, чтобы поляки ему доверяли и он пользовался всенародным доверием.

Первое, о чем я узнал по возвращении в Польшу, — это арест Борецкого. Он и многие другие заплатили жизнью за успехи, достигнутые в формировании подпольного польского государства.

Был расстрелян и один из лидеров Партии труда Тека[71]. Он тоже очень много сделал для сближения партий и диалога между ними.

В Кракове с большим энтузиазмом встретили известие о начале войны между Францией и Германией, в которой Гитлеру предрекали скорое поражение. И никто не хотел слушать мои невеселые соображения, основанные на том, что я слышал от Сикорского, Кота и Соснковского.

Жил я в Кракове у своего довоенного знакомого Юзефа Цины[72], известного социалистического деятеля и талантливого журналиста. Уже в двадцать пять лет он отличался удивительной властностью, красноречием и зрелостью суждений. Кроме того, он был человеком умеренным и трезвомыслящим. И обладал редким и ценнейшим для подпольщика качеством: никогда не привлекал внимания ни к себе, ни к тому, что он делает. Все его разъезды и встречи сходили за обычные развлечения или выглядели связанными с какими-то бытовыми общественными заботами. И это был единственный из всех знакомых мне лидеров Сопротивления, отчетливо понимавший, какой роковой ошибкой была бездумная вера в несокрушимость Франции[73].

— Немцы, — говорил он мне, — быстро продвигаются по территории Франции. Все могло бы обернуться не так ужасно, если бы союзники упредили их собственным наступлением. Раз наступать первыми стали немцы, значит, у них есть для этого

силы и средства. А раз союзники не выступили против них на суше, на море и в воздухе, значит, они не в состоянии это сделать. В войне преимущество, стратегическое и тактическое, имеет тот, кто атакует первым.

Я провел у него три дня. Он жил на окраине Кракова и работал в одном из немногих уцелевших при немцах кооперативов. Официально был зарегистрирован в квартире на третьем этаже, но на самом деле жил на первом, у своей связной.

— Если немцы захотят меня арестовать, они пойдут на третий этаж и, естественно, не найдут меня там. Зато я услышу их и скроюсь через эту «дверь», — с веселой усмешкой объяснил он мне, показывая на две половицы на кухне, под которыми была лесенка в подвал. — Там есть подземный коридор, он проходит под тремя домами и выводит на угол соседней улицы. Так что можно прекрасно смыться.

Перед самым моим уходом он словно бы невзначай сказал:

— Кстати, ты мог бы прихватить вот это и распространить в поезде или в Варшаве. Но прежде прочти. Это первомайский манифест социалистов.

— И что я должен с ним сделать? — спросил я, беря протянутый мне сверток.

— Распространи эти листовки. Одних разговоров мало, надо доносить наши идеи до людей.

Текст назывался «1 мая 1940 г. Манифест свободы». Это было краткое и красноречивое изложение позиции подпольной Польской социалистической партии и анализ ситуации в оккупированной Польше:

> Польский рабочий, крестьянин, интеллигент — мы обращаемся к тебе в тяжкую годину. Мы поднимаем голос в дни, когда наше отечество порабощено. Но мы знаем, что вы его услышите и поймете. Это голос польского социализма. Вы уже слышали его из уст Варынского, Монтвила, Окжеи[74]. Этот голос много раз поднимался и в годы независимости Польши — поднимался против деспотической политики правящих кругов. Это голос варшавских и гдыньских рабочих, звавших на борьбу с захватчиками.
>
> Мы призываем вас вспомнить о дне, неразрывно связанном с борьбой за независимость и дело социализма. Приближается 1 мая. Это официальный праздник по обе стороны Буга. Мы же должны в этот день не Гитлера и Сталина чествовать, а собраться с силами для непреклонной борьбы. Польша потерпела

поражение. Смертоносная атака немецкой армии, на помощь которой пришла советская армия, не встретила достойного сопротивления. <…>

История преподает польскому народу жестокий урок. Сегодня дорога к свободе пролегает через пыточные камеры гестапо и ГПУ, тюрьмы и концлагеря, через депортации и массовые казни.

Гонимые, угнетенные, обездоленные, мы наконец уяснили горькую истину. Судьбу страны больше нельзя доверять представителям классов, показавших свою неспособность сделать Польшу великой, могучей, справедливой. Польша помещиков, капиталистов и банкиров не имеет права на существование. Только польский народ, польский рабочий, крестьянин, интеллигент имеет право строить свое отечество.

На западе Англия и Франция воюют с Германией. Новая польская армия сражается бок о бок с союзниками. Но мы должны понять, что судьба Польши решается не только на линии Мажино и линии Зигфрида. Решительный час пробьет тогда, когда польский народ сам поднимется на борьбу с захватчиками. И мы должны терпеливо и упорно ждать этого часа, не только собирая оружие, но и оттачивая в преддверии его всю свою политическую мудрость. Власть в новой Польше должна принадлежать народу. Новая Польша должна стать родиной свободы, справедливости и демократии. Суверенный народ создаст законы, на которых утвердится новый общественный строй — социализм.

Лжи гитлеровского национал-«социализма», сталинской диктатуре, превращающей человека в раба, мы противопоставим социализм, позволяющий удовлетворить все материальные и духовные потребности, важнейшая из которых — свобода. Новая Польша исправит ошибки прошлого. Землю нужно безвозмездно раздать крестьянам, шахты, банки, заводы поставить под общественный контроль. Должна быть вновь провозглашена свобода вероисповедания и свобода совести[75]. Школы и университеты должны стать доступными для всех детей, без различия сословий. Чудовищные преследования, которым на наших глазах подвергается еврейский народ[76], должны научить нас жить в согласии с теми, кого притесняет наш общий враг. Мы, лишенные сегодня своего государства, должны научиться уважать свободолюбивые стремления

украинского и белорусского народов.

После победы, когда к власти на развалинах, оставленных санационным правительством и захватчиками, придет народное правительство освобожденной Польши, нашим долгом будет построить страну, где царят свобода, справедливость и благосостояние.

В этот страшный час польской, а может быть, и мировой истории мы взываем к вашей стойкости и духу сопротивления. Пусть 1 мая на всех польских землях вновь прозвучат старые революционные лозунги. <…>

Я распространил около сотни таких листовок, а одну оставил себе.

Из четырех принявших участие в Сопротивлении политических сил самое большое влияние на польское общественное мнение оказывало социалистическое движение, представленное Польской социалистической партией, ППС. Эта партия обладала богатейшим опытом борьбы за независимость и потому стала такой популярной среди польских рабочих, которые составляли костяк боевых отрядов.

Из рядов социалистов выходили самые отважные и бескорыстные бойцы. Еще в 1905 году ППС устраивала покушения на царских вельмож, за что ее активисты поплатились жизнью. Подпольная пресса Сопротивления продолжала традиции газеты ППС *Robotnik* («Рабочий»), которая накануне Первой мировой войны бросала вызов царской полиции и призывала поляков восстать против угнетателей. Рабочие сыграли главную роль в обороне Варшавы под руководством Мечислава Недзялковского[77]. Когда Варшава пала, Недзялковский отказался не только подписать капитуляцию, но и признать сам ее факт. Когда немцы вошли в город, он продолжал жить в своем доме, под своим именем и даже не пытался бежать или прятаться. В гестапо его допрашивал сам Гиммлер.

— Чего вы от нас хотите? Чего ждете? — спросил Гиммлер (если верить его собственному донесению).

Недзялковский поправил очки и презрительно посмотрел на него:

— От вас я ничего не хочу и ничего не жду. Я сражаюсь с вами.

Гиммлер приказал расстрелять этого неукротимого, гордого рабочего вождя.

Идеология ППС была основана на марксистском учении, каким оно было изначально, в XIX веке, и никогда не менялась.

Социалисты считали, что средства производства должны находиться под контролем государства, стояли за национализацию промышленности, плановую управляемую экономику, раздел земли между крестьянами, а в политике — за парламентскую демократию.

Национальная партия тоже имела глубокие корни в польском общественном сознании. Ее лозунг «Всё для нации» сыграл неоценимую роль в борьбе Польши за то, чтобы сохраниться как нация и пережить бесчисленные трагедии. У национально-демократического движения, главной целью которого было создание католического государства польского народа, находились сторонники во всех сословиях. Признанным лидером этого движения был Роман Дмовский[78], подписавший в 1919 году от имени Польши Версальский договор, в соответствии с которым страна, сто двадцать три года отсутствовавшая на карте Европы, вновь на ней появилась.

Национальная партия, как и предшествовавшие ей партии национально-демократического лагеря, возникшего еще в период разделов Польши, открывала свои школы, основывала фонды для их содержания, пропагандировала идею польской национальной целостности — в социальном и политическом плане, — ратовала за право крестьян на земельную собственность и развитие экономики на базе национального капитала.

Крестьянская партия была сравнительно молодой. Ее главная заслуга заключалась в том, что она развивала политическое сознание крестьянства, составлявшего более 60 % населения страны. Польские крестьяне на протяжении многих веков оставались политически пассивными, невежественными, вели примитивный образ жизни и не принимали никакого участия в общенациональных делах. Крестьянская партия много сделала, чтобы они осознали свои права и свою историческую роль. Она открыла сотни сельских школ и кооперативов.

Так же как две предыдущие партии, она твердо привержена парламентской демократии. И внушает крестьянам, что только демократические и парламентские установления могут обеспечить им законное место в жизни нации. Отстаивает радикальную земельную реформу, индустриализацию перенаселенных аграрных районов и миграцию их жителей в города. Один из самых ярких лидеров Крестьянской партии Мацей Ратай[79], который в течение нескольких лет возглавлял сейм Польской Республики, был арестован и расстрелян нацистами в 1940 году.

Четвертой из вошедших в коалицию партий была Партия труда. Она также проповедовала демократические принципы,

опираясь при этом на учение католической церкви. Это движение, в котором были сильны религиозные и националистические элементы, делало акцент на исторические традиции страны и нации, особенно подчеркивая неразрывную связь Польши с католицизмом. Главным в его деятельности было практическое осуществление предписаний папских энциклик и вообще католической религии.

Ни одна из перечисленных партий не была представлена в довоенном парламенте. Внутриполитическая обстановка в Польше была такова, что они не участвовали в последней избирательной кампании. Тогдашние правящие круги были убеждены, что Польше нужна «железная рука». Отчасти это объяснялось тем, что страна оказалась в окружении государств с диктаторскими режимами. Так или иначе, правительство сочло необходимым ограничить демократические и парламентские свободы, что привело к изменениям государственного устройства, отраженным в конституции 1935 года. В знак протеста те самые четыре партии отказались от участия в выборах, объявив их недемократическими. Вот почему этих партий не оказалось в избранном в мае 1935-го сейме[80].

В движении Сопротивления сложилась парадоксальная ситуация: потеря независимости привела к возрождению демократических принципов. Получалось, что в условиях подполья политические партии имели большую свободу действий, чем в Польской Республике 1935–1939 годов.

Подавляющее большинство участников польского Сопротивления составляли члены этих четырех партий. Хотя были представлены и другие политические силы — от крайне правых до крайне левых, включая коммунистов. Стоит подчеркнуть, что большая часть этих не примкнувших к коалиции организаций получила возможность развиваться именно в атмосфере политической свободы, установившейся в подполье. Правда, наращивать влияние на общество в оккупированной стране им, по понятным причинам, было трудно. Почти все это были довольно мелкие локальные группировки, хотя у каждой имелась своя подпольная газета.

Прибыв в Варшаву, я застал там те же настроения, что и в Кракове. Консолидация участников Сопротивления упрочилась, и весь город, включая главных руководителей организации, верил в неуязвимость Франции и Англии. Все были уверены, что французы дали войскам вермахта зайти на свою территорию лишь затем, чтобы окружить и уничтожить их. Когда же я говорил, что французы собирались только держать оборону на линии Мажино, меня обзывали паникером. Я пробыл в столице

две недели, потом опять отправился в Краков, чтобы провести окончательные переговоры перед второй поездкой во Францию. Моей основной задачей было добиться того, чтобы правительство учредило должность для своих специальных представителей (делегатов) в структурах Сопротивления на оккупированной территории. Мы исходили из двух принципов:

> — какой бы оборот ни приняли военные действия, поляки никогда и никоим образом не будут сотрудничать с немцами. Никаких квислингов![81]
>
> — подпольные структуры станут продолжением польского государства и будут работать в тесном сотрудничестве с правительством в изгнании.

Первый принцип, касающийся отношения к немцам, польский народ свято соблюдал. Поляки игнорировали власть оккупантов, квислингов у нас, в отличие от других стран, не было.

Что же до второго, то раз полномочия государства распространяются и на оккупированную страну, то и связь с подпольными структурами должно организовывать правительство. Но находиться в Польше оно конечно же не могло — тут ему пришлось бы оставаться тайным и анонимным, а значит, оно потеряло бы связь с союзниками и к тому же подвергало бы себя постоянной опасности.

Я много раз присутствовал при спорах о том, где должно находиться правительство, пока они не были пресечены.

Да, по давней традиции, восходящей к польским восстаниям против царской России 1830 и 1863 годов, правительству следовало бы работать в самом сердце подпольного движения, а значит, оставаться тайным и анонимным. Но в этой войне оно оказалось бы отрезанным от союзников и не смогло бы вести внешнюю политику. А если бы такое правительство раскрыли и арестовали, то набрать новое было бы уже невозможно. Решающим аргументом в пользу того, чтобы оставить правительство за границей на все время войны, послужило то, что чисто технически обеспечить непрерывность деятельности Сопротивления можно было лишь в том случае, если его руководители будут назначаться центром, расположенным в безопасной зоне. При такой системе гестапо, как бы ни старалось, никогда не сможет задушить подполье. Погибших в Польше командиров любого уровня можно будет заменить законно назначенными преемниками.

Решили также, что при назначении делегатов полномочия правительства будут ограничены и выбирать делегатов оно сможет из кандидатур, предложенных руководством

Сопротивления. Предполагалась гибкая система взаимосвязи.

На этом этапе самой большой трудностью явилось то, что возглавившие Сопротивление партии не были представлены в довоенном правительстве и не участвовали в последних выборах в сейм. Поэтому невозможно было определить степень их популярности и реального влияния в стране.

Не вызывало сомнений, что коалицию четырех партий поддерживает большинство польских граждан, но какова по справедливости должна быть мера участия каждой из них в руководящих органах?

Положение усугублялось тем, что каждая партия желала оставаться независимой. Наученные предвоенным опытом, ее лидеры не доверяли высшей администрации и не хотели, чтобы правительство вмешивалось в их дела. Пришлось дать им гарантию, что созданная Сопротивлением администрация никак не будет ущемлять их интересы или посягать на их принципы. Крайне важно было, чтобы представители краковского и варшавского подполья договорились о том, кого они хотели бы видеть на посту руководителя Делегатуры, облеченного большой властью. Наконец, после долгих споров, распрей и всяческих осложнений, все пришли к согласию относительно личности руководителя и делегатов в разных воеводствах из числа членов четырех партий в соответствии со значимостью партии.

Партии решили создать подпольный парламент, задуманный не только как чисто представительский, но и как надзорный орган, который должен контролировать кадровую и финансовую политику Сопротивления. Выработали и правила распределения мест в различных структурах подпольной администрации.

Целью моей новой поездки во Францию было представить отчет о сложном процессе формирования подпольного государства и его механизмов, о спорах внутри коалиции, достигнутых компромиссах и об условиях, на которых Сопротивление обязывалось поддерживать правительство Сикорского.

Мне, кроме того, доверили миссию, которую я считал особенно почетной. Я принял присягу и был посвящен во все самые важные планы, тайны и детали внутренней деятельности Сопротивления. А каждая из партий еще и утвердила меня как полномочного курьера при своем представительстве в кабинете Сикорского. Я поклялся передавать информацию строго по назначению, не использовать ее против какой-либо из партий или в своих собственных карьерных интересах. В общем, я был чем-то вроде духовника при всех партиях, точнее, настоящим каналом связи между Варшавой и Парижем[82].

Меня переполняла гордость.

Глава XII
Провал

Проведя в Варшаве еще недели две, я получил приказ пробираться во Францию тем же путем, что и в первый раз, с остановкой в Кракове. У меня был спутник — семнадцатилетний сын известного варшавского врача. Мой маршрут показался его родителям самым безопасным, и они упросили меня доставить мальчика в Париж, чтобы он записался в польскую армию. После трехдневных переговоров в Кракове с лидерами Сопротивления я направился к границе, мальчик — со мной. При мне был микрофильм — фотокопия тридцативосьмистраничного донесения о планах и предложениях по организации Сопротивления. Пленка была непроявленная, и при необходимости ее можно было в один миг развернуть и засветить. Приближаясь к месту встречи с проводником, я не мог избавиться от дурных предчувствий. Вроде бы и опыт уже был — путь предстоял знакомый, и проводника мне дали надежного, но в воздухе витало что-то настораживающее. Еще в Кракове меня как-то слишком старательно наставляли, слишком много говорили о мерах безопасности. И вот теперь, сидя в поезде, я вглядывался в лицо моего юного спутника и думал, что же нас ждет.

Еще четыре километра пешком от Закопане — и я поступал в полное распоряжение проводника, в дальнейшем он отвечал за все. Проводник прорабатывал маршрут, решал, где и когда останавливаться на отдых и что делать в случае опасности. Каждого курьера переводили особым образом. Ему назначали проводника, который детально знал все участки пути — от исходного пункта, где он встречал своего подопечного, до конечного, уже в безопасной зоне, где передавал его на попечение подпольной организации нейтральной страны, в данном случае Венгрии. А до тех пор оставался физически ответственным за своего, как часто говорили, «пациента». Проводник не имел права ни на минуту оставить курьера, а курьер во всем на него полагался и был обязан выполнять его инструкции.

Когда мы встретились с моим проводником, я заметил, что он как будто тоже опасается за исход нашей вылазки. Сначала я подумал, что мне так только кажется и что на его настроение влияет мое собственное, но скоро он рассказал мне, почему беспокоится. Оказывается, его предшественник, который должен был вернуться неделю назад, до сих пор не пришел. И проводник намекнул, что хорошо бы повременить с нашим походом. Однако

я выполнял чрезвычайно важную миссию, а потому не прислушался к его предостережениям и настоял на том, чтобы идти немедленно. Это было в конце мая сорокового. Немцы захватили Голландию, Бельгию и шли на Париж. Я, как все в Варшаве, включая самых осведомленных, верил, что Франция устоит, что немцы слишком далеко продвинулись и наступающие войска будут разгромлены. Но все-таки не мог не задумываться, что будет, если Франция потерпит поражение. За последнее время я приучился рассматривать все варианты развития событий, потому что в подпольной работе нередко как раз самое невероятное и происходит, причем с наихудшими последствиями. Мне было ясно, что в случае падения Франции я застряну с семнадцатилетним мальчишкой на руках где-нибудь в центре Европы. Все связующие нити между Польшей и правительством в изгнании тянулись через французскую территорию. И они оборвутся, если Франция рухнет.

Проводник не давал прямых советов отложить поход, но достаточно ясно выражал свое мнение — ничего хорошего он не ждал. Я же упорно торопил его. Однако мы были вынуждены задержаться из-за плохой погоды и провели два дня в горах, в домике его отца. Вечером накануне выхода проводник спустился в деревню разузнать, что нового. Я ужинал в компании его отца, дюжего старого гураля[83], и сестры, пылкой девочки лет шестнадцати. Она знала, чем занимается брат, очень гордилась им и обычно держалась стоически бодро. Но в тот вечер она казалась подавленной и нервной.

Ужин прошел в мрачном молчании, а потом она позвала моего попутчика и вышла с ним вместе. Я удивился, но вмешиваться было неудобно. Вернулись они минут через пятнадцать, в продолжение которых мы со стариком не обменялись ни словом, ни взглядом. Юноша был бледен и явно взволнован, он, как мог, старался сохранять хладнокровие, но его выдавало лицо. У девушки был скорбный вид, она боязливо опустила заплаканные глаза. Я думал, отец сделает ей замечание или хотя бы о чем-то спросит, но он вместо этого встал и вышел из дома, уводя с собой дочь. Тут уж я не утерпел и накинулся на парнишку:

— В чем дело? Что за тайны? Что она тебе сказала?

— Ничего особенного, — дрожащим голосом ответил он.

— Не глупи! Ты не должен ничего от меня скрывать. Я, как ты знаешь, за тебя отвечаю.

Он неохотно заговорил. Постепенно мне удалось из него все выудить. Девушка сказала, что они боятся, не попал ли тот пропавший проводник в лапы гестаповцам. Если так, то идти

сейчас тем же путем крайне опасно. Брат велел ей не докучать мне разговорами, но она решила, что должна предупредить хотя бы молодого человека и, если можно, отговорить его идти. Пусть остается здесь, в доме, а позже найдется какая-нибудь другая возможность пересечь границу.

Я тут же принял решение. Вышел из дома и подошел к отцу и дочери, о чем-то бурно споривším у колодца. Они подтвердили — юноша сказал правду. В такой ситуации, добавила девушка, было бы просто преступно брать его с собой — во-первых, жизнь его будет в опасности, а во-вторых, если что, он станет обузой. Я ответил, что обсужу все это с ее братом, когда он вернется.

Скоро пришел проводник, настроение у него, кажется, немножко поднялось. Я сразу же, в присутствии всех, перешел к делу и сказал, что, по-моему, учитывая обстоятельства, лучше отложить наш поход.

Но у него, видимо, все сомнения отпали, он превратился в добросовестного сотрудника, получившего приказ перевести меня через границу и намеренного выполнить этот приказ невзирая на риск.

— Отложить? — возмутился он. — Вы с ума сошли! Думаете, я изменю наши планы из-за глупой болтовни пары сопливых дураков?

Его сестра зарыдала, но он сердито глянул на нее:

— Дура ты, дура и есть!

Меня покоробила его грубость, но в то же время я проникся к нему симпатией. В нем боролись чувство долга и страх, и он не знал, как поступить.

— И все-таки, — настаивал я, — если то, что сказала ваша сестра, правда, нам надо быть осторожными.

— Осторожными? — презрительно повторил он. — Лучшее, что мы можем сейчас сделать, — это лечь спать. Не забывайте: с момента нашей встречи вы обязаны мне подчиняться. Я отвечаю за все дело и не вижу смысла продолжать спор — только нервы зря будем трепать.

— Пожалуй, кое-что обсудить все же стоит, — возразил я и указал глазами на взбудораженного мальчишку.

— По мне, так обсуждать тут нечего, — буркнул проводник, но, поймав мой взгляд, прибавил: — Я не получал никакого приказа относительно паренька, значит, он останется здесь. Вам же нужно отдохнуть. Выходим через три часа. Идет дождь, и это очень хорошо — из соображений «осторожности». Я рассчитываю, что лить будет еще несколько дней.

С тяжелой душой расставался я с мальчиком — и привязаться к нему успел, и жалко было, что он не сможет, как мечтал,

записаться в нашу армию. Сам-то он рвался идти с нами и обижался, что его считают недостаточно выносливым и храбрым. В конце концов мне удалось убедить его, что лучше нам разойтись. Часа два я продремал, пока меня не растолкал проводник:

— Подъем! Нам пора.

Я поскорее оделся, нацепил рюкзак, и мы вышли из дома. Темень была непроглядная, дождь хлестал в лицо. Полусонный, я поплелся за проводником. Под ногами хлюпала грязь, ноги вязли в ней, каждый шаг давался с трудом. Мой спутник уверенно шагал по бугристой извилистой тропе, а я то и дело спотыкался, терял равновесие и валился на него. Он же, вместо того чтобы злиться и ругаться, только смеялся над моей неловкостью. Вообще он был в прекрасном расположении духа, напевал на ходу и все нахваливал дождь, который должен притупить бдительность пограничников.

— Молись, чтобы этот потоп не кончался! — крикнул он мне. — В дождь пограничники сидят под крышей.

Получилось так, как он и думал: из-за дождя пограничники не вышли на свои посты, и мы спокойно перешли словацкую границу.

Дождь, то сильнее, то слабее, лил три дня. Мы упорно и молча шли вперед, переговаривались только по особой необходимости. Не могли даже разжечь костер и согреться — не было ни одной сухой веточки. Когда становилось совсем невмоготу, делали короткий привал в какой-нибудь пещере. Там мы оба буквально падали на мокрые камни и отдыхали по очереди. Сначала один дежурил, а другой засыпал тревожным сном, потом наоборот.

Время от времени я предлагал заночевать в одном из тех домов, где изначально намечались остановки, но проводник не соглашался и ворчал:

— Лучше не надо, это опасно — я чую. У вас, горожан, ни выдержки, ни здравого смысла ни на грош.

На четвертый день выглянуло солнце, но воздух был пропитан влагой. В лесу клубился пар, как в африканских джунглях. Мы почти на сутки отставали от графика. Проводник шел и шел, не зная устали, и постоянно держался настороже, я же еле тащился сзади, измученный и совершенно обессиленный. Больше всего на свете мне хотелось разуться. Ноги страшно распухли, и тяжеленные кованые ботинки, словно тиски, сжимали лодыжки. Сколько мог, я терпел и не просил о передышке, чтобы не раздражать проводника. Но наконец терпение и силы окончательно иссякли. Я робко тронул моего спутника за плечо и

сказал:

— Прошу прощения, но я правда больше не могу. Мне нужно отдохнуть. Нельзя нам остановиться где-нибудь на ночлег?

К моему удивлению, проводник совсем не разозлился. Наоборот, отнесся ко мне с пониманием и сочувствием. Он дружески положил руку мне на плечо и сказал:

— Я знаю, как вы устали. Мне и самому нелегко, но до венгерской границы осталось всего километров двадцать. Постарайтесь собраться с силами!

— Да я бы рад! Но для меня сейчас что двадцать километров, что двести — все равно. Я просто не могу!

И тут его прорвало.

— По-вашему, все равно? — Он захлебывался от ярости. — Но я вам говорю: здесь нельзя останавливаться даже на несколько часов. Гестапо наверняка держит всю округу под наблюдением. Почем вы знаете, может, за нами следят? Может, только и ждут, чтоб мы где-нибудь объявились?

— По-моему, вы преувеличиваете опасность. Если вы все еще беспокоитесь, потому что другой проводник не вернулся, так мало ли какие были на то причины! А даже если его схватили, он мог ничего не выдать.

Он смерил меня красноречивым взглядом, будто жалел, что связался с таким, как я, и, пожав плечами, сказал:

— Ну как хотите. Здесь неподалеку словацкая деревня, можно переночевать в ней. — Потом умоляюще посмотрел мне в глаза и прибавил: — Но для этого придется пройти добрых десять лишних километров: пять туда и пять обратно.

— Не расстраивайтесь так, — сказал я, пытаясь улыбнуться. Мне не хотелось с ним ссориться. — Вы и сами спокойно отдохнете.

— Вряд ли, — хмуро ответил он. — Я успокоюсь, только когда мы снова тронемся в путь.

Километра два мы шли по тропинке в полном молчании. Ноги болели ужасно. Когда мы вышли на дорогу, я собрал все свое мужество, попросил проводника показать мне нужный дом и предложил такой план: я пойду туда один, переночую, он же, если считает это опасным, останется в лесу, а утром мы встретимся, где он скажет.

— Вы же знаете правила, — спокойно возразил он. — С первой минуты похода мы неразлучны. Мой долг, что бы ни случилось, оставаться с вами до самой Венгрии, а там препоручить нашим людям в Кошице.

И хоть я был обижен на резкость, с которой он отчитал меня за то, что я устал, но не мог не восхититься таким ответом. Он

действовал разумно, как верный, дисциплинированный боец Сопротивления, с хладнокровием и мужеством, на какие мало кто способен. Еще час мы шли по твердой дороге. После того как столько времени мы, точно рабочие лошади, месили ногами вязкую грязь, это было просто счастьем.

Наконец за поворотом показались огни деревушки — до нее было рукой подать. Проводник подошел к высокому дубу на обочине и позвал меня.

— Являться в таком виде в деревню нельзя, — сказал он тоном вынужденной уступки. — Это маленькая деревня, нас заметят, пойдут разговоры.

— И что надо делать? — с готовностью спросил я, стараясь его задобрить.

— Снять рюкзаки, побриться, умыться, по возможности привести себя в порядок. Это приказ!

Мы стали искать ручей и скоро нашли его неподалеку. Легли на землю, наклонились над ним и без особого труда умылись и побрились. Потом выбрали приметное дерево и закопали под ним свои рюкзаки. Но оставить тут же бумажник с пленкой я не захотел — мне казалось, что я не смогу уснуть, если он будет не при мне.

Мы легко нашли халупу, где останавливались курьеры. Прежде чем постучать, проводник внимательно оглядел дом, дорогу и рощу, из которой мы вышли. Дверь открыл плотный коренастый крестьянин-словак. Он оказался приветливым, гостеприимным, но уж очень говорливым.

Мне хотелось только одного — раздеться и лечь спать. Но проводник был настроен иначе. Не успели мы расположиться у горячей печки, как он забросал крестьянина вопросами:

— Вы видели Франека? А когда слышали о нем в последний раз? Не знаете, что с ним?

Крестьянин расхохотался:

— Эй, эй! Не так скоро!

Потом поскреб в затылке:

— Значит, говорите, Франек…

Проводника бесила его медлительность.

— Да отвечайте же, ради всего святого! Когда вы последний раз видели Франека?

— Недели три назад, — неуверенно протянул крестьянин.

— И что он вам сказал?

— Да ничего особенного. Все шло хорошо. Он возвращался из Венгрии. А что, он попал в беду?

Проводник нахмурился, услышав этот наивный вопрос, и погрузился в раздумье. Видимо, Франек был тем самым его

пропавшим товарищем, из-за которого он так тревожился. Хозяин вопросительно посмотрел на нас обоих, потом недоуменно тряхнул головой и, шаркая ногами, пошел на кухню, откуда скоро притащил водку, колбасу, хлеб и молоко. Я выпил стакан водки и с волчьим аппетитом накинулся на еду, проводник же едва прикоснулся к пище и рассеянно отхлебнул пару глотков спиртного. Крестьянин трещал без умолку. Я сказал, что мы хотим отдохнуть, и он показал нам, где лечь. Быстро раздевшись, я улегся в чистую постель, сунул под подушку драгоценную кассету и сразу заснул. Но не проспал и трех часов, как меня разбудил пронзительный крик, и тут же кто-то ударил меня прикладом по голове. Я был ошарашен, оглушен, и, прежде чем успел прийти в себя, двое словацких жандармов в форме сбросили меня с кровати на пол. В углу комнаты стояли и посмеивались еще два жандарма, немецких. Мой проводник корчился от боли с окровавленным ртом. Меня вдруг пронзила мысль о микрофильме под подушкой. На миг я оцепенел от ужаса. Но потом вскочил, метнулся к кровати и, выхватив пленку, зашвырнул ее в стоявшее возле печки ведро с помоями.

Перепуганные жандармы так и замерли — верно, подумали, что я бросил гранату или бомбу. Но ничего не произошло, и один из немцев вытащил из ведра рулончик пленки. Другой, краснорожий, с бычьей шеей, наотмашь ударил меня по лицу. Я пошатнулся, а он вцепился в меня, стал бешено трясти и орать:

— Где твой рюкзак? Кто еще с тобой был? Что и где ты прячешь?

Я молчал, и он снова принялся меня бить. Точно так же избивали проводника. На мгновение он поднял залитое кровью лицо, посмотрел на крестьянина без всякого гнева и ненависти, а с глубокой, безысходной тоской в глазах и укоряюще спросил:

— Зачем? Зачем ты это сделал?

Тот только молча тряс головой и жалко моргал, по его щекастому рябому лицу текли слезы. Не думаю, что он был предатель. Скорее всего, сестра проводника угадала: Франека арестовали. Под пыткой он, наверно, выдал весь маршрут и перевалочные пункты. Предчувствие не обмануло моего спутника. Он был уверен, что нас подстерегает опасность, но, верный долгу, не бросил меня — и вот результат. Я чуть не плакал от стыда. Как я смел принуждать его? Почему не осилил весь путь до конца?

Нас обоих поволокли прочь из дома, и, сколько мог, я кричал ему:

— Простите! Простите меня!..

Проводник слабо улыбнулся, словно давая понять, что он меня прощает и призывает быть мужественным и не падать

духом. Нас повели в разные стороны. Больше я никогда его не видел и не знаю, что с ним стало[84].

Глава XIII
Пытки

Меня отвезли в словацкую гарнизонную тюрьму в Прешов[85] и бросили в тесную вонючую камеру. В ней не было ничего, кроме соломенного тюфяка да кувшина с водой. Перед решеткой расхаживали взад-вперед и равнодушно скользили по мне взглядом словацкие полицейские. Я стер кровь с лица и лег на засаленный тюфяк, голова гудела после избиения и удара прикладом.

Возможно, в обычной городской тюрьме не было места, но скорее всего немцы думали, что в гарнизонной меня будут лучше охранять. Тут содержались словацкие солдаты, я слышал их голоса. Никаких преступлений они не совершали, а сидели за мелкие нарушения дисциплины. Им давали некоторые послабления — например, они могли гулять в тюремном дворе и умываться под краном.

Понемногу я стал приходить в себя и теперь сидел на тюфяке, поджав колени и обхватив голову руками. Первую пару охранников заменил старый словак, который простодушно и жалостливо меня разглядывал, так что мне делалось неловко и неприятно. Я уж подумал, не забыли ли про меня в гестапо, раз даже не позаботились приставить свою охрану. Напрасная надежда. Очень скоро в камеру вошли двое, сдернули меня с тюфяка — один даже плюнул на него в знак презрения, — вывели на улицу и засунули в автомобиль.

На этот раз меня доставили в полицейский участок. Ввели в небольшой кабинет, обставленный разномастной мебелью. За письменным столом просматривал бумаги худощавый рыжеволосый человек. Вдоль стен сидели солдаты в немецкой форме, развязно болтали и курили, не обращая на меня ни малейшего внимания, как будто я невидимка или неодушевленный предмет. Рыжий не отрывался от своих документов. На воротнике и плечах его черного мундира лежали хлопья перхоти. Я переминался с ноги на ногу и гадал, для меня или нет предназначен пустой стул перед столом. Конец сомнениям положил охранник, который меня привел.

— Садись, ты, грязная свинья! — гаркнул он, перекрывая гул голосов, и саданул меня кулачищем в поясницу.

Я пошатнулся и упал на стул.

Так вот, значит, подумал я, вот он, допрос в гестапо, о котором столько говорят. Естественно, я был наслышан о

зверствах гестаповцев, но все рассказы до сих пор оставались чем-то довольно абстрактным. Трудно было представить себе, что когда-нибудь придется испытать их на своей шкуре. Что ж, час настал. Я судорожно кусал губы, сжимал и разжимал вспотевшие руки. Чувствовал себя бессильным и беспомощным.

Тощий немец положил перед собой несколько листков и посмотрел на меня как на досадный привесок к опостылевшей нудной работе. Потом подвинул бумаги ко мне и спросил:

— Это ваши документы?

Я похолодел и не ответил ни слова. Малейшая ошибка была бы равноценна едва заметной бреши в плотине; один опрометчивый ответ — и на меня нахлынет разрушительная стихия. Водянистые глаза гестаповца угрожающе вспыхнули, губы искривила злобная усмешка.

— Ну-ну! Не желаете с нами беседовать? Мы вам не нравимся?

Дружный гогот встретил эту остроту. Подскочивший охранник вцепился мне в загривок.

— Отвечай, скотина! — заорал он.

Его пальцы, точно когти, впивались мне в шею.

— Да, это мои документы.

Голос мне не повиновался — как будто моими устами говорил кто-то другой. Гестаповец саркастически кивнул:

— Благодарю за исчерпывающий ответ. Очень любезно с вашей стороны. Продолжайте в том же духе, друг мой. Уверен, вам не составит труда сказать мне всю правду о ваших отношениях с подпольщиками.

На этот раз я ответил сразу:

— Никаких отношений с подпольщиками у меня нет. Это ясно из моих документов. Я сын профессора из Львова.

Действительно, по документам я был сыном некоего профессора из занятого русскими Львова. Имя и все сведения о профессорском сыне (который незадолго до того бежал и находился за границей) были подлинными. Так что гестапо при всем старании не могло бы дознаться, что я — не он.

Рыжий гестаповец смерил меня хмурым взглядом:

— Да-да, я знаю, в документах так и сказано. И давно вы стали сыном львовского профессора? Два месяца назад? Или три?

Новые смешки и хохот присутствующих. Судя по всему, он считался в местном гестапо признанным мастером черного юмора, и в кабинете собралась на очередное представление толпа его поклонников. Я подумал, что пока все идет не так плохо. Хохмы рыжего давали мне время передохнуть и обдумать ответы.

Немец сложил губки бантиком — видно, придумал особенно

удачную шутку:

— Значит, вы сын профессора из Львова. То есть умный человек. Мы любим иметь дело с умными людьми, верно?

Он обвел глазами кабинет — сослуживцы дружно, как дрессированные собачки, закивали в ответ. Он довольно улыбнулся, как актер, стяжавший аплодисменты зрителей.

— Скажите-ка, профессорский сынок, вы всю жизнь прожили во Львове?

— Да.

— Красивый город Львов, правда?

— Да.

— И вам хотелось бы когда-нибудь туда вернуться?

Я промолчал — любой ответ прозвучал бы смешно.

— Не желаете отвечать? — вкрадчиво сказал рыжий. — Ладно, я сам за вас отвечу. Конечно, вам хотелось бы туда вернуться. А почему же вы уехали из Львова?

Он произнес это с подчеркнутой вежливостью. Я знал свою легенду назубок и без запинки ответил:

— Из-за русских. Отец не захотел, чтобы я оставался под их властью.

Гестаповец скорчил сочувственную гримасу:

— Ваш отец не любит русских. Но вы-то, вы сами их любите?

— Я этого не говорил. Я тоже не люблю их.

— А нас вы больше любите?

В его голосе прозвучала издевка.

Я попытался изобразить простодушное замешательство:

— Ну… вы внушали нам больше доверия.

— Внушали больше доверия? А теперь, выходит, уже не внушаем? Это ужасно!

— Я не хочу сказать ничего плохого о немецком народе. Просто я не понимаю, почему вы мне не верите, — притворно сокрушенным тоном сказал я. — Я только хотел попасть в Швейцарию… в Женеву… к другу.

— Мы вам нравились, вы нам доверяли, но собирались так невежливо с нами обойтись? — трагическим шепотом спросил рыжий. — Я вас не понимаю, хотя где уж мне, я же не профессорский сын.

Этому клоуну нельзя было отказать в сообразительности. Он ловко перевирал мои слова. Но я старался не выходить из образа растерявшегося простака:

— Я студент, из-за войны моя учеба прервалась. Мне все это надоело, и я собирался учиться дальше в Швейцарии.

— А примкнуть к польской армии во Франции вы случайно не собирались?

— Нет, честное слово, я хотел пробраться в Швейцарию и спокойно дождаться там конца войны. А воевать ни с вами, ни с кем-то еще не собирался. Я хотел учиться.

— Так-так, продолжайте, это очень интересно, — усмехнулся рыжий.

Поклонники опять захохотали. Рыжий поднял руку, прося тишины, опять-таки как актер, скромно принимающий аплодисменты, но желающий продолжить свой номер.

— Расскажите мне, как же вы добирались? Это, должно быть, захватывающая история.

— Ничего особенного. Мы все обсудили с отцом. Ну и вот, сначала я перешел через германо-советскую границу и направился в Варшаву. Главное было любой ценой бежать от русских.

— Вам известно, что это было незаконно, — назидательно ввернул рыжий. — Не следовало так поступать. — Он замахал рукой: — Простите, я вас перебил. Продолжайте, пожалуйста.

— В Варшаве я случайно встретил бывшего одноклассника и попросил его помочь мне добраться до Женевы. Его зовут Мика. Он живет в Варшаве, на Польной, дом 30. Он не ответил прямо и предложил встретиться на другой день в кафе. А там обещал мне помочь пробраться в Венгрию, в Кошице, если я соглашусь передать кому-то из его друзей микрофильм со снимками разбомбленной Варшавы. Я согласился, и он передал мне пленку, сорок пять долларов и адрес проводника в приграничном городке. Вот и все, а потом меня арестовали ваши люди. Клянусь, это чистая правда.

Имя и адрес друга в Кошице я придумал, а вот Мика из Варшавы, который якобы мне помогал, — реальный человек. И адрес я дал правильный. Но то, что я сказал, никак не могло ему повредить — к тому времени его уже три месяца не было в Польше.

Как только я начал свой рассказ, следователь откинулся на спинку стула и стал раскачиваться на двух его ножках. Опустил веки, закинул руки за голову — точно приготовился насладиться выступлением блестящего солиста. Дослушав же, он медленно открыл глаза, насмешливо улыбнулся и обратился к человеку с раскрытой папкой на коленях:

— Ты записал эту трогательную историю, Ганс? Смотри не пропусти ни слова. Я хочу, чтобы все было точно.

Потом он уставился мне в глаза и прошептал:

— Отлично. Простите, но я вынужден расстаться с вами. Завтра вас с удовольствием послушает мой коллега. И я уверен, эта беседа будет намного приятнее для вас.

Он поднял голову и неожиданно изменившимся голосом рявкнул стоявшему позади меня детине:

— Отведи эту сволочь в камеру!

Охранник снова схватил меня за загривок, заставил встать и что есть силы врезал по спине. Я зашатался, и тут меня толкнул кто-то из солдат. Его примеру последовали другие — меня пинали и швыряли, как мячик. Наконец, охранник ударил меня так, что я вылетел из кабинета в коридор и едва не переломал себе все кости.

В камере к моему приходу успели оборудовать хитроумное приспособление: мощную лампу с огромным рефлектором. Таким образом, всю камеру заливал ослепительный свет, и укрыться от этой пытки было невозможно.

Я рухнул на тюфяк. Самообладание, не покидавшее меня во время допроса, исчезло в один миг. Меня била дрожь, обмякли ноги — наступила разрядка после долгого вынужденного напряжения. Я заметался, пытаясь спрятать глаза от резкого света. Не было никакой возможности собраться с мыслями и подумать, что делать дальше.

Я прекрасно понимал, что моему рассказу не поверят. Понимал и то, что сравнительно мягкое, как на первом допросе, обращение со мной долго не продлится. Моя история была до неправдоподобия складной, и в то же время в ней было слишком много слабых мест. Но мне следовало держаться этой легенды, хотя бы для того, чтобы не выдать каких-нибудь важных сведений. К тому же так и легче — не придется выдумывать что-то новое. Всю ночь у меня в голове монотонно прокручивались заученные фразы. А рано утром в камеру явился тот же охранник, что конвоировал меня накануне. Небритый, всклокоченный, в расстегнутом мундире, он злобно посмотрел на меня — ведь это по моей милости ему пришлось вскочить ни свет ни заря — и пальцем указал на выход. Я не выспался, замерз, меня трясло, и я еле шел на подгибающихся ногах.

Мы пришли в тот же кабинет, но обстановка поменялась. Рядом с большим столом стоял еще один, поменьше, а на нем — новенькая пишущая машинка, несколько папок и карандаши. Стулья, стоявшие вдоль стены, убрали. Кроме меня, в кабинете было четверо. За большим столом в вертящемся кресле сидел офицер, но не тот, что накануне.

Молодчики с такой внешностью, как у него, в Германии вообще не редкость, в польской же службе гестапо такие встречались сплошь и рядом. Судя по некоторым признакам, в молодости этот человек вполне мог быть худым и стройным, но сейчас это была огромная, равномерно оплывшая жиром туша.

Лицо не очень-то нордического типа. Оливкового цвета кожа, черные глазки-щелочки, мощные челюсти, толстые дряблые щеки с синеватым оттенком — густая щетина тщательно сбрита.

Это крупное лицо в сочетании с зализанными назад темными волосами производило противоречивое впечатление: топорная грубость черт резко контрастировала с утонченной, свойственной скорее женщинам жестокостью. Руки у этого верзилы были на удивление изящные, с тонкими длинными кистями и холеными ногтями. Он нетерпеливо постукивал пальцами по столу и озирался по сторонам.

Трое других были типичные рядовые гестаповцы: высокие, мускулистые, затянутые в мундиры. Я похолодел, увидев, что двое из них держат в руках резиновые дубинки.

— Садитесь вот сюда, напротив меня, и расскажите нам всю правду, — сказал следователь. — Мы не сделаем вам ничего плохого, если вы нас к этому не вынудите. Смотрите все время только мне в глаза, не отворачивайтесь и не отводите взгляд. Вы должны отвечать на мои вопросы сразу, обдумывать ответы запрещается. Предупреждаю: если будете путаться в показаниях или медлить, чтобы вспомнить, как правильно соврать, вам придется плохо.

Он проговорил все это механически, будто в сотый раз повторяя затверженные фразы.

Я сел и постарался принять невозмутимый вид. Но это плохо получалось: у меня дергалась щека и я ничего не мог с этим сделать. Губы пересохли, я то и дело облизывал их. Офицер молча сверлил меня взглядом. Это было невыносимо. Шарканье ног и шумное дыхание охранников делало тишину еще более угнетающей. Наконец офицер, точно выпрыгнувший из воды тюлень, резко подался вперед, хорошо рассчитанным движением приземлился локтями на свободный кусочек стола, соединил кончики пальцев и заговорил приглушенным, но внятным и вкрадчивым голосом.

— Моя фамилия Пик, — самодовольно сообщил он. — Вам повезло, если вы обо мне не слышали, но счастье будет недолгим. Ни один человек не уходит отсюда на своих ногах, прежде чем я не вытяну из него всю правду. Если же он молчит, на нем живого места не остается. После того как мы вас немножечко приласкаем, поверьте, смерть покажется вам роскошью. Я не прошу вас исповедоваться. Мне глубоко плевать на ваши чувства. Или вы ведете себя разумно, говорите правду и уходите целым и невредимым. Или упрямитесь, и тогда вас бьют до полусмерти. Героизм ничуть меня не впечатляет. Некоторые герои выдерживают невероятные дозы пыток — что ж, на здоровье.

Итак, я начинаю допрос. Напоминаю: отвечайте без промедления. Вопрос — ответ в ту же секунду. Замешкаетесь — пеняйте на себя.

Казалось, долгое предисловие его утомило. Он сдулся, как воздушный шар, откинулся на спинку кресла и стал легонько раскачиваться.

— Вы знаете человека по имени Франек? — проворковал он безобидным тоном.

— Франек?.. Франек? Не знаю такого, — ответил я с дрожью в голосе.

— Я ждал, что вы так и скажете. Но так и быть, за первую ложь мы не станем вас наказывать. Франек — проводник подпольщиков. Мы схватили его пару недель назад. И он все рассказал: про маршруты и перевалочные пункты. Мы много знаем о ваших людях, которые следуют этим путем. Что вы делаете, какова цель этих хождений? И не отрицайте свою связь с подпольем. Это бесполезно. Мы рассчитываем, что вы расскажете нам все, что вам известно, господин курьер. Понимаете?

Я облизнул губы. Горло пересохло так, что было больно. Кажется, гестаповец действительно знал или догадывался о многом. Тупо глядя на него, я хрипло пробормотал:

— Не понимаю. Я никакой не курьер.

Он сложил руки на груди и кивнул детинам, стоявшим позади меня. Они только того и ждали. Один из них саданул меня дубинкой позади уха. Страшная боль пронзила голову и все тело. Мне не раз случалось выдерживать удары, но ни один из них не мог сравниться по силе с ударом резиновой дубинки. Все во мне разрывалось от боли, похожей на ту, какая бывает, когда сверло дантиста касается воспаленного нерва, но только в тысячу раз сильнее и по всем нервам сразу.

У меня вырвался крик, краем глаза я увидел занесенную над моей головой вторую дубинку и пригнулся. Пик поднял руку — дубинка замерла.

— Дадим ему еще один шанс, — с усмешкой сказал он. — Похоже, он не очень-то выносливый. Ну, будете теперь говорить?

— Да, но вы мне не верите, — еле выговорил я.

Дикая боль от удара прошла довольно быстро, осталась только память о ней и инстинктивный страх перед новыми ударами. Но сказались еще усталость, голод, бессонная ночь, общее напряжение и угнетающая обстановка допроса — у меня закружилась голова, начались позывы к рвоте. Я зажал рот рукой и чуть не свалился со стула. Мой инквизитор с брезгливой гримасой отшатнулся и крикнул:

— Уведите его! В сортир, скорее, пока он тут все не изгадил.

Меня подхватили и затолкали в грязный туалет. Там над

вонючим толчком меня стошнило, болезненные спазмы выворачивали желудок. Когда я разогнулся, меня поволокли обратно в кабинет, где один из гестаповцев силой влил мне в рот почти целый стакан коньяка. Меня посадили на стул, я обмяк на нем, полумертвый, ничего не соображающий.

Следователь вытер губы носовым платком и, презрительно скривившись, спросил:

— Как вы себя чувствуете?

— Лучше некуда, — с трудом выдавил я.

— Ну так отвечайте на мои вопросы. Откуда вы выехали? Кто дал вам документы и пленку?

— Я уже говорил вчера. Я выехал из Варшавы. Пленку мне дал друг, бывший одноклассник.

— И вы настаиваете на этой нелепой выдумке! Думаете, мы поверим, что на пленке были только снимки варшавских развалин?

— Ничего другого там не было. Клянусь.

— Тогда зачем вы бросили ее в помойное ведро?

Я замешкался с ответом. Вся надежда была на то, что пленка испортилась от воды. В этом случае никаких улик против меня, кроме фальшивых документов, не оставалось. Из раздумья меня вывел рык следователя.

— Отвечай! — заорал он. — Зачем ты бросил пленку в воду?

— Не знаю, — боязливо ответил я. — Я не хотел подвести друга.

— Не хотели подвести… — издевательски подхватил он. — А что ему грозило? Разве на пленке значилось его имя?

— Нет. Наверно, я это сделал просто машинально.

— Машинально? Такая у вас привычка? А свой рюкзак вы тоже машинально спрятали?

— У меня не было никакого рюкзака, — возразил я, изображая оскорбленную невинность.

— Врешь, сволочь! — рявкнул один из гестаповцев и ударил меня кулаком в лицо.

Я почувствовал, как хрустнул и зашатался зуб. Изо рта потекла кровь. Я провел языком по губам, пощупал сломанный зуб, попытался вытолкнуть его совсем.

Следователь жестом отстранил гестаповца и холодно спросил:

— Вы пытаетесь нас уверить, что четыре дня скрывались в приграничной зоне без всяких припасов?

— Но это правда, — твердо сказал я. — Поверьте мне, прошу вас. Мы покупали еду у крестьян по дороге.

— Я же знаю, что вы лжете, — слащаво улыбнулся

следователь. — Мы поставили своих людей во все пункты, которые указал Франек. И засекли вас в Прешове. Никаких крестьян у вас по дороге не было, и ни в какую деревню вы не заходили, иначе мы бы вас поймали. Спрашиваю в последний раз: где вы спрятали рюкзак?

Я лихорадочно соображал. У меня в рюкзаке не было ничего подозрительного. Но я чувствовал: стоит только на шаг отойти от своих показаний, как я собьюсь, растеряюсь и могу выдать что-то важное.

Без всякого предупреждения на затылок обрушился новый удар дубинки, и снова меня захлестнула боль. Я сделал вид, что теряю сознание, сполз со стула и упал на пол. Голос Пика прозвучал над моей головой как будто издалека, словно гул самолета высоко в небе.

— Притворство не поможет. Наши медицинские светила изучили действие ударов за ухом. Да, это очень болезненно, но ни обмороков, ни потери сознания не вызывает. Так что не стоит ломать комедию — научные факты неопровержимы.

Эти ученые выкладки вызвали у охранников бурный приступ садистского хохота. Веселье перекрыл пронзительный крик следователя.

— Ну-ка, за дело! — с брезгливостью, но и каким-то сладострастием в голосе скомандовал он. — Но только не перестарайтесь — он еще должен у меня разговориться.

Гестаповцы всем скопом набросились на меня, приплюснули к стенке и стали избивать — били по лицу и по всему телу. Я согнулся под градом ударов, меня подхватили под мышки. Последнее, что я запомнил, прежде чем потерять сознание, — как меня отпустили и я рухнул на пол, точно изодранная в клочья тряпичная кукла. Палачи переоценили мою выносливость — сил для нового допроса у меня не осталось.

Три дня я провалялся в камере, и меня никто не трогал. Все тело болело. Лицо опухло так, что живого места не осталось. К избитому боку было невозможно прикоснуться. Я ясно видел: положение мое безнадежно. В гестапо понимали, что я лгу.

На следующих допросах меня все больше будут загонять в тупик, и отвечать будет нечего. Но все-таки я считал, что единственный шанс уцелеть — это настаивать на своей легенде.

Старый словак, приносивший еду и воду, уговаривал меня поесть, но я с трудом мог проглотить пару ложек белесой жижи, которая называлась супом. На второй день он отвел меня в умывалку, и я постарался смыть с лица засохшую кровь. Там было еще несколько солдат-словаков, они брились. И я вдруг заметил на краю раковины использованное лезвие. Почти машинально,

без какой-то определенной цели, я незаметно схватил его и сунул в карман.

Вернувшись в камеру и лежа на тюфяке, я судорожно сжимал лезвие в руке. А ночью отыскал на полу щепку и смастерил из нее держатель, в который аккуратно вставил лезвие. Получилось отличное оружие. Я спрятал бритву в тюфяк с мыслью о том, что, если пытки продолжатся, она мне пригодится.

На исходе третьего дня в камеру снова явились гестаповцы и один из них с издевкой сказал:

— Ты ведь без нас соскучился, да? Верно, хочешь доказать, какой ты молодец. Ну ничего, надеюсь, скоро такой случай представится. А сегодня нам велели привести тебя в приличный вид, чтобы не стыдно было показаться офицеру СС[86]. Чувствуешь, какая ты важная птица?

Эта новость приободрила меня и вывела из полулетаргического состояния, в котором я пребывал. Я готов был ухватиться за самую слабую надежду сохранить жизнь и выйти на свободу. Может, они в конце концов поверили, что я говорю правду, или сочли меня мелкой сошкой, на которую не стоит тратить время? Еще больше я обрадовался, когда пришел парикмахер и побрил меня. Тем временем охранник-словак унес мою одежду и обувь и скоро принес обратно почищенной.

В таком радужном настроении я переступил порог кабинета оберштурмфюрера СС. Эсэсовец быстрым жестом, в котором мне даже почудилось отвращение, опустил охранников. Подчеркнуто вежливо предложил мне стул, а сам пошел в другой конец кабинета и выпроводил сидевшего там солдата-инвалида. Я же тем временем внимательно приглядывался к новому для меня человеку, соображая, какой тактики держаться в разговоре с ним.

Он был совсем молод — лет двадцати пяти, не больше, очень элегантный, высокий и стройный, длинные белокурые волосы с нарочитой небрежностью падали на лоб. Все обличало в нем приверженца культа суровой мужественности. В другое время меня бы позабавило то, как старательно проработана каждая деталь этого образа. Форма СС сидела на нем изумительно: безупречный покрой, тщательно продуманные детали, богатая коллекция орденских лент и медалей. Видно было, что его ценят и он старается не подвести начальство. Внешне он походил на прусского юнкера.

Он подошел ко мне, словно выполняя некую внутреннюю инструкцию: похоже было, что он раздвоился и одна его часть наблюдала за другой и строго ее контролировала. Что-то в нем буквально завораживало — не верилось, чтобы такой классический продукт нацистского воспитания и прусской

традиции мог быть живым человеком. Одно то, что он двигается, казалось невероятным, как будто сошла с пьедестала статуя идеального молодого патриота, гордости нации.

И уж совсем поражен я был, когда он дружески, с оттенком юношеской застенчивости коснулся моего плеча и с неподдельным сочувствием в голосе произнес:

— Не бойтесь. Я прослежу, чтобы вам не причинили никакого зла.

Эти слова, сказанные с таким участием, не укладывались в голове и совершенно сбили меня с толку. Я пробормотал что-то похожее на благодарность и не мог скрыть своего удивления.

— Не надо благодарностей, прошу вас, — отозвался он. — Я прекрасно вижу: вы не из тех людей, с какими нам обычно приходится иметь дело. Вы благородный, образованный человек. Родись вы немцем, возможно, у нас с вами было бы много общего. Встретить такого, как вы, в этой паршивой Словакии, где водятся только болваны да вши, уже счастье.

Мой мозг бешено работал, пытаясь уяснить смысл этого нового подхода. Ни от кого из друзей, побывавших в лапах гестапо, я не слышал ни о чем подобном. Очень осторожно, напоминая сам себе человека, в потемках идущего по ухабистой дороге, я ответил:

— Вас не обидит, если я скажу, что вы совсем не похожи на тех, с кем мне до сих пор пришлось тут встречаться? — И с тревогой ждал его реакции.

Но он только посмотрел на меня открытым ясным взглядом, в котором не читалось ни одобрения, ни осуждения, и, чуть склонив голову, предложил:

— Вы не откажетесь пройти в мой кабинет?

На миг мне показалось, что у меня действительно есть выбор. Я кивнул, и мы вдвоем вышли в воняющий плесенью коридор, где офицеру явно было не по себе — он то и дело брезгливо подергивался и стряхивал рукой несуществующие пылинки с мундира. Комната, в которую он меня привел, была обставлена в истинно немецком стиле. Как будто обстановку специально подбирали для хозяина кабинета. Массивный строгий стол красного дерева с резными ножками, четыре кожаных коричневых кресла вокруг него, у стены обтянутый коричневым плюшем диван, а у окна — большой письменный стол. Стены тоже выкрашены в коричневый цвет и украшены огромными фотопортретами руководителя гитлерюгенда, нацистской молодежной организации, Бальдура фон Шираха и Генриха Гиммлера. Но что за чудо — портрета Гитлера тут не было! Над письменным столом висел старинный меч тевтонского рыцаря.

Третий портрет, поменьше, я заметил не сразу, на нем были изображены женщина средних лет с тонкими аристократическими чертами и девочка, лицом и светлыми волосами похожая на молодого человека, который привел меня сюда. Он угадал мою мысль:

— Это моя мать и сестра. Отец умер пять лет назад.

Повисло тягостное молчание. При всем своем мужественном и самоуверенном виде он, видимо, не имел инквизиторского опыта и не знал, как ко мне подступиться. Ему было неловко, и мне тоже. Вдруг, пряча смущение за напускной решительностью, он театральным жестом указал на портрет фон Ширaха:

— Взгляните — вот настоящий вождь. Великий человек. Одно время я был его восторженным сторонником и надеялся войти в круг его доверенных лиц, а очутился вот здесь!

В его голосе чувствовалась горечь и уязвленная гордость. Сказав это, он принялся нервно расхаживать по кабинету. За время войны я повидал немало внешне сдержанных, немногословных, спокойных и даже суровых людей, которым было необходимо выговориться, рассказать о себе. Вот и этот оберштурмфюрер, похоже, долго молча страдал и жаждал излить душу постороннему человеку — так безопаснее. Я только не мог понять, почему он вдруг проникся доверием именно ко мне.

По опыту я знал, что тем, кто удостаивается такой внезапной исповеди, нередко приходится потом за это расплачиваться. Обычно людям вскоре становится стыдно за свою сентиментальность. И они проникаются злобой и ненавистью к тем, кто оказался свидетелем их слабости. Но остановить его было невозможно. Я был в растерянности, боялся подвоха. А оберштурмфюрер сел на стул прямо напротив меня и принялся рассказывать мне всю свою жизнь.

Он родился в Восточной Пруссии в аристократической семье. Был чувствительным, легко ранимым, художественно одаренным ребенком и ненавидел своего строгого, тираничного отца, который презирал сына-неженку и хотел сделать из него потомственного офицера. Мать и сестра любили мальчика и защищали от отцовской муштры. В семнадцать лет его отдали в одну из знаменитых нацистских школ, которые именовались орденсбургами[87] и в которых ковалась элита Нового порядка. В то время, еще до прихода Гитлера к власти, они работали тайно.

Глаза его, когда он заговорил об этой школе, зажглись фанатическим блеском, а голос охрип от волнения, — он заново переживал события той поры. В этой германской «обители» он и встретил Бальдура фон Ширaха и стал его любимцем. Тот часто уводил его в долгие прогулки по окрестным лесам. Но на третий

год обучения фон Ширах променял его на другого юношу, который якобы лучше пел старинные немецкие песни и к тому же был чемпионом школы по метанию диска.

Видимо, рана так и не зажила. Дойдя до этого места, он невольно прикрыл глаза рукой, будто защищаясь от слишком яркого света. А потом резко сменил тему:

— Позже я поступил в офицерское училище СС, закончил его первым в своем выпуске и горжусь своей теперешней работой. Я вызвал вас, потому что был восхищен вашим поведением. Уверен, что мы сумеем прийти к взаимопониманию. Поверьте, я не питаю лично к вам никакой неприязни, не собираюсь вредить вам, что-то у вас выпытывать или вас вербовать. Нет, я хочу побеседовать с вами о том, что жизненно важно для Польши, для ее будущего.

Наконец-то мне стала ясна цель этого удивительного свидания. Высокопробный нацист собирался обратить меня в свою веру. Я пытался придумать, как бы похитрее ответить на этот призыв к взаимной откровенности. Хотя эсэсовец показал себя очень искренним и обаятельным, я был уверен, что он заботится не только о моем благе. Слишком уж страстно он старался меня в этом убедить.

Какое-то время я надеялся, что, даже если его усилия окажутся тщетными и его предложения меня не соблазнят, в нем все же останется сколько-то симпатии и уважения ко мне, чтобы вступиться за меня. Но по здравом рассуждении эта иллюзия исчезла. Во-первых, чисто психологически понятно, что его откровенность должна смениться озлоблением, а во-вторых, он был воспитан в нацистском духе, а значит, исповедовал культ силы и жестокости.

Но пока что эсэсовец продолжал чистосердечно делиться со мной воспоминаниями:

— Национал-социалистическая партия с самого начала строилась на принципах мужской доблести. У нас чисто мужская идеология. В орденсбурге, — с гордостью сказал он, — я ни разу не встречался и не разговаривал с женщиной, не считая бытовых надобностей. Я люблю говорить по-мужски, напрямик, и думаю, мы с вами поладим.

Произнеся эту замечательную речь, он подошел к стоявшему в углу сейфу и достал бутылку коньяка. Налил мне рюмку, дал сигарету и придвинул свой стул поближе.

— Что ж, вернемся к нашим делам! — Он улыбнулся. — Прежде всего хочу вам сказать, что, по моему распоряжению, вы будете отныне считаться военнопленным, и я велел, чтобы с вами обращались соответственно этому статусу.

— Благодарю вас, — отозвался я.

— Не за что. Вы же не преступник, а после нашего разговора, я уверен, пожелаете работать с нами, а не против нас.

Я попробовал возразить:

— Я никогда и не работал против вас, напрасно вы так думаете. Уверяю вас, я не имею никакого отношения к подполью…

Он помрачнел и перебил меня:

— Прекратите это шутовство. У нас есть доказательства, что вы курьер Сопротивления, и я вам их представлю.

Я молчал, и он, видя, что я перестал отпираться, похлопал меня по колену:

— Вот так-то лучше, дружище. Смешно отрицать очевидное. И вообще. Я не понимаю, почему вы, поляки, продолжаете упорствовать, когда у вас не осталось ни малейшего шанса на успех. Франция капитулировала, Англия идет на переговоры, Америка за океаном хранит нейтралитет…

Прищурив глаза, он маленькими глотками попивал коньяк. И вдруг снова воодушевился:

— Скоро фюрер продиктует Лондону свои условия мира. А еще через несколько лет со ступеней Белого дома в Вашингтоне провозгласит Новый мировой порядок. И воцарится настоящий мир, непохожий на тот, что лживо и лицемерно сулят иудейско-демократические плутократы. *Pax germanica,* мир, о котором мечтали Ницше и все великие мыслители и поэты, послужившие делу Нового порядка. Я знаю, нас боятся. И напрасно. Мы никому не желаем зла. Кроме, конечно, евреев. Им нет места на земле, они будут уничтожены. Так решил фюрер. Мы хотим торжества справедливости и сами будем справедливы по отношению к негерманским народам. Они получат право на жизнь, работу и хлеб. И, если они подчинятся Третьему рейху, мы примем их в нашу новую цивилизацию. Видите, как мы великодушны!

Я чувствовал страшную усталость — подействовал и выпитый коньяк, и духота в кабинете, и утомительные речи эсэсовца. Я непочтительно перебил его:

— Все это я уже слышал. Что вы хотите от меня?

Он был настолько захвачен видениями прекрасного будущего, что не заметил вызова. Но все же несколько опомнился и заговорил заносчивым тоном уверенного в себе реалиста и компетентного должностного лица:

— Мы и с вами хотим поступить великодушно. Мы знаем, кто вы и чем занимаетесь. Вы передаете информацию о Сопротивлении руководству во Франции. Но я не требую, чтобы вы выдали свою родину, своих друзей и начальников. Мы хотим войти с ними в контакт и убедить их в преимуществах польско-

немецкого сотрудничества. И ручаемся честным словом немцев за их безопасность. А вы будете посредником между сторонами. Ваш долг — дать вашим руководителям возможность обсудить с нами сложившуюся ситуацию. Посмотрите на другие завоеванные страны. В каждой из них нашлись трезвомыслящие люди, которые вступили на путь сотрудничества, приносящий пользу их стране и им самим. Вы, поляки, на свое несчастье, составляете странное исключение. В том, что я предлагаю, нет ничего позорного и бесчестного.

Он призывно посмотрел на меня, на лице его отражалось нетерпение, почти мольба, и торжественно спросил:

— Вы принимаете мое предложение?

Я ответил негромко, удивляясь собственному спокойствию:

— Я не могу его принять. По двум причинам. Во-первых, я не верю, что благих целей можно добиться насилием. А во-вторых, сотрудничество должно опираться на взаимное уважение, понимание и свободу. Но даже если бы я считал приемлемыми ваши принципы, я ничего не смог бы сделать. Вы принимаете меня за значительное лицо. Но я ничего не знаю ни о подполье, ни о его руководителях. Поверьте, это правда.

Эсэсовец посмотрел на меня с таким свирепым презрением, что я сразу почувствовал всю дерзость своего ответа. Надо было колебаться, тянуть время, но я заразился искренностью разговора и сглупил.

— Так вы продолжаете ломать эту нелепую комедию?

Горячность его исчезла. Каждое слово было точным и резким, как удар хлыста. Он дотянулся до звонка, нажал на кнопку. Вошел, хромая, солдат-инвалид, бросил на меня любопытный взгляд и вытянулся перед офицером, который сказал ему:

— Генрих, принеси мне снимки и позови ребят.

Солдат поковылял к двери. Оберштурмфюрер в ожидании расхаживал по кабинету, бросая на меня злобные взгляды. Я понимал, что он презирает меня не только как заклятого врага своей страны, но и как человека, который разочаровал его, оказался недостоин предложенного сотрудничества.

Скоро солдат вернулся вместе с двумя гестаповцами. Он дал оберштурмфюреру какие-то фотографии, тот протянул их мне:

— Это отпечатки с пленки, которую вы бросили в ведро. Часть кадров, небольшую, но важную, нам удалось спасти. Смотрите.

Дрожащей рукой я взял снимки. И едва не сошел с ума от бешенства и бессилия. Это были три последних кадра, которые я сделал своей «лейкой». Значит, они единственные уцелели. Я внимательно просмотрел снимки. Зашифрованы были только

имена и адреса, все остальное написано совершенно открыто. Хотя, к счастью, на этих трех последних, уцелевших страницах не было ничего особо важного и опасного. Человек, который передавал мне пленку, не успел или поленился зашифровать весь текст. Я не испугался, но разозлился — попадись мне только этот растяпа! Офицер внимательно следил за мной.

— Вы узнаете этот текст? Как видите, я предельно откровенен с вами. У нас есть три кадра, остальные тридцать три испорчены. Болваны, которые не помешали вам бросить пленку в ведро с помоями, отправлены на фронт, надеюсь, там они проявят себя лучше, чем в нашем ведомстве. Ну а теперь я хочу, чтобы вы рассказали мне, что содержалось на всей пленке.

Я отвечал придушенным голосом:

— Не могу сказать, не знаю… Это какая-то ошибка… меня обманули…

Эсэсовец побледнел от ярости:

— Прекратите наконец прикидываться невинной овечкой!

Он подскочил к сейфу, из которого раньше доставал коньяк, вытащил оттуда плетку и заорал:

— Только что я разговаривал с вами как с мужчиной, как с достойным уважения поляком! Но теперь вы для меня ничтожество, мерзавец, врун и кретин!

Он размахнулся и стеганул меня плеткой по щеке. В тот же миг на меня набросились и стали избивать кулаками гестаповцы. Я содрогнулся от боли, перед глазами все поплыло.

Очнувшись в камере, я понял, что выдержал еще один допрос в гестапо, но эта мысль не слишком меня обрадовала.

Я лежал плашмя, все тело, с головы до ног, страшно болело, и боль усиливалась от малейшего прикосновения. Ощупав десны языком, я равнодушно отметил, что четыре зуба выбиты. Лицо превратилось в кровавое месиво. Еще одного допроса я не перенесу, это ясно. Меня трясло от унижения и чувства собственного бессилия.

Все кончено, на свободу я не выйду, после следующего допроса не выживу, а в полубессознательном состоянии могу и выдать своих друзей. Чтобы избавить себя от этого позора и бесчестья, у меня оставалось одно средство — покончить с собой с помощью припрятанного бритвенного лезвия.

Прежде я часто пытался представить себе, что чувствуют люди, которым предстоит умереть за свои идеалы. Я думал, что они предаются возвышенным размышлениям о деле, за которое идут на смерть. И вот с изумлением обнаружил, что все совсем не так. Я испытывал только ненависть и отвращение, затмевавшие даже физическую боль.

Я вспомнил маму, свое детство, учебу, работу, свои планы на будущее. Было мучительно жалко умирать вот так, бесславно, безымянно, некрасиво, как раздавленная букашка. Родные и друзья никогда не узнают, что со мной случилось, и не найдут моего тела. Я скрывался под столькими чужими именами, что, даже пожелай нацисты сообщить кому-нибудь о моей смерти, до настоящего имени они не докопаются.

Я лежал и дожидался, пока словак не перестанет расхаживать вдоль камер. Решение пришло как бы само собой. Я ничего не обдумывал, не рассуждал. Действовал импульсивно, движимый болью, желанием избавиться от мук, умереть. Возникала и мысль о религиозных запретах, о том, что я совершаю страшный грех. Но ее заслоняло воспоминание о пытках. Сильнее же всего было омерзение, бесконечное омерзение.

Наконец старый словак закончил последний обход. Я взял лезвие и резанул по правому запястью. Боль была не очень сильной. Но вену я не задел. Сделал еще один надрез, на этот раз пониже, поворачивая лезвие и вонзая его как можно глубже. Кровь брызнула фонтаном. Получилось! Потом, зажав лезвие в окровавленной правой руке, я вскрыл вену на левой. Это было уже легче. Я вытянул руки вдоль тела и стал ждать. Кровь вытекала равномерно, скоро возле ног образовались лужи. Прошло несколько минут — я почувствовал, что слабею. Сознание затуманивалось, но я понял, что кровь остановилась, а я еще жив. Тогда, боясь, что моя затея не удастся, я приподнял руки и пошевелил ими. Кровь хлынула с новой силой. Я почувствовал удушье, стал хватать воздух ртом. Меня затошнило и вырвало. И тут я потерял сознание.

Глава XIV
В больнице

Не знаю, сколько времени я пролежал без сознания. Возвращалось оно ко мне постепенно. Сначала я чувствовал только неудобство и боль. Язык и губы воспалились и пересохли, во рту горечь. В ушах звенело. Я делал слабые попытки понять, где нахожусь, но какая-то сила мешала мне и снова сталкивала в небытие, из которого я пытался вынырнуть.

В этой непрерывной борьбе я все же понемногу приходил в себя. По крайней мере, было ясно, что я уже не в камере и лежу не на грязном тюфяке, а на чем-то твердом.

Тело было напряженным, одеревенелым. Я попробовал повернуться на бок — что-то меня держало. Рванулся сильнее и опять не смог пошевельнуться. Я был уверен, что меня парализовало; наверное, я повредил какие-то нервы, так что теперь руки и ноги не слушались приказов мозга. В панике я напряг все мышцы, пока не почувствовал, что в нескольких местах в тело впивается что-то жесткое. Только тогда я понял, что лежу, туго привязанный к чему-то вроде операционного стола. Я заставил себя открыть глаза и осмотреться. Но из-за сильного резкого света сразу заморгал. С потолка свисала лампа, направленная прямо на меня, я словно очутился на сцене в лучах прожекторов.

Я почувствовал себя беспомощным, униженным. Надо мной расплывчатым пятном повисло чье-то неправдоподобно большое лицо. Сквозь звон в ушах я услышал голос, проговоривший по-словацки:

— Не бойтесь. Вы в Прешове, в словацкой больнице. Мы вылечим вас. Сейчас вам сделают переливание крови.

Так значит, это не тюрьма, а больница!

Эти слова привели меня в ужас, я даже сумел пробормотать:

— Не надо переливания. Дайте мне умереть. Вам непонятно, но я прошу вас, дайте мне умереть.

— Успокойтесь. Все будет хорошо.

Врач — теперь я разглядел на нем белый медицинский халат — исчез, и я увидел в глубине комнаты широкую грозную спину словацкого жандарма — он читал газету. Но больше ничего увидеть не успел. Надо мной наклонился плотный, коренастый мужчина. Я почувствовал укол в бедро.

— От этого вам станет лучше, — сказал он.

Я хотел вырваться, сопротивлялся изо всех сил и снова

потерял сознание.

Очнулся я в тесной палате, где было еще трое пациентов, все словаки. Остро пахло карболкой и йодоформом. Была ночь. Лунный свет падал на кровати и лежащих на них больных. Мои соседи постоянно ворочались во сне и громко храпели. Один из них, лысый, с тревожным выражением лица, то и дело стонал — видимо, ему снился кошмар.

Я сел в кровати — удивительно, но у меня ничего не болело. Слегка ломило в висках, но по всему телу был разлит благодатный покой. С большим трудом я включил мозг — надо было найти способ еще раз попытаться покончить с собой или бежать. Оглядел палату. Охраны, кажется, не было. Но через приоткрытую дверь я увидел все ту же фигуру словацкого жандарма в синей форме, который все так же читал газету. В отчаянии и изнеможении я уронил голову на подушку.

Положение было безнадежным. Даже если вдруг представится случай бежать, вряд ли у меня хватило бы сил воспользоваться им. Скорее всего, мне предстояло снова попасть в руки гестаповских палачей, поэтому я решил сделать новую, более удачную попытку самоубийства. И с этим слабым утешением заснул.

Наутро меня разбудил бодрый женский голос. Рядом со мной стояла медсестра-монахиня с термометром в руке. Она вставила его мне в рот и шепотом спросила:

— Вы понимаете по-словацки?

С термометром во рту, я утвердительно промычал. Словацкий очень похож на польский, и я отлично его понимаю.

— Слушайте внимательно. В больнице лучше, чем в тюрьме, и мы постараемся продержать вас тут как можно дольше. Поняли?

Слова я понял хорошо, а их смысл — не очень. И мне так хотелось расспросить монахиню, что я вынул термометр. Но она решительно впихнула его обратно, предостерегающе приложила палец к губам и помотала головой:

— Сейчас мне надо измерить вам температуру. Наберитесь терпения.

За неделю я почти поправился. Но пользоваться руками, даже есть самостоятельно пока не мог. Обе они были в лубках и обмотаны толстым, как боксерские перчатки, слоем бинтов. Однако, помня о словах монахини, я симулировал слабость, которой на самом деле почти не испытывал. Дни, проведенные в словацкой больнице в Прешове, — пожалуй, самое странное время в моей жизни. Выздоровление вызывало во мне противоречивые эмоции. Невероятно радостное чувство от того, что силы возвращаются, периодически сменялось приступами

страха при мысли о новом допросе в гестапо. Да и притворяться было неприятно. Хотелось встать с постели, ходить, гулять, сидеть на солнышке, а из-за того, что я принуждал себя лежать, только возрастало нетерпение. Врач-словак и монахини были очень заботливы, внимательны ко всем моим нуждам и желаниям, но все же я старался не говорить лишнего. Постоянное присутствие жандармов не располагало к откровенности.

К моему величайшему удивлению, оказалось, что обо мне слышала чуть не вся больница. Больные часто выказывали мне свою симпатию, передавая через монахинь что-нибудь в подарок, иногда даже шоколад или апельсины. Жандармы, приставленные охранять палату, ничем мне не докучали. Они, как перекормленные сторожевые псы, целыми днями дремали, развалясь на стуле в коридоре.

На пятые сутки мне уже опостылело праздно валяться в постели. И когда пришла монахиня, которая ставила мне термометр в первый день, я стал упрашивать ее принести мне газету. Она сделала большие глаза, но потом согласилась. Спросила разрешения у охранника, тот не возражал, и принесла словацкую газету. Первым, что я увидел, был заголовок крупными черными буквами: **ФРАНЦИЯ КАПИТУЛИРОВАЛА**! — и словно бомба разорвалась у меня в голове.

Разбирая фразы слово за словом — я не настолько хорошо знал язык, чтобы понимать их с ходу, — я прочел всю статью. Потом перечитал еще и еще раз, как будто надеясь, что повторение может изменить то, что в устах офицера СС я посчитал обманом: маршал Петен подписал капитуляцию в Компьенском лесу[88]. Французская армия разбита наголову Старый маршал призвал соотечественников к полному подчинению… Сотрудничество с победителями… Германия окончательно завоевала Западную Европу… Мне понадобилось несколько минут, чтобы осмыслить прочитанное, и тогда на меня нахлынуло черное уныние. Между Польшей и Францией существовали многовековые исторические и культурные связи. Поляки всегда считали Францию почти что второй родиной. И любили ее так же пылко и безоглядно, как Польшу. Более того, все наши надежды освободить Польшу были связаны с победой Франций. И вот эти надежды рухнули[89].

Потом я сообразил, что в статье ничего не говорилось о том, что происходило в Великобритании. Я стал лихорадочно просматривать все страницы газеты, пока не наткнулся на слово «Англия», и прочел: «Англия, продолжая сопротивляться, совершает самоубийство…» Тогда я стал молиться, как, наверное, молились в те страшные дни все свободные народы, но со

страстью, какую вкладывали в эту молитву те, чьи страны уже были завоеваны. Я просил Бога дать сил Черчиллю выстоять в борьбе, которую он возглавил[90]; чтобы британцы продолжали стойко сопротивляться и не потерпели поражения и чтобы не падали духом все, кто не опустил руки. Англия не сдалась — и это было самое главное. Значит, еще не все потеряно.

Больше ничего существенного в статье не содержалось. Я уронил газету на пол и закрыл глаза.

Теперь каждый день во время обхода я спрашивал доктора о последних новостях из Англии. Часто он не мог говорить вслух — рядом были охранники. Но всегда старался, склонившись надо мной, шепнуть хоть несколько слов на ухо. Он рассказывал о Дюнкерке[91], о бомбардировках Англии, о том, что готовится вторжение немцев на Британские острова, что моральный дух гражданского населения Англии невысок и что кабинет министров раздирают внутренние распри. Новости были плохие, доктор был настроен пессимистично. Англия должна была со дня на день сдаться. Германия непобедима.

Но я не отчаивался, потому что догадывался: вся эта информация исходит из немецких источников, а Геббельс — известный мастер правдоподобно извратить любые факты, подав их в выгодном для нацистов свете. Я слушал молча. В Англии я бывал в тридцать седьмом и тридцать восьмом годах. Мне многое не нравилось в национальном характере англичан. Например, их чопорность и сухость. До континентальной Европы большинству не было никакого дела. Но англичане — сильный, упорный, трезвый народ. Француз или поляк из-за чрезмерной склонности к патетике может покончить с собой, потерпев поражение, англичанин же — никогда. Мою веру в англичан не поколебало даже ошеломляющее известие о дюнкеркской эвакуации. Я знал: эта нация деловых людей, организаторов и колонизаторов, нация, где столько толковых государственных деятелей, умеет рассчитывать силы и знает, где и как их применять. Такие люди не будут вступать в игру, имея на руках плохие карты. Если они упорствуют, думал я, значит, все взвесили и решили, что у них есть шанс выиграть.

Рано утром на седьмой день в палату, грохоча сапогами, вошли двое гестаповцев. Один из них, высоченный, швырнул на мою постель сверток с одеждой и сказал своему напарнику:

— Помоги ему одеться, да побыстрее. Я не собираюсь целый день проторчать в этом дохлятнике.

Второй, лет сорока, пониже ростом, тощий и лысый, с молодецким видом подошел к кровати. Я лежал, прикрыв глаза,

как тяжело больной. Гестаповец побагровел и заорал:

— А ну встать, польская свинья! Со мной такие штучки не пройдут!

На его крик прибежал возмущенный доктор.

— Что тут происходит? — сердито спросил он. — Как можно требовать, чтобы этот человек встал? Он очень болен. Его нельзя транспортировать.

— В самом деле? — нагло ответил длинный гестаповец, развалившись на стуле. — Вот что, доктор, занимайтесь-ка своими пилюлями. А заключенные — наше дело.

— Говорю вам, если вы его заберете, он долго не протянет. Нужно довести лечение до конца.

Верзила с насмешливым сочувствием покачал головой:

— Я напишу его матери…

Его напарник тупо хохотнул.

Доктор побелел от сдержанного гнева и, выхватив одежду из рук того, что пониже, коротко сказал:

— Я сам ему помогу.

Гестаповцы уселись рядышком и закурили. А доктор, застегивая на мне пуговицы, шепнул:

— Притворяйтесь немощным сколько можете. Я пойду позвоню.

Я легонько кивнул в знак того, что понял. Мы все вместе вышли в темноватый коридор. Гестаповцы поддерживали меня, кроме того, они были вынуждены нести на некотором расстоянии от меня капельницы, прикрепленные к моим рукам. Едва мы вышли на улицу, я зашатался, притворился, что меня заносит в сторону и я вот-вот упаду. Гестаповцы, ругаясь сквозь зубы, подхватили меня и затолкали в поджидавшую нас перед входом машину.

Тронулись. Меня обдувал ветерок из окна. Украдкой я пытался надышаться свежим воздухом. Но каждый раз, когда ловил на себе взгляды гестаповцев, старался выказать еще какие-нибудь признаки болезни. И видимо, играл довольно убедительно, потому что верзила велел шоферу ехать помедленнее.

— Смотри, чтоб не трясло на ухабах. Не то у нашего птенчика начнется кровотечение. А он нам нужен в хорошей форме, — со злобной насмешкой проворчал он.

Мы подъезжали к воротам тюрьмы. Передо мной возвышались ее зловещие грязно-серые, вселяющие ужас и убивающие всякую надежду стены. Мне захотелось выброситься из машины. Но прежде, чем я успел на это решиться, колеса завизжали и замерли. Маленький гестаповец толкнул меня

локтем и идиотски-слащаво пропел:

— Выходи, дорогуша! Вот ты и дома.

Я посмотрел на него мутным взглядом, будто был в полубессознательном состоянии, не сказал ни слова и не шевельнулся. Верзила открыл дверцу и вышел. Маленький вытолкнул меня прямо в объятия напарника. Вдвоем они доволокли меня до двери тюрьмы. Переступив порог, я увидел самого учтивого из своих инквизиторов. Я искусно споткнулся, зашатался и рухнул на пол.

Молодой гестаповец с издевкой сказал моим сопровождающим:

— И долго вы собираетесь на него пялиться? Вряд ли он взлетит и порхнет в камеру. Вас не очень затруднит отвести его туда и дать воды?

Чертыхаясь, они подняли меня, довольно грубо притащили в камеру и уложили на лежанку. Один принес воды, брызнул мне в лицо и куда попало, по всему телу. Потом оба ушли.

Я долго и безуспешно пытался заснуть, но сон не шел, и я открыл глаза. Увидел крест, который нацарапал на стене перед тем, как вскрыть вены. Под ним — надпись, строчка из стихотворения, которое я учил в детстве и до сих пор не забыл: «Люблю тебя, моя отчизна!»

Я повторял и повторял про себя эти слова, как заклинание. Это действовало на меня успокоительно, и скоро я уснул глубоким сном.

Часа через два или три я проснулся немного отдохнувшим и уже не таким издерганным. Около меня сидел дружелюбный охранник-словак. На коленях у него лежал какой-то сверток. Он кивнул мне едва заметно, но с чувством.

— Рад вас видеть, — начал он, но осекся и смущенно продолжал: — Что я говорю, старый дурак! Я хотел сказать..

— Я понимаю, что вы хотели сказать, — улыбнулся я. — Спасибо, друг.

Он развернул пакет и протянул мне толстый ломоть белого хлеба и яблоко:

— Это от моей жены.

— Поблагодарите ее от меня.

— Ешьте, ешьте! Вы же, наверно, голодны.

Деликатно дождавшись, когда я кончу есть, он тихонько покачал головой:

— Никогда не забуду тот день, когда я нашел вас тут истекающим кровью, — она текла как из шланга!

— Так это вы меня нашли? А как вы узнали, что со мной что-то случилось? Ведь время обходов уже прошло.

— Я услышал, что вы стонете и вас рвет. Заглянул в глазок и увидел, что вы лежите скорчившись и весь в крови. Вы не должны были так поступать, — очень серьезно прибавил он. — Это грех. Надо жить, нельзя терять надежду.

Легко рассуждать о боли и пытках, пока не испытаешь их на себе, подумал я. Как объяснить, что можно дойти до такой степени страдания, когда смерть покажется величайшим благом? Я попытался в самых простых словах растолковать словаку, что у человека в моем положении впереди только невыносимые муки и ему нечего ждать. Он внимательно все выслушал, потом, обхватив колени руками, стал в раздумье раскачиваться на табуретке. И наконец сказал:

— И все-таки, я думаю, пытаться убить себя — это преступление. Вы говорите, что для кого-то будущее бывает безнадежным. Но разве мы можем знать будущее?

Я горько усмехнулся:

— Я-то свое будущее знаю. Что, по-вашему, сделает со мной гестапо, когда закончатся допросы?

— Может, все будет не так плохо, как вы думаете. Может, вы тут не останетесь.

— Меня не отпустят.

Словак ободряюще улыбнулся:

— А я думаю по-другому. Я слышал, как тюремный врач разговаривал по телефону с доктором из больницы. Насколько я понял, тот ему сказал, что вас надо отослать обратно, иначе он ни за что не отвечает.

Меня пронизала радостная дрожь. Но я старался не обольщаться. Чтобы потом не разочаровываться, как уже часто бывало.

— А что за человек этот тюремный врач? — спросил я.

— Не беспокойтесь, он не немец, а словак, — сказал мой доброжелатель таким тоном, будто сама по себе национальность врача служила гарантией его моральных качеств.

Тюремный врач зашел в камеру, как раз когда я разговаривал с охранником. Он тоже был плотный и невысокого роста, с такими же добрыми славными глазами, как у его больничного коллеги. Он участливо улыбнулся и сказал:

— Доктор Кальфа сообщил мне, что вы серьезно больны. Я осмотрю вас и направлю администрации свое заключение.

Он наклонился и стал бегло осматривать меня, хотя со стороны это должно было выглядеть довольно внушительно. Потом выпрямился и деловито произнес:

— Да, вы в очень плохом состоянии.

В завершение он дружески похлопал меня по плечу и быстро

вышел из камеры.

Через час явились мои старые приятели — гестаповцы. По их недовольному насупленному виду я сразу понял, что возвращаюсь в больницу. Первым заговорил главный из двоих — верзила:

— Ну что, ты запудрил мозги этому болвану доктору и теперь давай вези тебя обратно в больницу?

Я молчал.

Он язвительно продолжал:

— Ваша милость изволят дойти до машины сами или предпочитают, чтобы мы опять несли его на руках?

— Сам пойду, — коротко сказал я, подавляя желание заехать кулаком в эту ухмыляющуюся рожу.

Но не удержался от легкого смешка и тут же ужаснулся своей неосторожности. Задевать дюжего гестаповца не стоило. Он был не лишен некоторой проницательности и уже мерял меня нехорошим взглядом, словно оценивая степень моей дерзости. К счастью, его тщедушный напарник затесался между нами и дурашливо запричитал, передразнивая меня:

— Сам пойду, сам пойду!

Верзила бросил на него взгляд, полный такого презрения и гадливости, что кто угодно, кроме его толстокожего коллеги, провалился бы сквозь землю, не сходя с места. Потом опять обратился ко мне и брезгливо рявкнул:

— Вставай и пошли!

Мое возвращение в больницу выглядело довольно комично. Грязный, весь обмотанный бинтами, я шел по коридору в сопровождении нелепой парочки — верзилы и коротышки. Но встречали меня очень тепло. Врачи, монахини и больные — все радостно улыбались и незаметно, чтобы не раздражать сторожевых псов, кивали. Верзила побагровел от ярости и сурово смотрел на каждого встречного, а коротышка, который вышагивал, красуясь как павлин, *бесил* его еще больше.

Конечно, было очень приятно, что все так хорошо ко мне относятся, но будущее представлялось мне мрачным и безысходным. Я понимал, что словаки, при всей их симпатии ко мне, не смогут помочь мне бежать — это было бы слишком рискованно. И представлял себе, как буду с утра до ночи лежать, притворяться больным и слушать сочувственные слова врачей и монахинь…

Так оно и было первые десять дней, а на одиннадцатый произошло нечто новенькое.

Я, как обычно, томился в постели, глядя на вялого, откровенно скучавшего нацистского охранника. И вдруг в палату робко вошла незнакомая молодая девушка. Некрасивая, с

грубоватым, но очень добрым лицом. Она была изящно одета и держала букет роз. К моему изумлению, девушка негромко заговорила со мной по-немецки:

— Вы знаете немецкий?

— Да. А что вам нужно? — ответил я резко, почти враждебно.

Охранник оживился и посмотрел на девушку с любопытством. Но я не видел в происходящем никакой опасности. Девушка, видимо, перепутала палату. Я уже собирался спросить ее, не ошиблась ли она, но она порывисто, преодолевая смущение, заговорила сама:

— Я немка. У меня был аппендицит, недавно сделали операцию. О вас слышали и вами восхищаются все больные. Так вот, примите эти розы и не думайте, что все немцы так плохи, как те, кого вы встретили на войне.

Я был ошарашен. Девушка явно не подозревала, что человек в штатском, сидящий в палате, — гестаповец. Я постарался взять себя в руки и сказал:

— Но я вас никогда не видел… Никогда с вами не говорил и не знаю, кто вы. Что вам от меня надо?

Девушка казалась уязвленной и совсем смешалась:

— Прошу вас, не будьте так жестоки. Научитесь прощать. И вы будете счастливы.

Она положила цветы на постель и пошла к двери. Гестаповец смотрел ей вслед, как кот на мышь.

— Спасибо! — отчаянно крикнул я. — Но я вас не знаю. Никогда не видел…

Гестаповец лениво встал, подошел к двери и загородил проход.

— Милая беседа, — сказал он.

Он схватил девушку за руку, вынудил ее развернуться и снова подойти к моей кровати. Мне было искренне жаль ее, и я попробовал заступиться:

— Она не хотела сделать ничего дурного. Говорю вам, я ее не знаю. Отпустите ее. Вы что, не видите, как она испугалась?

Гестаповец холодно посмотрел на меня:

— Поберегите силы, они вам скоро понадобятся.

Он схватил букет и изорвал цветы в мелкие клочья — искал спрятанную записку. Потом еще раз, как клещами, сжал запястье девушки и грубо потащил ее за собой.

Через час ко мне пришел офицер гестапо, которого раньше я не видел. Он действовал более тонко, более изощренно, таких пускали в ход, когда обычными гестаповскими методами ничего узнать не удавалось. Средних лет, в очках с роговой оправой, со вкусом одетый, он был похож на университетского профессора.

Но все его уловки, даже самые изобретательные, были шиты белыми нитками.

Он вежливо, с достоинством представился, осведомился о моем здоровье. Произнес несколько общих фраз о больницах, о науке, об обществе и о войне. А потом вздохнул и как бы невзначай сказал:

— Я думал, люди, имеющие политический опыт, могли бы придумать что-нибудь поумнее, чем подсылать девчонку с букетом роз. — Он помолчал и, не дождавшись ответа, продолжал гнуть свое: — Я просто усомнился в здравом смысле ваших коллег, а критиковать ваши поступки не собирался — в данный момент это не входит в мои функции. Через два часа вас увезут из этой больницы.

Сказав это, он вгляделся в мое лицо, стараясь отследить мою реакцию.

Я постарался сохранить спокойный, равнодушный вид.

— Мы, разумеется, знаем, что перевозка опасна для вашего здоровья, может быть, смертельно опасна. И мы не такие чудовища, как о нас говорят, но у нас нет выбора — совершенно очевидно, что ваши товарищи знают, где вы находитесь.

Он замолчал, снял очки, достал из кармана платок и принялся протирать стекла, как будто тактично давал собеседнику время подумать, прежде чем ответить на трудный вопрос. Я был в безвыходной ситуации. За этими коварными уловками явно угадывалось одно: к несчастью, он убежден, что девушку с розами послали, чтобы подготовить мой побег. Горький юмор заключался в том, что единственный раз за все время я пытался сказать гестаповцам правду, но точно знал, что мне не поверят. Я с досадой пожал плечами и положился на волю судьбы.

— Девушка ни в чем не виновата. Она совсем дитя, как она может быть замешана…

Офицер нетерпеливо перебил:

— Ну раз вы решили упрямиться, готовьтесь к переезду.

Конец фразы замер у меня на губах.

Глава XV
Спасение

Мне снова принесли одежду и посадили в машину. Я не имел ни малейшего представления о том, куда меня повезут, и даже не было сил строить догадки. Гестаповцы сели по обе стороны от меня, и мы поехали. Лучи заходящего солнца окрашивали в розовый цвет вершины словацких гор. Дул резкий, довольно холодный ветер. Мы проезжали какие-то населенные пункты, мелькали указатели, но мне было все равно. В голове осталась одна-единственная мысль: как бы покончить с собой, выбрать удобный момент и выброситься из машины.

Уже смеркалось, когда я стал понемногу выходить из прострации. Сердце забилось быстрее — я узнал знакомую местность, белый домик с синими ставнями. Мы пересекли границу. Мы на юге Польше. Когда-то я провел счастливое летнее время в этом домике. Город Крыницу миновали очень быстро, я даже не успел насмотреться, а меньше чем через час, прибыли в другой городок, куда я часто приезжал работать[92].

Отсюда я дважды отправлялся за границу с заданиями от Сопротивления. В этом городе у меня было много знакомых, тут жил мой связной, мои проводники. Неужели меня привезли именно сюда? На такое я не смел и надеяться! Машина сбавила ход. Мы ехали по центру, обгоняя крестьянские телеги, мотоциклистов и пешеходов. И наконец остановились на Рыночной площади перед больницей.

Повторилась та же сцена, что в Прешове: я еле-еле вползал вверх по лестнице в сопровождении двух гестаповцев. Я, конечно, преувеличивал свою слабость, но мне и в самом деле было очень худо. Бинты пропитались кровью, что придавало правдоподобия спектаклю. Конвоирам пришлось втащить меня на третий этаж, а там они грубо бросили меня на кровать.

Когда они ушли, я приподнялся на локте, чтобы посмотреть, кто еще лежит в палате. Соседей было пятеро, все старики лет семидесяти — восьмидесяти. У всех одинаковые лысые головы, клочковатые бороды и беззубые рты, и все удивленно глазели на меня. Забавное зрелище, но в тот момент мне было не до смеха. Я пытался понять, что еще затеяли немцы. «Раса господ» изобрела какую-то новую психологическую атаку? Может, меня поместили сюда, чтобы я расслабился в благожелательной обстановке и выдал себя? Или этот город выбрали специально, чтобы заманить сюда моих друзей? Но вряд ли в гестапо было известно о моих

здешних связях. Условия этой задачки безостановочно прокручивались у меня в голове, но решения я не находил.

Вдруг старческое шушуканье разом оборвалось, будто порыв ветра разметал кучу сухих листьев. Как говорил нажитый в больнице опыт, это означало, что в палате появилось гестапо. Я закрыл глаза и заметался, будто от нестерпимой боли. Двое, мужчина и женщина, переговаривались надо мной по-польски. Врач и медсестра, как я понял из их разговора. Охранник, должно быть, околачивался где-то рядом — врач довольно резко с ним заговорил:

— Насколько я знаю, ваше дело — стоять в коридоре и охранять палату? Так незачем ходить за мной по пятам.

Охранник молча вышел.

Доктор наклонился надо мной, осмотрел раны, сменил бинты. Сматывая старые, пропитанные кровью, он отрывистым тревожным шепотом спросил:

— Где вас схватили?.. Чем я могу помочь?.. Оповестить кого-нибудь, что вы здесь?..

Обстоятельства не располагали к доверчивости. Я заподозрил ловушку и ответил обиженным тоном:

— Некого мне оповещать. Меня обвиняют в том, чего я не совершал. Я просто хотел попасть в Швейцарию. Почему никто мне не верит?

— Не бойтесь, — шепнул он. — Я не провокатор. У нас весь персонал — доктора, сестры, санитарки — сплошь польский, предателей или перебежчиков среди нас нет.

Я открыл глаза и пристально посмотрел ему в глаза. Для врача он был очень молод. Симпатичный деревенский парень с бледной веснушчатой физиономией и копной светлых волос. Так хотелось поверить в его искренность и открыться ему, но подозрительность и осторожность, которые успели стать моей второй натурой, не дали воли этому порыву. Я промолчал.

Наутро в палату вошла монахиня — здесь, как и в Прешове, сестрами милосердия были монахини, скорее всего из соседнего монастыря. Слегка кивнув, она молча сунула мне в рот термометр и несколько минут с невозмутимым видом стояла и разглядывала меня. Потом вынула термометр, посмотрела. Я тоже с тревогой взглянул на ртутный столбик. Он показывал 37,8°. Монахиня взяла температурный лист, преспокойно вписала туда 39,4°, повернулась и ушла. Но очень скоро вернулась в сопровождении пожилого человека, который представился главным врачом. Он громко, строгим голосом сказал мне:

— Вот что, молодой человек. Вы серьезно больны, но можете выздороветь, если захотите. Ваше лечение — полный покой. Если

хотите жить, не вставайте и старайтесь поменьше волноваться. Если же вы не будете следовать моим рекомендациям, — он бессильно развел руками, — недостатка в больных у нас нет, найдем, кого положить на ваше место. А теперь лежите спокойно, я осмотрю вас.

Он повернулся к сестре и велел ей унести поднос с посудой и принести бинты и мазь. Выходя из палаты, она оступилась, толкнула охранника и уронила все, что было на подносе, на пол. Охранник стал помогать ей собирать осколки. А врач тем временем прошептал:

— Слушайте внимательно. Как только я выйду, начинайте стонать и звать на помощь. Кричите, что вы умираете и хотите исповедаться. Мужайтесь, мы с вами!

Вернулась сестра, врач чуть ли не прокричал ей повелительным тоном:

— Делайте ему перевязку каждые два часа и следите, чтобы не вставал. Если что, зовите меня. Я у себя в кабинете.

Сестра сменила мне бинты, а я тут же принялся метаться по кровати и, мало-помалу входя в транс, дико завывать:

— О, Иисусе, это конец, я умираю… Сестра, сестра!.. Позовите священника! Я хочу исповедаться… Прошу вас, сестра… Не дайте мне умереть без покаяния…

Монахиня бесстрастно посмотрела на меня и пошла просить разрешения у молодого гестаповского охранника. Он, надо сказать, был совсем не похож на других. В нем не чувствовалось ни капли цинизма. Лицо его было лишено всякого выражения. И вообще он был никакой: не умный и не глупый, не мягкий и не жестокий. Казалось, даже сидел навытяжку. Никогда не читал на посту. Видимо, старался быть образцовым, предельно дисциплинированным нацистом. Когда монахиня обратилась к нему, он вытянулся и высокомерно кивнул в ответ на ее просьбу.

Монахиня привела главного врача, тот поглядел на меня раздраженно, с нескрываемым презрением. Было видно, до чего я ему надоел:

— Будьте мужчиной! Если вам так хочется умереть, пожалуйста! Сестра, найдите ему коляску.

Я продолжал стонать.

— Прекратите немедленно! — заорал врач. — Сейчас сестра отвезет вас на исповедь. Вы тут не один, уважайте хоть немного других больных.

Монахиня прикатила коляску, помогла мне надеть халат и пересесть в нее. Мы выехали в коридор, позади нас вышагивал, как на параде, гестаповец. А в палате тут же снова зажужжал старческий хор, словно невидимый дирижер взмахнул палочкой.

Больничная часовня находилась на первом этаже. Я исповедался симпатичному старому ксендзу, который очень участливо ко мне отнесся. После исповеди он положил руки мне на плечи и благословил меня:

— Не бойся, сын мой. Уповай на Бога. Мы знаем, какие страдания ты принял за нашу горячо любимую Польшу. Все здесь, в больнице, готовы прийти тебе на помощь.

После исповеди я почувствовал покой и облегчение, хотя и ненадолго. Потом опять, день за днем, я должен был напрягать всю свою волю, чтобы изображать умирающего. Впрочем, тело легко вошло в эту роль. Современные психиатры считают, что между психическим и физическим состоянием человека существует тесная связь. Мой опыт подтверждает эту теорию. Я и вправду не мог есть, поднимать руки, одеваться и ходить в туалет без посторонней помощи. У меня постоянно болела голова, несмотря на то что я глотал множество седативных таблеток. Температура то подскакивала, то резко падала, но никогда не бывала нормальной.

Поэтому врачи позволили мне каждый день посещать часовню. Однажды сопровождавшая меня монахиня опустилась там на колени рядом со мной. Я долго смотрел на ее смелое, открытое лицо и наконец решился пойти на риск. Говорить с ней, когда в часовне есть кто-то еще, я не мог и попросил ее подождать, пока я кончу молиться. Она не возражала. Я слышал тихое пощелкивание четок у нее в руках. Прохлада и умиротворение часовни, знакомый пряный запах ладана, непоколебимое спокойствие монахини придали мне уверенности. Я больше не сомневался, что могу положиться на нее. Наконец все, кроме нас, ушли. Тогда я наклонился и прошептал:

— Сестра, я знаю, у вас доброе сердце. Но мне еще важно знать, остаетесь ли вы доброй полькой?

Она коротко посмотрела на меня и, не переставая перебирать четки, просто сказала:

— Я люблю Польшу.

Но я уже и без слов прочел ответ в ее глазах. И торопливо зашептал:

— Я хочу кое о чем попросить вас, но сначала должен предупредить: это может оказаться для вас опасным. Разумеется, вы вольны отказаться.

— Скажите, чем я могу быть полезна. Если смогу, я это сделаю.

— Спасибо. Я знал, что вы согласитесь. Так вот, здесь в городе живет семья таких-то. У них есть дочь Стефа. Разыщите ее и расскажите, где я и что со мной. Скажите, что вас послал

Витольд.

Витольд — мой подпольный псевдоним. Я дал ей адрес.

— Схожу прямо сегодня, — спокойно сказала сестра.

У меня словно камень с души свалился. Я сам толком не знал, чего жду от этой затеи, но теперь, по крайней мере, не чувствовал себя в полном одиночестве посреди враждебного мира. У меня появилась подруга, и я мог быть с ней откровенным. Передо мной забрезжила надежда.

На другой день я с нетерпением поджидал сестру. И встретил ее немым вопросом. Она прошептала:

— Через несколько дней к вам придет монахиня из соседнего монастыря.

— Монахиня? Зачем?

— Не знаю. Это все, что мне велели вам передать.

— Но…

— Померяйте температуру! — громко сказала она.

Два дня я провел как на раскаленных углях. Я понимал: раз друзья посылают ко мне безобидную монахиню, значит, что-то уже готовится. Долгожданная монахиня появилась на третий день после обеда, когда мои старички вразнобой сопели и храпели, согретые проникавшими в полутемную палату теплыми лучами закатного солнца. Нерешительно постояв на пороге, она на цыпочках направилась к моей кровати.

Ее бледное, с тонкими чертами лицо показалось мне смутно знакомым, но узнать ее с первого, беглого взгляда я не мог, а посмотреть повнимательнее не решался, пока она не подошла совсем близко. И тут я с испугом и волнением понял, что это сестра проводника, которого схватили вместе со мной[93].

Детским голоском, но твердо она сказала:

— Я из ближнего монастыря. Немецкие власти разрешают нам приносить еду и сигареты больным. Вам что-нибудь нужно?

Слабым, умирающим голосом я пробормотал что-то невнятное. Она разгадала мою хитрость и сказала достаточно громко, чтобы ее слова донеслись до ушей охранника:

— Простите, не слышу… — И, нагнувшись, прошептала: — Руководителям все известно, они просят подождать.

Я уже научился говорить, не разжимая губ, и, косясь на охранника, спросил:

— Что с твоим братом?

Ее глаза наполнились слезами:

— Мы ничего о нем не знаем.

Что было на это сказать? Все утешения прозвучали бы фальшиво.

— Передай им, что мне нужен яд. Я уверен, меня перевели

сюда, чтобы я выдал местное подполье. Пыток я больше не выдержу. Чем скорее принять яд, тем лучше. Для всех! — Все это я проговорил, по-прежнему следя краем глаза за охранником.

— Понимаю. Берегите себя. Я вернусь через несколько дней.

Эти дни тянулись бесконечно, мучительно долго. Где-то там, за стенами больницы, как я догадывался, строились планы моего побега, но какие? Валяться и ждать было нестерпимо.

Наконец на шестой день девушка снова пришла и принесла сигареты и фрукты. Мы прибегли к той же тактике, что и первый раз. Я притворился, что не могу говорить, девушка наклонилась ко мне.

— Они всё знают, — прошептала она. — Тебя наградили Крестом храбрых[94].

Она сделала вид, что поправляет мне подушку, и опять зашептала, не глядя на меня:

— Я положила тебе под подушку капсулу с цианистым калием. Это мгновенная смерть. Но умоляю тебя, убереги ее на самый крайний случай.

Я поблагодарил девушку взглядом.

После ее ухода я ощутил себя полным решимости и отваги. Теперь, что бы ни случилось, я вооружен. Яд был волшебным талисманом, я мог не бояться самого худшего: того, что не выдержу пыток, сломаюсь и выдам товарищей. При первой возможности я добрался до туалета и тщательно спрятал крохотную капсулу. Для этого девушка оставила мне кусочек пластыря телесного цвета, который я закрепил, как делают в таких случаях узники, в промежности.

Чувство облегчения было так велико, что я даже не очень расстроился от того, что не узнал, каким образом меня собираются вызволять. Чтобы не показаться неблагодарным и слишком требовательным, я сдержался и не стал задавать девушке вопросы, которые вертелись у меня на языке. Между тем все началось неожиданно быстро.

В тот же вечер пришел уже знакомый мне врач с конопатой физиономией, как я подумал, для обычного осмотра. Закончив, он посмотрел на меня долгим взглядом, словно оценивая мои шансы на выздоровление. И вдруг нормальным голосом, с легкой смешинкой медленно проговорил:

— Ну вот, сегодня ночью вас освободят…

Я подскочил, как ужаленный, сел и возмущенно прошипел:

— Вы сошли с ума! Не говорите так громко. Охранник услышит. Он отошел, но всего на минуту, может, пошел попить. Осторожней, бога ради!

Доктор засмеялся:

— Не беспокойся. Мы его подкупили. Пока я тут, он не вернется. Все устроено. В полночь я подойду к дверям палаты и закурю сигарету. Это сигнал. Тогда ты быстро разденешься и спустишься на площадку между вторым и первым этажом. Увидишь там на подоконнике розу. Прыгай из этого окна. Внизу будут люди. — Он сделал паузу. — Все понял?

У меня бешено билось сердце.

— Да, отлично понял, — сказал я и, сосредоточившись, повторил все инструкции.

Он улыбнулся и дружески потрепал меня по плечу:

— Главное — не волнуйся. Все рассчитано, все пройдет гладко! Удачи.

Он подмигнул мне и вышел[95].

Более трудной задачи нельзя было придумать. Какое там «не волнуйся»! Меня терзали тысячи сомнений. Я лихорадочно раздумывал, какие меры предосторожности принять, какие осложнения могут возникнуть. Не спускал глаз с вернувшегося на свой пост охранника. Может, он только притворился продажным, а на самом деле это ловушка для меня и моих товарищей? Он кажется таким твердокаменным нацистом! И только когда он повернулся ко мне лицом, я успокоился на этот счет. На губах его блуждала довольная улыбка.

Незадолго до полуночи охранник сделал вид, что крепко заснул. Уронил голову на грудь и звучно храпел. Как только пробило полночь, в дверях темной тенью показался доктор. Он вытащил из кармана сигарету, нарочито медленно закурил и ушел. Я быстро осмотрелся и прислушался. Никакой опасности — со всех сторон раздавалось мерное дыхание, кто-то ворчал во сне. Я выскользнул из постели, снял больничную пижаму, спрятал ее под одеяло. Потом отлепил и зажал в руке капсулу, готовый в случае провала проглотить ее. Нагишом на цыпочках выбежал в длинный темный коридор и тут немного растерялся: стоя между двух совершенно одинаковых лестниц, я не мог определить, с какой стороны фасад больницы, а с какой задний двор. Меня охватила тревога, но тут я почувствовал спиной струю холодного воздуха и спустился на пол-этажа. Нужное окно оставили открытым, видимо, тот, кто устраивал побег, предвидел, что я не смогу открыть его без посторонней помощи. Я подошел к окну и чуть не задохнулся от радости, увидев на полу розу — ее сдуло с подоконника. Безуспешно попытавшись что-то разглядеть в темноте, я кое-как залез на подоконник и посмотрел вниз.

— Что ты медлишь! Прыгай! — услышал я чей-то голос, глубоко вдохнул и прыгнул.

Секунда — и я очутился в крепких объятиях. Несколько пар

рук подхватили меня у самой земли. Кто-то протягивал брюки, кто-то — рубашку и куртку.

— Быстро! — командовали мне. — Одевайся. Нельзя терять ни минуты. Бежать можешь?

Я кивнул без особой уверенности. Все, включая меня, были босиком. Мы побежали по аллее к ограде. Кто мои спасители, из какой они организации — я не имел ни малейшего представления. Перед оградой мы, запыхавшись от бега, ненадолго остановились.

— Значит, так, — начал один из спасителей. — Самому тебе не перебраться. Первым полезу я. Потом вы подсадите его, а я перетащу.

Он ловко перемахнул через ограду. Мы сделали все, как он велел, и, сам не знаю как, я тоже очутился по ту сторону ограды. Мы снова побежали — на окраину города, стараясь держаться вдали от мощеных улиц. Босые ступни горели и болели, кололо в боку, я задыхался, казалось, вот-вот разорвутся легкие. В конце концов я споткнулся, полетел носом вниз и растянулся на земле, судорожно дыша.

— Погодите немножко, — сказал я. — Дайте отдышаться.

Но не успел договорить, как один из спасителей, здоровенный парень, нагнулся и взвалил меня себе на спину, как мешок с картошкой. Наверно, я сильно отощал, потому что он без малейшего усилия нес меня через лес[96].

Мы долго шли под покровом глубокой ночи. Наконец один из членов группы облегченно вздохнул и сказал тому, что нес меня:

— Здесь, я думаю, можно передохнуть.

Здоровяк положил меня на пригорок под деревом. Я прислонился к стволу, пытаясь очухаться.

— Курить хочешь?

Я отказался — от дыма я уж точно отдам концы.

— Дальше сможешь идти сам? — спросил здоровяк.

— Вряд ли. Еще далеко?

Вместо ответа он снова одним рывком закинул меня себе на спину. Мои спасители ровным быстрым шагом шли еще с четверть часа, пока не выбрались из леса на открытое пространство. Вынырнувшая из облаков луна осветила речку, я увидел слабый серебряный блеск на воде[97]. Все опять остановились, здоровяк поставил меня на землю. Его сосед вложил пальцы в рот и издал короткий пронзительный свист. Тут же из зарослей выскочили двое. Один с пистолетом, другой с немецким штыком, лезвие которого зловеще сверкало в лунном свете. Оба подошли к нам, изрыгая проклятия в адрес Гитлера и отпуская колкости по поводу «хлипких интеллигентов» — вечно с

ними приходится возиться. После короткого общего совещания те двое куда-то удалились, а мы пошли гуськом вдоль берега, вслед за здоровяком. Минут пять шли, по щиколотку в грязи, и наконец перед нами возникла темная фигура.

— Всем привет!

Я узнал Сташека Росу[98], молодого краковского социалиста. В прежние времена он слыл бесшабашным гулякой и бабником. Никогда не поверил бы, что он может иметь какое-то отношение к Сопротивлению. От изумления я потерял дар речи. А он дружески хлопнул меня по плечу:

— Что с тобой, Ян? Поздравляю, что вырвался из лап гестапо. Не очень-то приятно нежиться в таких объятиях, а?

— Спасибо, Сташек, — пролепетал я. — Куда мы теперь?

Роса вытащил из прибрежных камышей лодку, мы все залезли в нее и отплыли от берега. Нас было пятеро — по крайней мере, на два человека больше, чем обычно умещается в лодке такого размера. Здоровяк сел на весла. Меня посадили перед ним, у левого борта. Надо было как можно скорее добраться до другого берега, но течение сносило нас на середину реки. Гребец старался изо всех сил, но справиться не мог. Он ругался, а лодка все сильнее раскачивалась. Мне захотелось размять руки, и я на минуту перестал держаться, тут-то меня и швырнуло через борт. Здоровяк не растерялся: отпустив одно весло и орудуя вторым, он схватил меня освободившейся рукой за шиворот. Другие помогли ему, и меня втащили в лодку. Поистине, этот человек был наделен недюжинной силой и огромным самообладанием.

Теперь я лежал на дне, насквозь промокший и трясясь от холода. Такое перемещение тяжести — кто бы мог подумать! — сделало лодку более послушной. Преодолевая течение, мы через час достигли другого берега. Я окоченел и пытался согреться, хлопая руками по бокам и подпрыгивая то на одной, то на другой ноге. Сташек спрятал лодку в камышах. Мы снова углубились в лес. Нас здорово отнесло течением, так что Сташек не сразу сориентировался. Но все-таки разобрался, и еще часом позже мы вышли из лесу к какой-то деревне. Вдалеке виднелся сарай, к нему-то мы и направлялись. Роса внимательно огляделся, желая убедиться, что мы у цели. И вместо прощания сказал:

— Конечная остановка! Здесь мы расстанемся. Ты заходишь в сарай, с головой зарываешься в сено и спишь. Завтра утром тебя заберет и спрячет хозяин. Гестапо поищет-поищет тебя и перестанет. Тогда мы за тобой придем.

Я стал горячо благодарить своих спасителей, но Сташек с насмешливой улыбкой перебил меня:

— Не распинайся особенно. У нас было два приказа. Первый

— сделать все возможное, чтобы устроить побег и доставить тебя в безопасное убежище. А второй — ликвидировать тебя, если операция не удастся… — Он помолчал и прибавил: — А благодарить надо польских рабочих — это они тебя спасли.

— Приятных снов! — сказал здоровяк.

Остальные первый раз за все время нарушили молчание, чтобы попрощаться со мной, и вся группа ушла.

Я забрался на чердак и повалился в душистое сено. Я снова был свободным человеком.

Глава XVI
«Агроном»

На время, пока гестапо меня ищет, надо было где-то затаиться и переждать. Как и следовало ожидать, на всех железнодорожных станциях и ведущих из города[99] дорогах было установлено строгое наблюдение. Досматривали все поезда и автомобили, всех пассажиров и пешеходов. Однако никто не пострадал и никого не арестовали. Подкупленный охранник тоже бесследно испарился. Вероятно, немцы решили, что он и был единственным сообщником моего побега, поэтому поляков не особенно трясли. Позднее я пытался узнать о его дальнейшей судьбе; мне сказали только, что его «пустили по рукам», — на языке подпольщиков это означало, что такого человека заставляли принимать участие в других операциях под страхом быть выданным гестапо. В детали же меня не посвящали[100].

Я три дня просидел в сарае. Приветливый хозяин, лесник, оказался старым, закаленным в боях социалистом, который еще в 1905 году участвовал в акциях боевых групп Юзефа Пилсудского против царского режима. Он с гордостью рассказал мне, что побег был устроен ячейкой социалистической партии и оплачен из партийной кассы по распоряжению самого Цины, который также заслуживает моей благодарности. Интересно, что я был обязан своим спасением именно рабочим — людям, с которыми практически никогда не сталкивался и о которых ничего не знал, если не считать случайных встреч и того, что я читал в газетах об их борьбе за улучшение условий труда и усиление политического влияния. И вот я первый раз сблизился с ними — в деле, где ставкой была моя жизнь. Я усмехнулся, вспомнив, как когда-то мама заклинала меня сторониться актрис, азартных игр и радикалов.

Лесник оказался большим мастером по части маскировки. Благодаря ему я так вписался в окружающую обстановку, состоявшую из сена, досок и всякой крестьянской утвари, что даже его жена и дети, то и дело заглядывавшие в сарай, не догадывались о моем присутствии.

Однако затворничество действовало на меня удручающе. Несмотря на страшную усталость, спать я не мог. Есть не хотелось. А время от времени начиналась неукротимая дрожь. Хозяин заходил ко мне в обед и вечером и из вежливости делал вид, что не замечает этих признаков слабости. Он заботливо уговаривал меня поесть, перевязывал еще не зажившие раны.

На третий день, когда мне стало совсем уж невмоготу сидеть в сарае, вместе с лесником пришел связной — молодой человек, на вид типичный польский офицер. Подтянутый, молодцеватый, с налетом беспечной лихости, но также, несомненно, полный решимости и упорства.

Светским тоном, будто приглашая на званый ужин, он предложил мне перебраться на следующий день в маленькое имение в горах, где мне предстоит прожить минимум четыре месяца. И посуровевшим голосом прибавил:

— Надеюсь, вы понимаете почему. Во-первых, доктор считает, что вам необходимо основательно поправить здоровье, во-вторых, за это время гестапо окончательно потеряет ваш след. А кроме того, вы должны дать слово не вступать в связь с ячейками Сопротивления, пока не получите особого приказа. Если же вы не подчинитесь, это будет расценено как нарушение дисциплины со всеми вытекающими последствиями.

Задетый этими словами, я ответил довольно резко:

— Вы говорите так, будто меня в чем-то подозревают и я напрасно бежал. Или, по-вашему, побывав в гестапо, я стал предателем?

— Что за ерунда!

— Это не ерунда. Просто я не желаю, чтобы меня списали в тираж. И уверен, что еще могу быть полезным.

— Мы тоже в этом уверены, но от самоволия и нетерпеливости толку мало.

— Вы считаете меня нетерпеливым, потому что я вижу, что работы непочатый край и я мог бы успешно в ней участвовать?

Он сердито прищурился:

— Вот что, господин торопыга, разве вам неизвестно, что значит «запрет на контакты с верхами»? Это азы конспирации. И не вам их отменять.

В самом деле, такое правило было установлено с самого начала, чтобы помешать проникнуть в подполье провокаторам и шпионам. Поскольку отстранять всех, на кого могло пасть подозрение, было невозможно, решили принять такую компромиссную меру. Заподозренным было запрещено контактировать с начальством. Хотя продолжать работу и отдавать приказы подчиненным они могли. Разумеется, если подозрения подтверждались, предателя «ликвидировали». Потом этот порядок распространили и на тех, кто побывал под арестом. В таких случаях проявляли даже еще большую осторожность. Каждый раз, когда кого-то арестовывали, сразу менялись явки. Всем, кто был с ним связан, выдавали новые документы, а его самого некоторое время держали в изоляции. По здравом

рассуждении я не мог не признать, что это важное правило и молодой офицер имел все основания одернуть меня. Видимо, на моем лице отразилось огорчение и раскаяние, так как он вдруг заразительно засмеялся:

— Что делать, вы подхватили «подпольную инфекцию»! Побывали в гестапо, значит, стали заразным! — Он понимающе улыбнулся. — Вам помог бежать подкупленный гестаповец. А что, если с его стороны это хитрый маневр? Вы должны подвергнуться добровольному карантину. Сами понимаете, это формальность, но формальность, не терпящая исключений.

Я хотел извиниться, но офицер жестом остановил меня.

— Отправляемся завтра, — сказал он, прежде чем уйти. — Прокатитесь в свое удовольствие. А там поселитесь в чудесном имении, вдали от городов и немцев. Там очень красиво. Вы приятно проведете время.

На следующий день чуть свет к сараю подкатили задним ходом разболтанную телегу с высокими бортами. Меня посадили в бочку, которую бережно водрузили в телегу. Потом эту не слишком комфортабельную каюту завалили соломой, сеном и овощами. Я поворочался в бочке, пытаясь устроиться поудобнее, и в результате уселся, уткнувшись подбородком в колени и обхватив их руками. Телега с ужасным скрипом и треском покатилась по дороге. Эта поездка показалась мне бесконечной. От непрерывной тряски и толчков на мне очень скоро не осталось живого места. Наконец, когда я уж совсем отчаялся, телега остановилась. По моему ощущению, было около полудня.

Привезший меня мужик грузно спрыгнул с козел на землю, потом залез на телегу, разгреб кучу отборных овощей вокруг моей бочки, пнул ее ногой и хмуро гаркнул:

— Приехали! Вылезайте.

Я с трудом разогнулся и кое-как выбрался из бочки. Минуту-другую растирал и разминал затекшие руки и ноги, стоя на шаткой телеге и жмурясь от яркого солнца. После такой поездки не сразу очухаешься.

Телега стояла на лесной поляне. После сидения в узкой бочке согнутым в три погибели деревья казались мне гигантскими. Свежая зеленая травка ласкала взор. Я с наслаждением вдыхал душистый воздух. Райское блаженство! Голос моего кучера вернул меня на землю:

— Пора бы уже слезть с телеги — вон вас барышня дожидается!

— Какая барышня? — встрепенулся я.

Он указал заскорузлым корявым пальцем куда-то назад:

— Да вон, посмотрите сами.

Я обернулся. Действительно, неподалеку рядом с бричкой стояла и с откровенным любопытством разглядывала меня молодая девушка. Я неловко соскочил с телеги и, запинаясь, поблагодарил морщинистого мужика. Он расхохотался. Я же, чувствуя себя полным дураком, но все же стараясь, насколько возможно в такой ситуации, сохранять достоинство, пошел к девушке.

Она изучала меня холодным взглядом, и зрелище, надо сказать, было еще то. Штаны были мне невообразимо велики, и я бессознательно поддерживал их левой рукой. А в правой судорожно сжимал капсулу с цианистым калием. Пиджак же мне, наоборот, достался узкий и короткий, рукава еле-еле доставали до локтей. Рубашки не было вовсе, так что виднелась голая вспотевшая грудь. Казалось, что девушка вот-вот прыснет со смеху, мне даже стало обидно. Но она сдержалась и сумела сохранить невозмутимо-важный вид. Несмотря на эту важность или, наоборот, именно из-за нее она была похожа на дерзкого ребенка. Нельзя сказать, чтобы она была красивой или даже хорошенькой, но гибкий стройный стан, свежее личико, грациозные движения делали ее необыкновенно привлекательной. Я смотрел на нее с восхищением. Она наверняка почувствовала это и отвела взгляд в сторону, будто искала спрятанных среди ветвей птах, которые заливались радостным щебетом.

Это внезапное смущение позабавило меня, и я воспользовался им, чтобы изобразить поклон и выговорить по-французски:

— Мадемуазель, я сгораю от стыда.

— Я вас прощаю, месье, — ответила она в тон мне и на том же языке.

Старый крестьянин, глазевший на эту сцену, как будто она была разыграна для него, удивленно покачал головой и громко крикнул «до свидания!». Этот возглас напомнил барышне, что надо держаться чинно и серьезно.

— Я получила указания, — начала она строгим голосом, — устроить вас в нашем доме. Меня зовут Данута Сава[101], я дочь Валентины Сава. Наше поместье тут рядом. И мы надеемся, что вам у нас понравится.

— Очень любезно с вашей стороны. Меня зовут Витольд.

Я тоже говорил серьезно и напыщенно, но она расслышала веселую нотку в моем голосе и сказала:

— Какой же вы худой — прямо пугало! Немцы забирают у нас почти все продукты, но мы закормим вас клубникой, сливами и грушами.

— Благодарю.

Вдруг по лицу ее пробежала тень.

— Вот дура! Чуть не забыла рассказать вам вашу легенду.

Легенда — это вымышленные сведения о человеке, чье имя берет подпольщик. Они сообщаются каждому новому члену организации и каждому, кто почему-либо вынужден сменить одно имя на другое. В легенду входит фиктивная биография с датами и названиями мест, включены все детали, из которых складывается представление о персонаже. Ее надо выучить назубок, чтобы полностью войти в роль.

— Вы теперь мой кузен, — лукаво сказала девушка, — приехали из Кракова. Вы лентяй и шалопай, поэтому ничем путным не занимались. А тут еще и заболели, и врач предписал вам хорошенько отдохнуть и подышать горным воздухом. По профессии вы агроном. Так что будете помогать в саду и огороде. В арбайтсамт я вас уже записала.

Арбайтсамт — немецкая служба занятости, куда должен был становиться на учет каждый работающий поляк. В любой момент его могли вызвать туда, проверить карточку, в которой указывалось, где и кем он работает.

— Но я ничего не смыслю в этом деле! Самое большее — могу отличить дерево от куста. Кто мне поверит?

Она удивленно посмотрела на меня:

— Как можно быть таким далеким от природы? Хотя вы в городе, видно, все такие. Ничего, не волнуйтесь. Мы предвидели, что вы ничего не знаете. Не забудьте: вы страшный бездельник. Будете слоняться по дому, стонать и жаловаться на свои болячки, а при случае приударять за хорошенькими девушками.

— Но по мне же сразу видно, что я серьезный человек, — возразил я. — Я не смогу так притворяться.

Она перебила меня:

— Как только приедете, мы обойдем всю округу. Пусть все вас увидят: крестьяне, прислуга, ксендз. — Она внушительно посмотрела на меня и медленно, будто разговаривала с тупым школьником, спросила: — Вы все поняли?

— Надеюсь, пойму, если очень постараюсь. Но все-таки представьте себе, что меня спросят о чем-то, имеющем отношение к культурам и полевым работам. Я тут же сяду в лужу.

— Я буду вашим учителем. Каждый день перед выездом буду давать вам уроки. А если кто-нибудь задаст вам неудобный вопрос, состройте недовольную гримасу и переадресуйте любопытного ко мне. Главное — ходите все время с безразличным, скучающим видом.

— Что ж, буду вашим верным учеником, — сказал я и

щелкнул каблуками.

Бог знает сколько времени не приходилось мне шутить. Я был очень тронут и очень благодарен Дануте, интуитивно почувствовавшей, до чего я стосковался по такому шутливому разговору.

Она подбежала к бричке, достала из нее длинное светлое пальто и с улыбкой протянула мне:

— Мы не знали вашего размера. Наденьте пока вот это. А завтра подберем вам что-нибудь более подходящее.

Я удивился:

— Зачем мне пальто? Погода теплая. Мне совсем не холодно.

— Глупый! Дело не в тепле, просто надо прикрыть то, что на вас надето. Нельзя же вот так людям на глаза показываться!

С мученическим видом я напялил пальто, и мы сели в бричку. Стоило мне опуститься на удобное мягкое сиденье, как на меня навалилась усталость и слабость. Я с трудом вникал в то, что говорила Данута. А ее забавляли, но и тревожили мои тщетные попытки ответить что-нибудь интересное или остроумное.

— Лучше пока отдохните. Успеете показать свои таланты завтра. — И она подала пример, откинувшись на спинку сиденья. Но вдруг опять распрямилась и окликнула возницу: — Дай-ка мне вина!

Кучер сидел насупившись и явно не одобрял такой компании, как я. Он то и дело качал седой головой и сердито бормотал себе под нос: «Безобразие… черт знает что… видел бы покойный хозяин…»

Он неохотно протянул Дануте бутылку. Несколько глотков живительного напитка придали мне бодрости. Мгновенно исчезла сонливость, и я заметил, что мы едем густым лесом.

— Блистать необязательно, поберегите силы, — предупредила Данута.

В имении с нашим появлением поднялась шумная суета. Не успели мы под осуждающим взглядом кучера выйти из брички, как нас окружили крестьяне. Они беззастенчиво разглядывали меня и обменивались замечаниями, которых я не мог разобрать. Дануту осадила целая орава ребятишек. Все галдели, стараясь перекричать друг друга, что-то беспорядочно рассказывали. Толкались, тянули и дергали, норовя поцеловать, руку обожаемой учительницы — удивительно, как не оторвали! — каждый хотел приложиться первым. А вдобавок ко всему этому гомону кудахтали куры, визжали и лаяли собаки, протяжно мычали где-то вдали коровы.

Я с трудом пробился сквозь толпу детей. Данута стояла красная, растрепанная, облепленная горластой ребятней, но, судя

по всему, довольная такой бурной встречей. Пустив в ход ласки и посулы, ей наконец удалось освободиться. Дети разбежались, а я поднялся на просторную веранду и смог обозреть подступы к моему новому убежищу. Прямо перед крыльцом был большой ухоженный газон с кустами белых и розовых пионов посередине. Справа и слева располагались амбары, конюшня, хлев, кузница и прочее. Сам господский дом, ослепительно белый под ярким солнцем, с трех сторон был окружен буковыми аллеями, за которыми виднелись еще какие-то хозяйственные постройки. Убаюканный этим идиллическим зрелищем, я закрыл глаза и с наслаждением слушал хор деревенских звуков. Варшава, подполье, гестапо, побег — все это казалось далеким и нереальным.

Глава XVII
Усадьба, выздоровление, пропаганда

Белые стены высоких покоев родовой усадьбы[102] семейства Сава были увешаны портретами и фотографиями. Старинные картины изображали сцены на балу и на охоте, с портретов смотрели бородатые мужи в национальных костюмах и суровые матроны. А на современных снимках были запечатлены самые младшие члены славного рода. На одном из них я увидел смешную Дануту, всю в веснушках, с торжественным, соответственно случаю, видом — фотография была выпускная. Я увлекся осмотром семейной галереи, но тут получил выговор от Дануты за невежливое поведение.

— Видишь, мама, — сказала она, напирая на слово «мама», чтобы обратить мое внимание на то, что в комнате уже находится эта моя «родственница» собственной персоной, — видишь, какие дурные манеры кузен привез нам из города. Он целую вечность не видел свою тетушку, и вот она входит, а он и не думает с ней поздороваться и вместо этого рассматривает портреты, будто это такая уж невидаль.

Насмешка подействовала. Я смешался и не знал, за что извиняться в первую очередь: за нескромное любопытство или за пренебрежительное отношение к «тетушке», которую видел первый раз в жизни. Это была женщина лет шестидесяти, полная, с необыкновенно свежим, молодым лицом, красивыми светло-каштановыми волосами и карими глазами. Я пробормотал что-то маловразумительное, она ответила улыбкой.

— Он, должно быть, язык проглотил, — сказала Данута матери.

— Оставь бедного мальчика в покое, — заступилась «тетушка» и подошла ко мне.

Она снова ободряюще улыбнулась и сказала нежным мелодичным голосом:

— Не обращайте внимания на Дануту. Она любит ставить людей в неловкое положение. Не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома. Данута сказала мне, что вы теперь наш родственник, ее кузен. Я рада помочь вам, хотя, честно говоря, жизнь стала странной, слишком странной для меня. Я привыкла считать родней тех, с кем меня связывают узы крови, а не веление моей дочери. Но, видно, это устаревшие взгляды.

— Вы очень добры, — ответил я. — Надеюсь, я не буду вам в тягость.

— Ничуть. Бедный мальчик, вы такой худой и бледный. Но это дело поправимое. Сядьте, отдохните, а потом, когда перекусите и попьете холодного молока, вы нам расскажете, что нового в Кракове.

— Спасибо, — сказал я. — С удовольствием выпью холодного молока. Сегодня жарко, а я, как видите, одет не по погоде. Надеюсь, у вас тут все в порядке.

«Тетушка» помрачнела:

— Увы, нет. Немцы не ангелы, а мой любимый сын Люциан…

— Мама, не надо! — остановила ее Данута.

Первые три недели моего пребывания в этом чудесном доме я занимался почти исключительно восстановлением здоровья. Лежал, читал, прохаживался по залу со скрипучими половицами, украшенному букетами цветов, болтал со слугами или разглядывал портреты, с которыми совсем сроднился.

Всех обитателей дома, от матери Дануты до кухарок, объединяла какая-то удивительная атмосфера взаимной привязанности и доверия. Сначала я думал, что это объясняется добротой, деликатностью и покладистым характером обеих хозяек. Но потом стал все больше склоняться к тому, что причина в чем-то другом, чего я пока не понимаю. Меня стала раздражать манера домочадцев многозначительно переглядываться, когда им казалось, что я этого не вижу, или резко обрывать беседу при моем появлении. Казалось, все в доме связаны общей тайной, в которую меня, постороннего, не посвящали.

Иногда по ночам мне чудилось, что кто-то стучит в окна, выходящие в сад за домом, слышались невнятные голоса. Долгое время я принимал это за плод разгоряченного, болезненно обостренного воображения. Но однажды ночью мне не спалось, я сидел у окна своей комнаты. И вдруг увидел, что по саду гуляют двое: девушка, в которой я узнал Дануту, и молодой человек. Я не придал этому значения, но утром за завтраком шутливо сказал Дануте:

— Романтические прогулки — приятное развлечение, но не стоит гулять так поздно ночью. Вы промочите ноги, простудитесь, а насморк плохо сочетается с возвышенными чувствами.

У Дануты вытянулось лицо. Она сверкнула на меня глазами и холодно сказала:

— По какому праву ты за мной шпионишь? — И с чисто женской нелогичностью прибавила: — Впрочем, этой ночью я никуда не выходила. У тебя галлюцинации, кузен.

Это задело меня, и я возразил:

— Ты вольна делать что хочешь и гулять с кем хочешь. Но не

надо говорить, что я слепой. Я пошутил, а ты злишься…

— Прости. Мне что-то сегодня нездоровится. Но ты ошибся. Я всю ночь была дома.

Я пожал плечами и не стал спорить. Может, у Дануты завязывается роман и она не хочет, чтобы об этом знали, — что ж, ее дело.

На следующей неделе мне было не до тайн — пришло время действовать. Откладывать осмотр имения, который должен был убедить всех в округе, что я действительно агроном, не имело смысла. Нужно было следовать статьям моей легенды, чтобы как можно скорее встретиться с давешним офицером-связным и сократить срок обязательного карантина.

От одной мысли о том, что мне придется инспектировать имение, меня бросало в дрожь. В естествознании, ботанике, зоологии я полный профан. В школе я долго корпел над учебниками, чтобы хоть как-то сдавать эти предметы. Поэтому, чтобы выдать себя за агронома из Кракова, мне нужно было замаскировать свое невежество.

Мы с Данутой решили выработать план кампании. Долго совещались и наконец устроили генеральную репетицию. Данута водила меня по тем местам, куда я должен был направиться на следующий день, и подсказывала, где и какие замечания мне следовало высказывать.

— Ну, — спросила она, — потянешь теперь на агронома?

— Откровенно говоря, — неуверенно ответил я, — моя память плохо приспособлена для сельскохозяйственной премудрости. Я могу запутаться и лепить замечания некстати. Вот, например, я помню, что должен сказать про капустные посадки, но вдруг начну свою речь перед грядками помидоров?

— Хм… — растерялась Данута, — это действительно проблема. Но мы не сдадимся. Непреодолимых трудностей не бывает.

— Обожаю трудности, — подхватил я, — и предлагаю вот что.

Я вооружился карандашом, блокнотом и, не слушая насмешек и возражений Дануты, потащил ее в сад.

День был ясный и теплый, сад так и сиял под солнцем. А груши и липы, растущие вокруг дома, давали густую тень. Мы сели на скамейку под деревом. Нам было хорошо и весело.

— Прежде чем перейти к поездкам, я хотел попросить у тебя прощения за то, что наболтал тогда, за столом… Я не имел в виду…

Данута слегка смутилась и не дала мне договорить:

— Ладно, пустяки. Не будем об этом. Лучше скажи, что за

гениальный метод ты придумал?

Я встал перед ней, как профессор перед аудиторией, и начал объяснять:

— Каждый раз, когда перед нами стоит задача, которая представляется невыполнимой, нужно как следует уяснить, какими силами и средствами мы все-таки располагаем. Да, в растениях я не разбираюсь, это факт. Зато много знаю о том, как организовать разведку и не провалить дело. Поэтому предлагаю пронумеровать все замечания, которые ты мне вдолбила, и расставить номера в блокноте. Напротив каждой грядки на плане я поставлю в особой графе нужный номер и сегодня вечером заучу все замечания в указанном порядке. Как тебе моя идея?

— Гениально!

Первая поездка прошла безукоризненно. Я с важным видом расхаживал по полям, время от времени небрежно бросая: «Посевы в этом году неважные. Но расположение грядок мне нравится» — или еще что-нибудь в том же духе. Иногда снисходительно хвалил того или другого работника или крестьянских девушек, обрабатывавших грядки:

— Неплохо, неплохо! Жаль только, над вами нет мужчины-бригадира. Не хватает мужского руководства.

Сказав это, я покосился на Дануту. Она пылала негодованием! Кажется, я перестарался.

Мы вернулись домой, гордые успешным дебютом. Перед крыльцом Данута тронула меня за плечо и неожиданно серьезно сказала:

— Погоди, Витольд, я хочу с тобой поговорить. Пойдем сядем на скамейку.

Я хотел пошутить, но сдержался. Мы дошли до скамейки и сели. Данута посмотрела по сторонам, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, и только тогда заговорила:

— В ту ночь из окна ты действительно видел в саду меня, но подумал не то. Я была с одним человеком из Сопротивления, которого ты должен знать. Просто мы думали, что ты еще недостаточно окреп и не сможешь работать в полную силу. Сегодня ночью он придет опять. Точно не знаю, в котором часу, но прошу тебя, не ложись до его прихода.

Она встала, а я словно прирос к месту.

— Пошли, кузен, — засмеялась она. — Ужин остынет. Я такая голодная, что съела бы целую лошадь.

Не давая мне забросать ее вопросами, она взяла меня под руку и повлекла к дому.

Я дожидался Данутиного гостя с нетерпением и легкой тревогой. После такого долгого перерыва в работе я уже начал

чувствовать себя бесполезным и опасался, не растерял ли всех своих подпольных навыков.

Ужин прошел в напряженной тишине. Нам с Данутой на этот раз не хотелось подкалывать друг друга. После чая она сослалась на головную боль и ушла к себе. Я еще немного поболтал с «тетушкой», а потом тоже поднялся в свою комнату, сел в кресло у окна и открыл книгу. Но я так устал после утомительной прогулки по жаре и постоянного напряжения, что меня очень быстро сморил сон.

Было около полуночи, когда кто-то коснулся моего плеча, — я открыл глаза и резко обернулся. У меня за спиной стояла Данута.

— Просыпайся, Витольд! — прошептала она. — Он ждет в саду. Спускайся минут через десять.

Она улыбнулась и ушла.

Видимо, им надо было сначала поговорить без меня. Выждав десять минут, я на цыпочках спустился по лестнице и вышел в сад. В темноте ничего не было видно. Вдруг я услышал голоса: Данута разговаривала с кем-то, чей голос тоже показался мне знакомым. Это был мужчина, но я его не узнавал. Данута плакала. Жаловалась, что нет денег, что немцы забирают все, что они выращивают… А самое невыносимое то, что ей все время страшно за него. Я не верил своим ушам: она всегда казалась такой веселой, жизнерадостной, уверенной в себе. Мужчина старался ее успокоить.

Я подошел поближе и с удивлением узнал в загадочном незнакомце связного, который приходил в сарай, где я прятался после побега. Он нисколько не изменился — тот же молодой, элегантный, воспитанный офицер. Он повернулся ко мне с радушной улыбкой:

— Как дела, Витольд? Данута хорошо за тобой смотрит? Если что, разрешаю тебе всыпать ей как следует.

Я отвечал, что Данута злая, жестокая девчонка, но я стоически терплю все муки. И похвалил офицера за умение так здорово «растворяться в пейзаже» — я еле его разглядел.

«Растворяться в пейзаже» значило на языке подпольщиков сливаться с окружающей обстановкой до полной невидимости. Это считалось особым талантом.

— Благодарю за любезность, — ответил он. Похвала польстила, но и несколько смутила его. — Но я пришел обсудить твои дела, а не мои достоинства. Принеси нам молока и что-нибудь поесть, — сказал он Дануте. — Я проголодался. И кроме того, нам с Витольдом надо поговорить.

Данута молча ушла. Кто этот человек: ее муж или жених? Но

спросить я не решился.

Офицер растянулся на траве и вздохнул так, словно очень устал.

— Вот что я хочу тебе сказать, Витольд, — начал он. — Ты тут в доме все время наедине с Данутой. Сам видишь, она порядочная девушка…

— Зачем ты мне это говоришь? — Я в самом деле ничего не понимал.

— Ладно, не важно, — засмеялся он. — Просто сужу по себе и не вижу, почему ты в этом смысле должен быть не таким, как я.

Я попытался отшутиться:

— Но раз ты сам признаешься, что не пропустишь ни одной юбки, какое тебе дело до Дануты? Она, что ли, твоя жена?

— Нет, сестра.

Я онемел. Значит, это Люциан, тот самый брат, о котором Данута не разрешала матери упоминать.

Прежде чем я успел что-то ответить, пришла Данута и принесла молоко и еду.

— Что ж ты, сестренка, забыла о своих светских обязанностях, — весело обратился к ней мой чудной собеседник. — Мне пришлось самому представиться Витольду. Теперь ситуация прояснилась. — Он отхлебнул молока. — Но давайте поговорим о деле. Как твое здоровье, Витольд?

— Намного лучше. Я, безусловно, в состоянии работать и просто теряю время даром. Никакой опасности больше нет. Гестапо вроде бы давно перестало меня искать. В любом случае я так изменился внешне, что никто меня и не узнает.

Люциан посмотрел на меня и спросил со всей прямотой и искренностью, которая так располагала к нему людей:

— Что именно ты хотел бы делать?

Я подумал и ответил:

— Учитывая, с одной стороны, мое пока еще слабое здоровье, с другой — практический опыт в журналистике, думаю, я мог бы заниматься пропагандой.

Я говорил без особой убежденности, потому что мне не очень-то хотелось заниматься таким делом. Вранье, коварство, клевета мне не по вкусу, но поскольку таким способом можно нанести большой ущерб врагу, я был готов отбросить щепетильность.

Люциан словно читал мои мысли:

— Кажется, тебя не очень прельщает пропаганда? Ты получишь ответ через несколько дней.

На этом мы расстались.

Проходил день за днем, а Люциан не появлялся. Я изнывал от нетерпения, нервно расхаживал по дому. Шутки Дануты меня

только раздражали, я огрызался в ответ. Но однажды вечером, когда я, мрачный, сидел вместе с ней в гостиной, кто-то бросил камушек в стекло. Мы подбежали к окну. Данута стала ругать брата за то, что он пришел так рано, а я терпеливо ждал.

— Не беспокойся, милая. Ведь до сих пор я не попался, правда?

Она разрыдалась:

— Какой же ты упрямый и легкомысленный! Ни о нас, ни о себе самом не думаешь! Что с нами будет, если тебя схватят?

Глаза у нее стали огромными, как у испуганной лани, и она выбежала из комнаты. Люциану было не по себе.

— Ее убивает эта жизнь, — сказал он в порыве откровенности. — Она такая ранимая, а приходится все время притворяться, скрывать свои чувства. Боюсь, это подорвет ее здоровье. Заботься о ней, Витольд!

— Постараюсь, Люциан.

Он вздохнул и тряхнул головой. И тут же заговорил другим, деловым, отстраненным тоном:

— Руководство одобрило твое желание работать в секторе пропаганды. Составь список того, что тебе нужно, и как можно скорее приступай к работе. Пойдем в другую комнату. Я передам тебе инструкции.

Мы поднялись ко мне и обсудили детали моей будущей работы. Под конец он молча посмотрел на меня долгим взглядом и улыбнулся:

— Желаю удачи, Витольд. Уверен, ты сумеешь попортить немцам кровь.

Улыбка только подчеркнула, до чего он измотан.

— Постараюсь, — ответил я. — А ты смотри будь осторожен.

Вошла Данута. Глаза ее покраснели, но выражение лица было спокойным. Видно, она решила разрядить обстановку:

— Знаешь, братец, я пересчитала столовое серебро. Собственно, и считать-то уже почти нечего. — Она погрозила Люциану пальцем. — Конечно, здорово, что ты научился забираться в дом бесшумно, как вор, но не стоит настолько входить в роль. А то скоро не будет никакой разницы между тобой и немцами.

Люциан с притворным возмущением обратился ко мне:

— Видишь, Витольд, как со мной обращаются в моем собственном доме! Родная сестра напраслину возводит. Не знает, какую бы еще гадость про меня придумать. Я пошел, а не то она совсем меня опозорит. Пока!

Он чмокнул сестру в щеку, дружески хлопнул меня по плечу и ушел. Мы видели, как он добежал по саду до ограды и ловко

перемахнул через нее.

На следующий день я после долгого вынужденного безделья с величайшим рвением взялся за новую работу. Попросил Дануту раздобыть мне телефонные и коммерческие справочники, все, какие можно, газеты и другую печатную продукцию.

Данута сбилась с ног, выполняя мое поручение, а когда выдалась минутка передышки, попросила объяснений:

— Не сочти меня слишком любопытной, кузен, но раз уж я ношусь как сумасшедшая по всей округе, мне бы хотелось знать, чего ради.

— Дитя мое! — с воодушевлением ответил я. Меня распирало от радости, что я опять могу что-то делать. — Вскоре на твоих глазах родится бессмертное произведение! Сейчас я приступлю к сочинению шедевра эпистолярного жанра. Такие письма получат все подданные рейха, которые носят польские фамилии. Во всяком случае, мы постараемся, чтоб получили. Мы напомним им всем, что хоть они и числятся гражданами Германии, в их жилах по-прежнему течет польская кровь.

Данута перебила меня:

— Успокойся, Витольд! Не надо горячиться. Если ты будешь так кричать, то не понадобится отправлять никаких писем. Тебя и так услышат все жители Третьего рейха, в том числе гестапо!

До меня дошло, что я уж слишком распалился, и я понизил голос:

— Кроме того, я призову этих поляков вспомнить историю своей страны. Приведу примеры самых страшных зверств гестапо и постараюсь убедить, что, несмотря на варварские, безжалостные методы нацистов, они все равно проиграют эту войну.

— А кому и куда ты разошлешь этот шедевр?

— Мы прочешем все справочники, отберем фамилии, звучащие на польский лад, и составим свой собственный список. Потом передадим его и копии письма ячейкам Сопротивления, которые работают на территориях, присоединенных к рейху. Они размножат письмо в тысячах экземпляров и разошлют тем, кто значится в списке.

— Так просто! — с издевкой воскликнула Данута. — А как эти твои письма дойдут до адресатов? На крыльях мечты? Или с почтовыми голубями?

— Ни то, ни другое. Гораздо проще использовать те средства, которые предоставляют нам немецкие власти. Поскольку нацисты считают, что присоединенные к рейху области Польши теперь составляют неотъемлемую часть Германии, нам останется только надписать адреса на конвертах, наклеить марки и отнести письма на почту. Внутри рейха почтовой цензуры практически нет.

Несколько дней мы с Данутой трудились без передышки, пока не доделали все до конца. Люциан в свой очередной приход был очень доволен и похвалил нас. Но что-то, казалось, омрачало его радость. В конце концов я оборвал свой отчет и сказал:

— Ты еле слушаешь, Люциан. Мысли у тебя заняты чем-то другим, более важным. Скажи, если можешь, в чем дело?

— Ты знаешь Булле? — вопросом на вопрос ответил он.

— Фамилия вроде бы знакомая, но кто это такой, не знаю.

— Не знаешь, кто такой Булле? — вмешалась Данута. — Как ты мог ничего о нем не слышать! Эту тварь знает вся округа! Мерзкая свинья…

— Тише, Данута. Откуда ему знать? Ты взъелась на Витольда, как будто он отвечает за Булле.

Он повернулся ко мне — я заметил, что лицо его исказилось от отвращения.

— Булле — фольксдойче. — Он произнес это слово сквозь зубы, словно страшное грязное ругательство, и, презрительно скривившись, закурил. — Один из худших.

Термин «фольксдойче» был необходим нацистам для реализации расовой доктрины, в Польше оккупанты преследовали двоякую цель: денационализировать страну и унизить поляков. Поначалу речь шла только о польских немцах, живущих в той трети страны, которая, по словам гауляйтера Форстера[103], «испокон веков была немецкой, пока поляки не полонизировали их, действуя силой и страхом». На этой территории насаждалась исключительно немецкая культура, немецкий язык, работали исключительно немецкие школы и учреждения. Был издан указ, согласно которому тут имели право остаться только те, кто говорит по-немецки, посылает своих детей в немецкие школы и так или иначе служит *Vaterland*[104].

Большая часть проживавших в Польше до начала войны немцев поспешили обзавестись документами, доказывавшими немецкое происхождение, и получить статус рейхсдойче. Подавляющее большинство польского населения решительно отказались воспользоваться «великолепной возможностью выразить свою солидарность с рейхом». Они продолжали говорить по-польски и не спешили изучать немецкий. Нацисты, видя, что их великодушное предложение не пользуется спросом, решили сделать некоторые уступки. Каждый, у кого в роду была хоть капля немецкой крови, мог, обратившись в нацистские службы по расовым вопросам, получить такой же, как у немцев, пищевой рацион и различные привилегии, а после войны претендовать на немецкое гражданство. Но и этим соблазнительным предложением, к разочарованию оккупантов,

воспользовалась лишь жалкая горстка поляков. Они-то и назывались фольксдойче. Нацисты прилагали все усилия, чтобы увеличить их количество, даже готовы были вовсе пренебречь чистотой расы. Перспектива стать немцами и возможность уже сегодня практически даром получить немалые блага в виде особого продуктового пайка или права на получение швейных изделий была теперь доступна почти для всех. Однако изменников, прельстившихся всеми этими поблажками, пайками и сладкими речами, все равно нашлось очень мало.

Фольксдойче были окружены всеобщим презрением. Их считали или предателями, или ничтожествами. Разумеется, я разделял эти чувства. И все же отношение Люциана к этому Булле удивило меня. Реплика Дануты могла объясняться ее пылким темпераментом. Было, однако, ясно, что и Люциан так же люто его ненавидит, но не дает воли эмоциям, следуя неукоснительному правилу подпольщиков всегда держать себя в руках, — иначе им бы очень быстро пришел конец.

— Почему ты так его ненавидишь? Чем этот подонок хуже других таких же?

Люциан уже справился с собой и ответил спокойно и рассудительно:

— Одного презрения недостаточно, чтобы обезвредить фольксдойче. Да, многих остановит общественное осуждение и то, что от них отвернулись соседи. Но некоторым на это плевать. И они по-настоящему опасны. Против них нужны более энергичные меры. Булле из их числа.

Данута сжала кулаки, лицо ее перекосилось от гнева.

— Эту гадину нужно казнить, — сказала она. — Булле не просто фольксдойче. И даже не просто предатель. Он всюду шныряет, спаивает крестьян, развязывает им языки, запудривает им мозги новинками мерзкой нацистской пропаганды и склоняет их сотрудничать с немцами. Все знают, что он доносит в гестапо на наших товарищей…

Люциан оборвал сестру:

— У нас нет никаких доказательств.

— Доказательства, доказательства! — Данута воздела руки к небу. — Какие тебе нужны доказательства? Хочешь, чтоб он собственной рукой написал и вручил тебе свое признание? Не будь наивным, братец!

— Нам нужны доказательства. Мы не имеем права действовать как нацисты и казнить людей, чья вина не доказана. Рано или поздно Булле себя выдаст. Когда это произойдет, мы им и займемся.

Дануту такой ответ не устраивал, но брат не дал ей

возразить, сменив тему разговора:

— Так вот, Витольд, идея с письмом была отличная, и ты блестяще ее осуществил, а что дальше? У тебя есть еще какой-нибудь план?

— Есть. Это, конечно, совпадение, но я тоже размышлял о фольксдойче. Я бы хотел кое-что предпринять и позаботиться о том, чтобы они получили по заслугам.

У Дануты глаза заблестели от радости.

— Вот уж тут я помогу тебе с величайшим удовольствием! Но что именно ты собираешься делать?

За меня ответил Люциан:

— Думаю, Витольд хочет использовать метод записи в добровольцы. Я угадал?

— Угадал. Этот метод был успешно применен в Германии и кое-где в Польше. Можно попробовать и здесь сделать то же самое.

И снова закипела работа. Данута усердно мне помогала. Ей было поручено собрать и сверить списки фольксдойче, я же пустил в ход все свои литературные способности и выступил в новом жанре.

На этот раз я писал не воззвания к польскому народу, призывающие к сопротивлению, а письма нацистским властям, в которых выражалось горячее желание сотрудничать с ними. Каждое письмо было подписано именем какого-нибудь фольксдойче. Чтобы хитрость не раскрылась, послания должны были отличаться друг от друга. Вариантов было много, но центральный тезис один, подходящий для всех нацистских неофитов:

> Фюрер пробудил во мне сознание причастности к германскому народу, поэтому обращаюсь к Вам со следующим прошением. В настоящее время я служу великому рейху в качестве земледельца (торговца, полицейского и т. д.). Но не могу больше оставаться пассивным свидетелем того, как мои героические немецкие братья приносят себя в жертву. Я хочу лично участвовать в действиях славной немецкой армии и настоящим письмом изъявляю просьбу удостоить меня чести быть зачисленным в ряды вермахта. Для меня будет огромным счастьем служить в Вашей армии. Надеюсь, мои патриотические чувства будут в ближайшее время вознаграждены приемом в воинскую часть и отправкой на фронт…

Это и был метод «записи в добровольцы». Такие прошения

отправлялись в оккупационные органы власти от имени фольксдойче. Для вящего правдоподобия мы старались не повторяться. Письма различались по стилю, деталям, адресам получателей, но суть была одна: новообращенный нацист приносил самого себя в дар своим «господам».

Когда Данута, с такой радостью одобрившая мою затею, прочитала первое письмо, восторга у нее сразу поубавилось. Потрясенная до глубины души, она смотрела на меня с необычной серьезностью. Я понимал: при всей своей ненависти к гнусным предателям из числа фольксдойче, при всем презрении к их подлости, она считала, что проделывать с ними такой трюк слишком жестоко.

— Я знаю, что творится у тебя в душе, Данута, — сказал я ей. — Ты думаешь, что мы не должны опускаться до таких методов. Но надо исходить из реального положения вещей и учитывать, сколько вреда могут принести нам эти люди. Только с помощью подобных приемов мы можем расстроить планы нацистов. Иначе у нас ни малейших шансов победить… Кроме того, это приказ.

Данута успокоилась и насмешливо перебила меня:

— Когда ты только приехал, Витольд, то из тебя за день двух слов было не вытащить. Всего месяц на свежем воздухе — и пожалуйста, такое красноречие! А через два, глядишь, будешь произносить длинные речи не хуже самих нацистов.

Вызвавшись заняться пропагандистской работой, я не ожидал, что она примет такой размах. Я еще не совсем поправился, а несложные проекты, за которые я взялся, разрослись до такой степени, что требовали немалых сил. Изначально мы хотели только оздоровить обстановку в стране: поддержать моральный дух польского населения и наказать предателей и трусов.

Но каждая идея порождала другие, которыми нельзя было пренебречь без ущерба для общего дела. Таким образом, с согласия и при помощи руководства Сопротивления, я с головой погрузился сначала в сочинение бесчисленных писем и памфлетов, а потом и в издание газет и прочей периодики. На мне лежала ответственность за составление пропагандистских текстов самого разного характера. Это был опыт нелегкой, но увлекательной политической и литературной работы. Приходилось тщательно подбирать каждое слово — ведь документы должны были выглядеть так, будто они исходят от всевозможных тайных немецких организаций: либеральных, социалистических, католических, коммунистических и даже нацистских. Таков был главный технический принцип нашей агитации: все наши памфлеты, прокламации и даже

агитационные листки распространялись от имени какого-либо фиктивного сообщества, защищавшего то католическую этику, то традиции немецкого парламентаризма, то международную солидарность трудящихся, то личную свободу. И каждый текст выдерживался в стиле и духе соответствующих учений и вождей. Очень скоро я стал выдыхаться, как перегруженный множеством ролей актер. К тому же я чувствовал себя как на углях — малейший промах мог загубить все дело.

Эта пропагандистская система, имитирующая немцев, оказалась весьма успешной. Совсем осмелев, мы стали замахиваться на все более и более масштабные проекты. Дошло до того, что две издаваемые Сопротивлением газеты проникали в немецкую армейскую среду не только на территории Польши, но и собственно в Германии, в самом сердце Третьего рейха. Одна из них якобы была органом немецких социал-демократов, другая представляла ярых националистов[105].

Я склонен думать, что широко разошедшиеся слухи о том, будто в Германии существует сильное оппозиционное движение, были не чем иным, как результатом нашей работы. За время войны я много раз бывал в Германии, успел довольно обстоятельно изучить тамошнюю обстановку и ни разу не заметил ни следа хоть сколько-нибудь влиятельного движения, враждебного нацистскому режиму. Допускаю, что нацисты сумели упрятать в лагеря все немецкое Сопротивление, но в таком случае это не делает чести немецким подпольщикам.

Помимо этой лихорадочной деятельности я должен был время от времени объезжать поместье, а перед этим для распознавания овощей каждый раз приходилось зазубривать их цифровые обозначения по изобретенной мною системе. Но труды и старания, которые нужно было приложить, чтобы выполнять эти агрономические турне, понемногу окупались: во-первых, я пополнял свой скудный багаж сельскохозяйственных знаний, во-вторых, завоевывал доверие и расположение местных жителей. Даже ледяное отчуждение старого кучера и то стало подтаивать.

И все же, хоть я уже не так боялся оплошать, как поначалу, эти поездки увеличивали мою и без того чрезмерную нагрузку. Силы, накопленные за три недели отдыха, быстро истощились. Я стал мрачным и раздражительным. Данута не раз настаивала, чтобы я сбавил темп и несколько дней передохнул. Кухарка укоризненно смотрела на меня и ругала за то, что я плохо выгляжу, как будто я был поросенком, которого она никак не может откормить. Она неустанно пичкала меня всякими вкусными вещами и поила отварами для возбуждения аппетита. И я наконец уступил этому двойному давлению, тем более что и

сам понимал: еще немного — и я могу сорваться. Я обещал несколько дней ничего не делать, гулять и есть все, что подадут.

После этого я старался раз в неделю устраивать себе выходной. Но так втянулся в работу, что с трудом выдерживал сутки праздности. Пришлось приучаться к строгому систематическому отдыху, заставлять себя лежать, читать, болтать, в то время как голова была занята совсем другим. Однажды, сидя у выходящего в сад окна и лениво листая книгу, я услышал знакомый легкий стук в стекло, означающий, что пришел Люциан. Я обрадовался возможности прервать томительное безделье и побежал встречать его. К моему изумлению, Люциан привел с собой какого-то незнакомого человека.

Он был молод, невысок ростом, но крепкого сложения. Загорелое лицо могло показаться совсем юным, если бы не глубокие складки, которые обычно появляются в зрелые годы. Одет он был как обычный сельский житель, выглядел по-крестьянски грубоватым, но совсем не простачком.

Я сразу понял, что это подпольщик — помимо того, как и с кем он явился, об этом говорил отработанный острый взгляд, которым он окинул комнату. Держался он уверенно, на меня взирал совершенно бесстрастно. Я вопросительно посмотрел на Люциана. В его спутнике было что-то особенное, странное. Они с Люцианом совсем не подходили друг другу. Лицо незнакомца напоминало каменную маску. В нем читалась решительность и даже жестокость.

Глава XVIII
Приговор

Мы все трое стояли, безмолвно вглядывались друг в друга. Я считал, что сломать лед должен Люциан, и решил: если он, вопреки элементарной вежливости, будет молчать, то и я не раскрою рта. Однако тишина становилась все более гнетущей, и я уже хотел сказать Люциану какую-нибудь колкость, как вдруг, к моему удивлению и возмущению, он потянул своего молодого товарища за рукав и отошел с ним в угол. Они пошептались и снова подошли ко мне. Меня такое поведение здорово разозлило, и я резко сказал:

— Если я вам мешаю, Люциан, я могу уйти.

Люциан посмотрел на меня с неподдельным изумлением.

— Мы не хотели показаться грубыми, Витольд, — ответил он извиняющимся тоном. — У нас очень срочное дело, и мы забыли о правилах приличия. Познакомься, это Костшева.

Костшева по-детски открыто улыбнулся и снова уставился на меня своими широко раскрытыми глазами. Он, не таясь, оценивающе ко мне присматривался.

— Я видел вас в деревне, — непринужденно сказал он наконец. — Рад познакомиться.

Этот человек мне понравился, но раскусить его было трудно. На вид простодушный и бесхитростный, однако явно отважный и себе на уме. Такого не проведешь, подумал я, и этим мои наблюдения исчерпывались. Люциан небрежно спросил, не могу ли я оказать ему одну услугу.

— Разумеется, — ответил я. — А что надо делать?

— Да ничего особенного. У нас тут есть небольшое дельце, которое мы собираемся через денек-другой уладить, и нужно, чтобы кто-нибудь посторожил.

Такой скупой ответ меня задел. Мне казалось, что я мог бы рассчитывать на большую откровенность.

— И больше ты ничего не прибавишь?

— Мне нечего прибавить. Все, что от тебя потребуется, — это спрятаться за деревом, а если кто-нибудь появится, просвистеть условный мотив. Ты согласен?

— Само собой. И когда это будет?

— Через день или два. Мы дадим тебе знать, — сказал Люциан, а потом быстро подошел к окну и вылез в сад. Костшева последовал за ним.

Я смотрел им в спину, злясь на них обоих и на самого себя.

Сколько я ни ломал голову, но угадать, что за дело нам предстояло, был не в состоянии.

Спустя два дня Люциан пришел один. Я понял, что готовится что-то очень важное. Не то чтобы Люциан волновался, — нет, он достаточно владел собой, но я повидал много людей в подобные решительные моменты, так что его напускное спокойствие не могло меня обмануть.

Я смотрел на его блуждающую улыбку и чувствовал, что у меня колотится сердце и руки становятся горячими и влажными.

— Итак, это будет сегодня?

— Да, — негромко ответил он. — Надень резиновые сапоги. Трава мокрая.

Я пошел в свою комнату, но он остановил меня и оглядел с ног до головы:

— Переоденься во что-нибудь темное. Ты должен быть незаметным.

— Ладно. Сейчас.

Люциан уселся в кресло, которое бессознательно выбирал всегда, когда нервничал. Я глянул на него: он насупился, на скулах заходили желваки, зажженная сигарета застыла в руке. Я пошел наверх, быстро надел темные брюки, свитер, куртку и вернулся в гостиную.

Люциан раскачивался в кресле.

— Вот это лучше, — сказал он. — Ты готов?

Ответить я не успел — Люциан ринулся к черному ходу. Я — за ним. На тропинке за домом он остановился и положил руку мне на плечо. Долго всматривался в темноту и, уверившись, что за нами никто не следит, рванул вперед. Было холодно и сыро. Я поднял воротник куртки и бесшумно пошел рядом с Люцианом. Мы держались края тропинки, стараясь оставаться под кронами деревьев. Пройдя с километр, Люциан сошел с тропинки и свернул в лес. Потом мы вышли на луг с густой мокрой травой и быстро зашагали, описывая широкую дугу. Я понял, что мы обходим деревню, чтобы зайти в лес с другой стороны. Километра три шли полями позади дворов и действительно снова очутились в лесу. Люциан ни разу не сбился в потемках с пути и уверенно шел первым. Я еле поспевал за ним, ковыляя по узкой тропе, которую он прокладывал меж деревьев, кустов и корней. Еще один мучительный километр, и Люциан остановился.

Тут росли густые кусты, видимо облюбованные заранее, Люциан бросился на землю за ними. Место было выбрано превосходно. Отсюда хорошо просматривалась дорога, а нас с дороги было не видно. Сзади тоже никто не мог подойти — мы бы услышали шаги. В случае внезапной тревоги мы могли легко

ретироваться и затеряться среди деревьев. Все эти тщательно продуманные предосторожности еще больше убеждали меня, что речь идет о чем-то очень важном.

Я сидел на траве, а Люциан стал ходить взад-вперед, бдительно глядя на дорогу. Я устал и продрог. Таинственный вид Люциана и полное невнимание ко мне выводили меня из терпения. Я крепился сколько мог, и все же меня прорвало.

— Послушай, Люциан, — выпалил я, — какого черта ты темнишь? Тащишь меня невесть куда — ладно, я не против, но хотелось бы хоть примерно знать, чего ради! Сколько мне еще тут торчать? Плевать, можешь не говорить, что будет, скажи когда!

Он ошарашенно посмотрел на меня:

— Что с тобой? Тебе нехорошо?

— Нехорошо? Нет, просто объясни, если не трудно, зачем мы сюда пришли.

— Да я уж объяснял. Пустячное дело, не о чем и говорить.

— Нет уж, все-таки скажи!

— Ну хорошо, скажу, только потом, не сейчас.

Он продолжил наблюдение. А я мрачно нахохлился. Я чувствовал себя осмеянным, униженным, но ничего не мог поделать. Когда Люциан сел отдохнуть со мною рядом, я снова пристал к нему с вопросами:

— Ты так и не скажешь, что происходит? Но почему? Ты мне не доверяешь?

Он поморщился и досадливо тряхнул головой:

— Вот именно. Мы тебе не доверяем…

Я возмущенно вскочил:

— Что?!

— Сядь. Дай мне договорить. Ты не так понял. Мы знаем, что ты предан делу и достоин доверия. Но у тебя слишком доброе сердце. Рисковать же мы не можем. А теперь успокойся. Тихо! Это приказ!

Я обуздал свое самолюбие и хмуро повиновался. Потянулись тягостные минуты. У меня затекли ноги, я хотел встать и размять их, но Люциан властным жестом остановил меня. По дороге кто-то шел. Тишину разрывал грохот подкованных ботинок по камням — казалось, шумели нарочно. Вдруг я с изумлением услышал, что идущий засвистел наш условный мотив. Я вопросительно покосился на Люциана, но он оставался непроницаемым.

И вот наконец этот человек очутился в поле нашего зрения. В свете луны, еще и ослабленном облаками, мне показалось, что он похож на Костшеву, но полной уверенности не было.

Поравнявшись с кустами, он, не замедляя шага, бросил взгляд в нашу сторону. Я не спускал глаз с Люциана, пытаясь

разгадать смысл происходящего. Он же со странной усмешкой на губах смотрел теперь не на человека на дороге, а в ту сторону, откуда тот пришел. Я посмотрел туда же и вскоре разглядел в темноте на обочине другого человека, перебегавшего от дерева к дереву, явно преследуя Костшеву, если это был он.

Люциан тяжело и часто задышал. У меня бешено забилось сердце. Преследователь вышел на середину дороги как раз напротив того места, где мы прятались. Люциан медленно, осторожно встал, поманил меня рукой, и мы оба, пригибаясь, двинулись вдоль дороги параллельно тому человеку, пропустив его метров на двадцать вперед. На минуту мы замедлили шаг, и я потерял преследователя Костшевы из виду. Но вдруг в кустах послышался шум борьбы: шуршали листья, трещали ветки. Люциан застыл и в крайнем возбуждении вцепился мне в плечо.

— Оставайся здесь, — чуть слышно шепнул он. — Если кто-нибудь появится, просвисти нашу мелодию и быстро прячься.

Он ринулся на дорогу и исчез. Я еле удержался, чтобы не побежать за ним, но у меня была другая задача, и, как это было ни прискорбно, я остался на месте. С четверть часа я озирал дорогу и окрестности, ловил каждый звук, а в голове теснились горькие мысли — было обидно за себя и тревожно за товарищей. Наконец я увидел медленно приближающуюся фигуру — это был Люциан. Лицо его было очень бледным. А когда он подошел, я увидел капли пота у него на лбу. Вид его так меня обеспокоил, что я предложил ему переночевать в усадьбе. Опасность минимальная, уже поздно. Но он огрызнулся:

— Нет уж, я не такой дурак. — Потом, смягчившись, прибавил: — Прости, Витольд. Не обижайся. Я все объясню тебе дома, через пару дней.

Люциан, шатаясь от усталости, побрел через поля, а я пошел по тропинке обратно, тоже совершенно обессиленный и мечтая поскорее лечь. Вот и дом, и дверь моей комнаты. Я открыл ее и отпрянул — там горел свет! Оказалось, это Данута. Она меня дожидалась. Ни удивляться, ни сердиться у меня уже не было сил. Данута тревожно спросила:

— Что-нибудь случилось?

— А разве что-то должно было случиться? — язвительно ответил я.

Данута умирала от беспокойства, но утешать ее я не мог.

— Ты уверен, что тебе нечего сказать? — В голосе ее звучала мольба.

— Совершенно.

— Ну пожалуйста, мне надо знать!

— О чем ты?

— О том, что произошло этой ночью, конечно!

— По-моему, скорее ты мне можешь это рассказать. Уж верно, ты знаешь больше, чем я.

— Ничего я толком не знаю. Знала бы — не стала бы тебя спрашивать.

— Я слишком устал, чтобы разгадывать загадки, — сухо сказал я и шагнул к кровати.

Данута укоризненно посмотрела на меня и вышла.

Меня уколол стыд, но я уже валился с ног. Не раздеваясь, улегся и мгновенно заснул.

На другой день проснулся поздно. Никого не хотелось видеть. От вчерашней ночи в душе был тяжелый осадок из стыда, страха, досады и унижения. Я оседлал лошадь и скакал верхом до самого обеда.

За столом все чувствовали какую-то неловкость. Мы с Данутой старались не смотреть друг на друга. Я ел без аппетита, лишь бы поскорее закончить и уйти к себе. Но вдруг в столовую вбежала кухарка и, захлебываясь от волнения, закричала:

— Слыхали, слыхали? Этот сукин сын, Булле, ночью наложил на себя руки!

Я подошел к ней и взял за плечи:

— Успокойся! Сядь и расскажи без спешки, что случилось.

Она принялась рассказывать, то и дело прерываясь, как школьница у доски, старательно припоминающая урок:

— Он повесился на дереве… лесник его нашел, когда пошел в лес за дровами… он оставил записку… написал, что больше не может подло шпионить и доносить, раскаивается во всем, что сделал… ругает немцев… и просит прощения у односельчан.

Я слушал, потрясенный до глубины души. Не было никакого сомнения, что это известие напрямую связано с событиями прошлой ночи. Я посмотрел на Дануту в надежде что-нибудь понять по ее лицу. Но если она что-то и знала, то виду не подала.

— Очень рада, что он повесился, — сказала она ровно и холодно. — Это послужит уроком для других фольксдойче.

Естественно, в деревне только об этом и говорили, обсуждали на все лады, удивлялись: «Надо же, совесть замучила!» И это очень хорошо: кто-кто, а уж Булле, нацистский холуй, все знал про немцев, и раз он испугался, значит, скоро им конец!

Немецкие власти пребывали в растерянности. Я слышал, как один полицейский говорил кучке недоверчиво слушавших крестьян:

— Да он всегда был ненормальным, этот Булле. Мы как раз собирались посадить его в дурдом.

Прошло несколько дней, а я так и не знал всей правды. Мы

оба, Данута и я, чувствовали себя довольно скованно. Я не знал, насколько она посвящена в дела брата. А мысль о том, что ей известно больше, чем мне, казалась унизительной. Я надеялся, что она что-нибудь расскажет или хотя бы подтвердит, что и сама ничего не знает. Но она молчала, и я злился. Наконец явился Люциан. Он был веселый, спросил у нас, какой ожидается урожай, мельком упомянул про Булле и про настроения в деревне. Я терпеливо дождался, пока выйдет Данута, и накинулся на него с теми же вопросами, которые задавал себе всю неделю. Что все это значит? Почему убили Булле? Кто убил? Почему мне ничего не говорили?

Люциан попробовал отшутиться и невинным тоном спросил:

— Убили? А я думал, он сам…

Это меня взбесило — тем более что я с досады выпил лишнего.

— Хватит паясничать! Я хочу знать правду!

— Ладно-ладно. Только не кричи. Скоро все узнаешь. Данута тебе скажет.

— Данута? Она-то тут при чем? Что она может сказать?

— При чем тут она? Да ведь Данута все и устроила.

Я не поверил своим ушам. Чтобы Данута была причастна к этому страшному делу? Люциан насмешливо смотрел на меня:

— Что, не можешь поверить? Вот потому-то мы и не стали посвящать тебя в подробности. Ты слишком хрупкий, слишком утонченный для такой работы, Витольд.

— Нет, я не верю! — в ярости крикнул я и, побежав к двери, позвал: — Данута, Данута, иди сюда сейчас же!

Вошла Данута, миниатюрная, изящная.

— Данута, твой брат говорит, что казнь Булле устроила ты. Это правда?

— Да, конечно.

Тут-то она и рассказала все с самого начала. Она пришла к этой мысли еще в ту ночь, когда мы впервые заговорили о фольксдойче. Влияние Булле на других крестьян все росло, и этому надо было положить конец. Она долго думала, как бы это сделать, и вот представился удобный случай. Булле проговорился кому-то в усадьбе, что он выслеживает Костшеву и скоро его поймает.

Это было то, что надо: Костшева послужит приманкой, и Булле получит заслуженную кару. Данута раздобыла образец почерка Булле и написала поддельную предсмертную записку. А Люциан, получив доказательство преступных намерений Булле, согласился с этим планом.

Все прошло без сучка без задоринки. Я тоже сыграл свою роль

— «очень важную роль», подчеркнула она.

— И нечего стыдиться, что ты лично не помогал вешать предателя. Это работа для деревенского парня с железными мускулами и крепким желудком!

Я потряс головой, чтобы в мозгах все окончательно прояснилось:

— Самое непостижимое — это то, что Люциан всего лишь месяц назад просил меня заботиться о тебе. Потому что ты такая слабая и одинокая…

— Витольд! — с жаром сказала Данута. — Люциан прав. Вот кончится война, мы выйдем из этого ада, вздохнем свободно и снова заживем как нормальные люди. Тогда я опять стану слабой девушкой.

Она смотрела на меня с упреком. Лицо ее было печально, губы дрожали, в глазах стояли слезы. Она повернулась и выбежала из комнаты.

Люциан покачал головой и проворчал:

— В женщинах ты разбираешься, как я в китайцах.

История с Булле имела трагическое продолжение. У Люциана была одна слабость, сама по себе вполне простительная, но именно она довела его до беды. Он был большой любитель женщин. Мы знали, что частенько по вечерам он гуляет с подружками. Он, в общем-то, и сам понимал, что время для интрижек сейчас не очень подходящее, но когда мы с Данутой предостерегали его, с невинным видом отвечал:

— Что я могу поделать! Просто мне везет в любви.

Увы, везение сопутствовало ему не во всем. Однажды, когда он провожал подружку в соседнюю деревню, его окликнул офицер гестапо, проезжавший мимо в автомобиле. Первым порывом Люциана было пуститься бежать, но он удержался, с опаской подошел к автомобилю и облегченно вздохнул: офицер просто попросил его помочь сменить колесо. Люциан согласился и уже приготовился взяться за дело, как вдруг офицер велел ему сесть в машину. Как знать, чем объяснялось это приказание. Может, что-то в Люциане показалось офицеру подозрительным или он хотел иметь парня под рукой, чтобы, например, нести его чемоданы. Так или иначе, Люциану не захотелось попасть в логово гестапо. Он сделал вид, что открывает дверцу, а сам отпрыгнул в сторону, нырнул в кусты — и был таков.

Все это нам рассказала девушка, которую он провожал. Данута слушала, вся сжавшись, чтобы сохранить видимость спокойствия. Мы наскоро обсудили положение, я посоветовал Дануте просмотреть все в доме, уничтожить компрометирующие документы, а потом собрать вещи и уехать в Краков. Она

колебалась. Но я настоял на немедленном отъезде:

— От того, что мы останемся, лучше никому не будет, а вот хуже вполне может стать. Если Люциану удалось улизнуть, он присоединится к нам в Кракове. А вашу мать гестапо скорее всего не тронет. Сочтут, что она ни при чем.

Данута тихо заплакала и согласилась. Мы быстро собрались. Вся прислуга вышла на веранду проститься с нами. Мы сели в ту самую бричку, которая несколько месяцев назад привезла меня в это восхитительное место.

Невзлюбивший меня старый кучер уже взялся за вожжи, и тут нам принесли страшное известие. Из деревни примчался на велосипеде парнишка и сообщил, что Люциана поймали в лесу. Я обнял Дануту за плечи. Она дрожала и плакала навзрыд.

— Трогай! Трогай! — крикнул я кучеру.

Но Данута отстранилась от меня. Она уже овладела собой и спокойно сказала:

— Постой, Витольд. Эта новость все меняет. Я должна остаться, что бы ни случилось дальше. Кто-то должен заниматься домом.

Я возражал, но она ласково погладила меня по плечу:

— Не усложняй ситуацию, Витольд. Ты должен ехать. Для тебя найдется работа и в другом месте, а я здесь родилась и выросла. Нигде, кроме этой деревни, от меня не будет толку. Прошу тебя, езжай скорее. Прощай и не забывай нас.

Я уехал в полном отчаянии.

Больше никогда и никого из семейства Сава я не видел. Несколько месяцев спустя в Кракове узнал, что немцы всех их арестовали, пытали и убили[106].

Глава XIX
Подпольное государство (2). Устройство

В Кракове я работал около полугода — с февраля по сентябрь сорок первого. И эта работа была совсем не похожа на то, чем я занимался прежде. Свое новое задание я получил потому, что знал несколько языков, разбирался в международных отношениях и отличался хорошей памятью. Я должен был прослушивать по радио все выпуски новостей и составлять сводки для руководителей краковского Сопротивления. Причем ловить не передачи на польском из Лондона или агитационные передачи *BBC,* а станции нейтральных стран — таких как Турция, СССР (до его вступления в войну), Швеция, по возможности США. Руководство хотело иметь исчерпывающие сведения о военной и дипломатической обстановке. А для этого чересчур тенденциозную информацию радио союзников на английском, польском и французском нужно было дополнять хроникой и комментариями из нейтральных источников. Если мои сводки были удручающими и не вселяли надежд, их читали только наши лидеры, но чаще всего их использовала краковская подпольная пресса[107].

Это было время самой интенсивной работы, но и самых многочисленных арестов. Еще при возникновении подполья в самом начале войны были допущены серьезные ошибки, которые имели трагические последствия. Большинство организаторов рассчитывали на то, что война будет короткой. С этим ложным посылом и были связаны все беды.

Главная цель подпольного движения, предполагающего недолгий срок деятельности, — сеять хаос и панику в рядах противника. Для этого требуется проводить как можно больше акций в разных точках одновременно. Секретность и конспирация в этих условиях — задачи временные, а потому второстепенные. И об успехе судят по тому, какой вред удалось причинить врагам, а не по тому, насколько хорошо организована сама подпольная система.

Недооценка фактора времени может обернуться катастрофой. Первые участники польского Сопротивления как раз и пострадали в результате такого заблуждения. С конца 1939 года в Польше действовало очень много военных и политических подпольных организаций, объединявших людей из всех слоев общества. И каждая старалась по возможности расширить поле своей деятельности. Если бы война закончилась в сороковом, как мы

тогда надеялись, все их можно было бы бросить в бой в решительный момент, и это была бы немалая сила. Но летом сорокового нас потрясло известие о поражении Франции, и мы поняли, что победы союзников, если она вообще будет, придется дожидаться еще долго. Однако остановить спонтанно разрастающееся подпольное движение было уже невозможно. Началась волна арестов, лишившая нас многих замечательных лидеров. Именно тогда один за другим были расстреляны или отправлены в концлагеря Ратай, Рыбарский, Недзялковский, Домбский и другие. Первыми жертвами стали так называемые «автономные центры», то есть изолированные группы, не примкнувшие к большим организациям. Они могли эффективно работать недолгое время, но война затянулась, а в этих условиях они были обречены на гибель. Гестапо очень быстро расправилось с ними. Вторая половина сорокового и первая половина сорок первого — время страшных потерь, поляки заплатили своей кровью за политические иллюзии, связанные с надеждами на Францию и Великобританию.

Жестокий урок был усвоен. Мы поняли: чтобы продолжать крупномасштабные действия, необходимо полностью изменить систему. Успех и само существование подполья зависели от того, сможем ли мы объединить разрозненные отряды в мощную централизованную организацию. Только такая организация могла распределять финансовые ресурсы и изготавливать несметное количество необходимых для подпольной работы документов. Таких, как удостоверения личности *(Kennkarten)*, подлинные справки из немецких служб трудоустройства *(Arbeitsamt)* и множество других бумаг на разные случаи (например, разрешения на поездки из одной области в другую). Военные отряды нуждались во взрывчатке и современном оружии, которое малыми силами, как ни старайся, раздобыть невозможно. Политическим и пропагандистским органам требовались типографии, огромные запасы бумаги и масса работников разных профилей: журналистов, полиграфистов, распространителей. По мере усложнения структуры понадобились люди, которые поддерживали бы связь между разными ее ветвями. А связным нужны были явки, убежища, тайники, склады, помещения для хранения архивов и для встреч. Только большая организация могла обеспечить разделение труда, служащее и всеобщей безопасности, и эффективной работе такого сложного механизма. По мере того как центральная организация консолидировалась, вбирая в себя ближайшие разрозненные группы, те группы, что действовали на периферии, подвергались все большему риску. Они стали чем-то вроде живого щита между гестапо и основным

ядром Сопротивления. Как только гестапо нападало на след подполья, оно неминуемо раскрывало эти группы. Удар обрушивался на них, а дальнейшее расследование прекращалось. Так предместья осажденного города принимают на себя вражеские снаряды, не долетающие до центра.

Для гестапо такое положение дел стало неразрешимой загадкой, да и нас самих оно порой озадачивало. Нередко полиция ограничивалось всего одним днем повальных арестов, считая, что и вся организация теперь разбита, уничтожена или обезврежена. А иногда бил тревогу кто-нибудь из арестованных — передавал на волю через специально созданную для таких случаев цепочку, что гестаповцы нашли тайники и теперь им известны имена главных руководителей.

Арестованного допрашивали, требуя сведения о двух-трех лицах, имевших, как он полагал, большой вес в организации, на деле же возглавлявших полусамостоятельный отряд, по заданию которого он работал. Гестапо, таким образом, думало, что поразило цель, а оказывалось в тупике.

Система организованного Сопротивления как продолжения польского государства под управлением правительства в изгнании, состояла из пяти основных структур.

1. Административная структура состояла из главного и областных представителей (делегатов) правительства. Они руководили отделениями (департаментами), соответствующими министерствам лондонского правительства: департамент внутренних дел, финансов, образования и т. д. Задача этого аппарата состояла в том, чтобы осуществлять тайное, подпольное, независимое от оккупантов, управление страной. Так воплощался в жизнь общий принцип неподчинения оккупационным властям. Поляки отказывались признавать правомочность немецкого Генерал-губернаторства, специальный декрет объявлял не имеющими силы все законы и распоряжения, исходящие от немцев[108]. Во избежание хаоса властные полномочия на всей территории страны передавались подпольной Делегатуре.

И очень скоро эта подпольная администрация стала куда более авторитетной в глазах граждан, чем нацистская, опиравшаяся на насилие. Практически в каждом воеводстве, каждом городе и районе был представитель Сопротивления, который обеспечивал власть подпольного государства и поддерживал связь с

местным населением. Эти представители были готовы взять на себя управление по всей стране, как только она освободится от захватчиков.

2. Военная структура включала в себя подпольные вооруженные силы. Во главе их стоял верховный главнокомандующий, которому подчинялись командующие воеводств и округов, прерогативы которых на данной территории определялись требованиями военного времени. Они могли издавать постановления и декреты, мобилизовывать население для выполнения тех или иных работ, призывать мужчин в армию. Каждый солдат этой подпольной армии имел те же права и обязанности, что и обычный солдат регулярной армии; так же, как и там, год службы засчитывался ему за два.

Верховный главнокомандующий, хоть это и не было обнародовано, получил от президента Польской Республики особые полномочия, в частности позволявшие ему объявить полную или частичную мобилизацию в тот момент, когда польское правительство в изгнании по согласованию с правительствами союзников отдаст приказ о всеобщем выступлении против оккупантов.

Эта вооруженная часть Сопротивления получила в 1942 году название Армии Крайовой и выполняла две основные функции: во-первых, занималась политической диверсией, пропагандой, подготовкой к всенародному восстанию; во-вторых, чисто военной деятельностью — саботажем (подрывавшим немецкую гражданскую и военную промышленность), прямыми диверсиями (нанесением урона немецкой армии, ее коммуникациям, снабжению и транспорту), формированием воинских частей и т. д. Кроме того, АК сотрудничала с подразделениями, действовавшими на территориях, присоединенных к рейху и к Советскому Союзу[109].

3. Роль парламента играло представительство политических партий Сопротивления[110]. Каждая из четырех основных партий занималась по собственной инициативе различной деятельностью в рамках Сопротивления. Они имели право вести самостоятельную пропаганду, социальную и политическую работу, организовывать независимые акции против оккупантов. С представительством партий тесно сотрудничали глава Делегатуры и верховный главнокомандующий. Под контролем парламента были

финансы, он решал, сколько членов от каждой партии войдет в состав подпольной Делегатуры, а также в ее центральный и местные аппараты. Партии имели своих представителей в лондонском правительстве в изгнании.

4. Четвертая структура называлась Управлением гражданского сопротивления[111]. Его задачей было поддержание в стране политики неповиновения оккупантам. В состав Управления входили известные ученые, юристы, священники и общественные деятели. Они должны были бороться с предателями и коллаборационистами, судить тех, кто обвинялся в сотрудничестве с нацистами, выносить им приговор и следить за тем, чтобы он приводился в исполнение. Местные отделения этой структуры имели право выполнять функции трибуналов.

Подпольные суды могли приговаривать к общественному порицанию или смерти. Порицание выносилось полякам, нарушившим установку на сопротивление оккупантам (если они не могли оправдать свое поведение). Такое решение предавалось гласности, виновный немедленно подвергался остракизму, а после войны должен был предстать перед судом. К смертной казни приговаривались те, кто активно сотрудничали с нацистами или были уличены в действиях против участников Сопротивления. Трибунал мог также приговаривать к смерти любого представителя немецкой администрации, отличавшегося особой жестокостью. Приговоры не подлежали обжалованию и всегда приводились в исполнение.

5. Пятая структура работала с отдельными организациями. Она координировала действия политических, экономических, образовательных и религиозных объединений, не входивших в компетенцию четырех предыдущих структур. Некоторые из этих групп выполняли важные задачи, например разрабатывали учебные программы для всей системы подпольного образования, от школ до университетов. Другие поддерживали моральный дух населения, занимались благотворительностью, оказывали материальную помощь пострадавшим от оккупантов. Хотя эти организации не входили непосредственно в систему Сопротивления, они также были важны и незаменимы в общей борьбе.

Вот так выглядело подпольное польское государство зимой 1941/42 года.

За границей видные политики, польские и зарубежные, часто спрашивали меня, насколько оправданы будут столь суровые меры наказания коллаборационистов, если война затянется надолго, а нацистский террор еще ужесточится. У меня никогда не было никаких колебаний на этот счет. Как бы ни разворачивались военные события и каких бы жертв ни требовала тактика тотального сопротивления, она должна оставаться неизменной. В дальнейшем мы в Польше стали замечать, что другие страны порой не придают значения тому, что нам пришлось выстрадать и на какие жертвы пойти. Об этом с горечью говорили, об этом писали подпольные газеты, это обсуждалось в правительстве. Несмотря ни на что, мы прилагали все силы и пускали в ход любые средства, жертвовали жизнью отдельных людей и даже всего народа в целом ради победы демократической коалиции, и нас оскорбляло то, что другие страны, боровшиеся не так ожесточенно, как Польша, и даже поддерживавшие отношения как с демократами, так и с фашистами, «отделались» легче, чем мы.

Глава XX
Краков. Квартира пани Л.

Правила подполья запрещали долго проживать в одном и том же месте. Так что я не удивился, когда мне приказали сменить адрес. Приказ был срочный — в доме, где я жил, гестапо арестовало какую-то женщину. Кто она и за что ее арестовали, я не знал, но к этому происшествию отнеслись как к тревожному знаку. Я скрылся. На новом месте я не стал заполнять анкету и жил без регистрации, продолжая слушать радио. Со своим предыдущим хозяином я поддерживал связь — обычная хитрость подпольщика, почуявшего, что к нему подбирается гестапо. Когда нацистская полиция брала кого-нибудь под подозрение, она узнавала его адрес в жилищных службах и приходила за ним среди ночи. А подпольщик, сменив жилье, мог узнавать у хозяина своей официальной квартиры, являлось ли по его душу гестапо. Это меня и спасло. Через пару дней после переезда мне сказали, что приходили двое гестаповцев и спрашивали меня, называя фамилию, которой я тогда пользовался. Значит, нужно менять и документы.

В Кракове мне повезло. Всех, с кем я прежде жил, арестовали, я же успел скрыться. Потом я зарегистрировался в доме, принадлежавшем жилищному кооперативу, не ликвидированному немцами, под видом агента по торговле книгами, и одновременно снял комнату у одной пожилой дамы. Сделал я это под предлогом, что помимо основного занятия торгую картинами, для хранения которых нужно место. В этой комнате находился мой радиоприемник.

Управлял кооперативом Тадеуш Келец[112]. Я знавал его еще в школе в Лодзи и был уверен, что он меня не выдаст, даже если сам не участвует в Сопротивлении. Это был необычный, блестящий, великодушный человек, самоотверженно и неустанно воплощавший в жизнь свои идеи.

Каждый из нас был убежден, что другой состоит в Сопротивлении. Тадеуш угадал это просто потому, что я зарегистрировался под чужим именем. А я понял, что Келец из наших, потому что он всегда был прекрасно осведомлен о последних событиях, много знал о методах гестапо и владел информацией, которую, кроме как в подполье, почерпнуть было негде. Главное же — у тех, кому доводилось иметь дело с конспирацией, быстро вырабатывается особый «нюх», инстинкт, позволявший распознать собратьев. Однако за все то недолгое

время, что мы прожили вместе, ни он, ни я не открыли себя и не задавали друг другу вопросов.

В апреле 1941 года Келец запросил и получил разрешение съездить к родителям на юг Польши. А через несколько дней после его отъезда до нас дошла весть, что его и еще трех человек арестовали… недалеко от Люблина, то есть к северу от Кракова. Их схватили, когда они разбирали железнодорожные пути. На другой день там должен был проехать следующий из СССР в Германию состав с оружием и продовольствием — они хотели пустить его под откос.

Тадеуш, как я узнал впоследствии, возглавлял одну из вышеупомянутых малых подпольных групп «на периферии». Он и его люди, как многие другие автономные организации, работали сами по себе, что их и погубило. Всех четверых прилюдно повесили на Рыночной площади в Люблине, и тела не снимали с виселицы двое суток, в назидание местным жителям. На груди у них висели таблички, на которых было написано, что это польские бандиты, напавшие на немецких служащих с целью ограбления, и что так будет с каждым, кто вознамерится вредить Германии. Эти последние слова выдавали правду.

После ареста Келеца в кооператив нагрянули гестаповцы, перерыли все сверху донизу и допросили всех жильцов. Меня предупредили об облаве, когда немцы были за два подъезда от моего. Но я все-таки успел убежать, бросив все свои вещи. Участь Келеца и его товарищей глубоко потрясла меня. Помимо всего прочего, я остался без денег, а организация переживала тяжелое время. Мне с трудом удалось достать бумаги на новое имя. При таких печальных обстоятельствах я нашел приют у некой пани Лясковой[113]. Она была женой бывшего дипломата, вступившего в польскую армию на Западе. В предвоенные годы супруги и их сын Юзек жили за границей. Чувствуя, что война неизбежна, муж отправил жену и сына домой, в Польшу, где, как он надеялся, они будут в большей безопасности. Как многие другие семьи, они потеряли все, что имели.

Вероника Лясковa была ослепительной красавицей лет сорока, но выглядела гораздо моложе и говорила, что ей двадцать восемь. Шутить или спорить с ней по поводу ее возраста было небезопасно — разозлившись, она могла здорово отбрить собеседника. У пани Лясковой была пятикомнатная квартира, в большой столовой она, чтобы выжить, устраивала платные обеды. Кроме того, зарабатывала, продавая овощи со своего огорода. Большая часть добытых неустанным трудом денег уходила на содержание пятилетнего сына.

Она обожала мальчика и старалась, чтобы он не узнал, не

почувствовал, что идет война, чтобы у него было все, что достается детям в мирное время: красивая одежда, шоколад, апельсины, молоко, конфеты. Все это она покупала на черном рынке по чудовищным ценам и для этого работала день и ночь.

Если же не считать безумной материнской любви, — никогда не видел, чтобы кто-нибудь настолько не желал принимать во внимание обстоятельства! — это была очень умная, рассудительная и смелая женщина. Благодаря тому что у нее столовалось много клиентов, частые визиты посторонних не вызывали подозрений, так что квартира стала идеальным убежищем для подпольщиков.

Помню такую сцену: послеобеденное время, в столовой полно народу. В одном углу оживленно, но тихо переговариваются четверо мужчин. В другом двое мужчин и женщина упаковывают стопки краковских подпольных газет, предназначенных для распространения в других местах. В третьем еще двое колдуют над чем-то похожим на взрывчатку. Я и трое моих коллег сидим за столом и делим на порции несколько граммов цианистого калия. Согласно недавнему приказу, все, чья работа связана с особым риском, должны иметь при себе яд. Ляскова помогает нам: с помощью аптекарского пинцета раскладывает крошечные порции порошка по капсулам. Вдруг звонок в дверь — пришел кто-то еще из наших. Ляскова резко встала, немного яда рассыпалось по столу. В тот же миг маленький Юзек ворвался в комнату и попытался влезть на стол, чтобы посмотреть, что делает мама, и ладошка его попала прямо в порошок.

Дверь пошел открывать кто-то другой, потому что хозяйка дома бросилась к мальчику, принялась лихорадочно оттирать его руки и лицо, раздела его и понесла мыть с ног до головы. Один из нас осмелился заметить, что это слишком. Но она оборвала его одним взглядом и принялась драить стол и пол вокруг него. В комнате воцарилось удрученное молчание. Между тем Ляскова, покончив с уборкой, преспокойно взяла пинцет и вернулась к прерванному занятию.

Часто к Лясковой приходили Цина, журналист и лидер социалистов, у которого я прожил несколько дней по возвращении из Франции, и Кара, глава подпольного военного штаба округа. Они должны были работать в тесном взаимодействии, и тут у них было место встречи. Нередко один другому давал денег на неотложные нужды и даже людей для выполнения отдельных заданий.

Я работал в военной пресс-службе и постоянно общался с обоими. Незадолго до Пасхи 1941 года мы стали подозревать, что нашему отделу грозит серьезная опасность. Одного из наших

распространителей арестовали, несколько женщин-связных говорили, что за ними следят. Два наших тайных склада, где хранились подпольные газеты, деньги, оружие и прочее и где можно было по мере необходимости все это брать, были обнаружены полицейскими. Счастье, что никого там не застали, но мы понесли немалые материальные потери. Одно из двух: или среди нас был провокатор, или гестапо напало на наш след. Всем местным ячейкам передали «запрет на связь с верхами», но, к сожалению, было уже поздно. Однажды Цина пришел страшно подавленным. Он целый час прождал Кару в условленном месте на берегу реки, а тот не пришел. Цина метался по комнате, нервно курил, что-то пытался нам объяснить, сопоставлял факты, думал вслух. И наконец сказал:

— Я пойду к нему, узнаю, в чем дело.

Ляскова уговаривала его не ходить:

— Не стоит рисковать, это слишком опасно. Лучше наберемся терпения и подождем, скоро все выяснится…

— Пока мы будем ждать, положение может стать еще хуже, — возразил Цина. — И потом, даже если гестапо что-то разнюхало, квартиру Кары они не найдут. Я пошел. Вернусь не позже, чем через два часа…

Но он так и не вернулся[114].

Когда два часа прошло, мы с Лясковой принялись отбирать самые важные из компрометирующих бумаг, а остальные сжигать. Потом уложили несожженную часть в чемодан, а сверху наложили овощей. Ляскова позвала прислугу, которая, естественно, была посвящена во все тайны, сказала ей, что мы должны уходить, поручила ей сына и дала задание. Каждый день в восемь часов утра та должна была выставлять на подоконник большую китайскую вазу, так чтобы ее было видно с улицы. Если ничего страшного не происходит, через пять минут вазу нужно убрать. Если же в доме появится гестапо, одно из двух: или вазы на подоконнике не будет, или она останется там до тех пор, пока не минует опасность.

Ляскова вышла первой с чемоданом в руках. Я догнал ее на углу через пару минут, и мы несколько часов пробродили по городу, обсуждая, где переночевать и где оставить злополучный чемодан. Ляскова была крайне осторожна и предусмотрительна. Она не хотела идти на конспиративные квартиры или к друзьям, понимая, что может навлечь на них подозрения полиции. Что касается чемодана, она предложила простой и ловкий план: оставить его в камере хранения на вокзале, а дня через два послать за ним самого старого и хилого курьера. Если немцы перехватят и обыщут чемодан, арестуют только его одного.

Потом, возможно, курьера отпустят, ну а в противном случае… что ж, еще один старик умрет за святое дело. После долгих колебаний, убедившись наверняка, что за нами не следят, мы сняли номер в дрянной гостинице с самой дурной репутацией. Немцы, которым моральное разложение населения, особенно молодежи, было на руку, поощряли такие притоны. Стараясь не привлекать к себе внимания и делая вид, что не замечаем никого из сомнительного вида постояльцев, мы прошмыгнули по коридору. Заплатили за номер и уже подходили к лестнице, и тут я почувствовал, что моя спутница чуть жива от омерзения. Я взглянул на нее с беспокойством. Но она взяла меня под руку, подтолкнула локтем и со смехом сказала:

— Пошли!

Она мужественно держалась следующие два дня, пока я разведывал обстановку и ходил проверять, как там ваза на окне. Ваза появлялась и исчезала в условленное время. Действуя очень осторожно, я связался со своими и мало-помалу узнал, что и как произошло.

Все началось с ареста одного связного в Силезии. Не выдержав страшных пыток, он назвал адреса постоянных явок. Полиция установила за ними тайное наблюдение. Таким образом выследили Кару. К счастью — это нас и спасло — за все это время он ни разу не приходил на встречу с Циной. Действуя по известной схеме, гестаповцы заперли его в квартире и сами засели там же. В первый же день три женщины-связные, не дождавшись Кары, пришли к нему домой узнать, в чем дело. На следующий день точно так же в ловушку угодил Цина.

Организация сделала все возможное, чтобы вызволить Цину и Кару из тюрьмы. Но ничего не вышло. Гестаповцы догадывались, что поймали не простых подпольщиков, и бдительно охраняли их. О Цине ничего не было известно. А Каре удалось передать на волю: его зверски пытают, раздробили ему кости обеих ног, сломали руки. Он не может больше выносить муки и просит яду. Ему переслали две ампулы и записку:

> Ты награжден **Virtuti Militari**. Тут яд. Встретимся в свой час.
>
> *Брат.*

На другой день нам сказали, что Кару похоронили в тюремном дворе. О Цине по-прежнему ничего. Лишь спустя несколько месяцев до нас дошли вести, что он жив и находится в лагере Аушвиц. Немцы так и не узнали, кто он.

Теперь Ляскова могла более или менее спокойно вернуться

домой и жить как прежде.

Вырванные у связного под пыткой признания ставили под удар нас всех: это означало, что многие уже раскрыты или в любой момент могут быть раскрыты полицией. Было решено полностью реорганизовать местные силы Сопротивления. Сменили явки, места тайников, складов и встреч. Перетасовали кадры. Часть подпольщиков перевели в другие города. Словом, приложили все усилия, чтобы добытые немцами сведениями оказались бесполезными. Это была одна из самых крупных неудач, постигших краковское Сопротивление в 1941 году. Гестапо вообразило, что уничтожило всю организацию, однако наши потери были и вполовину не так велики, как казалось оккупантам.

Я оказался в числе отозванных из Кракова, меня перевели в Варшаву, где я должен был заняться тем же, что делал в 1939 году, то есть работой связного. Мне поручили руководить службой, которая обеспечивала связь между столичными политическими лидерами Сопротивления.

Это работа важная, необходимая, но связанная с неизбежными при конспирации трудностями и опасностями. Смысл ее в том, чтобы главные ответственные лица как можно реже собирались вместе. Связной-посредник должен, прежде всего, быть беспристрастным, доброжелательным и бескорыстно преданным делу. Принимать во внимание свои личные мнения и симпатии он не имеет права. Нарушение этих правил чревато всяческими недоразумениями, интригами, ссорами и спорами. А от этого может пострадать сплоченность всего движения.

Я дал себе слово выполнять свои обязанности так, чтобы оправдать оказанное доверие.

Глава XXI
Поездка в Люблин

Первым делом по возвращении в Варшаву мне нужно было придумать себе легенду, которая не только не вызывала бы подозрения у гестапо, но и не ставила под удар мою семью и друзей. Подпольные правила предписывали максимально сузить круг людей, которым известно, чем ты занимаешься, — ради личной безопасности и, главным образом, в интересах организации. Отбирать этих людей следовало очень тщательно, одного того, что они порядочные и сочувствуют нашему делу, было мало; ценились другие качества: способность этому делу служить, умение молчать, всегда быть начеку, не поддаваться на кнут и пряник гестапо.

В Варшаве жили трое моих братьев и сестра. Это к ней в квартиру я явился после побега из поезда в ноябре тридцать девятого. И с тех пор у нее не бывал. Судя по изредка доходившим до меня известиям, состояние ее только ухудшилось. Не в материальном смысле — муж ее был обеспеченным человеком, так что она пока не бедствовала, но осталась безутешной, наглухо замкнулась в своем горе и никого, включая родных и друзей, не желала видеть. Так что идти к ней не стоило.

Зато на старшего брата Мариана[115], в чьем доме мне вручили повестку о мобилизации 24 августа 1939 года, можно было смело положиться. Он знал обо мне почти все. Мы не теряли друг друга из вида, общаясь через общих знакомых. А однажды даже встречались в Варшаве по делам, связанным с Сопротивлением. На второй год оккупации брата арестовали и отправили в концлагерь Аушвиц, который, по капризу судьбы, располагался в тех самых освенцимских казармах, где когда-то был расквартирован мой полк. Мариану невероятно повезло — его почему-то выпустили. Иногда он рассказывал мне про лагерную жизнь. Немцы превратили бывшие казармы в одно из самых чудовищных мест на земле. Брат описывал вещи, которые не укладывались в голове. Охранниками по большей части были тупые детины, набирали их также из числа осужденных за разные преступления или за гомосексуализм и обещали смягчить наказание за жестокое обращение с заключенными.

Мариану было в то время сорок восемь лет. Это был образованный, опытный и знающий свое дело человек. Он занимал высокий пост в центральном аппарате Делегатуры правительства в изгнании и куда больше меня знал о внутреннем

устройстве Сопротивления. Мы встречались, хотя обычно в подполье контакты с родственниками не поощрялись. Но от остальных членов семьи мы решили держать все в тайне[116]. Договорились, что он будет делать вид, будто не знает, что со мной случилось после начала войны.

Со вторым братом, Адамом, я никогда не был особенно близок и не стал объявляться теперь. Третий, Стефан, жил в стесненных условиях. Ему было сорок пять лет, и он каким-то чудом ухитрялся прокормить семью. Его старшей дочери Зосе, моей любимице, только что исполнилось семнадцать лет, сыну Рышеку было шестнадцать. Брат считал, что сын «пошел по дурному пути». Он связался со спекулянтами, соблазненный барышами, которые приносил черный рынок. Поэтому мы договорились не сообщать Рышеку, что я в Варшаве.

Самую большую сложность представляло обилие друзей и знакомых довоенного времени. Я неизбежно встречал их повсюду — на улице, в ресторанах и прочих публичных местах. Не ответить на дружескую улыбку почти так же трудно, как промолчать под пыткой в гестапо. Если я первым узнавал кого-то, то старался отойти подальше, незаметно проскользнуть мимо. Если же не успевал скрыться и меня окликали, то чертыхался про себя и отделывался механической улыбкой.

Но прошло немного времени, и я придумал довольно ловкий трюк, чтобы выпутываться из таких ситуаций. Говорил, что работаю на заводе недалеко от Кельце, занимаюсь закупками и изредка приезжаю в Варшаву по делам. Задавал собеседнику пару незначительных вопросов и, не дожидаясь ответов, начинал прощаться: дескать, рад был повидаться, но, к сожалению, сейчас очень занят. А перед уходом назначал встречу в каком-нибудь кафе — посидим, пообщаемся, вспомним доброе старое время. На обещанную встречу я, разумеется, не приходил, чем оттолкнул от себя немало приятелей, но другого способа избежать более крупных неприятностей не было.

Впрочем, варшавяне на удивление быстро свыклись с тем, что конспиративная сеть оплела весь город и всю жизнь. Подпольщиков развелось столько, что остальная часть населения стала воспринимать это как нечто обыденное. Люди приучились не обсуждать поступки своих знакомых, не вмешиваться в дела странноватого соседа. А также никогда не упоминать имени человека, о занятиях которого они не осведомлены.

Неимоверное множество людей жили в Варшаве по фальшивым документам и что-то о себе скрывали. Если вы встречали друга, с которым давно не виделись, было вполне вероятно, что он где-то отсиживался. И все привыкли относиться

к таким вещам легко — уезжают же люди в деревню, какая разница! Пожалуй, даже слишком легко. Шуточки и анекдоты про подпольщиков ходили не только среди поляков, их можно было услышать даже в немецких кабаре. Вот, например, один из самых популярных анекдотов.

Едет варшавянин в трамвае и вдруг замечает на задней площадке старого приятеля из Львова.

— Привет, Вишневский! — кричит он ему во все горло. — Как это тебя занесло в Варшаву? Ты что, уехал из Львова?

— Привет, Лещинский! — орет тот. — Рад тебя видеть. Но не называй меня Вишневский! Я скрываюсь!

Когда все время живешь под угрозой, то в критических обстоятельствах становишься крайне осторожным и бдительным, зато в будничных делах расслабляешься, и это иногда доводит до беды.

Некоторые из наших людей провалились не по неловкости или недальновидности, а просто потому, что пренебрегли какой-то самой простой, каждодневной мерой предосторожности. Один мой знакомый из Отвоцка как-то раз заснул на железнодорожной станции. Его разбудил, обыскал и арестовал немецкий патруль. В карманах у него нашли детонаторы. Он работал в диверсионном отряде и привык постоянно иметь дело с оружием, взрывчаткой и ядами, а потому беспечно таскал такие вещи в карманах, как электрик — куски проводов.

Постоянный риск, конечно, осложнял жизнь подпольщиков, но, пожалуй, еще тяжелее было выносить недоедание и нищету, которые к тому же искусственно поддерживались оккупантами. Поляки жестоко страдали от голода. Немцы забирали у крестьян почти все продукты, запрещая ввозить их из деревень в города. Горожане получали по продовольственным карточкам рацион ниже жизненно необходимого, так что здоровых людей не осталось. Без черного рынка было не обойтись, а цены там для большинства были недоступны. Даже Сопротивление не могло выдавать своим людям достаточно денег, чтобы обеспечить хоть минимальный уровень жизни.

Я, например, получал четыреста пятьдесят злотых в месяц, а чтобы нормально прожить, требовалась тысяча. Цена на такие насущные продукты, как хлеб и картошка, поднялись в тридцать раз по сравнению с 1939 годом. А килограмм сала стоил раз в шестьдесят больше. Люди жили в страшной нищете. Бедняки питались одним черным хлебом пополам с опилками. Тарелка каши в день считалась роскошью. За весь 1942 год я не съел ни грамма сахара и сливочного масла. Летом никто не надевал носки: белье, носки, верхняя одежда стоили целое состояние.

Я, как другие, перебивался, продавая какие-то вещи, сохранившиеся с довоенного времени. И все равно всех нас постоянно мучил голод. Каждый исхитрялся как мог, чтобы выжить[117].

Когда я вспоминаю этот голод и нужду, они кажутся мне ужасающими, но это теперь, а в то время положение не представлялось таким уж страшным. Первый раз в жизни я понял тогда, что нищим чувствуешь себя не когда у тебя ничего нет, а когда понимаешь, что ты обездолен больше, чем другие.

Даже при моих скудных средствах можно было кое-как продержаться. На свое счастье, я нашел одну дешевую кооперативную столовую. Частные фонды помогали ей деньгами, а владельцы крупных ферм — продуктами. Иногда удавалось перехватить там тарелочку супа или порцию второго, состоящего из репы, морковки и двух картофелин с соусом, отдаленно напоминающим мясной.

В один прекрасный день мне пришло в голову, что раз я живу по фальшивым документам и моя продовольственная карта выписана на чужое имя, ничто не мешает обзавестись еще парочкой комплектов. С помощью одного приятеля, тоже подпольщика, работавшего в муниципалитете, и моего исповедника отца Эдмунда[118] я достал две метрики, принадлежавшие умершим двадцать пять лет назад младенцам, получил два новых фальшивых удостоверения и к ним карточки. Я зарегистрировался еще по двум адресам, где изредка бывал, предупредив хозяек обеих квартир. Преимущества тройной жизни искупали все хлопоты. Если меня разоблачат под одним именем, у меня есть про запас еще два. Ну и рацион хлеба, джема, овощей утроился.

Я затеял и выполнил все это без малейших колебаний, потому что снабжением населения занимались исключительно оккупационные власти. Каждый был предоставлен самому себе. И чтобы добыть пищу, все средства были хороши: черный рынок, контрабанда, любые уловки, которые шли вразрез с планом немцев заморить нас всех голодом.

Одно из первых моих заданий в Варшаве заключалось в том, что я должен был съездить в Люблин к одному скрывавшемуся там политическому деятелю и отвезти ему разные материалы. Нагруженный изрядным количеством подпольных газет, отчетов и радиосводок, вложенных в пакет и завернутых в бумагу, будто буханка хлеба или кусок сала, я сел в поезд. Прятать сверток я и не думал, наоборот, нес его под мышкой, считая, что так он не вызовет подозрений, а в случае чего можно будет легко от него избавиться.

Поскольку немцы оставили для пассажирских перевозок только ни на что не годные поезда, путь до Люблина длился часов шесть, а то и больше. Старый грязный вагон был набит битком, в основном людьми, ехавшими за контрабандными продуктами. Все места были заняты, люди стояли в проходах и туалетах с распахнутыми дверями. Я тоже стоял, стиснутый со всех сторон, на каждом повороте и при каждом толчке наваливаясь на соседей и счастливчиков, которым достались сидячие места.

Мы протряслись в духоте уже три часа, как вдруг поезд остановился посреди поля, в нескольких километрах от Демблина. Я увидел в окно, что вдоль вагонов выстроилась цепочка вооруженных немецких жандармов. Это был обычный обыск, какие часто устраивались для борьбы с незаконной торговлей продуктами. Будут проверять документы, распакуют все свертки, допросят каждого пассажира.

И никому не разрешат выйти до окончания обыска. Двое жандармов пошли по вагону, проталкиваясь в толпе и проверяя документы и вещи. Я прижал к себе сверток и тихонько, бочком, стал двигаться в другой конец. Но скоро остановился — оттуда шли двое других жандармов. Я понял, что ловушка вот-вот захлопнется, и лихорадочно думал, как бы отделаться от свертка. Просто бросить его на пол значило навлечь опасность на всех пассажиров, к тому же тогда я потерял бы пакет. Посреди вагона был еще один выход, дверь которого сорвалась с петель и стояла прислоненной к стенке. Я протолкался туда и встал, небрежно опершись на дверь, будто от нечего делать любовался пейзажем, дожидаясь, пока кончится обыск. А сверток незаметно засунул между дверью и стенкой.

Жандармы подошли совсем близко. Я потянулся, зевнул и подвинулся, чтобы пропустить их. Смело, хотя не без внутреннего трепета, предъявил свои документы. Удостоверение у меня было безукоризненное, так что жандармы, ничего не заподозрив, двинулись дальше. Нескольких человек они все-таки задержали и конфисковали много продуктов.

Поезд тронулся, все успокоились, и я стал искать свой сверток. Около двери стояла седая морщинистая старуха-крестьянка. Она загородила дорогу и смеялась, глядя мне в лицо. А когда я был уже близко, наклонилась, разогнулась и протянула мне сверток поверх голов других пассажиров.

— Передайте это вон тому молодому человеку! — зычно крикнула она, и этот голос громом отозвался у меня в ушах. — И тут уж никак не сало!

В ужасе я сделал вид, что это относится не ко мне. Но старуха

так упорно показывала на меня пальцем, что усомниться было просто невозможно. Я боялся, как бы она еще чего-нибудь не наговорила и как бы не услышал ее какой-нибудь немецкий агент. Сверток переходил из рук в руки и наконец оказался у меня. Ни одного вопроса никто не задал. Я вцепился в него, бормоча невнятные объяснения, и стал как можно скорее пробираться в соседний вагон. Меня захлестывала злость на самого себя и на ту горластую тетку.

Однако, поразмыслив, я понял, что на нее-то злиться не стоит. Эта женщина не собиралась меня выдавать, более того, она рисковала жизнью, стоя между мной и дверью и прикрывая сверток своей пышной юбкой. А вот я повел себя как болван: стараясь избежать главной опасности — гестапо, забыл обо всех прочих. В результате был настолько неосторожен во время обыска, что любой из стоявших рядом, даже простая старуха, мог заметить мой маневр.

За одну остановку до Люблина я увидел всех этих с виду простодушных крестьян с другой стороны. Жандармы с неумолимой методичностью обыскали весь поезд и конфисковали всю кладь, в которой обнаружили хоть крошку снеди. Они осмотрели все, шарили палками под скамьями, дотягивались до верхних сеток, вытаскивали мешки с мукой из-под женских юбок и даже куски сала из бюстгальтеров. Как налетевшая стая саранчи, очистили поезд от всего съестного.

И вот, несмотря на это, на последней перед Люблином маленькой станции из вагонов, как по волшебству, хлынула толпа женщин, мужчин и детей с объемистыми сумками, свертками и т. д. Нетрудно было разглядеть караваи хлеба, мешки с мукой, окорока и куски сала. Пока я таращился на них с удивлением и восхищением, они птичьей стаей порхнули в лес и рассеялись по нему. До сих пор не могу взять в толк, где и как они сумели все это спрятать.

Вот уж поистине война развила в людях немыслимые таланты, сравнимые только с выпавшими на их долю лишениями. Этот курьезный случай помог мне лучше понять один из любимейших анекдотов той поры. «Вопрос: как доставить на континент оружие союзников незаметно для немцев? Ответ: поручить это польскому черному рынку… и спать спокойно».

Других приключений в Люблине у меня не было.

Глава XXII
Невидимая война

Вопреки распространенному мнению, нацистский оккупационный режим на территории Польши не отличался прочностью, даже с полицейской точки зрения. А опыт движений сопротивления в других оккупированных странах показывает, что репрессивная машина бессильна против хорошо организованного подполья, имеющего мощную поддержку в обществе.

Полиция и гестапо добивались подчинения, вызывая в людях слепой тотальный страх и бесчеловечно обращаясь с арестованными. Причем старались, чтобы жестокость не зависела ни от каких условий, не подчинялась никакой логике. В большинстве своем немецкие полицейские были тупыми скотами, садистами, преступниками. По данным Сопротивления, в одной только Польше в 1942 году насчитывалось более шестидесяти тысяч гестаповцев. И все-таки немцы оказались не способны подавить польское подполье, и только в немногочисленных случаях им удавалось проникнуть в руководящие центры.

Некоторые карательные методы нацистов ставили нас перед страшным выбором, ослабляли дух повстанцев и волю населения к борьбе. Уже с сентября тридцать девятого немцы начали убивать сотни мирных жителей в отместку за понесенный урон, навязав нам свои правила игры. Мы знали, что за каждое наше действие поплатятся жизнью дорогие нам люди, и сердца наши разрывались от боли.

Эти зверства не должны быть прощены и забыты. Пусть наши дети помнят о чудовищном принципе коллективной ответственности… Когда мы снова станем свободными, мы будем всячески стараться отплатить нацистским нелюдям, гестаповским садистам и немецким правителям Польши за эти невинные жертвы, за все наши муки и за истребление беззащитных евреев.

Справедливость не будет восстановлена в мире до тех пор, пока эта банда выродков не ответит перед судом народов, пострадавших от их варварства[119].

В городе имена казненных после какого-либо удара подпольщиков по оккупантам обычно оставались неизвестными. Немцы просто расстреливали каждого пятого заключенного или каждого десятого жителя улицы, на которой произошло покушение или диверсия. В провинции же палачи действовали с дьявольским коварством. Список лиц, которые будут в течение трех месяцев нести ответственность за любой «акт бандитизма»,

совершенный против властей Генерал-губернаторства, вывешивался на всеобщее обозрение. В деревнях и маленьких городках все друг друга знают. Поэтому заложники были всем знакомы. Гораздо труднее пустить под откос состав, когда знаешь, кого именно за это убьют. Но Сопротивление должно было продолжать свое дело. Поступали так: акты саботажа в той или иной местности готовили не тамошние уроженцы, а другие люди.

Немцы придумали множество способов отнимать продовольствие у крестьян, крестьяне же изобрели множество уловок, чтобы надувать немцев, припрятывать запасы для себя, отдавать что похуже, а то и уничтожать то, что не удавалось спасти. Во второй половине сорок второго года немцы учинили в деревнях еще одно унизительное нововведение. Издали приказ, согласно которому вступать в брак можно было только с разрешения властей. А разрешения, как правило, не давали: параде не соответствует расовым стандартам, установленным для поляков специальной программой. Этот изуверский приказ был дополнен другим: «незаконных» детей полагалось изымать у родителей и отправлять в немецкие приюты.

Следствием первого приказа стало то, что крестьяне заключали тайные браки; вскоре это повлекло за собой вступление в силу второго приказа. У несчастных родителей силой отнимали детей. Матери с младенцами пытались прятаться в соседний деревнях, но это не помогало. Гестапо каждый раз настигало беглянку и забирало ребенка, как щенка. Тысячи польских детей таким образом навсегда потеряли родителей. Никто так и не знает точно, что с ними сталось[120].

Репрессии в деревнях способствовали политической радикализации народа. Крестьянская партия, выступавшая от имени сельского населения, не скрывала желания увидеть после победы общественно-политические изменения в стране. Крестьяне страдали, переносили все тяготы войны, но считали, что эти страдания будут вознаграждены. «Десять заповедей Сопротивления», сформулированные руководителями Крестьянской партии, священной клятвой звучали в устах и сердцах угнетенных людей. Их опубликовали подпольные газеты, их печатали и распространяли на отдельных листках, крестьяне переписывали их, дети заучивали наизусть:

> — Неустанно боритесь за свободу Польши.
>
> — Невзирая на гонения, создавайте организации в каждой деревне, чтобы поддерживать слабых и успокаивать пылких, пока не настанет время действовать. Ваша организация должна быть военным

штабом. Она должна постоянно подрывать и расшатывать кровавую немецкую власть, а в свой час избавиться от нее.

— Пусть эта организация послужит также торжеству новой, народной Польши, нового строя, опирающегося на крестьянство, Польши, где не будет ни элиты, ни диктатуры, демократической Польши с незыблемыми законами, свободно избранным парламентом и всенародно признанной властью.

— Отстаивайте справедливые требования: земля крестьянам, работа для всех, кооперативное народное хозяйство, национализация заводов и шахт.

— Честно служите своей стране — вы ее кормильцы. Срывайте поставки продовольствия для оккупантов. Кормите голодающих братьев в городах. Помогайте страждущим как добрые христиане.

— Будьте мудры, благоразумны и хитры в отношениях с оккупантами. Будьте верны своей организации, держите слово, храните тайну, защищайте достоинство нации.

— Будьте безжалостны к предателям и провокаторам. Клеймите позором тех, кто прислуживает оккупантам и якшается с ними. Пресекайте болтовню и ненужное любопытство.

— Выбирайте сильных, достойных доверия, испытанных, благородных, самоотверженных руководителей. Не поддавайтесь унынию.

— Неумолимо требуйте самой суровой кары для нацистов за их изуверство, алчность и бесчеловечность. Они должны быть раздавлены.

— Не теряйте веру в победу. Убеждайте своих соседей в том, что, какой бы долгой ни была война и каких бы жертв она ни потребовала, истина и справедливость восторжествуют и независимая демократическая Польша возродится[121].

Отряды Сопротивления в сельской местности сражались особенно яростно и проявляли невероятную находчивость[122].

В борьбе против нацистских выродков мы подчас прибегали к почти безнравственным средствам, но они были оправданным ответом на чудовищный план истребления народов. Например, сводили немецких офицеров с проститутками, зараженными венерическими болезнями. В сентябре 1939 года мы выпустили из тюрем много уголовников и сказали им, что они могут вернуться

к своим прежним «профессиям», если круг их клиентов будет ограничиваться немцами. Польские власти хранили их имена и заведенные на них дела, чтобы после войны можно было взять их под наблюдение. И разумеется, им обещали тем больше сократить срок наказания, чем успешнее они будут действовать против немцев. Показательно, что ни один из этих преступников ни разу не покусился на поляка, и многим из них поручалось выполнение самых кровавых подпольных акций. Настолько сильна была всеобщая ненависть к захватчикам.

Те, кто не жил под властью нацистов, никогда не смогут представить себе силу этой ненависти и вряд ли поймут, почему так легко мы утратили все этические принципы и нормы, принятые в цивилизованном обществе. В нас не осталось ничего, кроме отчаяния зверя, попавшего в западню. И мы защищались всеми средствами, допустимыми в ожесточенной борьбе с врагом, который стремится тебя уничтожить. Польша сопротивлялась, как дикая кошка, впивающаяся когтями в обидчика. Не думаю, чтобы когда-либо еще за всю историю христианского мира происходило нечто подобное и в таких масштабах.

Находились настоящие «мстители-специалисты». Мне рассказывали об одном человеке по имени Ян, родом из Познанского воеводства, который бегло говорил по-немецки и жил по документам фольксдойче. До войны он торговал свиньями. Нацисты чинили страшные расправы над его земляками. И вот Ян стал в Варшаве одним из тех самых «специалистов», плативших немцам их же монетой.

Любимым его занятием было распространять среди немцев заразные болезни, в частности тиф, которого они панически боялись. Кажется, он использовал для этого вшей, которых сам разводил и перевозил в миниатюрной коробочке, сделанной специально для этих целей. Он выпускал своих питомцев в публичных местах, где бывало много немцев. Помню, когда я услышал об этих методах, то от гадливости не стал уточнять детали. Но со временем щепетильности во мне поубавилось.

Есть много доказательств того, как доверял нам народ и как безоговорочно выполнялись наши распоряжения. Вот, например, типичный приказ Делегатуры, целью которого как раз было оценить народное доверие и дисциплину. Он запрещал чтение немецких газет, издававшихся на польском языке. Полностью запретить их чтение представлялось невозможным — слишком сильно было любопытство и желание узнать новости. Поэтому некоторое время запрет ограничивался только пятницей. В этот день полякам предписывалось не покупать ни одного номера

нацистских газет.

Очень скоро мы увидели результат. Немцы были вынуждены значительно сократить пятничные выпуски. По всей стране — в Варшаве, Кракове, Львове и Вильно — на человека, купившего номер в пятницу, запросто мог в ту же минуту упасть кирпич с крыши газетного киоска. Невидимая рука могла повесить ему на спину табличку с надписью: «Эта тварь поддерживает немцев». А на другой день — вывести несмываемой краской на стене его дома: «Здесь живет подлый и тупой поляк, который повинуется не своим властям, а нацистским бандитам».

Одним из простых и удобных способов сплотить польский народ и внушить ему симпатию к Сопротивлению было переименование улиц. Возможно, в этом было что-то сентиментальное, но было и немалое практическое значение. В одну ночь на стенах домов, на углах улиц, на фонарях появились таблички и надписи с новыми названиями в честь героев и государственных деятелей военного времени, пользующихся любовью поляков: «проспект Недзялковского», «аллея Ратая», «улица Рузвельта», «бульвар Черчилля». И в среде патриотов стало считаться предосудительным упоминать в разговоре прежние названия. Это позволяло сразу определить, к какому лагерю принадлежит незнакомый человек: говорит «улица Рузвельта» — значит, свой (если только не провокатор), говорит «Дубовая» — значит, держи язык за зубами. Новые названия прижились у большинства населения страны.

Я видел немало подтверждений тому, что непримиримая позиция Сопротивления пользовалась всенародной поддержкой. Мне часто приходилось составлять и отправлять руководству отчеты о том, насколько эффективны наши инструкции. В начале 1942 года охота на людей, которой занимались нацисты, приобрела особый размах. Все больше и больше женщин, мужчин и детей отлавливали и угоняли на принудительные работы. И вот один польский аристократ, бывший дипломат, спросил у Делегатуры разрешения послать верховным властям рейха некий написанный им меморандум. У него хватило смелости рассказать в нем о зверствах и бесчинствах немцев в Польше, и он просил немецкое правительство положить конец этому разгулу жестокости, запретить вывозить на принудительные работы детей, беременных женщин и отцов семейства. В принципе предложение заманчивое, и некоторый шанс на успех этой затеи имелся. Я отметил это в своем отчете. Но если бы разрешение было получено, то создалось бы впечатление, что автор письма говорит от имени всего польского народа, а польский народ вообще не признавал ни за кем из немцев никакого права куда-

либо угонять никого из поляков. Наша тактика поведения по отношению к оккупантам не допускала никакого сотрудничества и политического компромисса. План был единодушно отвергнут.

Само собой, запрещалось посещать театры, кино и бордели, открытые немцами, чтобы развращать и деморализовывать поляков, а также читать напечатанные ими книжки. Одна польская актриса открыла в начале 1942 года собственный театр. Некоторые связи среди немцев помогли ей получить разрешение. Она не собиралась ставить ничего непристойного и оскорбительного, да и не делала этого. Тем не менее другие актеры, многие из которых состояли в наших рядах, стали спрашивать руководителей подполья, могут ли и они открывать польские театры и какова официальная позиция на этот счет.

Ответ, принятый большинством голосов, гласил: «Упомянутой актрисе следует немедленно закрыть театр, иначе ей будет вынесено общественное порицание».

Мне разъяснили это решение так: никто не должен развлекаться в театре, пока Польша страдает, борется и несет потери. Никто не имеет права забывать, даже на пару часов, что происходит в стране. Нельзя отвлекаться от непрерывной борьбы с захватчиками.

Тем не менее актриса не стала закрывать театр. В нем играли почти сплошь легкие, безобидные комедии. Вскоре ей было объявлено порицание, во всех подпольных газетах упоминалось ее имя. Она обвинялась в оскорблении национальных чувств соотечественников. Установленные принципы не терпели исключений.

Сами нацисты оказывали неоценимую помощь нашему делу. Немецкие служащие, полицейские, офицеры вовсе не были так равнодушны к земным благам, как полагалось расе «сверхчеловеков». Немцы в оккупированных странах вели себя как самые заурядные грабители и, какие бы сказки ни рассказывали о себе, на самом деле думали только о наживе.

Немецкие власти не догадывались, какую огромную пользу мы извлекали из этой слабости ее представителей на местах. Чаще всего мы их просто покупали, а они и рады были продаться. Тем же, кто мечтал выйти сухим из воды, еще и обещали, что после войны, если Германия проиграет, мы защитим их. Но самых крупных успехов мы достигали при помощи шантажа. Боюсь, многие из нас стали в этом деле непревзойденными мастерами.

Предположим, некий немецкий служащий продал нам какие-то сведения. Цену заломил несусветную, но мы заплатили, не торгуясь. Он радостно потер руки, заверил нас в своей дружбе и пробормотал что-то невнятно одобрительное в адрес польского

народа. Но он не знал, что у нас остались неопровержимые доказательства этой сделки, в том числе фотографии. Очень вежливо мы предлагали ему и дальше оказывать нам услуги, а платили все меньше, по мере того как он все больше себя компрометировал. И долгое время он поставлял нам «товар», который рано или поздно, конечно, иссякал.

Немецким солдатам всегда не хватало денег. На хорошую еду, напитки, сигареты. Для них не составляло большого труда продать нам ремень, шинель, одеяло и даже пистолет или автомат. Мы платили щедро. Но после первой сделки бедняга был вынужден доставать для нас все новые и новые предметы обмундирования и оружие, которые покупал или крал у своих товарищей. Потому что знал: если он прекратит эту коммерцию, мы легко можем донести на него начальству.

Среди немцев было немало тройхендеров[123], то есть управляющих земельной собственностью, недвижимостью и прочим реквизированным имуществом, которые были не прочь выгодно продать на черном рынке зерно, фураж, мебель, меха — все, что удавалось втихую прибрать к рукам. У нас же были специальные агенты, которые отслеживали таких продавцов. Как правило, они свободно говорили по-немецки, покупали, не торгуясь, то, что предлагалось, и исчезали. Но в тот же или на следующий день являлись снова и требовали продать им вполне определенные вещи по очень низкой цене. Тройхендер сначала удивлялся, потом свирепел от такой наглости. Тогда наш человек ему объяснял:

— Так вы не понимаете, что я оказываю вам милость? Если вы откажетесь продать то, что мне нужно, я пойду к вашему начальству и расскажу о нашей недавней сделке. Вы же этого не хотите?

Бывали, что и говорить, в нашей работе моменты истинного наслаждения.

Закончить эту главу я хотел бы рассказом об одном из самых удивительных мероприятий, проведенных за время оккупации. Нигде, кроме нашего подполья, насколько я знаю, ничего подобного не случалось.

В 1941 году Сопротивление оказалось в крайне тяжелом финансовом положении. Расходов было много, а поступавших из Лондона средств не хватало. И тогда Делегатура решила провести внутренний заем. Были выпущены боны, которые играли роль обычных государственных облигаций и подлежали обмену на деньги с процентами после освобождения Польши и возвращения из изгнания правительства. Успех этой операции — лучшее

свидетельство веры поляков в освобождение родины и авторитетности подпольного государства.

Выглядели эти боны не очень-то официально. Это были десятки тысяч бумажек, похожих на кусочки ткани, со следующим текстом:

> Благодарю вас за пожертвование стольких-то килограммов хлеба, картофеля, угля и т. д. Постараюсь возместить вам расходы, как только это станет возможным.

Далее следовала подпись и секретный значок вместо номера серии. Количество килограммов обозначало сумму, а слова «хлеб», «картофель», «уголь» и др. служили маскировкой.

К кампании была привлечена система распространения подпольной прессы. В качестве агентов займа выступали люди, не принимавшие активного участия в Сопротивлении, но пользовавшиеся высоким нравственным авторитетом в глазах общества. Таким образом многие оказались причастны к подпольной работе. Собирать деньги было поручено также и некоторым подпольщикам, в том числе мне.

Странная это была кампания. Агент приходил к почти незнакомым людям, полагаясь только на их порядочность, верность, скромность и великодушие. Обращался к ним от имени правительственной Делегатуры, тайной и анонимной, и неизвестных им государственных органов. И даже не мог внятно рассказать о себе. Я сам обошел человек двадцать, никого из которых не знал лично. По большей части это были обычные люди из мелких предпринимателей или из простого народа, жившие на то, что осталось от лучших времен.

Меня часто спрашивали: «Почему я должен вам доверять? Откуда я знаю, кто вы такой? Где гарантия, что вы не положите эти деньги себе в карман?»

Я отвечал, что мне порекомендовал обратиться к ним их друг, которому они, безусловно, доверяли. Объяснял, что Сопротивление по понятным причинам не может называть имен и адресов. Предлагал регулярно присылать им, если они захотят, подпольную газету любой, на их выбор, партии. Обычно это было самым убедительным доводом. А в заключение просто давал честное слово.

Бывали разные неприятные моменты, но должен сказать, что из двадцати человек, с которыми я имел дело, ни один не отказался внести деньги. А я далеко не самый лучший агитатор. Конечно, некоторые давали суммы значительно меньше тех, что я называл. Например, один человек, у которого я просил десять

тысяч злотых, дал всего сто. Кое-кто, подозреваю, соглашался участвовать в займе только из осторожности — учитывая возможность того, что после войны Сопротивление придет к власти. Но в основном чувствовалось, что люди искренне хотят нам помочь.

Заем прошел с большим успехом, собранная сумма позволила нам продолжать работу. Не сомневаюсь, что после освобождения все долги будут выплачены. Б противном случае славные люди, патриоты, поверившие нам и пожертвовавшие свои средства на общее дело, оказались бы обманутыми[124].

Глава XXIII
Подпольная пресса

Подпольная пресса — та сфера деятельности Сопротивления, к которой я имел самое непосредственное отношение. В мои обязанности входило составлять ежемесячный обзор этой прессы для внутреннего пользования. У меня был помощник, которому я поручил просматривать все самые значительные газеты и прочую периодику и отмечать самые важные и интересные материалы, включая полемические и программные статьи. Раз в три дня выходило сделанное на основе этой подборки пресс-ревю, которое позволяло руководству Сопротивления быть в курсе главных политических направлений и служило важным источником информации для лондонского правительства. Пресса интересовала меня и по личным причинам. Я всегда был заядлым коллекционером: до войны собирал старинные польские монеты, альбомы по искусству и кое-что еще. В Варшаве я собрал, возможно, самую полную, драгоценную для истории коллекцию печатной продукции польского подполья: газет, брошюр и книг. Время от времени я прятал накопившиеся материалы в надежных местах. Хочется верить, что после войны они ко мне вернутся. Эти материалы могут представлять интерес для историков и для музеев.

Традиция издания и распространения подпольной литературы в Польше восходит к эпохе первого раздела Польши (1772 г.). В последнюю войну тысячи подпольных газет бросали вызов гестапо точно так же, как тридцать пять лет тому назад дразнили знаменитую Охранку, царскую тайную полицию. В то время, как и при немцах, во всех польских городах в подвалах домов рабочих кварталов работало множество ручных печатных станков. Другие, более шумные, которые невозможно запускать в жилых домах, были спрятаны в лесу. Издатель, он же журналист, редактор и наборщик, делал газету при свете керосиновой лампы.

Одним из первых таких анонимных издателей-редакторов-авторов был никому не известный молодой социалист, в течение двух лет (1899–1901) выпускавший подпольный листок *Robotnik* в рабочих трущобах Лодзи, центра текстильной промышленности, этакого польского Манчестера. Спустя восемнадцать лет он прославился на весь мир. Это был Юзеф Пилсудский, вождь польского антицаристского революционного движения, один из столпов независимой Польши[125].

Подпольная пресса, которой я занимался, писала не только о

положении внутри оккупированной Польши. Все газеты — ежедневные, выходившие раз в неделю или в раз в две недели, ежемесячные — старались обозревать события во всем мире. Эти новости поставляла им хорошо организованная цепочка специальных людей, которые прослушивали радио. Множество мужчин и женщин, молодежи и стариков постоянно рисковали жизнью, слушая зарубежные радиопередачи в подвалах, лесных хижинах, на чердаках. Главными источниками информации были станции *BBC* (Лондон), *WRUL* (Бостон) и *Columbia WCBX* (Нью-Йорк).

Каждая газета пользовалась данными нескольких радиоинформаторов, потому что никогда не было уверенности, что удастся поймать или вовремя послушать английские и американские передачи. Мальчишки приносили записи куда-нибудь в городской подвал или в лесное укрытие, где редактор-издатель печатал их на переносном типографском станке или на ротаторе. Он писал передовицу и помещал в номер статьи от «корреспондентов» и «репортеров», сообщавших ему местные новости.

При Делегатуре, Армии Крайовой и штабах крупных политических партий существовали специальные информационные агентства. Через них поляки узнавали правдивые новости о последних событиях в мире, положении на фронтах и в других оккупированных странах. У этих агентств были постоянные корреспонденты в союзных и нейтральных странах. Естественно, они присылали свои материалы в зашифрованном виде. Речи Черчилля и Рузвельта, интервью с членами польского правительства в изгнании и новости о военных операциях попадали в Польшу и широко распространялись всего за несколько часов. Агентства передавали не только сами тексты речей, но также примечания к ним и собственные комментарии. Как любые информагентства, они продавали записи своих материалов подпольным газетам, а те печатали статьи, написанные по этим материалам. И в свою очередь получали деньги от продажи номеров читателям. Лучшими во всем подполье были агентство АК, агентство Делегатуры и агентство «Эхо прессы».

Было много разных газет. У каждой группы — минимум по одной, а часто и по несколько. Очень разнились также тиражи и степень влияния. Тираж *Biuletyn Informacyjny* («Информационного бюллетеня»), органа АК, был не менее тридцати тысяч экземпляров, но каждый номер читали несколько человек — его ведь передавали из рук в руки. У других газет тираж был поменьше, от ста пятидесяти до пятнадцати тысяч экземпляров.

Что представляли собой подпольные газеты? В основном, по понятным причинам, они были маленького формата (12–15 см в ширину и 20–25 в длину), имели от четырех до шестнадцати полос. Большая часть напечатаны вручную — на ручном станке, линотипе или ротаторе.

Не все подпольные газеты одобрялись руководством. Многие хотя и печатались из лучших побуждений, но… никакой пользы от них не было. Одни обращались к очень узкому кругу читателей, другие высказывали политически безответственные взгляды и только сеяли раздор в рядах Сопротивления. Третьи были склонны к мистике, пророчеству и гаданию. А некоторые пренебрегали правилами конспирации, что приводило к арестам и материальному ущербу.

Для издания подпольной газеты требовались компетентные, специально обученные люди. Тут мало чисто журналистских навыков, надо еще писать так, чтобы информация не могла повредить нашему делу. Мы не сомневались, что гестапо тщательно просматривает все газеты в поисках хоть чего-нибудь важного. Издатели с удовольствием сами посылали их в варшавское гестапо с сопроводительным письмом такого содержания:

> Желая облегчить вам поиски, отправляем один экземпляр нашей газеты, дабы вы знали, что мы о вас думаем и что для вас готовим.

Большая часть подпольной прессы придерживалась политики и тактики Сопротивления. У Делегатуры имелся собственный печатный орден — газета *Rzeczpospolita Polska* («Польская Республика»), выражавшая позицию правительства в изгнании и руководства подпольем. Там печатались приказы и распоряжения польских властей, выступления видных деятелей правительства, речи союзных лидеров, передовицы, написанные в духе Сопротивления. У газеты был большой тираж, она расходилась по всей стране и серьезно влияла на общественное мнение. Делегатура издавала также несколько провинциальных газет того же направления. Самыми популярными были *Nasze Ziemie Wschodnie* («Наши восточные земли») и *Ziemie Zachodnie RP* («Западные земли Польской Республики»), уделявшие много внимания местным вопросам.

Официальным органом командования АК была газета *Wiadomości Polskie* («Польские новости»). В ней печатались статьи о вооруженной борьбе и социальных проблемах. У АК был также выходивший *Biuletyn Informacyjny* («Информационный бюллетень»), посвященный текущим новостям. В редакции этой

газеты работали великолепные профессионалы, и она заслуженно пользовалась самым большим спросом в стране. Военное командование издавало еще журнал *Żołnierz Polski* («Польский солдат»), где подробно обсуждались причины поражения 1939 года. Там также помещалась информация о действиях польской армии внутри страны и на внешних фронтах. А специальный журнал *Powstanie* («Восстание») рассказывал офицерам о тактике уличных боев, восстаний и диверсий.

Несколько иной характер носили партийные газеты, отражавшие плюрализм политических взглядов внутри Сопротивления, вовлекавшие с борьбу значительную часть населения и знакомившие своих читателей с различными политическими течениями. Тут была представлена вся палитра: от крайне правых до крайне левых.

Традиционно сильной была публицистика социалистов. Главный орган ППС назывался *WRN* — сокращение от трех слов: *Wolność, Równość, Niepodległość* (Свобода, Равенство, Независимость — под таким названием ППС действовала в подполье). Газета *Wieś i Miasto* («Деревня и город») выступала за сближение и сотрудничество рабочих и крестьян. *Wolność* («Свобода») обращалась к интеллигенции. Социалистическая партия учитывала интересы каждой социальной группы. Были у нее и малотиражные локальные издания.

У Крестьянской партии главной была газета *Przez Walkę do Zwycięstwa* («Путем борьбы к победе»).

Партия труда, понесшая самые большие потери в подпольной борьбе, часто меняла названия своих газет из соображений безопасности. Когда я начинал работать в подполье, ее главный орган назывался *Głos Warszawy* («Голос Варшавы»). А когда уезжал из Польши, основными были *Zryw* («Подъем») и *Naród* («Народ»).

Ну а Национальная партия назвала свою главную газету *Walka* («Борьба»). И еще издавала другую, военно-политической направленности, — *Naród i Wojsko* («Народ и армия»).

Таков был список самых влиятельных изданий осенью 1942 года, когда я покидал Польшу. Было, разумеется, много других, но ни одно не могло сравниться с перечисленными выше по профессиональному уровню и широте аудитории. Как печаталась подпольная пресса?

Тайные подпольные типографы снабжались бумагой самыми разнообразными и хитроумными способами. В провинции бумагу привозили в условленные места на крестьянских телегах. Драгоценные рулоны белой, желтой и даже коричневой оберточной бумаги, которые потом превратятся в газеты, заваливали капустой и картошкой. Доставали бумагу в основном

у немцев, подкупая кого и как только можно. Подготовка номера далеко не всегда была кабинетной работой. Вот выдержка из варшавской подпольной газеты *Biuletyn Informacyjny* («Информационный бюллетень»):

> Позавчера, 25 мая, четверо наших коллег-журналистов (трое мужчин и одна женщина) писали статьи и готовили номер в квартире супругов Брюль на Львовской улице в Варшаве. В тот же дом с самого утра явились двое гестаповцев и спрятались в прачечной, откуда хорошо видна дверь квартиры Брюлей. Около полудня они позвонили в эту дверь. Один из журналистов открыл, и гестаповцы ворвались внутрь. Они приказали всем, кто был в квартире, встать лицом к стене и поднять руки. Один пошел в комнату, где находилась типография. Там был Леон Вацлавский, известный писатель и с недавних пор редактор одной из наших газет; он достал спрятанный в рукаве револьвер и, выстрелив в гестаповца, убил его на месте. Тогда второй гестаповец, который остался в соседней комнате, тремя пулями убил стоявшего лицом к стене журналиста и удрал с криками о помощи. Двое других мужчин и женщина успели незаметно выскользнуть из дома. А Леон Вацлавский добрался до нашего штаба сегодня. К сожалению, пропало типографское оборудование из квартиры Брюлей. Вчера гестапо арестовало всех жителей Львовской улицы.

А вот еще один случай, из варшавского *Głos Polski* («Голос Польши»):

> 4 июля один из особняков на Окренжной улице (район Черняков) был окружен гестаповцами и эсэсовцами с автоматами. В доме находилась наша типография, которую мы перевели туда из Мокотова, потому что заметили слежку за редакторами и наборщиками. Немцы стали колотить в дверь, а не получив ответа, забросили в окна гранаты, высадили все двери и дали по комнатам несколько пулеметных очередей. Двое наших людей были убиты, две девушки тяжело ранены. Обе вскоре скончались в больнице. Несколько дней спустя владелец особняка Михал Крук, его жена и двое сыновей пятнадцати и семнадцати лет, а также все жители двух соседних домов были арестованы и расстреляны.

В завершение автор сообщает без всяких комментариев: «Это происшествие стоило жизни восьмидесяти трем полякам».

Непросто было и распространять газеты. Тут нас многому научил опыт Станислава Войцеховского, соратника Пилсудского, занимавшегося распространением подпольных газет еще при царском режиме, а в 1922 году избранного президентом Польской Республики.

Это он придумал уникальную «систему троек», которую мы использовали при продаже подпольной прессы. Каждый занятый в этом деле знал только двух человек в цепочке: «того, кто сзади, и того, кто спереди», то есть того, кто доставлял газеты в условленное место, и того, кому он сам передавал их в другом городе. Если такой распространитель попадал в руки гестапо, как раньше — в руки Охранки, и подвергался «допросу с пристрастием третьей степени» в пыточных застенках, он мог выдать только этих двоих и никого больше. Но эта система годилась только для оптовых поставок. С продажей в розницу все было иначе. Тут применялось множество хитростей.

На улицах Варшавы и Кракова продавались местные немецкие газеты *Krakauer Zeitung* и *Warschauer Zeitung,* в Познани — *Ostdeutscher Beobachter,* вообще во всех польских городах — *Völkischer Beobachter.* Ни один поляк их не покупал, если только мальчишка-разносчик, протягивая номер, не приговаривая с улыбкой: «Сегодня необычайные новости о победах немецких войск… Купите!»

Тогда прохожий знал: этот номер стоит купить, он не простой, а с приложением. Между страниц, заполненных сообщениями о триумфе знамен со свастикой, вложена подпольная газета.

Мясник, заворачивая бифштекс, советовал покупательнице: «Не забудьте сразу, как придете домой, переложить его в ледник», — и она понимала, что в свертке лежит газета. Газеты раскладывали прямо по почтовым ящикам, официанты в ресторанах совали их под тарелки. Именно за это был расстрелян Януш Кусочинский, знаменитый спортсмен, чемпион Олимпийских игр 1932 года, установивший мировой рекорд в беге на 5000 метров, который работал официантом в варшавском кафе.

Никогда прежде я и предположить не мог, какое огромное влияние оказывает на людей поэзия, особенно когда они борются за свои идеалы. Практически в каждой подпольной газете печатались стихи польских классиков: Адама Мицкевича, Юлиуша Словацкого, Циприана Норвида, Марии Конопницкой. Да и современные поэты оттачивали свой талант, участвуя словом в

борьбе против оккупантов[126]. Подпольная пресса писала не только о политике и войне, но и о культуре и религии. У меня сохранился текст, опубликованный весной 1942 года, который можно смело назвать современным толкованием молитвы «Отче наш». Это волнующая, печальная и страстная молитва польского Сопротивления. Она была напечатана во многих газетах, и тысячи мальчиков и девочек заучивали ее наизусть в подпольных школах:

Отче наш, сущий на небесах, обрати свой взор на Польшу, нашу страждущую родину

Да святится имя Твое в час нашей бесконечной скорби, в час безмолвия.

Да приидет Царствие Твое. Каждый день возносим мы молитву, упорно уповая на то, что Царствие Твое начнется в Польше и снизойдут на нас в сиянии свободы Любовь и Мир.

Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. На все Твоя воля. Но не может быть, чтобы по Твоей воле убийство и разбой царили в мире и проливались реки крови. Пусть по воле Твоей откроются двери застенков, и не будет больше на земле заполненных трупами рвов, и не терзает наши души дьявольский бич страха. Пусть не огонь и бомбы, а тепло и свет посылает нам небо. Сделай так, чтобы самолеты были вестниками радости, а не смерти. Да исполнится воля Твоя. Господи, обрати свой взор на нашу страну, усеянную могилами, будь путеводным светом для сыновей, отцов и братьев наших, для польских воинов, чья дорога к дому пролегает через битву. Пусть море и земля вернут усопших, пусть пески пустыни и сибирские снега отдадут нам хотя бы тела тех, кого мы любили.

Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Но не тот насущный хлеб, что приносит нам ныне каждый день. Ибо он — слишком тяжкое бремя для наших плеч, бремя исхода и изгнания, бремя смерти в темнице, от пули, от пыток в лагерях, от голода, на поле боя. Это бремя молчания, тогда как крики боли рвутся из груди. Наш хлеб насущный — холод стали на запястьях.

Пошли нам, Господи, помимо этого хлеба насущного, упорство, силу, волю и терпение, дабы мы выдержали все и не вскричали до срока.

И прости нам долги наши. Прости нам, Господи, если мы слишком слабы, чтобы раздавить гадину. Укрепи нашу длань, да не дрогнет она, когда настанет

час мести врагам. Они согрешили против Тебя, нарушили Твои предвечные законы. Не дай же и нам согрешить против Тебя. Пусть наш грех порождается слабостью, а не порочным произволом, как у них.

И не введи нас в искушение. Не введи нас в искушение, но погуби проникших к нам предателей и соглядатаев. Не дай корысти ослепить сердца богатых. Пусть сытый накормит голодного, пусть всегда и везде помогают друг другу поляки. Да остаются наши уста немыми под пыткой. И да не поддадимся мы искушению завтра забыть все нынешние страдания.

Но избавь нас от лукавого. Избавь нас, Господи, от зла. От смертельного врага отчизны нашей. Спаси нас от мучений в лагерях, от смерти на земле, в воде и в воздухе и от предательства ближних.

Аминь. Сделай так, чтобы мы снова стали хозяевами на своей земле. Пусть наши сердца вкусят безмятежности морских просторов и красоты горных вершин. Да насытятся толпы жаждущих Светом Твоим, Господи. Пусть по воле Твоей мы установим справедливость в новой Польше. Аминь. Дай, Боже, нам Свободу. Аминь.

Кроме периодики, в подполье издавались самые разные книги и брошюры. Брошюры в основном идеологического содержания. А книги — переиздания запрещенных нацистами: польские классики, учебники для подпольных школ, пособия по военному искусству и молитвенники.

Почти все газеты печатались на простой бумаге и, повторюсь, в малом формате — безопасности ради. И вдруг одна из них начинает выходить в таком же формате, как лондонская *Times*. По тогдашним условиям — полное безумие! В передовице первого номера редакция объясняла свои намерения:

> Мы осмелились печатать газету в неприемлемом для конспираторов формате, потому что решили не обращать внимания на подлых негодяев с аллеи Шуха. Мы игнорируем угрозу со стороны гестапо и не принимаем в расчет нацистскую оккупацию. Презрение к врагу, отвагу нашего народа, как и душу его, не убить. Единственное, о чем, идя на риск, мы просим читателей, — это, отбросив страх, как можно шире распространять нашу газету, изданную вопреки всем правилам подполья.

Некоторое время газета в таком формате и выходила. Другая

почти повторила этот подвиг — появилась на роскошной и слишком дорогой для ежедневного издания даже в мирное время бумаге. Великолепными были также иллюстрации и полиграфия. Издатели этого шедевра писали:

> Благодаря неизменной любезности немецких властей мы не испытываем трудностей с бумагой. Немецкие скоты насквозь продажны. С помощью подкупа от них можно добиться чего угодно. Пусть высококачественная бумага, которую мы используем, послужит доказательством позорной коррупции немецких властей.

С помощью подпольной прессы Сопротивление сохраняло живую связь со значительной частью польского народа. Благодаря ей люди всегда были в курсе происходящего. Она укрепляла моральный дух населения, поддерживала его веру в победу. Да и самим подпольщикам для успешной работы необходимо было знать, что народ доверяет им и признает их как действенную силу. Недостатка в таких доказательствах не было.

Глава XXIV
«Аппарат» конспиратора

В моем распоряжении был солидный конспиративный «аппарат». Ставлю это слово в кавычки, потому что оно требует пояснений. Такое сочетание слов кажется странным и даже бессмысленным. Какой может быть «аппарат» у конспиратора? Многим из тех, с кем я говорил за границей, не верилось, что у меня был нормальный кабинет, где проходили собрания, совещания, — как же так? В их представлении подпольщики встречались на ходу, все больше по ночам, в опасной обстановке. Правда была гораздо прозаичнее, чем все фильмы и книги о Сопротивлении, которые я видел и читал в Европе.

Работа, которой мы занимались, требовала простой, прозаичной аккуратности. Таинственность и суета привлекают внимание, а главнейшее правило подполья гласит: «Будь незаметным!»

Большая часть нашей работы по увлекательности и азарту уступала работе какого-нибудь плотника, а в нашей жизни не случалось ровным счетом ничего героического. Одни долгими часами просиживали в «наблюдательных пунктах». Другие самым заурядным образом получали и разносили подпольную прессу, это тяжелый, скучный, утомительный, довольно опасный, но начисто лишенный острых ощущений труд. Больше всего приходилось заниматься канцелярской рутиной, делами, требующими кропотливости и пунктуальности, научной методичности и деловой сметки. Ведь для того, чтобы организовать рейд, запустить подпольную типографию, открыть подпольную школу, взорвать поезд, нужно основательно подготовиться, провести тщательный анализ, собрать информацию из разных источников и скоординировать действия.

Мой собственный «аппарат» был довольно сложным. Я имел доступ к четырем хорошо оборудованным точкам в разных концах Варшавы. Две из них служили местом встреч с военными и гражданскими руководителями, в третьей хранились архивы, а четвертая была собственно моей «конторой», с двумя профессиональными машинистками и всем, что нужно для канцелярской работы. В моем подчинении, помимо машинисток, были двое парнишек-связных и четверо помощников с университетским образованием, которые писали отчеты, составляли анализы, подготавливали материалы к встречам.

Помещения для встреч располагались в одном и том же

здании, но в разных коммерческих фирмах. Владельцы, безусловно, понимали, что мы сняли эти помещения в «конфиденциальных» целях. Чтобы рассеять их опасения, мы пообещали никогда не оставлять там ничего компрометирующего, а кроме того… платили им за аренду в три-четыре раза больше обычного. Этим людям вполне можно было доверять. Всегда оживленный деловой центр был официально зарегистрирован и даже пользовался особым покровительством немецких властей. Нам это было на руку. Там, где постоянно циркулировало много народу, наши сборища оставались незаметными. Все было устроено так, чтобы не привлекать внимания. В установленное время я регулярно подписывал контракт с владельцами здания как агент по рекламе. Это было отличное прикрытие, объяснявшее ежедневные визиты в наши «фирмы».

Архивы были спрятаны в одном варшавском ресторане. Искусство укрывать документы в жилых домах достигало небывалых высот. Использовались двойные стены, двойные полы и потолки, ящики с двойным дном, водопроводные трубы, кухонные плиты, мебель и т. д. Об этом можно говорить вслух, потому что если бы немцы решили начать кампанию по обнаружению всех спрятанных в Польше документов, им пришлось бы нанять целую армию работников, разрушить все дома, вскрыть и разобрать на мелкие кусочки полы и потолки, тщательно перекопать тысячи парков, обыскать сотни километров канализационных стоков и газопроводов.

Ну а моя контора находилась в съемной частной квартире роскошного дома на Мокотове, ее хозяйка, старая дама, жила в Константчине, а ее сына война застала в Бразилии, куда он поехал по делам. В квартире было три комнаты и еще кухня с черным ходом — важное преимущество на случай срочного бегства. В самой большой, удобной, теплой комнате я устроил свой кабинет. В другой работали машинистки. Их снабдили бесшумными пишущими машинками фирмы «Ремингтон» последней модели, чтобы можно было печатать по ночам, не беспокоя соседей. Обе машинистки были скромными, неприметными и не проявляли излишнего любопытства к тому, что происходит вокруг. Помощникам досталась столовая. А связные приходили на кухню и общались только со мной.

Женщины прекрасно работали в подполье. Мой личный опыт не подтверждает расхожего мнения о чрезмерной женской болтливости и любопытстве и показывает, что подпольщики из них, как правило, получаются более умелые, чем из мужчин. Есть вещи, которые женщины просто не в состоянии сделать, зато во

всем, что касается конспирации, они непревзойденные мастерицы. Они прежде мужчин чуют опасность и легче переносят неудачи. Несравненно лучше умеют действовать незаметно, обычно проявляют больше осторожности, скрытности и здравого смысла. Мужчинам же свойственно преувеличивать, переигрывать, игнорировать реальную обстановку. Они чаще всего бессознательно напускают на себя таинственный вид, и это их губит.

Я выполнял в то время трудную и требующую полной отдачи работу. Каждый день у меня происходили встречи с двумя-тремя ответственными лицами из разных структур Сопротивления. Мне было поручено представить на их рассмотрение некоторые вопросы, выслушать их соображения и затем по возможности точно передать тем, чьим посредником я выступал. Во время этих встреч над нами постоянно витала опасность — гестапо не дремало. Я должен был обрисовать собеседникам проблему, изложить им мнение других руководителей подполья, пронаблюдать за их реакцией, понять их точку зрения, записать их решения и наметить следующую встречу.

Нередко я выступал от имени командующего АК или главы Делегатуры. И был обязан получить от собеседников и передать пославшим меня максимум информации. Бывали особенно тяжелые для меня моменты, когда приходилось прервать переговоры, поскольку я оказывался недостаточно осведомленным о предмете обсуждения. Это называлось «недоработкой отдела политических связей», за которую я получал строгое порицание от начальства.

Первое время я совершал немало подобных промахов, но со временем научился избегать их.

Порой дело ограничивалось устной беседой, но в большинстве случаев от меня требовались отчеты. Настоящие официальные документы, тщательно составленные, с номерами и датами. Иногда мои связные доставляли копии отчетов участникам переговоров. Имена в них всегда заменялись псевдонимами, адреса, названия партий и прочие важные сведения шифровались. Мой отдел пользовался двумя отдельными шифрами: один предназначался для Делегатуры, другой — для военных.

Если я приходил к выводу, что соглашение с большой степенью вероятности может быть достигнуто, и если те, кто читал мои отчеты, соглашались с моим мнением и передавали мне подписанные бумаги, вопрос считался решенным. А отчет оставался в архиве как исторический документ. На основе этих отчетов составлялись обобщающие доклады о делах

Сопротивления, которые раз в месяц или раз в три месяца отправлялись правительству в изгнании. Если же какие-то вопросы оставались нерешенными и несогласованными, руководство признавало необходимость созвать совещание представителей политических сил страны, чтобы найти выход.

В таком случае запрашивали главу Делегатуры, в чью компетенцию входило назначение места и времени совещания. Обычно, если речь не шла о чем-то жизненно важном, ждали, пока накопится несколько нерешенных вопросов, чтобы все их вынести на обсуждение. Меня это уже не касалось, и окончательного решения мне не сообщали.

Глава XXV
Женщины-связные

За время работы в подполье я проникся глубокой симпатией к женщинам-связным, чьей нелегкой задачей было обеспечивать контакты между участниками Сопротивления. Это было очень важное звено в наших операциях, и очень часто связные подвергались большей опасности, чем те, для кого они работали.

У нас существовал важный принцип: квартира подпольщика должна по возможности сохраняться «чистой» — ничего компрометирующего не должно там происходить и находиться. Моего личного адреса не знал никто, кроме ближайших членов семьи и девушки-связной. Дома никогда не проводились собрания, не назначалось никаких встреч, не хранилось никаких важных документов. Это давало хоть какое-то чувство безопасности, избавляло от вечного страха и позволяло спокойно спать. Конечно, аресты могли происходить и происходили, но вероятность их при такой системе была минимальной.

Никто, даже личная связная, не знал ни моего настоящего имени, ни того, которое значилось в фальшивых документах, лежавших у меня в кармане. В таких условиях подпольщики практически никак не могли общаться напрямую. Только через связных. Если мне нужно было встретиться с кем-либо из политических лидеров и я не знал, где и под каким именем он живет, я находил его связную.

Они-то, эти женщины, жили в постоянной опасности. Их адреса обычно были известны в организации. Им полагалось оставаться на виду, чтобы их можно было легко найти, и они не могли без разрешения менять имя и адрес. Если действующая связная переберется в другое место, отдельные люди и целые ветви Сопротивления окажутся разобщены. За связной и ее квартирой велось постоянное наблюдение — этим занималась особая служба. И если связную арестовывали, она не могла никого выдать даже под пытками, потому что уже через два-три часа все, кто соприкасался с ней, успевали получить новые документы и сменить жилище.

Итак, над связной все время нависала угроза. Многие знали о ее жизни все до мельчайших подробностей. Это, кстати, одно из неудобств подпольной работы. У связной почти всегда были при себе компрометирующие документы. Она постоянно сновала по городу, вызывая подозрения, и бывать ей нужно было в самых опасных местах. В среднем «срок службы» связных не превышал

нескольких месяцев.

Все они неизбежно попадали в гестапо, причем их брали с поличным — отпираться было бесполезно. А обращались с ними нацисты со звериной жестокостью. У многих был с собой яд, который предписывалось проглотить, если возникнет необходимость. Вытащить их из тюрьмы было почти невозможно, а риск того, что они проговорятся под пыткой, слишком велик. Пожалуй, из всех наших соратников именно на их долю выпадала самая страшная участь, именно они чаще всего жертвовали собой без всякой надежды на вознаграждение. Они были обречены на непосильную работу и героическую смерть. Ни высоких постов, ни почестей связным не доставалось. Почти все женщины-связные, с которыми мне пришлось работать, погибли. Среди них была девушка лет двадцати двух — двадцати трех. Я часто видел ее, но, в общем-то, ничего о ней не знал. Она проработала с нами месяца три и была отличной связной. А потом ее схватило гестапо, и она не успела ни избавиться от документов, которые кому-то несла, ни принять яд.

Нам удалось получить из тюрьмы известие о первом и единственном ее допросе. Гестаповские подонки бросили ее на пол, раздев догола, привязали распяленные руки и ноги и изнасиловали резиновыми дубинками. «Когда ее уносили, вся нижняя часть тела была изодрана в клочья», — говорилось в записке.

Другой связной было под пятьдесят, она успела поработать подольше. До войны она преподавала французский язык в одной из лучших варшавских гимназий. К Сопротивлению примкнула едва ли не с первых дней. Жила она очень бедно, в скромной квартире, вместе с мужем, который был старше ее и не мог работать. Эту квартиру она предоставила в распоряжение одной политической организации, а сама стала их связной. Только через нее я и связывался с членами этой организации.

Гестаповцы арестовали ее дома, а заодно забрали и мужа. Обоих страшно пытали. Муж умер на первом же допросе. Сама «пани Павловская» выдержала еще один, но в камеру ее притащили без чувств. Там вместе с ней сидели еще четыре женщины, арестованные в тот же день.

Наутро они нашли ее висящей на потолочной балке. Вместо веревки она использовала пояс от платья, и никто не услышал ни звука. Так велика была ее решимость умереть и презрение к боли, что она ни разу не застонала и даже не застучала по стене ногами в предсмертной судороге.

Позже я спросил знакомого врача, возможно ли такое. Он ответил отрицательно. Умирая, самоубийца теряет сознание, но в

последний момент включается инстинкт самосохранения. Видимо, в данном случае инстинкт был подавлен более мощной силой.

Женщины-связные олицетворяли судьбу всех польских женщин в годы оккупации. Они много выстрадали, многие из них приняли смерть. Немало боли и страданий вынесли и все матери, жены, дочери подпольщиков. Да, сами они не принимали активного участия в борьбе, но это лишь усугубляло их страх и тревогу: не зная, насколько велика и близка опасность, они ждали ее всегда, каждую минуту. Если живущего под своим настоящим именем подпольщика арестовывали, то вместе с ним обычно забирали и жену. Ее пытали, чтобы вырвать тайные сведения, которые не выдал муж. Чаще всего несчастные женщины ничего не могли сказать, даже если бы хотели, просто потому, что ничего не знали. И умирали мученической смертью только потому, что были женами отважных, благородных людей.

Как правило, жены руководителей были вписаны в систему Сопротивления и имели документы на чужое имя. Как и мужья, они жили в тайных убежищах, часто переезжая с места на место, в разлуке с друзьями и близкими и постоянно мучились страхом и неизвестностью. К сожалению, большинство из них от природы были не приспособлены к такому существованию. Они никогда не могли бы работать в подполье, и их бы туда не допустили, если бы они не были вынуждены разделять участь своих мужей.

Многим польским женщинам пришлось несладко. Невинные домовладелицы, которые, сами того не зная, сдавали квартиры участникам Сопротивления, нередко тоже оказывались в гестапо. Как и девушки-распространительницы, постоянно таскавшие пачки запрещенной литературы в тяжелых сумках.

Распространение газет — простая механическая работа, которую обычно поручали женщинам, так как мужчины претендовали на более важные роли. Помню одну щуплую непривлекательную девушку по имени Бронка, которая очень аккуратно, два раза в неделю, запыхавшись, прибегала ко мне в «контору». Застенчивая, молчаливая, она выглядела очень уставшей, измотанной жизнью загнанного зверя, которую ей приходилось вести и которая, скорее всего, оборвалась в гестапо. Но, втянувшись в борьбу, трудно было уйти, вернуться к нормальной жизни, найти обычную работу.

Однажды я спросил ее, почему у нее такой унылый, несчастный вид. Она нехотя ответила:

— А с чего мне быть счастливой?

— Все так плохо? — спросил я опять, нарываясь на грубость.

Но она только хмуро процедила сквозь зубы:

— Как у всех — в войну не пожируешь.

Она села на стул и на минуту расслабилась. Мне пришло в голову, что девушка голодна. Она ведь такая худая — кожа да кости, с нездоровым, каким-то зеленоватым цветом лица. Да и глаза блестели, как в лихорадке.

— Хочешь перекусить со мной? — спросил я. — У меня есть хлеб, повидло и помидоры. К сожалению, ничего горячего предложить не могу. У меня нет угля, так что кипяток бывает, только когда хозяйка разжигает плиту на кухне.

— Спасибо, — ответила она. — Можно стакан воды?

Я принес ей воды и смотрел, как она медленно ест черствый, безвкусный черный хлеб со свекольным повидлом. Ест поразительно сосредоточенно, с расстановкой, наслаждаясь каждым куском. Под конец она запила бутерброд стаканом воды, а от помидора отказалась наотрез — у меня их было всего два, и она сказала, что они нужны мне самому.

Мы еще немного поговорили.

— Как давно ты разносишь газеты? — спросил я.

— Три года, — живо ответила она.

Шел август сорок второго. Значит, она работала с самого начала войны.

— И все три года только этим и занималась?

— Да, только этим. Начальник говорит, у меня здорово получается «растворяться в пейзаже», потому что я на вид дура дурой.

Мы оба рассмеялись. Смех вдруг преобразил ее лицо — оно немножко округлилось, смягчилось.

— И сколько у тебя адресатов?

— В списке сто двадцать пунктов, — спокойно ответила она.

У меня глаза на лоб полезли. Это же нечеловеческая нагрузка! Она заметила мое удивление и кивнула:

— Да. Я дважды в неделю обхожу сто двадцать адресов.

— Это по сколько же получается в день?

— Примерно по сорок. Когда как. Иногда меньше, если очень устаю.

Мне стало очень жаль ее. Она с трудом оторвалась от стула:

— Ну, мне пора. Сегодня еще в одиннадцать мест надо сбегать.

— Это, наверно, страшно утомительно, — сказал я.

— Да нет. Но, знаете, у меня теперь одна мечта. Чтобы после войны устроиться на такую работу, где можно все время оставаться на одном месте и куда, наоборот, ко мне бы приходили другие. Пошла бы даже служительницей в

общественный туалет.

Я не знал, что ответить.

— Спасибо за угощение, — сказала она, уходя.

Между тем Бронка считала себя счастливой по сравнению с женщинами, которые, как она говорила, «путаются с немцами». Так презрительно говорили о каждой, кого хоть раз видели с немцем на улице или за одним столиком в кафе. Им приходилось жить с несмываемым клеймом позора. Но Бронка была уверена, что не все такие женщины одинаковы:

— Некоторые, конечно, просто гуляют с немцами, их осуждают, и правильно. Но у других нет выбора.

И она рассказала мне историю одной своей знакомой, которую соседки дружно осуждали за то, что она «путается с немцами». Она жила в небольшой, хорошо обставленной двухкомнатной квартире. Муж ее был в плену у немцев. Обычная женщина среднего достатка, не большая и не меньшая патриотка, чем все остальные. Получала подпольные газеты и делала все, что могла.

Несколько месяцев назад немцы поселили у нее своего офицера. А тот возьми и пригласи ее в кафе послушать музыку. Она отказалась раз, другой, шесть раз подряд, и тогда взбешенный немец пригрозил: если она не пойдет с ним в кафе, ее отправят в концлагерь.

— Ну и что ей было делать? — возмущалась Бронка. — Она не Жанна д'Арк, а несчастная женщина, которой хочется дожить до конца войны и дождаться мужа. Ей не у кого просить защиты. Она не участвует в Сопротивлении. У нее не было выбора. А ее обзывают всякими гнусными словами. Люди косо смотрят на нее в кафе, а она боится и их, и того немца, а иногда вообще еле жива от страха, потому что в сумочке лежит подпольная газета. Думаете, ей легко? Женщинам на этой войне вообще достается больше, чем мужчинам.

Глава XXVI
Заочное венчание

В подполье его звали Витек, он был одним из лидеров крупной организации, занимавшейся образованием и религией[127]. Вместе с группой друзей он озаботился проблемой воспитания молодого поколения поляков. Кроме того, Витек издавал газету «Правда». Талантливый, смелый, предприимчивый человек лет тридцати пяти, он был душой организации, одним из двух ее вдохновителей. Второй была очень известная польская писательница. Она определяла особое лицо организации, привлекала новых членов, заражала их своим пылом[128].

Помощницей и связной Витека была девушка, которую знали под псевдонимом Ванда[129]. Вместе с писательницей они составляли неразлучное трио. Всегда веселые, неутомимые и неунывающие, писали, печатали и распространяли замечательные брошюры — некоторые даже попадали за рубеж и переводились на другие языки. Так, на английский перевели брошюру «Голгофа», в которой описывался концлагерь Аушвиц. Я часто встречался с ними не по делам, а просто для того, чтобы подышать окружавшей их атмосферой заразительного оптимизма, бодрости духа и азарта.

Но в середине 1942 года их разлучили. Ванду случайно, при проверке документов, арестовали, посадили в тюрьму, пытали в гестапо, она никого не выдала. В концлагерь ее не отправили, но и не отпустили, а оставили в варшавской тюрьме Павяк. Нам удалось установить с ней связь. Витек и Ванда каждую неделю обменивались записками. Витек подробно рассказывал Ванде о событиях во внешнем мире, она ему — о происходящем в тюрьме. А кроме того, уговаривала его и всех нас не падать духом, как будто нам было хуже, чем ей. И постепенно, каким-то невероятным образом, между ними возникло новое чувство: то ли оно родилось еще раньше, а обстоятельства придали ему силы, то ли эмоции обострило нервное напряжение, в котором пребывали они оба.

Словом, в результате этой переписки Витек и Ванда, разлученные тюремными стенами, горячо полюбили друг друга. Помню, с какой радостью и гордостью Витек показывал мне письмо от Ванды. В тюрьме она поняла, что любит его, говорилось там. Он был потрясен и всю неделю пытался сочинить достойный такого признания ответ. Наивный и неловкий, как школьник, он даже обратился за советом к писательнице и ко

мне.

Мы посмеялись над ним, предложили, чтобы писательница продиктовала ему письмо — дескать, у нее лучше получится. Но Витек не оценил нашу шутку и, собравшись с духом, сам написал Ванде, что давно любил ее, но не решался сказать и вот, наконец, она сама позволила ему открыть сердце.

Переписка продолжалась. Кое-что я читал. Письма Ванды всегда были спокойны, серьезны и полны заботы о любимом. Скоро Витек предложил ей пожениться. Конечно, она не могла прийти в костел на венчание, но Витек проконсультировался со священником и выяснил, что можно обвенчаться *per procura*[130]. Для этого достаточно согласия невесты.

Все уладили за две недели. Вместе с четырьмя другими свидетелями я присутствовал на этой трогательной церемонии в маленьком старом костеле на окраине Варшавы. Обряд совершал священник из наших сторонников. Он произнес короткую взволнованную речь о причудливых поворотах истории, что как нельзя лучше соответствовало ситуации. Когда-то, сказал он, заочный брак был привилегией королей, их доверенные лица были пышно разодеты и увешаны бриллиантами, а храм по такому случаю украшен парчой и гобеленами. В толпу швыряли пригоршни золотых монет, и народ на улицах кричал «За здравствует король!» и «Да здравствует королева!».

— Времена изменились, — сказал в завершение священник. — И вот я, с благословения Церкви, венчаю вас заочно не потому, что вы богаты и знатны, а потому, что вы самые бедные, угнетенные и преследуемые. Тебя, Витек, стоящего здесь, у алтаря, и женщину, представляющую ту, кого ты берешь в жены. — Он обернулся к писательнице, которая представляла Ванду, и добавил: — Когда-нибудь вы опишете жизнь этой пары, и это, надеюсь, будет вашей лучшей книгой.

Губы Витека дрогнули, он чуть не разрыдался. После церемонии мы все разошлись по неотложным делам. А вскоре я уехал из Польши с новым поручением и до сих пор не знаю, удалось ли супругам соединиться.

Писательница, выступавшая на венчании за невесту, была во всех отношениях незаурядной личностью. Еще до войны ее книги переводились на разные языки и пользовались успехом. Она получала литературные награды, была хорошо обеспечена. А в 1942 году почла бы за счастье получать тарелку горячего супа каждый день. Но это ее мало заботило.

У нее поистине чудесная судьба. До войны она писала и стала известна широкой публике под псевдонимом. Никто за пределами дружеского круга не знал, что она замужем и уж тем более — как

зовут ее мужа[131]. В Сопротивлении она участвовала с самых первых дней, но, несмотря на это и вопреки предостережениям друзей, продолжала жить в своем доме под фамилией, которую получила в замужестве. Ей говорили, что она рискует вдвойне: ее могут схватить не только как подпольщицу, но и просто как известного человека. Ведь арестовали уже многих знаменитых поляков, даже тех, кого не подозревали в подпольной деятельности. Но она решительно отказывалась менять свои привычки. Однажды, когда мы упрекнули ее за ненужную браваду и неблагоразумие, она ответила: «Друзья мои, если Господь хочет, чтобы меня арестовали, никакие псевдонимы и укрытия мне не помогут».

Услышав это, мы понимающе переглянулись. Вслух никто ничего не сказал, но все мы подумали, что, несмотря на литературный талант и преданность общему делу, она слишком простодушна и не способна правильно оценить свое реальное положение. Как говорится, на бога надейся, а сам не плошай.

Вскоре вера ее подверглась испытанию. Однажды ночью к ней в дверь постучали два офицера гестапо. Потом она сказала нам, что, когда поняла, откуда они, ничуть не испугалась, а совершенно спокойно положилась на Провидение, в полной уверенности, что ничего не может произойти без воли Божией.

Гестаповцы же, не дождавшись, пока она откроет, выломали дверь и заорали с порога:

— Как вас зовут?

Писательница назвала свое имя по мужу.

— Покажите свою *Kennkarte*!

Она нашла документ в секретере и протянула им. Он был в полном порядке.

— Кто еще тут живет?

— Никто. Только я.

— Ну, это мы сейчас проверим. Сядьте и оставайтесь на месте.

Обыск длился несколько часов. Гестаповцы заглянули в туалет и под кровать, перерыли шкафы, простучали стены и раскидали мебель. А пока они переворачивали все вверх дном, писательница спокойно встала со стула, без спешки и суеты вышла на улицу и дошла до дома подруги в том же квартале. Немцы не заметили ее ухода, и никто не арестовал ее за нарушение комендантского часа.

Весть об этом случае облетела всю Варшаву. Думаю, больше всего писательницу задели наши шутки. Дело в том, что, помимо прочной веры, она обладала еще одним, редчайшим качеством: никогда, ни при каких обстоятельствах она не лгала и считала,

что ложь не может быть оправдана ничем. С этой стороны мы и напали на нее, когда она рассказала нам, как все было.

— Как же это вы солгали гестаповцам, когда они спросили, как вас зовут? — спросил ее кто-то.

Она, видимо, не ожидала такого истолкования происшедшего и сильно смутилась, но быстро и взволнованно ответила:

— Нет-нет, я не солгала. Они спросила моя имя, и я сказала им правду. А каким именем я подписываю свои книги, они не спрашивали.

— Ну да, — согласились мы, не зная, смеяться или плакать. — Но все равно вы их обманули — улизнули у них из-под носа.

И тут она торжествующе сказала:

— А вот и нет! Это моя квартира, и я вольна уходить из нее когда захочу. Я не обещала дожидаться, пока они закончат свой обыск.

— Вот как? Значит, вы хотите сказать, что, если бы они вам приказали сидеть и ждать, вы бы послушались?

Бедная женщина растерялась — ей было крайне важно оставаться в ладу со своей совестью.

— Что ж, — очень медленно проговорила она, — я еще не до конца это обдумала. Но все же, мне кажется, я не должна была оставаться. Ведь мы решили, что для нас их приказов не существует. А что не существует, того и соблюдать не надо.

Мы проиграли и отступились. Ее святая простота не раз ставила нас в тупик, а часто и заставляла устыдиться. Самое удивительное, что чересчур ранимая совесть не помешала ей стать активной участницей Сопротивления. Тогда, в сорок втором году, из-под ее пера выходили самые страстные призывы, самые пылкие обличения, самые убедительные статьи и памфлеты во всей подпольной прессе. И можно с уверенностью сказать, что многие из них навсегда останутся шедеврами польской литературы военного времени[132].

Глава XXVII
Подпольная школа

Как оказалось, с конспиративной точки зрения, для моей работы больше подходил связной, а не связная, и ко мне приставили Тадека Лисовского[133]. Семью Лисовских я знал еще до войны. Тогда это были состоятельные люди. Кроме имения в окрестностях Кельце, они владели еще двумя доходными домами в Варшаве. Миниатюрная пани Лисовская была очень серьезной, организованной, обладала неисчерпаемой энергией и источала спокойствие и душевное тепло. Дом ее содержался в образцовом порядке и был всегда открыт для друзей. Ей приходилось присматривать за двумя детьми, шалопаями и озорниками, притом что муж у нее был кутила, завсегдатай театров, ресторанов и казино.

Пани Лисовская вела хозяйство, следила за семейным бюджетом, прилежно посещала церковь и находила время для благотворительности и общественной деятельности. Супруг ее регулярно уходил в загул и неделями где-то пропадал, предоставив жене одной разбираться с проказами Тадека и его младшего братца.

С началом войны Лисовские быстро разорились. Имение конфисковали немцы, дома почти не приносили доходов. Пани Лисовская еле сводила концы с концами, продавая ценные вещи: украшения, картины, мебель. Дети, давно восхищавшиеся сумасбродным папашей и предоставленные теперь самим себе, быстро попали под дурное влияние и поддались тлетворной немецкой пропаганде, стремившейся развратить молодых поляков порнографией и азартными играми. Я узнал, что юный Тадек стал постоянным посетителем одного из тех постыдных заведений, которые немцы в изобилии открывали, преследуя свои цели, и что его подозревали в воровстве у собственных родителей.

Такие молодые люди представляли серьезную проблему. Средства подпольной системы образования были очень ограниченны, поэтому мы сосредотачивали усилия на честных, патриотически настроенных, готовых к борьбе ребятах, на которых вскоре могло бы опереться Сопротивление. А таких, как Тадек, вынуждены были оставлять в стороне, хотя как раз они больше всего в нас нуждались.

Если юноша или девушка каким-то образом компрометировали себя — наживались на чьей-то бедности, занимались шантажом, вымогательством или проституцией, —

дорога к подпольному образованию им была решительно закрыта. Для них это было трагично. А хуже всего то, что им объявляли бойкот сверстники, друзья детства. Понятно, что в результате они только укреплялись в дурных привычках и привязывались к дурной компании.

Примерно так получилось с Тадеком. Этот умный, подвижный, наделенный живым воображением парень опускался все ниже и ниже. Бывшие товарищи, с которыми он вместе учился или рядом жил, от него отвернулись. В ответ на их презрение он вел себя все более вызывающе и агрессивно. Мать тяжело переживала его выходки и упрекала себя за то, что упустила сына. Однажды, когда она корила себя при мне, я сказал:

— Вы ни в чем не виноваты. Все в доме держится на вас, одеть и прокормить непутевого мужа и детей — задача не из легких. Наоборот, я восхищаюсь вашим мужеством.

Пани Лисовская, совершенно поседевшая за последнее время, ответила:

— Меня нисколько не волнует, что будет с мужем и со мной. С нами все кончено — война нас растоптала. Но я бы хотела, чтобы мои сыновья боролись за новую Польшу и нашли бы в ней свое место.

Я прочитал в ее глазах немую просьбу о помощи. Пани Лисовская давно знала, что я связан с подпольем, но мы, по молчаливому согласию, никогда не касались этой темы. Однако любовь к Тадеку заставила ее отбросить щепетильность. Она внимательно посмотрела на меня, проверяя, не сержусь ли я, и, поскольку я оставался спокойным, решилась пойти дальше.

— Мне неловко досаждать вам, но я не могу иначе, — сказала она. — Я знаю, что вы участвуете в Сопротивлении… пожалуйста, не беспокойтесь… Я говорю об этом первый и последний раз.

— Не сомневаюсь, — искренне ответил я. — Я уверен в вашей верности и порядочности.

— Спасибо. Я хочу просить вас об одной вещи, Ян. Пожалуйста, не откажите…

— Вы что, хотите, чтобы Тадек вступил в Сопротивление? — растерянно спросил я.

— У нас в семье сильна патриотическая традиция. Мои предки проливали кровь во всех польских восстаниях. В 1830-м прадед был ранен и сослан в Сибирь на семь лет. Дед участвовал в восстании против царизма в 1863-м. И я хочу, чтобы традиция борьбы за свободу продолжилась. Я знаю Тадека, он копия своего отца. И это, конечно, обидно. Мне бы хотелось, чтобы он походил на деда. Стыдно обращаться к вам, но что же делать! Сейчас, когда Тадек изнывает от безделья и когда друзья от него

отвернулись, он выглядит хуже, чем есть на самом деле. Дайте ему шанс. И вы не пожалеете. Он не робкого десятка, очень уважает вас и будет выполнять все ваши приказания. Прошу вас…

Пани Лисовская была не из тех женщин, от которых можно отделаться пустыми обещаниями или красивыми словами. Я мягко ответил:

— Не думаю, что начальство позволит мне взять Тадека. У него дурная слава. Кроме того, это очень опасно. Если его примут, он может погибнуть.

— В моем роду многие умирали за родину, — медленно сказала пани Лисовская. — Смерть Тадека разобьет мне сердце, но я никогда не пожалею, что отправила его выполнять свой долг.

Перед такой просьбой невозможно было устоять. Я взял ее за руку:

— Хорошо, я сделаю все, что смогу. Пришлите Тадека завтра в полдень на берег Вислы к мосту Понятовского, я буду его ждать.

На другой день я встретился с Тадеком. Внешне он произвел на меня неприятное впечатление. Длинный развинченный парень, на вид старше своего возраста, с бледным помятым лицом и опухшими черными глазами.

Наверно, я заговорил с ним излишне назидательным тоном:

— Почему ты не следишь за собой? Можно подумать, неделю спал не раздеваясь. Стыдно!

Он стоял, явно смущенный, неловко переминаясь с ноги на ногу. Я смягчился и сказал не так строго:

— Давай-ка пройдемся, Тадек. Мне надо серьезно с тобой поговорить.

Прогулка была долгой. Я сказал ему о долге перед семьей и перед родиной. Нарисовал кровавую историю разделов Польши и ее борьбы против захватчиков. Объяснил, что если сопротивление прекратится, Польши как самостоятельного государства уже не будет. Исчезнет наша страна, исчезнет даже польский язык. Сравнил положение разделенной и сегодняшней, оккупированной, Польши. Большая ошибка, говорил я, считать, будто сопротивление — это только физическое противостояние. Гораздо важнее сохранить силу духа, устоять перед жестокостью врага, не поддаться на его уловки. Я напомнил ему о подвигах деда и прадеда. Сказал, что считаю его порядочным человеком и что он может рассчитывать на мою дружбу. Наконец, рассказал о нашем деле и о том, какое счастье служить ему.

Щадить его я не стал и прямо сказал, что такие молодые люди, как он, опасны для Польши, что они пятнают нашу честь в глазах союзников и могут «заразить» пагубным примером других. Пристыженный Тадек слушал, и я видел по его глазам, до чего

ему тяжело. Почувствовав, что с него достаточно, я обнял его за плечи и сказал:

— В общем, Тадек, я не собираюсь больше читать тебе нотации и в самом деле верю в тебя. Предлагаю тебе помогать нам в подпольной работе. Что скажешь?

Парень чуть не задохнулся от такого внезапного поворота. Глаза его заблестели.

— Вам не придется краснеть за меня, обещаю! — выпалил он. — Только дайте мне шанс.

Я засмеялся:

— Ладно-ладно. На сегодня хватит. Пойдем-ка лучше искупаемся. И запомни: твоя мама не должна знать о нашем разговоре.

Мы быстро разделись и бросились в мутную, прохладную речную воду. А когда вышли на берег и стали одеваться, я, для пущей убедительности и чтобы доказать Тадеку, что он теперь для нас почти свой, официальным тоном приказал:

— Завтра, ровно в десять часов, приходи в дом 26 по Пулавской улице. Будет рассматриваться твоя кандидатура, и, если она будет одобрена, ты принесешь присягу и станешь солдатом польской армии.

— Подпольной армии? — с замиранием духа спросил он.

— Да. У нас три армии: одна в Шотландии, другая на Ближнем Востоке, третья — подпольная — здесь.

Тадек вытаращил глаза:

— Я могу прийти к девяти… или даже к восьми…

— Главное, не опоздай к десяти, — сказал я.

На прощание я протянул ему руку, и он пожал ее изо всей силы.

В церемонии присяги не было ничего таинственного, и символика ее проста и понятна. Тадек должен был, держа в левой руке небольшое распятие, поднять правую и повторять за тем, кто принимал его присягу, торжественную клятву: «Клянусь перед Господом Богом и честным крестом Сына Его верно служить Родине и Свободе. Клянусь, что пожертвую всем, что имею, буду безоговорочно исполнять приказы начальников и хранить доверенные мне тайны. Да поможет мне Господь и защитит жертва Сына Его!»

Как только Тадек произнес слова клятвы, я сказал ему, что буду его начальником, что он должен во всем мне повиноваться и что предательство карается смертью. После чего мы обнялись.

Тадек с самого начала оправдал слова матери. Бурная жизнь в самых разных компаниях и самых разных местах Варшавы приучила его быстро принимать решения, лавировать и не

теряться. Кроме того, он был умен и выносliв. Поэтому из него вышел отличный связной. Первое его задание, к которому он отнесся так серьезно, будто от него зависела судьба всей Польши, заключалось в том, чтобы доставить письмо по одному адресу в предместье Новы-Сонча. В конверте лежали вырезки из немецких газет. Я предупредил его, что в этом маленьком городке все друг друга знают и новый человек сразу бросается в глаза, к тому же дом, куда его направляют, находится неподалеку от расположения немецких подразделений, преследующих местных партизан. И в завершение сказал, что добираться ему придется на свой страх и риск, поскольку разрешения на поездку по железной дороге мы не можем ему предоставить. Услышав это, он просиял, как будто его радовало все, что усложняло задачу. Тадек быстро справился с поручением и вручил мне конверт, в который был вложен положительный отзыв о его способностях, — испытание прошло успешно. Все это время я часто виделся с пани Лисовской. Она рассказывала, что сын меняется на глазах. Он стал спокойным, собранным и ходил, потешая мать, с таинственным и важным видом.

Но бесшабашность и тяга этого мальчишки к приключениям очень скоро стали доставлять неудобства. Иногда он доводил меня до бешенства. Однажды мы договорились встретиться на мосту Кербедзя, который круглосуточно патрулировался немцами. Мы должны были прийти с разных сторон. И вот, подходя, я вижу, что Тадек уже на месте, стоит, опершись на парапет, погруженный в чтение нашего «Информационного бюллетеня», а с другой стороны моста идут двое часовых.

Я тоже встал у парапета, чуть поодаль от него. Патруль прошел мимо, не обратив на паренька никакого внимания. Я исподтишка показал ему кулак и подошел поближе, чтобы хорошенько отчитать. Но Тадек подмигнул мне, приложил палец к губам и шепнул «тс-с!», указывая на солдат, которые еще не успели далеко отойти.

В другой раз он заключил пари с тремя другими ребятами-связными и, сидя в автобусе, открыто читал всю дорогу подпольные газеты. Я отругал его за то, что он всех нас подвергает опасности; раскаяние Тадека было таким искренним, что я снова его простил.

Но довольно скоро стало ясно, что работа связным уже не кажется Тадеку такой интересной. Он мечтал о приключениях поярче, однако признаться не решался, поэтому я первым завел об этом речь.

— Тебе, наверно, надоела нынешняя работа? — спросил я.

— Нет-нет, — ответил он довольно кисло. — Мне нравится.

— Но тебе бы хотелось чего-нибудь посерьезнее, порискованнее?

Он благодарно посмотрел на меня и выложил все, что думал:

— Конечно, то, что мы тут делаем, помогает борьбе с немцами, но я не вижу этого собственными глазами. Ношусь туда-сюда, а что происходит, понятия не имею. Хочется работать там, где я мог бы сам, лично, вредить немцам и видеть результаты, понимаете?

— Понятно, Тадек, — сказал я и улыбнулся. — Я постараюсь что-нибудь придумать.

Я поговорил с руководством о Тадеке. И его взяли в подпольное военное училище. Туда принимали юношей и девушек, желавших участвовать в военных акциях. Учили их тактике уличных боев, саботажу, диверсионным операциям, обращению с оружием и взрывчаткой, приемам психологического давления, воздействия на массовое сознание и методам ослабления морального духа оккупантов.

После примерно пятимесячного подготовительного периода самые способные направлялись на стажировку в партизанских отрядах — в горах, в лесах, на болотах. Из этих училищ выходило множество подпольщиков-специалистов, без которых нам было не обойтись.

Поначалу ни сам ученик, ни его родители не знали об истинной цели обучения. По официальной версии тайные классы, где занимались и вполне классическими предметами, существовали для того, чтобы отвратить молодежь от нацистской кампании по оглуплению. Нам не хотелось выказывать кому-либо недоверие, но иногда другого выхода не было, и немало учеников приходилось довольно скоро исключать.

В принципе такого парня, как Тадек, ни за что не взяли бы в училище, где были очень высоки требования к моральным и физическим качествам претендентов. Помогло мое заступничество и его собственные заслуги как связного.

Одновременно он вступил в организацию, которая называлась «Волчата» и идеально подходила к его характеру. Это было объединение молодежи под руководством «экспертов», ставившая своей задачей всячески дразнить, бесить и изводить немцев.

В основном именно ее члены писали несмывающимися красками «Отомстим за Освенцим», «Гитлер капут», «СС — бешеные псы» на стенах варшавских домов, трамваях, принадлежащих немцам автомобилях, захваченных ими особняках и даже прилепляли такие надписи им на спины. У немецких машин постоянно прокалывались шины, потому что

«волчата» усыпали дороги битым стеклом, резаной колючей проволокой и килограммами гвоздей.

Еще они развешивали повсюду карикатуры со смешными подписями, над которыми потешался весь город. Свора неутомимых чертенят много сделала для того, чтобы оккупантов окружало всеобщее презрение, а дух сопротивления не угасал. Когда осенью сорок второго года власти Генерал-губернаторства реквизировали у поляков все меховые и шерстяные вещи для отправки на Восточный фронт, «волчата» нарисовали на эту тему целую серию блестящих карикатур. Например, стоит унылый худющий немец, закутанный в женское горностаевое манто и с муфтой из чернобурки. А внизу подпись: «Наконец согрелся — теперь умирать за фюрера будет одно удовольствие».

Разумеется, в лучшие варшавские кафе, кинотеатры и гостиницы не пускали никого, кроме немцев. Поэтому везде висели намозолившие глаза таблички «Только для немцев». Так вот «волчата» украли огромное количество этих табличек, да еще и сами наделали таких же. И в одно прекрасное утро горожане увидели, что на сотнях фонарных столбов и деревьев красуются надписи «Только для немцев». Это имело особый смысл, если вспомнить, что немцы часто казнили своих жертв как раз на таких уличных виселицах.

Немцы разрушили все памятники, воздвигнутые в честь польских героев и великих событий в национальной истории. Поляки же сговорились демонстративно приносить цветы и свечи на опустевшие площади, как будто там все еще стояли монументы. Там даже молились. А «волчата» первыми возлагали цветы и венки к символическим подножиям. Так же, как на места массовых казней и к братским могилам.

«Волчата» не знали устали, фантазия их была неистощима, а все их проделки необычайно досаждали врагу и сразу приобретали широкую известность. Тадек Лисовский стал одним из этих лихих ребят[134].

В тот день, когда Тадеку пришло время отправляться в партизанский отряд, он, словно чувствуя себя в чем-то виноватым, принялся горячо благодарить меня за все, что я для него сделал. Под конец он попросил меня не говорить матери, в чем будет заключаться его новая работа, — пусть она думает, что он все еще при мне. Мне не очень нравилась эта идея, но Тадек меня уломал. Я понял, что он не хочет, чтобы мать тревожилась за него, узнав, каким опасным делом он теперь занимается. Мы расстались добрыми друзьями. «Я уверен, — сказал я, — что не услышу о тебе ничего, кроме хорошего, и что ты всегда будешь достойно выполнять свой долг». Тадек был растроган.

Больше мы не виделись.

Педагогический успех с Тадеком побудил меня испробовать свои учительские способности на ком-нибудь из своих юных родственников. Но опыт оказался не слишком успешным. И только одна кузина Зося вознаградила мои старания.

Ей было лет восемнадцать, отец ее — а мой дядя — в 1940-м году овдовел. Жили они скромно — дядя был мелким служащим, — Зосе приходилось вести хозяйство и взять на себя все материальные хлопоты.

Она была некрасивой, неловкой, угловатой, с соломенными волосами и землистым лицом. Но ее энергичность и живой ум заставляли забыть об этих недостатках. Несмотря на тяжелую домашнюю работу, она находила силы и время, чтобы посещать по вечерам подпольный лицей.

Система образования подпольного государства в сорок втором году, когда Зося получила свой аттестат зрелости, достигла максимальных успехов[135]. Только в Варшавском округе подпольное образование получали более восьмидесяти пяти тысяч детей и подростков. В тот год было выдано тысяча семьсот аттестатов зрелости.

Ученики тайно собирались у кого-нибудь на дому группами от трех до шести человек под разными предлогами: будто бы они пришли поиграть в шахматы, поработать или просто в гости. Большой опасности подвергались преподаватели. Дети любопытны, им трудно было помешать докопаться, как по-настоящему зовут их учителя, в какой школе он работал до войны, где он живет и т. д., — все то, что опасно было сообщать не только ребенку, но и взрослому. Одно неосторожное слово, вырвавшееся у ученика или родителя, обрекало учителя на пытки и смерть; немало педагогов попадало за свою столь полезную деятельность в гестапо.

Зося сдавала выпускные экзамены в сентябре сорок второго. И уже за месяц до намеченной даты ни о чем другом не говорила. Я с удивлением узнал, что уровень требований остался почти таким же, как и до войны. Зосе предстояло сдавать письменные и устные экзамены по польскому, английскому и латыни и еще устные по физике и математике.

Меня она подрядила в репетиторы по английскому. Мы занимались по вечерам, допоздна. Мне разрешили присутствовать на английском экзамене, поскольку я вскоре должен был ехать в Англию с докладом о Польше.

Перед началом экзамена председатель комиссии произнес небольшую речь, в которой напомнил ученикам, что всем им предстоит мужественно противостоять намерению нацистов

уничтожить Польшу.

Мне не хотелось долго ждать, поэтому я воспользовался минуткой, когда учитель чуть задремал, и передал Зосе записку, в которой написал, что буду ждать ее после экзамена у нее дома. Но в этот самый момент экзаменатор проснулся, и Зося страшно побледнела. Учитель бросил на меня укоризненный взгляд, взял у нее записку и прочел вслух. Пристыженный, я поспешил улизнуть.

Вечером, когда Зося вернулась, я спросил ее, какое она писала сочинение.

— Тема независимости в польской романтической литературе, — с воодушевлением сказала она. — Я накатала шестнадцать страниц, а могла бы и больше.

Я от души рассмеялся. Темы не менялись. В мое время давали такие же… Правда, ныне они приобрели новое звучание.

Зося успешно выдержала испытания. В качестве аттестата она получила обычную визитную карточку с псевдонимом учителя. На обратной стороне было написано:

> Благодарю за любезный визит 29 сентября 1942 г. Все прошло отлично. Вы рассказали мне много интересного. Браво.

Теперь Зося должна была бережно хранить драгоценную карточку. После войны в освобожденной Польше тысячи таких бумажек обменяют на официальные аттестаты. Я же, едва увидев карточку, загорелся желанием приобщить ее к своей коллекции подпольных документов. И стал как мог упрашивать племянницу:

— Зося, дорогая, отдай мне карточку, я тебе за это подарю после войны десяток секретных бумаг Делегатуры. Идет?

— С ума ты сошел! — возмутилась она.

— Ну погоди. Хочешь, прибавлю еще несколько приказов командующего АК и смертных приговоров, вынесенных немцам…

Зося перебила меня:

— Да ты не просто сумасшедший, но еще и негодяй!

Проблема молодежи, лишенной образования и падкой на соблазны, которые предлагали ей оккупанты, всегда волновала меня. За таких, как Тадек и Зося, я был спокоен. Воспитание и образование, которое они получили, и опыт работы в подполье заставили их рано повзрослеть и развили чувство ответственности. Но множество их сверстников в Польше и других странах, надолго прервавших учебу, внушают серьезные опасения. Это будет одна из самых главных проблем послевоенной Европы.

Глава XXVIII
Заседание подпольного парламента

Благодаря специфике деятельности, которой я довольно долго занимался в подпольном движении, я имел представление обо всей его структуре и в целом о положении дел в Польше. Главнокомандующий АК и глава Делегатуры приняли решение использовать эти знания иначе.

Они послали меня в Лондон, в распоряжение польского правительства в изгнании, чтобы через него связаться с властями союзников, в первую очередь англичан и американцев. Мне было поручено сообщить им то, что я знал, о нашей деятельности и обо всем, что здесь происходит. Приготовления к отъезду заняли несколько недель. Прежде всего нужно было раздобыть необходимые документы. Идти через Венгрию на этот раз не имело смысла — в Англию оттуда не попадешь. Лучше было попробовать добраться до Испании или Португалии через Францию и желательно с хорошими документами.

Достать бумаги, удостоверяющие личность, оказалось не так сложно. Я занялся этим сам. Опыт подпольной работы приучил меня больше полагаться на себя, чем на других, и я составил план, решив воспользоваться тем, что в Польше в то время было немало иностранных, в том числе французских, работников. Только в Варшаве на немцев работало более двух тысяч французов. Результат коллаборационистской политики французского правительства, охотно снабжавшего Третий рейх рабочей силой. Среди них были инженеры, техники и простые рабочие. С одним из таких техников, Полем Тьенпоном, я был знаком — случайно встретился с ним в семействе Бурдо, потомков осевших в Польше еще в XIX веке французов. Мы отлично поладили. Поль был веселый, смешливый малый, любитель хорошо пожить и поболтать, однако, когда надо, он умел держать язык за зубами. Кроме того, он не упускал случая урвать деньжат и торговал из-под полы чем попало: контрабандными продуктами из Франции и даже морфием и кокаином. В основном его клиентами были немцы, но бывало, что и Сопротивление по каким-то причинам прибегало к его услугам. На его жадность я и рассчитывал. Вообще, как я много раз убеждался, гораздо легче перехитрить того, кто почитает себя умником, чем простодушного, наивного парня.

Раз в три месяца каждому работавшему в Польше французу полагался двухнедельный отпуск, чтобы съездить домой.

Убедившись, что Тьенпон как раз скоро должен получить такой отпуск, я при новой встрече у друзей навел разговор на эту тему и пригласил его на следующий день пообедать в ресторане. Он радостно согласился.

В ресторан я пришел пораньше и попросил знакомого официанта проследить, чтобы рюмка у моего гостя не стояла пустой. Тот живо смекнул:

— Надо, чтоб он слегка окосел? Будет сделано!

Француз так и сиял, только что руки не потирал от удовольствия. Я спросил, чему он радуется:

— У вас такой счастливый вид, будто вы нашли золотую жилу.

Он засмеялся:

— Жилу не жилу, но все-таки! Приятель привез из Франции опиум. Немцы это дело любят. Можно неплохо заработать.

— А я-то хотел вам кое-что предложить, но раз вы теперь разбогатели…

— Э-э! Разве я сказал, что уже разбогател? Когда-нибудь — может быть. А пока и мелочью не побрезгую. Что за предложение?

— Мне нужно съездить на некоторое время в Париж. У меня там друзья…

— А я-то при чем? Я же не проводник.

— Вы скоро получите отпуск и разрешение на выезд. Если вы отдадите мне свои документы, я сменю фотографии и смогу уехать. Вы же отдохнете в одном имении под Люблином, а через две недели вернетесь на работу и заявите, что у вас украли документы в трамвае. За это полагается штраф в двести марок, который мы, разумеется, оплатим в дополнение к общей сумме вознаграждения. Согласны?

Француз, видимо, принялся соображать, насколько рискованна эта затея, и, поразмыслив, согласился. Сговорились на тридцать тысяч злотых.

Выходя из ресторана, Тьенпон взял меня под руку и сказал:

— Я не хочу знать, зачем вы едете во Францию и что собираетесь там делать. Меня это не касается. Думаю, вы не одобряете то, чем я занимаюсь. Но забудем об этом. Прежде всего, я француз. Может быть, плохой, глупый француз, но… ваше предложение я принял потому, что ненавижу немцев и готов помочь таким людям, как вы…

Я тут же сообщил своему начальству, какая возможность мне представляется. Поначалу эта идея не вызвала энтузиазма, но я сумел всех убедить и получил добро. Самая большая трудность состояла в том, чтобы сойти за француза. Язык я знал хорошо, но говорил с акцентом. На территории Генерал-губернаторства и

Германии бояться нечего — там я могу объясняться по-немецки. Этим языком я владел хуже, но для француза — я же выдавал себя за француза — сойдет. Однако по ту сторону границы любой настоящий француз с первого слова признает во мне иностранца. Единственный выход — говорить как можно меньше. Все остальное — подделка документов и прочее — для нас было просто детской игрой. Все документы, которые я должен был вывезти, в общей сложности около тысячи страниц, собирались сфотографировать. Микрофильмы займут места не больше, чем три спички, их спрячут в рукоятку бритвы и запаяют так прочно, что обнаружить тайник будет невозможно[136]. Я был совершенно спокоен. Все детали поездки тщательно продумывались. Время импровизаций прошло, теперь Сопротивление гораздо лучше заботилось о безопасности своих курьеров.

За несколько дней до отъезда моя связная принесла мне крохотную записку на тонкой бумаге, в которой говорилось, что через два дня я должен явиться на заседание Политического согласительного комитета, что там будут Грот и Равич и что за организацию заседания отвечает некто Ира, которая уже знакома с моей связной.

Грот[137] — псевдоним главнокомандующего АК, Равич[138] — главы Делегатуры.

Назавтра связная привела ту самую Иру. Это была крупная женщина с военной выправкой и унтерскими замашками. Даже не поздоровавшись, она отчеканила:

— Вы должны выйти из дома завтра утром, ровно в восемь. У подъезда будут ждать две связные: ваша и еще одна — она отведет вас в условленное место. При себе иметь безукоризненные документы. Никаких компрометирующих бумаг! Главнокомандующий и без того подвергается большому риску.

Мне совсем не понравился такой тон, и я съязвил:

— Благодарю за указания. Сам я бы никак не додумался.

Она даже не взглянула на меня и продолжала:

— Я буду дожидаться вас там, куда вас приведет вторая связная. Всю дорогу за вами будут наблюдать наши люди. Если мы убедимся, что за вами нет слежки, я отведу вас на заседание. Понятно?

— Так точно. Может, у вас заготовлена для меня новая биография?

— Этого не требуется! — отрезала она и ушла.

На другое утро в восемь часов связная ждала меня на ближайшем углу, вместе с какой-то пожилой женщиной. Она представила меня этой женщине, а сама ушла. Вторая связная оказалась приятной и неглупой, мы с ней добрались трамваями с

двумя пересадками до Жолибожа, вошли в высокое современное здание, поднялись на пятый этаж и позвонили два раза очень простым кодом: один звонок короткий и один длинный. Дверь открыла Ира. Впустив нас в квартиру, она связалась с кем-то по телефону и после короткого разговора соизволила взглянуть на меня:

— Готовы?

Я кивнул.

— Тогда вперед. Я пойду первой. Вы — в десяти шагах позади. Если что, вы исчезаете и вы меня не знаете. Ясно?

Мы вышли. Ира зашагала первой, не оборачиваясь и такими здоровенными шагами, что мне пришлось прибавить ходу, чтобы не потерять ее из виду Наконец она остановилась у костела и вошла в него. Через пару минут — я тоже. Костел был почти пуст. Ира сидела в третьем ряду скамеек. Еще несколько минут спустя она встала, не глядя, прошла мимо меня, направляясь вглубь храма, открыла какую-то дверь и исчезла. Я последовал за ней. Дверь вела в длинный сырой коридор, пройдя по которому мы вышли во двор частного дома. Ира вошла в дом, я за ней. Мы поднялись на третий этаж. Ира постучала в дверь. Открыл молодой человек среднего роста, спортивного сложения, с энергичным лицом.

— Привели Витольда? — спросил он Иру.

— Да, вот он.

— Вас никто не заметил?

— Нет, — ответила она и холодно продолжала: — Но могли бы. Надо было назначить другое место встречи. В это время дня мало кто ходит в костел. Когда выходишь через боковую дверь, привлекаешь внимание. Да еще этот нищий! Свежевыбритый! Кто поставил наблюдателем такого кретина? Сплошная любительщина!

Под этим градом упреков молодой человек опустил голову.

— Мы как раз собираемся выбрать другое место, — пробормотал он.

Ира коротко кивнула на прощание и вышла. Молодой человек облегченно вздохнул:

— Уж очень строга!

— Даже слишком! — подтвердил я. — Куда теперь?

— Иди за мной.

Мы миновали множество узких коридоров и комнатушек и остановились перед дверью в большой зал. Мой спутник вошел, а меня попросил подождать. «Он пришел», — услышал я его голос за дверью, и тут же он выглянул снова и позвал меня.

В зале за большим столом сидели люди, вершившие судьбы

Польши: глава Делегатуры, главнокомандующий Армией Крайовой, представители основных политических партий и руководитель администрации Делегатуры[139]. Всех их, кроме представителей Национальной партии и Партии труда, я хорошо знал. Эти двое вошли в состав Делегатуры недавно, заменив арестованных предшественников.

Лидер социалистов[140], с которым я уже не раз встречался, и главнокомандующий пошли мне навстречу, чтобы помочь освоиться. Главнокомандующий, высокий, пожилой, изысканно вежливый человек, отличался скупыми жестами и внушительной манерой говорить. Он дружески обнял меня за плечи и спросил:

— Когда вы уезжаете в Англию, молодой человек?

— Примерно через неделю, пан генерал, — почтительно ответил я.

— Все уже готово?

— Да, пан генерал Мне осталось только встретиться с еврейскими политическими лидерами и поговорить с представителями каждой партии.

Командующий усмехнулся:

— Ах, молодость! Вы твердо намерены ехать? В последний раз нам стоило большого труда вытащить вас из гестапо. Кстати, как ваши руки? Ну-ка покажите.

Я закатал рукава и вытянул руки. Вокруг нас столпились желающие посмотреть.

— Мне недавно сделали пластическую операцию, — сказал я, разглядывая свои руки, будто никогда их не видел. — Все зажило, остались только мелкие шрамы. Наши врачи отлично поработали.

Пожилой лидер социалистов с сомнением сказал:

— По-моему, отправлять вас с этим заданием неразумно. Эти шрамы могут вас выдать. Гестапо вас опознает. — Он помолчал. Пожал плечами и добавил: — А, к черту все это! Кто скажет, что опасно, а что нет? Приступим к делу.

Все расселись вокруг стола. Глава Делегатуры подождал, пока все утихнут, и начал заседание по всей форме:

— Имею честь открыть тридцать второе заседание исполкома Комитета. Я рад приветствовать главнокомандующего Армии Крайовой, которого позволил себе пригласить, учитывая важность рассматриваемого сегодня вопроса. Мы собрались здесь, чтобы вручить курьеру Витольду для передачи нашему правительству в Лондоне и тамошним представителям политических партий документы, касающиеся положении Польши и деятельности Сопротивления. Наш эмиссар должен также связаться с главами союзнических стран и рассказать им о происходящем в нашей стране. Разумеется, это будет сделано при посредничестве нашего

правительства, которое уже предупреждено телеграммой об отправке курьера и его маршруте. Лидеры партий передадут Витольду свои документы, которые он вручит соответствующим представителям в Лондоне при личной встрече. — Он повернулся ко мне и, пристально глядя мне в глаза, с нажимом сказал: — Мы уверены, что наш эмиссар выполнит возложенную на него миссию с полной беспристрастностью, вручит все доверенные ему документы строго по назначению, независимо от его собственных убеждений. Сегодня он получит официальные инструкции и мы изложим ему нашу точку зрения на важнейшие политические проблемы. Информация военного характера идет по другим каналам.

Стенограмму этого заседания потом зашифровали и микрофильмировали. Она должна была послужить основой моего доклада в Лондоне. Выступающие говорили спокойно, с расстановкой. Они понимали, что их слова и мнения станут решающими в глазах лондонских властей, отразят чувства и чаяния оккупированной Польши и определят дальнейшую политику правительства.

— Нужно еще больше сплотить поляков… Коалиционное правительство должно представлять весь народ… Ни одна партия не имеет права снимать с себя ответственность за действия и политику правительства… Преемственность польского государства не должна прерываться… Преемственность государства не означает преемственности институтов… Новая Польша будет демократической… Традиция парламентаризма, которая возродилась во время Сопротивления, будет основой новой Польши… Политические партии сообща борются с оккупантами и поддерживают правительство, но у них разные программы, и они хотят сохранить эти различия… В новой, свободной Польше свободный парламент, выбранный на всеобщих свободных выборах, будет определять общественные институты, политическую и социальную структуру государства… Эти выборы покажут истинный расклад политических сил и степень поддержки населением каждой из партий.

Воля польского народа к сопротивлению не ослабевает, он по-прежнему готов идти на жертвы… Надо любой ценой отстаивать непримиримое отношение к оккупантам… В Польше не было и не будет своего Квислинга… Случаи предательства и сотрудничества с врагами крайне редки, и все они неотвратимо караются… Предателей безжалостно уничтожают… Правительство в изгнании должно понимать, каким тяжелым испытаниям подвергается страна… Оно должно всячески помогать соотечественникам и призывать на помощь

правительства союзников… Эмиграция должна забыть о политических амбициях и прекратить все распри… Участь эмигрантов не лучше и не хуже участи оставшихся в Польше… Эмиграция должна участвовать в борьбе союзников за победу… Когда после войны эмигранты вернутся на родину, они смогут применить накопленный на Западе опыт.

Пусть союзники знают: поляки возлагают на них надежду… Все их заявления о Польше принимаются тут всерьез. Когда Запад говорит: «Весь мир восхищается несгибаемым мужеством поляков перед лицом врага и никогда не забудет о нем», поляки так и понимают, что весь мир восхищается их мужеством и никогда не забудет о Польше…

Заседание продолжалось несколько часов. В заключение слово взял Грот. Он подчеркнул важность доставки в Польшу как можно большего количества оружия и боеприпасов и заверил, что все оно пойдет в ход — каждая граната нанесет максимальный урон противнику.

После этого заседание закончилось, и участники его стали расходиться по одному, в строго установленном порядке.

В Лондон была отправлена шифровка:

> Курьер выезжает в ближайшее время. Маршрут: Германия, Бельгия, Франция, Испания. Во Франции и Испании он пробудет по две недели. Предупредите все центры связи во Франции и всех представителей союзников в Испании. Пароль: «Я приехал к тете Зосе». Имя курьера — Карский[141].

Глава XXIX
Гетто

Перед отъездом из Польши мне, по приказанию представителя польского правительства в Лондоне и командующего Армией Крайовой, устроили встречу с двумя людьми, в прошлом влиятельными лицами в еврейской общине, которые возглавляли еврейское сопротивление. Один из них представлял сионистскую организацию, другой — Еврейский социалистический союз, Бунд[142].

Встреча проходила в сумерках в огромном полуразрушенном пустом доме в варшавском районе Грохов. Одно то, что бундовец и сионист, несмотря на все разногласия, явились вместе, уже о многом говорило. Это означало, что документы, которые они собирались передать через меня польскому правительству в изгнании и союзникам, не касались политики и исходили от всей общины. В них содержались сведения, относящиеся ко всему еврейскому населению Польши, и выражались чувства, а также излагались просьбы и напутствия всего народа, находившегося на краю гибели.

Не передать словами, сколь ужасающе было то, что я сначала услышал там, в пустом доме, а потом увидел собственными глазами в гетто, куда меня отвели, чтобы я убедился в правдивости этих рассказов. Я знаю историю. Много читал о разных народах, политических системах, социальных доктринах, завоеваниях, гонениях и истреблениях. Но знаю и то, что никогда в истории человечества, нигде и никогда не случалось ничего хотя бы отдаленно похожего на то, что сделали с польскими евреями.

Никогда не забуду тех двоих — они воплощали страдания и отчаяние целого народа. Оба жили вне гетто, но постоянно там бывали, у них имелись способы входить и выходить оттуда. Впрочем, как я вскоре узнал на собственном опыте, это было не так уж трудно. В гетто они были самими собой и ничем не отличались от других его обитателей. А на «арийской» стороне преображались, чтобы не вызывать ни малейшего подозрения. Иначе одевались и иначе держались. Становились другими людьми. Словно актеры, которым приходится играть одновременно две взаимоисключающие роли. И каждый раз им нужно было следить за собой, чтобы не выдать себя речью не на том языке, нечаянным жестом, поступком. Малейшая ошибка могла стоить жизни.

Бундовскому лидеру это вроде бы давалось довольно легко. У него была внешность типичного поляка: светлые глаза, румянец, большие усы. Такой элегантный господин лет шестидесяти. До войны он был адвокатом и специализировался на запутанных уголовных делах. Теперь на арийской стороне — владельцем магазина бытовой химии и стройматериалов. Все звали его «паном инженером», уважительно к нему относились, ценили его общество, приглашали в гости[143]. И только когда он повел меня в гетто, я понял, чего стоит ему эта комедия. Куда девался его уверенный, респектабельный вид! В одно мгновение благовоспитанный польский инженер исчез, превратившись в одного из тысяч несчастных изможденных евреев, которых терзали и зверски убивали нацистские палачи.

Сионисту было едва за сорок. Ему, с его ярко выраженными семитскими чертами, было гораздо труднее замаскироваться. Он производил впечатление совершенно измученного человека, который с трудом держит себя в руках[144].

Первое, что я тогда ясно осознал, была полнейшая безнадежность положения польских евреев. Мы, поляки, переживали войну и оккупацию. А для них наступил конец света. Бежать ни эти двое, ни их товарищи никуда не могли. Однако это была только одна из сторон трагедии, одна из причин их отчаяния. Они не боялись смерти, принимали ее как что-то почти неизбежное, но все усугублялось горькой уверенностью, что в этой войне для них нет никакой надежды на победу или хоть на возмездие — надежды, которая помогла бы смириться с неизбежной смертью. Именно с этого начал сионист.

— Вы, поляки, — счастливые люди. Конечно, многие из вас страдают, многие умирают, но все-таки ваш народ выживет. После войны Польша восстановится. Отстроятся города, зарубцуются раны. Эта страна, которая и для нас была родиной, восстанет из моря слез, страданий и унижений. Только нас, евреев, в ней уже не будет. Весь наш народ исчезнет. Гитлер проиграет войну против всего человечества, добра и справедливости, но нас он победит. «Победит» — это еще не то слово. Он просто перебьет нас[145].

Это был страшный вечер. Мои собеседники тяжелыми шагами мерили комнату, освещенную одной-единственной свечой — больше мы не могли себе позволить; тени их метались по стенам. Я сидел на сломанном кресле, которому одну из ножек заменяли два положенных друг на друга кирпича. Сидел не шевелясь — не столько боялся упасть, сколько окаменел от того, что слышал. Наконец сионист не выдержал и разрыдался:

— Зачем я все это говорю? Зачем еще живу? Пошел бы лучше

к немцам и признался, кто я такой. Когда они истребят всех евреев, кому будут нужны бундовцы, сионисты, раввины! Что толку говорить все это вам? Ведь никто в мире не может этого понять! Да я и сам… я сам не понимаю!

Бундовец как старший попытался его успокоить:

— У нас мало времени, а обсудить надо многое. Не будем отклоняться от главного.

Секунду все молчали. Потом, сделав над собой усилие, сионист прошептал:

— Извините…

Я тоже с трудом сохранял спокойствие.

— Я понимаю ваши чувства. И постараюсь сделать для вас все, что смогу. Я отправляюсь в Лондон с миссией от польского Сопротивления. Весьма вероятно, что у меня будет случай выступить перед представителями союзнических властей.

— Правда? — с надеждой воскликнул сионист. — Вы думаете, вас допустят к Черчиллю и Рузвельту?

— Не знаю. Но почти наверняка буду говорить с кем-нибудь из их окружения. В Лондоне наше правительство представит меня совершенно официально. И миссия моя — официальная. В ее рамках я намерен передать ваше воззвание всему миру. И я это сделаю. Что вы хотите, чтобы я сказал от имени евреев?

Первым отозвался представитель Бунда:

— Мы хотим, чтобы польское правительство в Лондоне и правительства союзников поняли, что мы беззащитны перед злодеяниями нацистов. Уничтожение евреев — это факт. И никто в Польше не в силах нам помочь. Польское Сопротивление может спасти лишь немногих. Основную массу оно не спасет. И не остановит истребление. Немцы не собираются превращать нас в рабов, как поляков и другие завоеванные народы. Они хотят уничтожить всех евреев. Вот в чем разница.

— Этого-то и не понимают в мире. И мы никак не можем объяснить. Они там, в Лондоне и Вашингтоне, наверняка считают, что истеричные евреи всё преувеличивают, — нервно прибавил сионист.

Я молча кивнул.

— Мы все погибнем, — продолжал бундовец. — Или выживет горстка. Три миллиона польских евреев обречены на уничтожение. Как и все другие, свезенные со всей Европы. Ни польское, ни тем более еврейское Сопротивление ничего не могут сделать[146]. Так что вся ответственность ложится на союзников. Только извне можно оказать евреям действенную помощь.

Вот это трагическое послание я должен был передать свободному миру. И я знал, что к тому времени, когда два

измученных человека мне его передавали, нацисты уже успели уничтожить 1 850 000 евреев.

Для меня заранее приготовили подробное донесение о смертности евреев в Польше. Я попросил кое-что уточнить:

— Вы можете сказать хотя бы примерно, сколько обитателей гетто убито?

— Это можно вычислить довольно точно: число убитых почти полностью совпадает с числом депортированных, — ответил сионистский лидер.

— Вы хотите сказать, что все депортированные убиты?

— Все до единого, — подтвердил бундовец. — Немцы, разумеется, это отрицают и стараются скрыть. Даже теперь, когда уже нет никаких сомнений, люди продолжают получать успокоительные письма от своих родных и друзей, о чьей смерти доподлинно известно: там написано, что они здоровы, работают, едят мясо и белый хлеб. Но мы знаем всю правду и можем устроить так, чтобы вы сами все увидели воочию.

— Когда начались депортации?

— Первые распоряжения поступили в июле. Немецкие власти требовали от гетто по пять тысяч человек в день. Их якобы вывозили из Варшавы на работы. А на самом деле отправляли прямо в лагеря уничтожения. Когда инженер Черняков[147], глава юденрата, получил приказ собирать по десять тысяч «работников» в день, он покончил с собой. Потому что знал, что это значит.

— А сколько всего человек «депортировано»?

— Более трехсот тысяч. Остается чуть больше ста тысяч, но депортации продолжаются.

Я похолодел. Был октябрь 1942 года. За два с половиной месяца в одном только варшавском гетто нацисты совершили триста тысяч убийств!

Об этом я должен был сообщить всему миру.

Мои новые знакомые предложили провести меня в гетто, чтобы я собственными глазами увидел картину гибели целого народа. Свидетельству очевидца поверят больше, чем рассказу с чужих слов. При этом они предупредили, что если я соглашусь, то подвергну риску свою жизнь, а жуткие сцены, которые я там увижу, будут преследовать меня до конца моих дней. Я сказал, что согласен.

Вторая встреча состоялась там же, где и первая. Говорили о нашем «походе» в гетто и о том, как мне лучше рассказать о положении евреев, когда я попаду в Лондон. Под конец я спросил, что отвечать на вопрос: как же им помочь? Мои собеседники смотрели на вещи с горестной трезвостью. Прекрасно понимали, что большая часть их предложений нереализуема, но высказать

их нужно, поскольку ничто другое не прекратит страданий еврейского народа.

— Немцы понимают только язык силы и принуждения, — начал сионист. — Надо безжалостно бомбить их города, сбрасывать при каждой бомбардировке листовки, рассказывающие немцам об участи польских евреев, и обещать, что то же самое ждет всю немецкую нацию во время и после войны. Мы не призываем убивать мирное население, но такая угроза — единственное средство остановить зверства. Страх за свою жизнь заставит жителей Германии повлиять на своих главарей, чтобы те отказались от преступной политики. Вот и все, чего мы хотим.

— Мы знаем, — продолжил лидер Бунда, — что такой план может быть отвергнут, потому что он не укладывается в представления союзников о методах ведения войны. Но ни евреи, ни те, кто хочет им помочь, не должны рассматривать происходящее только с военной точки зрения. Скажите правительствам союзников, что, если они действительно хотят нам помочь, они должны официально заявить немецким властям, что продолжение расправы навлечет страшную кару на немецкий народ и закончится последовательным уничтожением всей Германии!

— Я понимаю, — сказал я, — и приложу все усилия, чтобы и они вас поняли.

— Скажите еще вот что, — сказал сионист. — Гитлер провозгласил, что немцы — все немцы, где бы они ни жили, — составляют одну расу, национальное и политическое целое. Он объединил их в единой армии, призванной завоевать мир и создать «новую цивилизацию». И заявил, что в этой цивилизации нет места евреям и их нужно истребить. Это беспрецедентное явление в истории, и реакция на него тоже должна быть беспрецедентной. Пусть власти союзников отдадут приказ публично казнить всех немцев, где бы они ни обитали: в Америке, в Англии, в Африке — везде! Вот о чем мы просим.

— Странная идея! — воскликнул я. — Такая просьба только удивит и ужаснет тех, кто хотел бы вам помочь.

— Разумеется! Думаете, я не знаю? Мы потому и просим, что рассчитываем вызвать возмущение. Чтобы мир осознал, что с нами происходит, с каким преступлением и с какими преступниками он столкнулся. Насколько безнадежно наше положение. Победа союзников через год, два или три ничем нам не поможет… потому что нас уже не будет.

Они замолкли, словно давая мне время проникнуться всем ужасом этой истины. Молчал и я — что скажешь перед лицом

величайшей трагедии!

— Но этого не может быть! — вдруг закричали они в один голос, потрясая кулаками, словно угрожая всем, кто находится по другую сторону баррикады. — Не может быть, чтобы весь мир, все демократические западные страны оставили нас вот так умирать! Если спасают американских и английских подданных, то почему нельзя организовать массовую эвакуацию пусть бы только еврейских детей?! еврейских женщин?! больных и стариков?! Почему союзники не предложат обменять их на пленных? или на деньги? Почему не хотят выкупить жизни хоть нескольких тысяч польских евреев, чтобы было кому продолжить род?

— Но как? Как это сделать? Разве можно давать деньги врагу? Обменивать мирное население на немецких военнопленных? Гитлер тут же пошлет их на фронт! Это противоречит всем принципам ведения войны!

— Как всегда! Мы только и слышим: «противоречит принципам», «противоречит стратегии»! А нельзя ли приспособить стратегию к реальным условиям? Условия диктует Гитлер. Разве мир не видит его «стратегию»? Почему же он ее принимает?

Ответа я не знал. Точнее, не хотел знать. И только спросил:

— Вы хотите что-нибудь передать еврейским лидерам в Англии и Америке? Возможно, я увижусь и с ними. Наверняка у них есть свои соображения о ходе войны. Могу я стать для них вашим представителем?

Бундовец подошел ко мне и с такой силой сжал плечо, что мне стало больно:

— Скажите им, что о политике и дипломатии пора забыть. Скажите, что надо потрясти весь мир до основания, чтобы он наконец проснулся! Скажите, что они должны найти в себе силы и мужество пойти на жертвы, соизмеримые по тяжести с муками, которые терпит наш гибнущий народ. Они не понижают. Цели и средства немцев не имеют прецедентов в истории. Реакция демократических стран тоже должна быть беспрецедентной, они должны прибегнуть к каким-то небывалым способам противодействия. Иначе их победа будет неполной, только военной — немцы успеют довести до конца свою разрушительную программу. — Он замолчал, отпустил мое плечо и через мгновение продолжил, но уже не так порывисто, взвешивая каждое слово: — Скажите им, что они должны связаться с влиятельными лицами и органами власти в Англии и Америке. Пусть потребуют твердых обещаний, что будут предприняты серьезные меры для спасения еврейского народа. А чтобы вырвать такие обещания, пусть устраивают голодовки в публичных

местах, пусть умрут мучительной смертью на глазах всего мира. Может, хоть это разбудит общественное сознание.

Меня прошиб холодный пот. Я хотел встать, но сионист жестом удержал меня:

— Еще одно обстоятельство. Мы не хотели посвящать вас в это, но при нынешнем положении уже не имеет смысла скрывать. Мы требуем от наших заграничных братьев решительных шагов и жертв вовсе не из жестокости. Мы разделим с ними эти жертвы. Варшавское гетто обречено, но долгой мучительной смерти мы предпочтем смерть в бою. Мы объявим войну Германии — заведомо безнадежную, какой еще не бывало на свете.

Тут резко встал бундовец — видимо, его товарищ сказал что-то лишнее.

— Мы действительно собираемся организовать оборону гетто, — проговорил он очень медленно. — Не потому, что верим в успех, а чтобы весь мир увидел эту неравную борьбу и чтобы это послужило ему укором и примером. Мы ведем переговоры с командованием Армии Крайовой о получении необходимого оружия. И если получим, то в ближайшие дни немцев ждет кровавый сюрприз[148].

— Вот тогда и посмотрим, — заключил сионист, — могут ли евреи не только страдать и погибать, как повелел Гитлер, но умирать с оружием в руках.

Через два дня я отправился в варшавское гетто в сопровождении лидера Бунда и одного бойца еврейского Сопротивления. Разумеется, немцы выбрали для гетто самый нищий район города. Убогие дома в два-три этажа. Узкие, плохо вымощенные улочки. Еще в сентябре 1939 года немецкие бомбы пробили большие бреши в рядах трущоб — там и тут попадались горы обломков. Это гиблое место, откуда вывезли всех «арийцев», обнесли кирпичной стеной высотою около трех метров и согнали сюда более четырехсот тысяч евреев.

На мне была потрепанная одежда и кепка, надвинутая до самых глаз. Я старался казаться как можно меньше ростом. Рядом со мной шли двое типичных местных обитателей — в лохмотьях и еле живые от голода. Мы проникли в гетто через тайный ход.

Снаружи почти вдоль всей стены гетто широкой полосой тянулся пустырь. Один из стоявших там домов был построен так, что входили в него с арийской стороны, а дверь одного из подвалов вела прямо в гетто. Этот дом на Мурановской улице позволял многим евреям поддерживать связь с внешним миром. Если соблюдать осторожность и хорошо ориентироваться в подвальном лабиринте, это было сравнительно легко. Дом, точно

мифическая река Стикс, отделял мир живых от мира мертвых. Теперь, когда варшавского гетто больше нет, когда все оно, как и обещали мои друзья, разрушено во время героической обороны, я могу рассказывать об этом доме и его подвалах, ни на кого не навлекая опасности, тем более что проход больше ни для чего не нужен.

Надо ли описывать варшавское гетто после всего, что уже о нем сказано? Что это было — кладбище? Нет, поскольку жизнь в телах здешних обитателей еще теплилась — они двигались или даже лихорадочно метались, но ничего человеческого, кроме кожи, глаз да голоса, в этих ходячих скелетах не осталось. Всюду голод, страдания, смрад разлагающихся трупов, душераздирающие стоны умирающих детей, отчаянный крик народа, изнемогающего в безнадежной, обреченной на поражение борьбе за жизнь.

Пересечь стену значило попасть в другой мир — даже в самом страшном сне не могло бы привидеться ничего подобного. Нигде ни метра свободного пространства. Пока мы с трудом пробирались по грязи среди развалин, вокруг нас сновали в поисках чего-то или кого-то тени, когда-то бывшие мужчинами и женщинами, с горящими голодными глазами.

Казалось, всё и вся тут находится в постоянном движении. Вот старик с остекленевшими глазами прислонился к стене, но продолжает трястись, словно какая-то посторонняя сила управляет его телом. Названия улиц, лавок и учреждений написаны старинными еврейскими буквами. Делать надписи на немецком и польском языках внутри гетто запрещалось, из-за этого многие жители не могли прочитать таблички и вывески. Время от времени встречались упитанные немецкие полицейские, которые в толпе исхудалых людей казались распухшими. Каждый раз при виде одного из них мы ускоряли шаг или переходили на другую сторону, как будто боялись заразиться.

На нашем пути попалось жалкое подобие скверика: относительно чистый пятачок, где чудом уцелели с полдюжины деревьев почти без листьев и островок зеленой травы. Тут было полным-полно народу. На скамейках тесно сидели матери, кормящие грудью чахлых младенцев. Дети постарше, у которых можно было пересчитать все кости, играли, сбившись в кучку.

— Играют перед смертью, — сказал мой спутник слева сдавленным голосом.

— Да эти дети вовсе не играют! — вырвалось у меня. — Они только делают вид.

Вдруг мы услышали мерный звук шагов. К нам приближалась группа молодых парней. Они шли строем по середине улицы, под

охраной полицейских. Одежда на них была грязная и драная, но сами они выглядели не такими хилыми и голодными, как все остальные. Однако, хоть и более здоровые на вид, они походили на роботов. Шли деревянным шагом, с застывшими от усталости лицами, уставившись блестящими глазами прямо перед собой и словно не видя ничего вокруг.

— Этим повезло, — сказал бундовец. — Немцы сочли, что они еще могут быть полезными — чинить дороги и железнодорожные пути. Пока у них хватает сил работать, их не трогают. Все им завидуют. Нам удалось спасти сотни людей: мы достали им поддельные документы, удостоверяющие, что раньше они занимались чем-то похожим. Но долго это не продлится.

По пути мы видели множество трупов, они валялись на земле, раздетые догола.

— Что это значит? — спросил я у нашего проводника. — Почему они голые?

— Когда еврей умирает, — ответил он, — родственники раздевают его, а тело выбрасывают на улицу. Чтобы его похоронить, пришлось бы платить немцам. А цена так велика, что это никому тут не по карману. Ну, а одежда может пригодиться. Каждая тряпка на счету.

Меня пробрала дрожь. На ум пришли слова, которые я часто слышал, но никогда прежде до конца не понимал: *Ecce homo* — се человек.

Тут я заметил старика, который шел, шатаясь и держась за стены, чтобы не упасть. Я сказал:

— Что-то совсем не видно стариков. Они что, целый день сидят по домам?

Ответ прозвучал так, словно голос проводника исходил из могилы:

— Просто их больше нет!.. Их увезли в Треблинку! Может, они уже на небе? Немцы — народ практичный. Тех, у кого еще осталась физическая сила, используют на принудительных работах. Остальных планомерно уничтожают. Сначала больных и стариков, потом неработоспособных, потом тех, чьи профессии не имеют прямого отношения к военным нуждам, и, наконец, тех, кто сейчас работает на заводах и ремонте дорог. А в последнюю очередь — евреев-полицейских, которые губят соплеменников, надеясь спасти свою шкуру. Но всех, всех нас ждет одно и то же! Всех отправят на смерть!

Он говорил глухо и бесстрастно.

Внезапно откуда-то донеслись крики, и вокруг началась паника, женщины в скверике хватали детей и бежали к ближайшим домам.

Спутники потянули меня за руки. Я не видел и не понимал, что происходит. Со страху подумал: может, меня разоблачили? Меня затолкали в первый же попавшийся подъезд.

— Быстро, быстро! Вы должны это видеть! И рассказать всему миру! Скорей!

Мы взбежали на последний этаж. Я услышал выстрел. Мои товарищи постучали в одну из дверей. Дверь приоткрылась, показалось бледное, изможденное лицо.

— Ваши окна выходят на улицу? — спросил бундовец.

— Нет, во двор. А что?

Бундовец с досадой захлопнул дверь и принялся кулаком колотить в противоположную. Открыл какой-то мальчик. Бундовец отпихнул его, так что тот, испугавшись, с криком отбежал назад, в комнату. Меня подтолкнули к окну и велели смотреть на улицу сквозь занавеску.

— Сейчас вы кое-что увидите. Охоту. Не увидь вы это собственными глазами, ни за что бы не поверили.

И я увидел. Посреди улицы стояли двое юнцов в форме гитлерюгенда. Оба без головного убора — светлые волосы блестели на солнце. Круглолицые, румяные, голубоглазые — воплощение бодрости и здоровья. Они смеялись, болтали, шутливо пихали друг друга — им было весело. Младший вынул из бокового кармана револьвер, и только тогда до меня дошло, в чем дело. Жадно осматриваясь, как мальчишка на ярмарке, юнец выискивал глазами цель.

Я проследил за его взглядом. Улица была пуста. Юнец смотрел куда-то, что было вне моего поля зрения. Вот он поднял руку, тщательно прицелился. Раздался выстрел, звон разбитого стекла и чей-то предсмертный вопль.

Стрелявший радостно вскрикнул. Приятель похлопал его по плечу и что-то сказал — видимо, поздравил с удачей. Они еще немного постояли, улыбаясь довольно и нагло. А потом под ручку зашагали прочь, точно возвращались со спортивного соревнования.

Я замер, приникнув к стеклу, от ужаса у меня отнялись ноги и язык — я не мог сделать ни шагу, не мог произнести ни слова. В комнате стояла тишина. И мне казалось, что малейший шорох, малейшее движение способны спровоцировать новую сцену, подобную той, что только что разыгралась на моих глазах.

Я стоял, потеряв всякое представление о времени, пока кто-то сзади не тронул меня за плечо. Я вздрогнул и обернулся. Это была хозяйка квартиры, в тусклом свете ее исхудавшее лицо казалось белым как мел. Она заговорила, выразительно жестикулируя:

— Вы пришли на нас посмотреть? Это никому не нужно! Уходите. Бегите. Не мучайте себя больше.

Оба моих спутника неподвижно сидели на колченогой кровати, обхватив голову руками. Я подошел к ним и сказал, с трудом ворочая языком:

— Пошли. Уведите меня. Я страшно устал. Больше не могу. Я еще приду в другой раз.

Они встали, не говоря ни слова. Так же молча мы спустились по лестнице. На улице я едва не пустился бегом и так, быстрым шагом, дошел до самого выхода из гетто. Спешить было некуда, но я испытывал желание вдохнуть чистого воздуха, попить свежей воды, а здесь все вокруг казалось зараженным гниением и смертью. Я старался ни к чему не притрагиваться. И даже дыхание сдерживал. Предложи мне кто-нибудь в этом мертвом городе стакан воды — я отказался бы, даже если бы умирал от жажды. В подвале на Мурановской мы переоделись, а потом бундовец и я вернулись на арийскую сторону, а наш провожатый остался.

Через два дня я снова отправился в гетто и три часа с теми же спутниками ходил по улицам этого ада, чтобы детально все запомнить. Я собственными глазами видел смерть ребенка, агонию старика, видел, как евреи-полицейские избивали дубинками старуху. Перед самым уходом из «запретного квартала» мы зашли в одну квартиру попить воды. Пожилую хозяйку, видимо, предупредили о нашем приходе. Она не жаловалась, не плакала. А воду подала мне в хрустальном бокале — возможно, это был последний ценный предмет, который у нее оставался.

О том, что видел в гетто, я рассказал в Англии и Соединенных Штатах, довел это до сведения крупных государственных деятелей. Разговаривал с еврейскими лидерами в Европе и Америке. Поведал все нескольким писателям с мировой славой: Герберту Уэллсу, Артуру Кестлеру, членам британского и американского Пен-клубов, чтобы они пересказали это с большей силой и талантом, чем я.

В Лондоне, по прошествии пяти недель, заполненных встречами и докладами, так что я был занят с девяти утра до двенадцати ночи, мне наконец сообщили, что меня желает видеть Шмуль Зигельбойм, лидер партии Бунд за границей и член Национального совета нашего правительства.

До 1940 года он оставался в Польше и работал в еврейском подполье. Входил в совет варшавской еврейской общины, и одно время, насколько я знаю, немцы держали его в заложниках. А

потом он уехал в Лондон и был уполномочен Бундом представлять в польском правительстве в изгнании еврейских социалистов.

Встреча была назначена на 2 декабря 1942 года недалеко от Пикадилли, в помещении польского Министерства внутренних дел. Это огромное здание, и я не без труда отыскал указанную мне комнату на пятом этаже. Зигельбойм ждал меня, сидя за простым письменным столом. Вид у него был утомленный. Типичный еврейский лидер, с пронзительным настороженным взглядом пролетария, поднявшегося до вершин власти. Должно быть, в молодости ему пришлось нелегко.

— Что вы хотите от меня узнать? — спросил я его.

— Все, что касается евреев, друг мой. Я сам еврей. Расскажите мне, что вам известно.

Я начал свой рассказ. Зигельбойм слушал внимательно, жадно, он подался ко мне, упираясь руками в колени и широко раскрыв глаза. Он хотел знать все до мельчайших подробностей: в каком состоянии были дома, как выглядели дети, что дословно сказала мне женщина, положившая руку мне на плечо после зрелища «охоты». Он спрашивал, какое у меня осталось впечатление от представителя Бунда: как он был одет, как говорил, очень ли был взволнован? Попросил описать валяющиеся на улицах гетто трупы. Я старался как мог и к концу беседы выбился из сил. Зигельбойм, казалось, устал еще больше, глаза у него буквально вылезали из орбит. Пожимая мне на прощание руку, он посмотрел мне в глаза и сказал:

— Пан Карский, я сделаю все, чтобы помочь им. Все, что смогу. Выполню все, о чем они просят. Вы верите мне?

Я ответил довольно сухо и нетерпеливо. Все эти беседы и интервью меня уже так измотали!

— Конечно верю. Не сомневаюсь, что вы сделаете все, что сможете. О господи, каждый из нас делает все, что может!

В общем-то, я думал тогда, что Зигельбойм просто хвастает или обещает больше, чем может сделать. Я был раздражен. Он задал мне столько бесполезных вопросов… Верю ли я? Какая разница, верю я ему или нет! Я и сам не знал, чему верил, а чему нет. Хватит уже мне докучать. У меня и своих забот по горло…

Прошло несколько месяцев, я жил в таком бешеном ритме, что и думать забыл о Зигельбойме. Но 13 марта 1943 года произошло событие, которое стало эпилогом нашей встречи. До самой смерти я буду помнить этот день. Я ненадолго присел отдохнуть у себя в номере на Долфин-сквер, как вдруг зазвонил телефон. Я не спешил отвечать и только после трех-четырех звонков неохотно снял трубку. Звонил знакомый чиновник из

Министерства внутренних дел:

— Пан Карский? Мне поручено сообщить вам, что Шмуль Зигельбойм, член Польского национального совета и представитель Бунда в Лондоне, вчера покончил с собой. Он оставил письмо, в котором написал, что сделал все, что мог, чтобы помочь польским евреям, но ничего не вышло, что все его братья погибли и он присоединяется к ним. Он отравился газом.

Я повесил трубку.

В первый момент я ничего не почувствовал, но потом меня охватила невыносимая тоска, к которой примешивалось чувство вины. Мне показалось, что это я, пусть опосредованно и невольно, подписал смертный приговор Зигельбойму. Я подумал, что он мог счесть мой ответ на его последний вопрос холодным и черствым. До чего же тупым, циничным и жестоким стал я в своих суждениях, если не смог оценить, на какую самоотверженность способен такой человек, как Зигельбойм. Еще несколько дней после этого я чувствовал, что моя вера в себя и в наше дело сильно пошатнулась, и заставлял себя работать вдвое больше, чтобы прогнать эти непозволительные мысли.

С тех пор я часто думал о Шмуле Зигельбойме, одной из самых трагических жертв страшной войны. Ведь он покончил с собой от полной беспросветности. Ушел из жизни по собственной воле, потеряв надежду. Многие ли смогут понять, что значит умереть так, как умер он, борясь за победу, которая скорее всего грядет, но ничего не изменит в судьбе истребленного народа, в исчезновении всего, что имело смысл для этого человека. Из всех смертей, которые я повидал за эту войну, смерть Зигельбойма — одна из самых впечатляющих: она показывает, каким жестоким и страшным стал наш мир, где люди и народы отделены друг от друга бездной равнодушия и эгоизма[149]. В нем царят враждебность и недоверие, и даже те, кто всеми силами борется за его улучшение, совершенно бессильны.

Глава XXX
Последний этап

Через несколько дней после второго посещения гетто бундовец нашел способ показать мне один из лагерей уничтожения для евреев.

Он находился неподалеку от села Белжец[150], примерно в ста шестидесяти километрах к востоку от Варшавы, и по всей Польше ходили о нем самые мрачные слухи. Говорили, что практически все евреи, которые попали в этот лагерь, обречены на смерть. Только затем их туда и везли.

Сам бундовец никогда там не был, но владел подробной информацией — которую получал главным образом от польских железнодорожников[151], — обо всем, что там происходило.

Мы выбрали день, на который была назначена казнь. Разузнать это не представляло большого труда, так как многие эстонцы, литовцы и украинцы, служившие в лагере охранниками под началом гестапо, одновременно работали на еврейские организации, не из гуманных или политических соображений, а за деньги. Предполагалось, что я надену форму одного из украинских охранников[152], у которого в тот день был выходной, и воспользуюсь его документами. Меня уверяли, что неразбериха и продажность в лагере так велики, что никто и не заметит подмены. К тому же операция была тщательно подготовлена. Я должен был войти в лагерь через ворота, охраняемые только немцами, — украинец легко распознал бы обман. А так — украинская форма сама по себе послужит пропуском, и никто меня скорее всего ни о чем не спросит. На всякий случай меня сопровождал еще один подкупленный украинец. При необходимости же, поскольку я говорю по-немецки, я смогу договориться с немецкими охранниками и заплатить им тоже.

План выглядел простым и надежным. Я не колеблясь принял его и ничуть не боялся, что меня схватят.

Рано утром в назначенный день я выехал с варшавского вокзала вместе с евреем-подпольщиком, работавшим за пределами гетто. Мы доехали поездом до Люблина. Там нас ждала деревенская телега. Крестьянин повез нас по проселочным дорогам, избегая оживленного шоссе, ведущего в Замосць. До Белжеца[153] добрались в первом часу и сразу направились в условленное место, где первый украинец должен был передать мне свою форму. Это была бакалейная лавочка. Прежде ее хозяином был еврей, потом его убили, и теперь лавочку, с

разрешения гестапо, держал местный крестьянин, разумеется, участник Сопротивления. Он назвался Онышко.

Форма украинского охранника ждала меня, однако владелец ее, видимо из осторожности, решил не показываться мне на глаза. Будет лучше, верно, подумал он, если, в случае чего, я бы не смог опознать и выдать его. Но экипировку передал мне всю целиком: брюки, сапоги, ремень, галстук и фуражку. Правда, документы дал не свои, а товарища, который вроде бы вернулся в родную деревню. Подозреваю, что на самом деле тот дезертировал, а документы продал — в Польше такое бывало сплошь и рядом. Форма и сапоги оказались мне в самый раз, а вот фуражка сползала на уши. Пришлось насовать в нее бумаги. Онышко на вопрос, как я выгляжу, ответил, что давно не видал такого типичного украинца.

Через час-другой явился охранник, который должен был провести меня в лагерь. Он свободно говорил по-польски. План оставался прежним: мы войдем через ворота, охраняемые двумя немцами. Они никогда не проверяют документы у украинцев, достаточно поприветствовать их и поздороваться по-немецки. На территории же мой провожатый отведет меня в такое место, откуда все видно. Мне останется только стоять и смотреть. А потом мы примкнем к группе охранников, покидающих лагерь, и выйдем вместе с ними. Общения с другими украинцами мне было велено избегать — они непременно поймут, что я «чужой».

Охранник критически оглядел меня и стал управлять мною, как куклой: заставил начистить сапоги, поправить галстук, затянуть ремень и сказал, что мне не хватает военной выправки. По его словам, немцы очень строго следили за внешним видом «своих литовцев, эстонцев и украинцев» и не терпели небрежности.

От лавочки до лагеря было километра два. Чтобы ни с кем не встретиться, мы пошли не по дороге, а по тропинке. Идти надо было минут двадцать, но уже за полкилометра до лагеря стали слышны команды, выстрелы и дикие вопли — чем дальше, тем отчетливее они доносились.

— В чем дело, что там творится? — спросил я.

— Евреям становится жарко, — усмехнулся мой спутник, явно довольный своей шуткой. Но, встретив мой суровый взгляд, видимо, удивился и пробурчал уже без всякого веселья: — Да ничего, все нормально, загрузили новую порцию.

Больше я его не расспрашивал. Мы подходили все ближе, и крики звучали все громче, а иногда вдруг раздавался такой чудовищный вопль, что у меня шевелились волосы.

— Есть у этих людей хоть какой-нибудь шанс убежать? —

спросил я, надеясь на положительный ответ.

— На малейшего, — ответил охранник, — попал сюда — пиши пропало.

— И что, совсем никак нельзя спастись, ни одному человеку?

— Ну… разве что кто-нибудь подсобит, — уклончиво сказал он.

— Кто же?

— Какой-нибудь охранник вроде меня. Только это большой риск. Если этого охранника поймают на том, что он спасает еврея, обоим конец.

Все же я раздразнил его, и он все приглядывался ко мне краем глаза. Я делал вид, что ничего не замечаю. Наконец он не выдержал и продолжал с намеком:

— Конечно, если этот еврей хорошо заплатит, то можно что-нибудь придумать. Хотя риск все равно остается!

— Да как же он заплатит? Ведь тут ни у кого нет денег!

— А кто говорит о них? Платят заранее. С ними, — он кивнул на лагерь, — никто и дела не имеет. Договариваются с кем-нибудь на воле. Вот с такими, как вы. Если ко мне придет человек и скажет, что завтра привезут такого-то еврея, я могу им заняться. Но при условии: деньжата вперед.

Что ж, он раскрыл свои карты.

— И вы уже кого-нибудь вот так спасали?

— Несколько человек. Не очень много. Можно бы и больше, — засмеялся он.

— А кроме вас, много еще таких, кто спасает евреев?

— Спасает? Да кому нужно их спасать? Это просто сделка.

Спорить не имело смысла — у него был свой взгляд на вещи.

Он подробно излагал свои соображения, а я молчал. Заставить его изменить точку зрения было явно невозможно. Я смотрел на его грубоватое, но, в общем, довольно симпатичное лицо и думал, до какой же степени ожесточила его война. А ведь он был простым малым, самым обыкновенным, не таким уж хорошим, но и не слишком плохим. Судя по мозолистым рукам, крестьянином. Занимался до войны своим делом, был честным отцом семейства, ходил по воскресеньям в церковь. Теперь же, под влиянием гестапо и нацистских милостей, окруженный другими такими же, как он, ненасытными охотниками за наживой, превратился в настоящего мясника. Весь поглощенный торговлей и подсчетом прибыли, он говорил хладнокровно, на языке профессионалов, будто колбасник о своем товаре.

— А вам-то самому что тут нужно? Зачем приехали? — делано безразличным тоном спросил он.

— Я тоже хочу спасать евреев. Разумеется, с вашей помощью.

— Без нас и не пытайтесь, не советую!

— Конечно. Без вас у меня ничего не получится. А вместе мы, глядишь, чего-нибудь добьемся.

— Как вам будут платить? Поштучно?

— А как вы посоветуете?

Он на миг задумался.

— На вашем месте я бы брал поштучно. Оптом не так выгодно. Никогда не знаешь, на кого нарвешься и как его получше «ощипать». А тот, кто хочет вызволить кого-нибудь из близких, торговаться не будет. Нужно иметь, как они говорят, *kiepele* — по-нашему мозги. Иначе ничего не заработаешь.

— Это верно, — согласился я.

— Ясное дело, верно! Смотрите же, договариваемся половину — до, половину — после, и не вздумайте меня кинуть.

Я поклялся сдержать слово.

— Вы из Варшавы — там у вас все проще. Гетто под боком. Оттуда гораздо легче «спасать». — Он хитро подмигнул.

Зато и платят там меньше, возразил я, а он пожаловался на каторжную работенку. Вокруг стоял жуткий смрад. Мы почти пришли, и я радовался, что избавлюсь от его болтовни.

Он спросил, как я думаю, скоро ли немцы выиграют войну, и когда я ответил, что они, может, и вовсе не выиграют, ужасно удивился: это ж просто смешно, ведь все яснее ясного, Гитлер — колдун или сам черт и никто никогда его не победит.

До лагеря оставалось меньше километра, когда опять раздались выстрелы и крики. Запахло нечистотами и трупным смрадом. Или мне почудилось? Во всяком случае, мой спутник, казалось, ничего не замечал и даже стал что-то напевать. Мы миновали перелесок из чахлых деревьев и вышли прямо к жуткому лагерю смерти, обители стонов и слез.

Это было плоское пространство размером чуть больше полутора тысяч квадратных метров, обнесенное оградой из нескольких рядов колючей проволоки в два с половиной метра высотой. Изнутри по всему периметру, на расстоянии примерно пятнадцати метров друг от друга, стояли охранники, вооруженные автоматами с примкнутыми штыками. Снаружи ходили патрули — каждый охранял участок в полсотни метров. На самой территории лагеря стояло десятка полтора бараков, а между ними колыхалась плотная человеческая масса. Страшно было смотреть на это мельтешение истощенных грязных узников. Немцы и охранники прокладывали себе путь в толпе, раздавая направо и налево удары прикладом с равнодушным, скучающим видом, как будто пастухи среди стада коров; для них это была обыденная, надоевшая работа.

Помимо двух главных ворот, в колючей проволоке было проделано еще несколько проходов, видимо служебных. Каждый охраняли двое немцев. Мы приостановились, чтобы сосредоточиться. Слева, примерно в сотне метров, виднелась железная дорога, вернее — тупик. От лагеря к ней вел огороженный дощатыми щитами коридор, в конце которого стоял товарный поезд из трех десятков старых, грязных и пыльных вагонов.

Украинец проследил за моим взглядом и оживленно сказал:

— Это поезд, который скоро будут загружать. Вот увидите!

Мы подошли к служебному входу. Там стояли двое унтер-офицеров, я расслышал обрывки немецкой речи и приостановился. Украинец подумал, что я заколебался, и торопливо шепнул, пихнув меня сзади:

— Пошли, пошли, не бойтесь, они увидят, что на вас эта форма, и даже не заглянут в документы.

Действительно, мы спокойно прошли, старательно поприветствовав немцев — они в ответ лениво шевельнули рукой, — и смешались с толпой заключенных.

— Идите за мной, — сказал мой провожатый. — Я покажу вам хорошее место.

Мы прошли мимо старика — он сидел прямо на земле, совершенно голый, и раскачивался взад-вперед. Глаза его лихорадочно блестели, он часто моргал. Никто вокруг не обращал на него внимания. Рядом со стариком корчился в спазмах и испуганно озирался мальчик в лохмотьях. Вокруг кишели, судорожно метались обезумевшие люди. Они размахивали руками, кричали, плевались, ругались. У них помутился рассудок от голода, жажды, истощения и страха. Судя по всему, их по три-четыре дня держали в лагере без куска хлеба и капли воды.

Всех их свозили из разных гетто. С собой разрешалось взять пять килограммов багажа. Большинство брали еду, одежду, одеяла и деньги или украшения, у кого они имелись. Но в поезде все хоть сколько-нибудь ценное отбирали немцы. Оставляли только самую плохонькую одежду и немного съестного. Те же, у кого ничего не было, умирали от голода.

И никакого порядка, везде царил хаос. Люди были не в состоянии хоть чем-то поделиться, помочь друг другу, теряли человеческий облик, в них оставался только простейший инстинкт самосохранения. Вдобавок ко всему стояла холодная, дождливая осень. В бараках могло поместиться не больше двух-трех тысяч человек, а с каждой партией прибывало пять с лишним тысяч. Это означало, что две-три тысячи мужчин, женщин и детей оставались мерзнуть под открытым небом.

Весь ужас того, что я увидел, не передать словами. Воздух был отравлен миазмами, воняло потом, гнилью, нечистотами. Чтобы добраться до нужного места, нам надо было пройти через весь лагерь. Это оказалось тяжелым испытанием. Приходилось буквально шагать по людям. Мой спутник пробирался сквозь толпу довольно ловко — ему было не привыкать. Я же каждый раз, когда наступал на человеческое тело, замирал, едва сдерживая тошноту, но украинец подталкивал меня.

Наконец мы остановились метрах в двадцати от выхода, через который евреев загоняли в вагоны. Тут и правда не было такой толкучки. Мне стало полегче. Охранник дал мне последние указания:

— Вы останетесь здесь, а я пошел. И помните: к другим охранникам не подходить! В случае чего — я вас не знаю. Ясно?

Я слабо кивнул, и он ушел. Почти полчаса я наблюдал чудовищное зрелище человеческих мук, подавляя желание убежать и с трудом убеждая себя, что я не принадлежу к числу заключенных. Еще следовало постоянно быть начеку и держаться подальше от украинских охранников, которые по временам проходили мимо. Довольно долго они все так же спокойно расхаживали среди скопища умирающих, но в какой-то миг, точно сговорившись, застыли, глядя в сторону поезда.

К воротам подошли два немецких полицейских и здоровенного роста эсэсовец. По его команде тяжелые ворота медленно раскрылись. Выход из коридора был перекрыт двумя товарными вагонами, так что никто не смог бы бежать.

Эсэсовец повернулся к толпе евреев, широко расставил ноги, подбоченился и заорал на весь лагерь:

— *Rube! Rube!* Тишина! Тишина! Все евреи должны погрузиться в этот поезд! Он отвезет вас туда, где вы получите работу! Не толкайтесь, соблюдайте порядок! Кто начнет сеять панику — будет застрелен на месте!

Он надменно оглядел море несчастных жертв. Потом вдруг расхохотался, выхватил пистолет и несколько раз, не целясь, выстрелил в толпу. Тотчас раздался чей-то душераздирающий крик. Ухмыльнувшись, эсэсовец вложил пистолет в кобуру и снова гаркнул:

— *Alie Jüden, runs, raus!*[154]

Но еще несколько мгновений толпа оставалась на месте. Хотя в ней началась неописуемая давка: стоявшие в первых рядах пытались спастись от пуль и протиснуться вглубь, а задние не пускали их. Прогремели новые выстрелы — теперь с разных сторон: справа, слева и сзади. Тогда вся людская масса хлынула в узкий проход, едва не опрокинув деревянные щиты, однако двое

полицейских, обеспечивавших ход операции, дабы усмирить самых ретивых, выстрелили прямо в лицо подбежавшим первыми евреям.

— *Ordnung, Ordnung!*[155] — как бесноватый, орал эсэсовец.

— Тихо, тихо! — вторили ему двое охранников.

В конце концов запуганные стрельбой несчастные люди устремились к вагонам и быстро заполнили оба.

Однако самое страшное мне еще предстояло увидеть. Проживи я сто лет — и то не забуду этого ужаса.

По военному уставу, товарный вагон вмещает в себя восемь лошадей или сорок человек. Максимум — сто, это если все без багажа и стоят буквально впритирку. Так вот, немцы установили норму — от ста двадцати до ста тридцати евреев в каждый вагон. Полицейские, орудуя то дулом, то прикладом автомата, втискивали людей в уже набитые битком вагоны. Обезумевшие от страха узники карабкались по спинам и головам товарищей. А те пытались сбросить их и заслоняли лицо. Трещали кости, раздавались надрывные крики.

Когда уже некуда было просунуть иголку, охранники наглухо закрыли двери вагонов с человеческим месивом и заперли на железные засовы.

Но и это еще не все. Заранее знаю: многие не поверят мне, подумают, что я преувеличиваю или выдумываю. Так вот, я клянусь, что говорю чистую правду. Других доказательств, вроде фотографий, у меня нет, но все было именно так, как я сейчас расскажу.

Полы в поезде были засыпаны густым слоем белого порошка — негашеной извести. Все знают, что бывает, если на негашеную известь попадает вода: смесь начинает шипеть и выделять огромное количество тепла.

В данном случае немцы использовали это вещество одновременно из практических соображений и из жестокости. Влажная плоть при контакте с известью обезвоживается и обугливается. То есть люди, запертые в вагонах, будут медленно сгорать, так что останутся одни кости. Таким образом, исполнялось обещание Гитлера, данное в Варшаве в 1942 году, о том, что «по воле фюрера евреи умрут мучительной смертью». Кроме того, благодаря извести трупы не будут разлагаться и разносить заразу. Все просто, действенно и дешево.

На то, чтобы заполнить поезд, понадобилось три часа. Уже начало смеркаться, когда закрыли последний, сорок шестой, по моим подсчетам, вагон. Их оказалось в полтора раза больше, чем я думал. Весь состав, начиненный мучениками, трясся и голосил, будто заколдованный. На территории лагеря осталось лежать

несколько десятков агонизирующих раненых. Полицейские с дымящимися револьверами ходили между ними и приканчивали по одному. В лагере теперь было тихо и спокойно. Тишину нарушали только нечеловеческие вопли, которые доносились из поезда. Потом и они прекратились, остался только сладковатый, тошнотворный запах крови — ею пропиталась земля.

Я знал от информаторов, что будет дальше с поездом. Его отгонят на сотню километров, остановят посреди поля и оставят там дня на три-четыре, пока смерть не охватит все, до последнего уголка. А затем сильные молодые евреи, под надежной охраной, вычистят вагоны, вытащат дымящиеся останки и сбросят в общую могилу. Они будут проделывать это каждый день, пока однажды сами не станут пассажирами поезда смерти. Весь цикл займет несколько дней. Потом лагерь снова понемногу наполнится, поезд вернется, и все повторится сначала.

Я стоял и смотрел вслед уже невидимому поезду, когда кто-то тронул меня за плечо. Это был мой украинский охранник.

— Проснитесь, — резко сказал он, — не стойте, разинув рот! Надо поскорее убираться, пока мы оба не попались. Давайте живо за мной!

С трудом соображая, что делаю, я поплелся за ним. Мы подошли к выходу. Мой провожатый показал на меня пальцем немецкому офицеру, тот сказал:

— *Sehr gut, gehen sie*[156].

И мы прошли.

Сначала шли вместе, но очень скоро разошлись, и я чуть ли не бегом побежал к бакалейщику. В лавку я влетел, еле переводя дух, но на обеспокоенный взгляд хозяина ответил, что все в порядке. Поскорее стащил с себя форму, бросился в кухню и заперся на ключ. Хозяин встревожился еще больше. Как только я вышел из кухни, он ринулся туда сам и в ужасе закричал:

— Что случилось? Вся кухня залита водой!

— Мне надо было помыться, — ответил я. — Я был очень грязный.

— Оно и видно, — пробурчал он.

Я попросил разрешения отдохнуть в саду, без сил растянулся под деревом и мгновенно провалился в сон. А когда очнулся, окоченевший от холода, была уже ночь, светила луна. Шатаясь, я пошел в дом и рухнул на свободную кровать; хозяин спал, тотчас заснул и я.

Утром я проснулся с жуткой головной болью, которая от солнечного света, даже не такого уж яркого, еще усиливалась. Хозяин сказал, что я всю ночь метался. А стоило мне встать с постели, как началась неукротимая рвота. Она продолжалась весь

день и всю ночь, под конец меня рвало какой-то кровянистой жидкостью. Хозяин перепугался, и я еле убедил его, что это незаразно. Перед сном я попросил у него водки, он принес бутылку, и я выхлестал два полных стакана, после чего опять заснул и проспал около полутора суток.

При следующем пробуждении голова болела меньше, и я смог проглотить немного пищи, но был еще очень слаб. Хозяин отвез меня на станцию и помог сесть в варшавский поезд.

Картины лагеря смерти навсегда останутся у меня перед глазами. Мне никогда не избавиться от них, и при одном воспоминании к горлу подступает рвота. Но еще больше, чем сами зрительные образы, меня мучает мысль о том, что такие чудовищные вещи вообще были возможны.

Перед моим отъездом из Варшавы друзья устроили пышное прощание. Утром меня пригласили на мессу в мой приходской костел. Большая часть моих друзей были глубоко верующими людьми, а ксендза, отца Эдмунда, я хорошо знал еще с довоенных времен. Он часто приходил в дом моего брата Мариана, был моим исповедником, а теперь стал капелланом подпольной армии Варшавы.

Я вышел из дома затемно, не имея представления о том, что приготовили для меня друзья. Накануне выпал первый снег, покрывший тротуар тонким белым слоем. Стараясь согреться, я шел быстрым шагом и перебирал в памяти все дорогие мне уголки Варшавы. Ускользнув по пути от немецкого патруля, я добрался до костела, когда уже занималась заря. Отец Эдмунд должен был отслужить мессу у себя дома, позади костела. Друзья уже собрались, даже четверо женщин не побоялись холода и снега. Пришла известная писательница, вызывавшая всеобщее восхищение своей деятельностью в Сопротивлении[157], известная женщина-скульптор, моя давняя знакомая, мои товарищи по подполью и непосредственный руководитель. Занавески были плотно закрыты, комнату освещали только дрожащие язычки зажженных свечей. Волнующая, возвышающая душу атмосфера. Я был очень тронут.

Мы молча обменялись рукопожатиями, и месса началась, полная величия и покоя. Все негромко вторили священнику, потом опустились на колени у алтаря. Проповеди не было. Сразу после литургии мои друзья со священником помолились вслух о путешествующих. Я слушал со слезами на глазах.

Друзья приготовили мне подарок — лучший из всех, какие я получал за всю жизнь. Отец Эдмунд подозвал меня, велел встать на колени и обнажить грудь, затем взял в руки медальон и торжественно произнес:

— Иерархи церкви нашей бедствующей родины поручили мне передать тебе этот медальон. Он содержит частицу Тела Христова. Надень его и не снимай. Вручаю тебе, воин Польши, эту святую гостию. Она будет хранить тебя в пути, а в случае опасности проглоти ее, и беда обойдет тебя стороной.

Священник надел медальон мне на шею, встал рядом со мной на колени, и мы помолились вместе, в благоговейной тишине, под тихий звук перебираемых четок.

Мое путешествие продлилось двадцать один день, я пересек Германию, Бельгию, Францию, Испанию, а в Гибралтаре поднялся на борт британского самолета, и все это время священный медальон был у меня на груди. И ничего по-настоящему опасного со мной не случилось. В Лондоне, как только мне позволили свободно передвигаться, я пошел в польский костел на Девониа-роуд. Отец Владислав[158], которому я исповедался, похоже, не очень одобрял решение варшавского духовенства позволить мирянину носить при себе частицу Святых Даров, но и осуждать его не стал.

Он открыл медальон, достал гостию, причастил меня ею и сказал: «Медальон я заберу — он будет висеть перед образом Ченстоховской Божией Матери как *ex-voto*».

Глава XXXI
Снова на Унтер-ден-Линден

Наконец настал долгожданный день отъезда из Варшавы. Никто не провожал меня с музыкой, я просто тихонько сел в поезд. Новенькие документы были в полном порядке — комар носа не подточит, фальшивая печать на фотографии французского паспорта радовала глаз, микрофильмы надежно запаяны в рукоятке бритвы. Я был при деньгах и в отличном настроении.

Поезд был набит пассажирами самых разных национальностей, так что я не бросался в глаза. Все же я пытливо вглядывался в лица, ища агентов гестапо, — мне почему-то казалось, что я распознаю их с первого взгляда. И если замечал кого-то подозрительного или если у меня спрашивали документы, мне становилось не по себе.

Впрочем, особой опасности не предвиделось, риску разоблачения я бы подвергся, только если бы позволил вовлечь себя в разговор. Во избежание этого я купил пузырек обезболивающего, смочил им, едва заняв свое место, носовой платок и приложил ко рту, как будто у меня страшно болели зубы. Понадеялся, что ни один нормальный человек, глядя на мою перекошенную физиономию, не станет со мной заговаривать.

Путь до Берлина был длинным и утомительным. Переполненный вагон, тяжелый запах. Допотопный поезд — немцы оставили полякам только такие музейные страшилища — дребезжал и чуть не разваливался на ходу.

Мне очень хотелось, раз уж я попал в Берлин, получше понять, что же происходит в Германии. Для этого я решил навестить старого приятеля Рудольфа Штрауха. До войны, когда я работал в берлинских библиотеках, я жил и столовался в его семье, состоявшей из самого Рудольфа, его младшей сестры и их матери, вдовы судьи. В 1938 году Рудольф, по моему приглашению, ненадолго приезжал в Польшу.

Семья Штраух всегда твердо придерживалась либеральных демократических взглядов, и я подумал, что даже сейчас они, наверное, остаются немыми, но убежденными врагами гитлеровского режима. У Рудольфа было слабое здоровье — я надеялся, что его не взяли в армию. Словом, мне показалось, что это хорошая возможность во всем разобраться. А что я лишний раз подвергаю себя опасности и нарываюсь на неприятности, в голову не приходило. Наоборот, все как будто складывалось

удачно. Все же на всякий случай я сочинил правдоподобную легенду: скажу, что на фронт не попал, работаю в управлении какого-нибудь немецкого завода, а сейчас получил отпуск и решил провести его в Париже. Единственный риск — что у меня при Штраухах проверят документы. Тогда они поймут, что я путешествую под чужим именем. Но я надеялся, что этого не случится. Смотря по тому, как они меня примут, сделаю вид, что я человек нейтральный, не испытываю неприязни к немцам или даже что сотрудничаю с ними и они мне очень нравятся.

У меня был час до поезда на Париж. Следующий, перевозивший работников, отправлялся только на другой день. Я сознательно пропустил ближайший, а потом пошел к начальнику вокзала и сказал:

— Я опоздал на свой поезд, а следующий завтра. Мне бы хотелось пока погулять по городу. Могу я выйти, а потом вернуться и дожидаться поезда?

Он не возражал. Я оставил чемодан, где лежала и бритва с микрофильмом, в камере хранения, умылся и пошел прямо к Штраухам.

Я легко нашел их очень аккуратный скромный дом в бюргерском квартале и позвонил в дверь. Открыла фрау Штраух. Особого восторга мое появление у нее не вызвало. Она позвала детей — те тоже встретили меня сдержанно. Рудольф как будто побледнел и похудел с нашей последней встречи, его сестра превратилась во взрослую миловидную девушку, уверенную в себе, но довольно ограниченную.

Меня провели в гостиную, предложили водки и кофе. Поначалу атмосфера была принужденной, но когда я рассказал Штраухам заготовленные басни, они немножко оттаяли. Рудольф с явным удовольствием слушал коллаборационистские речи, поэтому я принялся с воодушевлением повторять шаблонные разглагольствования, которые демагог Геббельс вдалбливал в мозги немцам и жителям оккупированных стран.

Это окончательно расположило ко мне Рудольфа, и он в ответ разразился пламенным монологом о великой миссии Германии. К моему удивлению, он признавал, что на Восточном фронте дела идут неважно, но все сомнения в зачатке убивались магическим заклинанием: «Фюрер знает, что делает».

Эта фраза рефреном звучала всякий раз, когда по ходу беседы обнаруживались какие-то проблемы или неприятные для репутации рейха факты, — фюрер преодолеет все трудности. Политические убеждения и надежды Штраухов, когда-то демократов, либералов и противников нацизма, сводились теперь к одному: «Фюрер знает, что делает».

Я провел у них несколько часов и заметил в доме разительные изменения. Они стали жить беднее: одежда, еда, предметы обихода — все было хуже и проще, чем прежде. Сестра Рудольфа, видимо, работала где-то на заводе — в подробности она меня не посвящала. Сам Рудольф, кажется, служил в арбайтсамте (службе трудоустройства). Как, в каких условиях они работали и сколько получали, ни брат, ни сестра рассказывать не желали. Я задал им пару вопросов, но они отвечали уклончиво и неохотно.

Меня пригласили пообедать в стандартную пивную на соседней улице, которая выходила на Унтер-ден-Линден. Там подавали простые блюда, но большими порциями и недорого — обед на троих обошелся марок в пятнадцать. Разговор за столом зашел о евреях. Я услышал от Рудольфа и его сестры весь набор обычных нацистских рассуждений. Мне захотелось прощупать, насколько прочно в них укоренился этот бред, и я вскользь, равнодушным тоном упомянул о самых страшных вещах, которым был свидетелем: о поездах смерти, негашеной извести. Все это не внушило им не только морального, но даже физического отвращения, они слушали совершенно спокойно и бесстрастно.

— Очень практично, — заметил Рудольф. — Мертвые евреи не будут разносить заразу, как делали это при жизни.

А единственной реакцией Берты на конец моего рассказа была реплика:

— Им, верно, было жарко.

Я заметил, что она держится со мной очень холодно, словно чего-то опасается или что-то подозревает, и забеспокоился. Может, я перестарался, изображая преданность немцам, может, она поймала меня на ошибке или противоречии? Или так проявлялось чувство превосходства немцев над каким-то поляком? Тревога моя еще усилилась, когда Берта встала и позвала Рудольфа.

— Извините, — сказала она, — мне надо кое-что сказать брату наедине.

Они отошли в сторону. Я затянулся сигаретой — она показалась мне горькой. Какой же я идиот, подумал я и быстро оглядел зал. Сейчас они позовут полицию, а мне отсюда никак не улизнуть. Через пару минут они вернулись, Рудольф явно испытывал неловкость и нервничал, а Берта была полна ледяной решимости. «Донесут», — пронеслось у меня в голове, и мне стоило большого труда не поддаться панике и сохранить невозмутимый вид.

— Ян, — заговорил Рудольф чужим, хриплым голосом с извиняющейся интонацией, — мне очень неприятно это тебе

говорить. Я хорошо отношусь к тебе лично, но нам лучше расстаться. Поляки — враги фюрера и Третьего рейха. Они всеми силами стараются навредить Германии и действуют в интересах евреев и англичан. Даже русским варварам помогают. Я знаю, что ты не такой, но что делать! Идет война, и нам не следует поддерживать знакомство.

Это не развеяло моих страхов, а в придачу меня взбесила невероятная глупость Рудольфа и его по-дурацки напыщенный тон.

— Кроме того, — продолжал он, озираясь, и на лбу его выступили капли пота, — показываться в компании с иностранцами вообще опасно.

Дать волю злости я не мог и с деланым сожалением сказал:

— Очень жаль, что вы так думаете. Мне искренне хотелось быть вашим другом и другом Германии. Надеюсь, со временем ваше мнение изменится.

Затем встал из-за стола, холодно откланялся и зашагал к выходу. Внутри все кипело, до того противно было кривляться. Я клял свою работу и от всей души завидовал счастливцам, которые могли бросать бомбы в таких негодяев. Я все еще не оставил мысли, что они вызвали полицию, и, подойдя к двери, недоверчиво глянул по сторонам.

Больше всего мне хотелось поскорее попасть в безопасное место. В Берлине меня окружали враги, и я каждую минуту ждал, что меня схватят и начнут допрашивать.

Слова Рудольфа наполнили меня гордостью. «Поляки — враги фюрера и Третьего рейха, — звучало у меня в ушах. — Они всеми силами стараются навредить Германии». Какая честь!

Я вернулся на вокзал и прилег отдохнуть в темном промозглом зале ожидания. Мне вспомнились былые времена, когда я жил в доме Рудольфа и Берты. Мы были так привязаны друг к другу. И их приязнь казалась такой искренней, такой душевной. Теперь же они словно глубоко и безнадежно больны. Есть ли средство вернуть им прежний облик? Эти мысли не давали мне покоя. Что станет после войны со страной, где целых десять лет царил чудовищный, попирающий человеческое достоинство режим? Возможно ли перевоспитать молодых людей вроде тех двух юных нацистов, привыкших потакать своим звериным инстинктам, которых я видел недавно в варшавском гетто, смогут ли они занять свое место в мире, основанном на любви к ближнему, уважении к человеческой личности?

Я провел на вокзале всю ночь, а наутро уехал из Берлина.

Глава XXXII
По дороге в Лондон

По пути из Берлина в Брюссель я опять притворялся, что у меня болят зубы. Но на этот раз не остался незамеченным. Ко мне проникся симпатией и то и дело сочувственно кудахтал какой-то толстый бельгийский коммерсант. Я отвечал односложно и неучтиво, но это не оттолкнуло его, и по прибытии в Брюссель он чуть не силой потащил меня в пункт немецкого Красного Креста. Пристал, как пиявка, так что избавиться от него, не привлекая внимания окружающих, я не мог. К счастью, моего акцента он не заметил. Выручила мнимая зубная боль.

В медпункте мои зубы внимательно осмотрели немецкий унтер-офицер и медицинская сестра. В результате сестра с улыбкой сказала:

— Вы крайне легкомысленно относитесь к своему здоровью и из-за этого уже лишились нескольких зубов. Сейчас вам больно — может, хоть это научит вас заботиться о себе.

Мне страшно хотелось сказать ей, что потерей зубов я обязан не столько своему «легкомыслию», сколько «заботам» гестапо.

Медики обработали мне рот антисептиком и дали транквилизатор. Эта возня очень меня позабавила. «Вот она война, — подумал я. — Сначала одни немцы выбивают мне зубы, а потом другие дезинфицируют раны».

Я постарался поскорее закончить медицинские процедуры. Документов у меня не спросили, а говорить я продолжал, на правах больного, невнятно. В парижском поезде я уже не стал симулировать зубную боль и быстро задремал под действием транквилизатора.

В шесть часов холодным дождливым утром я приехал в оккупированный Париж. Являться в условленное место было еще рано. Я оставил чемодан в камере хранения и пошел прогуляться по городу.

Прошел пешком немалый путь от Северного вокзала до Елисейских полей. Впечатление было гнетущее. Париж, светлый город, стал серым, мрачным и словно поникшим в бесконечной усталости. На Елисейских полях, унылых и пустынных, я опустился на скамейку. Прежде всякий раз, как я оказывался в Париже, мне хотелось остаться тут навсегда. Но теперь единственным моим желанием было поскорее уехать, подальше от немцев и немецкой оккупации.

Мои раздумья прервало появление роты солдат в стальных

касках, с автоматами на плече. Они шли, надменно, презрительно подняв головы, грохоча сапогами по мостовой. В первый раз с начала войны я почувствовал слезы на щеках. Сердце у меня разрывалось от вида этих наглых триумфаторов. Я вернулся на вокзал и готов был броситься на шею любому проходящему мимо французскому рабочему, сказать ему: «Ничего, мы их одолеем! Будем бороться и победим!»

Явка находилась в маленькой кондитерской неподалеку от вокзала. За стойкой сидела старая дама, которую я и ожидал увидеть. Я подошел к ней и сказал:

— Добрый день, мадам, не нужно ли вам сигарет? Я принес на продажу.

— Какой марки?

— «Голуаз».

— Сколько у вас пачек?

— Столько же, сколько дней прошло с последней грозы.

Она улыбнулась этой галиматье и с милым радушием предложила мне по-польски кофе с пирожными. С ее помощью я связался с нашими подпольщиками[159]. Несмотря на поражение Франции, у нас остались на ее территории целые ветви гражданского и военного Сопротивления[160]. Руководили ими польские офицеры, не успевшие покинуть Францию в 1940-м, и поляки, давно здесь обосновавшиеся. Они активно сотрудничали с французским Сопротивлением.

Через три дня после приезда некий врач-француз вручил мне документы на имя французского подданного польского происхождения. Некоторые затруднения во французском языке объяснялись тем, что я якобы все время жил в польской колонии в Па-де-Кале, где работал шахтером. Он дал мне также немецкое свидетельство о трудоустройстве и водительские права.

Дней через десять я выехал на поезде в Лион вместе с французским рабочим, который должен был помочь мне пересечь границу с Испанией. В Лионе он привел меня в один дом, где я, к своему изумлению, встретил польского капитана[161], которого знал по военному училищу. Все время, что я там пробыл, он жадно забрасывал меня вопросами. К счастью, я мог подробно рассказать ему о матери, жене и дочери — все они были живы-здоровы. Обрабатывали все втроем огород в пригороде. Дочь получила аттестат зрелости. У капитана слезы выступили на глазах, когда я сказал, что его жена не продала ни одного предмета из семейной мебели и ни одной его рубашки. Даже жильцов не стала пускать, чтобы они ничего не попортили. Он вернется домой и найдет все в точности так, как было, даже свое любимое кресло.

Капитану тоже было что порассказать мне. Он участвовал во французской кампании в составе польской армии, попал в плен, бежал и примкнул к французскому Сопротивлению. Здесь он руководил группой, которая занималась переправкой поляков через испанскую границу. Жил в Лионе и оттуда координировал все действия. Лион был крупнейшим центром подпольного движения, мы чувствовали себя там почти в полной безопасности[162]. Условия, в которых работали наши товарищи во Франции, были не в пример лучше наших. Все упрощалось ввиду более легкой связи с Лондоном и с нейтральными странами. Мы в Польше о такой роскоши и не мечтали. Вот уж по-истине, поляки — самый несчастный народ в мире.

В Лионе я встретил человека, которого с полным основанием можно было называть «дитя войны». Лет сорока, бывалого вида, он родился на окраине Варшавы, работал в ремесленной мастерской. Во Франции он жил с сорокового года и чувствовал себя в военном хаосе как рыба в воде. Не имея определенной профессии, он подрабатывал то батраком в деревне, то рабочим на заводе, то маляром. Побывал во французской армии, во многих тюрьмах, не раз изъездил всю страну от Ла-Манша до Средиземного моря и, несмотря на все это, не мог двух слов связать по-французски.

Этот вечный скиталец был жутко худой, словно иссохший, а все его имущество состояло из самых необходимых дорожных вещей. На дубленом морщинистом лице застыла неподражаемая ухмылка, кривая, но забавная и даже симпатичная, из-за которой один из его длинных пожелтевших усов был постоянно вздернут. Как он ухитрялся жить и перемещаться с места на место, для всех оставалось загадкой.

— Как ты ездишь по железной дороге? — спросил я его однажды. — Ведь ты не говоришь по-французски, и у тебя в кармане ни гроша.

Он ответил на чистейшем варшавском жаргоне:

— Посмотри на эту штуку, старик. Она годится для любого французского поезда.

Я посмотрел на кусочек картона, который он мне протянул. Это был варшавский трамвайный билетик 1939 года.

— Отличный сувенир, но по нему и километра не проедешь, — сказал я, возвращая ему картонку.

— Это ты не проедешь, а я запросто, потому что знаю как.

— И как же?

— Ну, я сажусь в поезд и еду до тех пор, пока не приходит контролер и не спрашивает билет. Я сую ему мой билетик. А когда он начинает вякать, я давай с ним на шести языках

базарить: по-французски, по-немецки, по-испански, по-английски, по-русски — с десяток слов из каждого у меня в запасе найдется — да еще по-польски. Он слушает-слушает, а потом свирепеет, хватает меня и выкидывает из поезда на ближайшей же остановке. А я жду следующего и еду дальше.

Я расхохотался:

— И этот номер никогда не срывался?

— Было однажды — сволочной контролер попался, хотел меня сдать в полицию.

— Ну?

— Я их тоже достал. Трое суток рыдал и нудил свою байку на всех языках. Глаз им не давал сомкнуть. В конце концов они отправили меня на завод — работать!

Похоже, его тошнило при одном воспоминании об этом.

— Почему бы тебе не выучить французский? — спросил я. — Глядишь, все бы изменилось к лучшему.

— Да ты что? На кой черт мне французский? Чтобы сесть на место Петена?

— Но сколько можно болтаться без дела? А так — найдешь себе приличную работу, вся жизнь пойдет по-другому.

Он поглядел на меня с ужасом:

— Работу? Мне? Сдурел ты, что ли? Я тебе вот что скажу — бросай-ка ты все, чем занимаешься, и поехали со мной. Это ж здорово! Мозги у тебя, конечно, набекрень, но ничего, я буду кумекать за двоих. Не пожалеешь!

Никогда еще мои умственные способности не получали такую безжалостную оценку.

— В общем, пока! — сказал он. — Мне пора.

— До свидания! Дай о себе знать.

Он подмигнул, помахал рукой и ушел. А через несколько дней я получил от него весточку. Письмо было написано с жуткими ошибками, но я понял, что у него все хорошо. Зря я тогда отказался — такой шанс упустил!

И вот я получил приказ: ехать самостоятельно на юг. Мне велели найти в Перпиньяне одну молодую пару — они испанцы, воевали против Франко, бежали во Францию и теперь работают в Сопротивлении. Я легко нашел обозначенный на карте, которой меня снабдили, домик на окраине города. Супруги должны были дать мне проводника через границу и проследить, чтобы я благополучно добрался до Барселоны. А там мне надо связаться с британскими агентами — их предупредили о моем приезде радиограммой.

Молодые испанцы показалась мне очень надежными. Оба пылкие, страстные борцы за демократические идеи. Однако все

пошло не так гладко: через несколько дней они с сожалением сказали, что возникли некоторые сложности, охрану границы усилили и придется подождать, пока не будет разработан новый план. А пока мне лучше не выходить из дома. Потянулось томительное ожидание. Хозяева уходили на весь день, а я пытался убить время, вяло листая книжки. Наконец они рассказали мне, что и как я должен делать. Со мной будет проводник по имени Фернандо[163]. Мы поедем на велосипедах. Фернандо первый, я за ним, чуть поотстав, с выключенным фонарем. Если Фернандо остановится и даст звонок, значит, впереди опасность и мне надо спрятаться. Если не остановится и не зазвонит, значит, все хорошо и я его догоняю.

Мы тронулись в путь поздно вечером. Фернандо опередил меня на полсотни метров, так что я еле видел его в потемках. Не прошло и четверти часа, как его фонарь потух и раздался звонок. Я тут же развернулся и поехал домой. Вскоре вернулся и Фернандо и спокойно рассказал, что случилось. По улице шел немецкий патруль — я бы наверняка попался. Придется завтра попытаться еще раз, но действовать иначе. Следующей ночью мы с Фернандо вышли пешком, а километрах в шести от города сели на велосипеды, которые держали для нас наготове двое французов. Дальше покатили в полной темноте, тем же порядком, что накануне. На этот раз все прошло успешно, но для меня поездка оказалась нелегким испытанием. Свет фонаря Фернандо то и дело исчезал на виражах или за кустами, и мне приходилось бешено крутить педали, чтобы разглядеть его.

Сам я ехал без света, не видел дороги и попадал то в колдобины, то в кювет. Это была какая-то сумасшедшая велогонка: я крутил руль во все стороны, падал, поднимался и снова припускал вдогонку за прытким огоньком. Мы проехали километров пятьдесят, когда Фернандо наконец остановился и подождал меня.

Спрятав оба велосипеда в густых зарослях, он подошел ко мне, снисходительно хлопнул по плечу и ушел на поиски другого проводника. Я остался ждать, лег под деревом на влажную траву и заснул.

Фернандо вернулся часа через два и потянул меня за рукав. Я протер глаза. Занимался день. Руки и ноги у меня словно налились свинцом.

— Нашел проводника? — спросил я.

Он покачал головой:

— Нет. Пойдешь со мной и подождешь в рыбачьей лодке.

Мы пошли дальше пешком, дорога тут была не такая ухабистая. Мимо проезжали автомобили и телеги. Потом

Фернандо свернул на тропинку, которая привела нас на морской берег. Солнце уже припекало, и я был рад увидеть море. На голубой глади было разбросано множество парусников, яликов, рыбачьих лодок. Одна такая лодка, довольно ветхая, лежала на берегу. К ней-то и подвел меня Фернандо:

— Побудь пока здесь. И не ворочайся, пока я не приду. Ложись на дно, чтобы никто тебя не увидел!

— И долго ждать?

— День или два. Держи свитер и пальто — пригодятся.

— Нет-нет, тебе будет холодно.

— Бери. У меня есть другая одежда. Еду тебе будут приносить.

Я залез в лодку, лег на дно и с головой залез под пальто, чтобы укрыться от холода и посторонних взглядов. Так я пролежал двое с лишним суток, почти не шевелясь. Время от времени невидимая рука давала мне еду и что-нибудь горячее: чай, кофе, а один раз — бутылку подогретого вина, которое здорово меня подбодрило. Когда лежать неподвижно становилось невмоготу и страшно хотелось встать и размяться, я думал: «Вспомни Словакию», имея в виду тот день, когда я твердо решил, что больше никогда не поддамся слабости.

Фернандо наконец вернулся вместе с новым проводником, смуглым человеком невысокого роста с ослепительными зубами. По-французски он говорил плохо. Фернандо спросил, готов ли я идти. Готов, ответил я, если только ноги не отнялись от холода и сырости. Фернандо улыбнулся и похвалил меня за выносливость. Мы сердечно обнялись на прощание, и я двинулся дальше с другим проводником, который повел меня тайной тропой через отроги Пиренеев.

Мы шли среди зеленых зарослей по совершенно диким местам, по временам перед нами открывались прекрасные горные виды. Проводник был очень осторожен и осмотрителен. Разговаривать мы не могли: он знал по-французски всего несколько слов, а я по-испански — еще того меньше. На третий день мы укрылись в пещере. Проводник отправился к другу в ближайшую деревню, чтобы разузнать расположение полицейских постов, а я остался его ждать.

Вернулся он расстроенным. Брат его друга сказал, что тот арестован. Сесть в поезд, как предполагалось раньше, не удастся. Поразмыслив, он решил, что мы проведем ночь тут, в пещере, а утром пойдем в деревню и попробуем раздобыть машину или велосипеды. Мы обсуждали это, сидя в темноте, и вдруг увидели силуэты двух человек, шедших прямо к нам. Нас явно заметили. Проводник схватил меня за плечо, но прятаться было поздно. Те

двое подошли ближе, и мы разглядели, что они в штатском, без оружия, с рюкзаками за спиной. Проводник окликнул их:

— Французы?

Они испугались еще больше, чем мы. Старший откликнулся дрожащим голосом. Мы пригласили их в пещеру, и они успокоились. Это был французский офицер с сыном лет восемнадцати-девятнадцати. Они пробирались в Англию, в армию де Голля. Очень скоро мы все прониклись симпатией друг к другу. Они были в худшем положении, чем я, так как пустились в путь без проводника. Я объяснил им, какими трудностями это чревато, и предложил присоединиться к нам. Они с радостью согласились.

Утром мы начали спуск. Первыми шли мы с проводником, а метров на двадцать позади — оба француза. Тропа петляла между деревьев. Вдруг нас кто-то окликнул. Мы замерли, осмотрелись и увидели сидящего посреди небольшой полянки старика испанца и с ним девушку, его дочь. Проводник заговорил с ним. Старик горячо ответил. Несколько раз в разговоре повторилось слово «Барселона», потом старик разразился проклятиями — я понял, что он ярый антифашист. Он предложил нам отдохнуть и переночевать в его хижине, мы, разумеется, согласились.

Старик, французский каталонец, оказал нам самое отменное гостеприимство. Щедро накормил простой пищей, едва ли не истощив все свои припасы, и отказался от денег. Мы с наслаждением помылись, побрились, почистили одежду. Вечером перед сном старик сказал, что он кое-что придумал — проводник постарался перевести нам его слова:

— Все устроится. Я сам о вас позабочусь. Спите спокойно.

Утром он ушел в деревню, а к полудню вернулся с сияющим видом и, оживленно размахивая руками, сказал:

— Полный порядок! Можете не волноваться!

План его был таков. На местной станции мы купим билеты до Барселоны и сядем в поезд. А дальше нами займется контролер, которого предупредит машинист, близкий друг нашего хозяина. Нам только надо быть осторожными, делать все, что скажут, а уж потом как следует воевать и убивать всех, сколько ни попадется, фашистов.

Мы поблагодарили старика и стали обсуждать его предложение. Мне оно казалось сомнительным. Слишком много участвовало в деле друзей и друзей этих друзей. Французы думали так же. Проводник допускал, что риск есть, но считал, что все может и получиться. А главное — у нас нет выбора.

Мы решили попытать удачи. Вечером проводник распростился с нами, а чуть свет мы уже без него отправились в

путь. Нас уверенно вел старый каталонец. Неподалеку от станции он взял наши деньги, сбегал в кассу и вручил нам драгоценные три билета на Барселону. Он велел нам сесть в первый после угольного тендера вагон. Так мы и сделали. В вагоне не было никого, кроме прикорнувшего в углу крестьянина с корзинкой да двух старых кумушек, которые трещали без умолку. Только мы сели, как в вагон вошел контролер, на которого была вся надежда. Он прошел мимо нас и проверил билеты у других пассажиров. Пока все шло хорошо — видимо, он понял, кто мы.

Через несколько остановок, когда все, кроме нас, вышли, контролер явился снова и подошел к нам:

— Ваши билеты?

Мы медленно протянули свои билеты.

Он внимательно проверил их и радостно-удивленным тоном сказал:

— Барселона? Так вы едете в Барселону?

Мы опасливо кивнули:

— Да. Мы едем в Барселону.

— Прекрасно! — Он широко улыбнулся. — А откуда вы сами? Из Франции? Из Бельгии? Из Германии?

— Из Франции, — ответили наши спутники.

— Из Польши, — прибавил я.

Контролер затряс головой и разразился длинной тирадой по-испански, из которой мы поняли только последнее слово: «Канада». Мы недоуменно смотрели на него. В отчаянии он снова тряхнул головой и очень медленно повторил:

— Откуда вы?

— Из Франции.

— Из Польши.

— Нет, нет, нет! Канада! — вскричал он и ткнул пальцем в каждого из нас. — Ты — Канада! Ты — Канада! И ты — Канада!

Проводник смотрел на нас с упреком: неужели непонятно? Я открыл рот, чтобы настоять на том, что я поляк, но французский офицер схватил меня за руку:

— Я понял. Он хочет сказать, что мы должны выдавать себя за канадцев. Если канадца арестуют на территории Испании, британские власти могут требовать его выдачи.

Он повернулся к проводнику, ударил себя в грудь и торжественно произнес:

— Канада!

— Канада! — повторил его сын.

— Канада, — неуверенно сказал я.

— Браво! — просиял контролер.

Он жестом позвал нас за собой и привел в угольный тендер,

где на нас уставились шестеро взлохмаченных, чумазых от угольной пыли молодых парней.

— Канада, — ухмыльнулся контролер. — Все — Канада.

Он ушел и запер за собой дверь. Теперь мы были полностью в его власти.

Шестеро парней смотрели на нас с опаской.

— Вы французы? — спросил офицер, мой спутник.

Все дружно сказали «нет».

— Мы канадцы.

— Из какой же вы области Канады? — спросил я по-английски.

Парни захлопали глазами.

— Вы говорите по-английски? — продолжал я.

— Йес, — робко ответил один.

— Если ты говоришь по-английски, то я учитель китайского, — сказал я, переходя на французский.

Обстановка разрядилась. Мы все расхохотались и перестали остерегаться друг друга. Наши новые попутчики тоже были французы и тоже направлялись к де Голлю. Стоя впритирку в тесном тендере, мы разделили поровну провизию и скоро подружились. Ехали долго, все больше покрываясь черной пылью. Нет-нет заговаривали о том, можно ли доверять контролеру. При желании ему ничего не стоило выдать нас полиции — мы были совершенно беспомощны.

Наконец появился он сам и сказал:

— Следующая остановка — последняя перед Барселоной.

И вышел. Запирать дверь на ключ он не стал и легонько помахал нам рукой. Поезд замедлил ход. Мы спрыгнули с подножки и разбежались в разные стороны. Видимо, все, как и я, знали: такие дела лучше удаются в одиночку. Если я видел, что кто-то из спутников бежит в мою сторону, то тут же поворачивал в другую. Сначала бежал, потом шел по тропинке среди деревьев, параллельной железной дороге, а через полчаса остановился, прикидывая, что делать дальше. Уже стемнело, вдали виднелось скопление огней большого города — это и была Барселона. Через несколько часов, усталый и голодный, я дошел до рабочих предместий и, не раздумывая, зашел в первое попавшееся кафе. Не останавливаясь, прошел в середину зала мимо столика, за которым сидели двое. И только заняв место и оглядевшись, я увидел, что это жандармы, которые, казалось, следят за мной подозрительным взглядом. Меня прошиб холодный пот.

Рядом на столике валялась газета. Я схватил ее и сделал вид, что увлекся чтением, хотя на самом деле не понимал ни слова. Сзади подошел официант и стоял в ожидании моего заказа. Стоит

мне раскрыть рот, станет ясно, что я не испанец, жандармы пристанут с вопросами — и мне конец. Я притворился, что ничего не замечаю, и упорно молчал. На мое счастье, официант сам что-то предложил вопросительным тоном. Я кивнул — да-да. Он предложил что-то еще, я опять подтвердил без слов.

Он принес мне кофе с пирожным. Я мигом проглотил то и другое, не отрываясь от газеты. Потом взглянул на часы и встрепенулся, будто понял, что опаздываю. Быстро встал, расплатился и вышел. Очутившись на улице, я облегченно вздохнул и дал себе слово: больше никаких кафе!

До рассвета я пробродил по городу, надеясь случайно наткнуться на нужную улицу, — спрашивать у ночных прохожих не хотелось. Когда же рано утром появилось много народу — все шли на работу, — решил рискнуть. Остановил какого-то старого рабочего и спросил, как пройти на улицу, которую мне назвали в Перпиньяне. Он спросил, на каком языке я говорю, и, перемежая жесты несколькими французскими словами, показал дорогу. Во время войны я не раз замечал, что простые люди оказываются более проницательными и обмануть их труднее, чем «специалистов». Закончив объяснения, рабочий, хитро прищурясь, шепотом спросил:

— Де Голль, а?

— Де Голль, — подтвердил я.

— Ну, удачи тебе!

— Спасибо!

Он помахал рукой, я улыбнулся и пошел, куда он сказал. Следуя его указаниям, я довольно быстро нашел мясную лавку, где меня должны были ждать. Ставни были закрыты, да их и не должны были открывать раньше полудня. Я постучал.

Изнутри негромко, с французским выговором спросили:

— Кто там?

Я сказал пароль:

— Я из Перпиньяна, от Фернандо. Мир не без добрых людей.

Дверь лавки приоткрылась, и я увидел маленького, розовощекого, похожего на гнома человечка.

— Входите, входите, — прощебетал он.

Он провел меня в комнату и усадил за навощенный дубовый стол прекрасной работы. Я утомился, проголодался, но мне было хорошо и спокойно. Я в Барселоне, у друзей. Хозяин принес бутылку вина и какое-то горячее и острое испанское кушанье, которое я мгновенно уплел. Он вел себя так, будто подобные визиты были для него самым обычным делом. Ничего не спросив о том, как я добрался, он заговорил о войне и о политике. Ругал на чем свет стоит фашистов. Я спросил, многие ли испанцы

думают как он. Все, ответил он. Власть фашистов держится только на армии и полиции.

Я немного поспал, а во второй половине дня как мог привел себя в более или менее опрятный вид и отправился в консульство дружественной державы[164]. В приемной сидели и шепотом переговаривались посетители, главным образом молодые люди.

Я подошел к хорошенькой секретарше и сказал, что прошу личной встречи с генеральным консулом.

Она внимательно посмотрела на меня:

— Как вас зовут?

Я назвал имя, которое упоминалось в радиограмме, отправленной в Лондон перед моим отъездом из Варшавы, и прибавил:

— Это очень срочно.

Секретарша ушла, а через десять минут вернулась и сказала, что консул меня примет. В просторном, хорошо обставленном кабинете сидел за письменным столом импозантный пожилой человек. Он окинул меня изучающим взглядом и спросил:

— Вы говорите по-испански?

— К сожалению, нет.

— А по-английски?

— Говорю.

— Откуда вы и по какому делу?

— Я приехал к тете Зосе.

— Как ваша фамилия?

— Карский.

— У вас есть документ, удостоверяющий личность? — продолжал допытываться он.

— Я думал, для удостоверения достаточно моих слов.

— Отлично, господин Карский. Здесь вы, можно считать, на союзной территории. Добро пожаловать! Позвольте выразить вам глубокое уважение за все, что вы и ваши соотечественники делаете для нашей общей победы.

Беседа была дружеской и откровенной. Мы говорили о том, как живется людям в оккупированной Европе, как жестоко обращаются с ними немцы и какое встречают сопротивление. Консул был в высшей степени тактичен, доброжелателен, избегал затруднительных для меня тем и не задавал вопросов, на которые я не имел права отвечать.

Он дал мне необходимые документы и поручил заботам одного из своих сотрудников, который должен был помочь мне купить приличную одежду.

Перед уходом я спросил, можно ли будет в случае ареста доказать, что мое пребывание в этой стране легально. Консул

тонко улыбнулся и ответил:

— За последние два года, молодой человек, многое изменилось. Раньше вас бы непременно посадили в тюрьму или выдали немцам. Теперь же — в худшем случае продержат пару дней под замком, пока мы не вмешаемся. Чем ближе наша победа, тем любезнее становятся здешние власти.

Сотрудник консула усадил меня в сияющий лимузин с буквами *CD* (дипломатический корпус) на номерном знаке. Через восемь часов мы прикатили в Мадрид и остановились перед роскошным особняком в дипломатическом квартале. Я познакомился с хозяином, любезным образованным господином средних лет, — так и не знаю до сих пор, какой пост он занимал в английском посольстве. Он бегло говорил почти на всех европейских языках. Жена его была настоящая красавица. Я провел в его доме три очень приятных дня, пока не пришло сообщение от польского правительства, подтверждающее, что оно знает, где я нахожусь, после чего хозяин сказал, что ночью меня переправят в Англию. Он выдал мне новый паспорт — на этот раз я был испанцем, который ехал к родственникам. Еще двое испанцев меня сопровождали.

— В поезде будет полицейская проверка, — предупредил меня хозяин особняка. — Притворитесь спящим и документы предъявляйте так, как будто не успели проснуться. Скорее всего, у вас ничего не станут спрашивать. В противном случае, без сомнения, задержат. Тогда запомните: вы солдат союзнической армии, бежавший из немецкого лагеря. Если спросят, где вы взяли эти документы, назовите любой французский город и любую французскую фамилию. Не волнуйтесь и не заговаривайте с сопровождающими. Они передадут нам, что вы арестованы, и мы вас вызволим.

— Как все просто, — сказал я.

— После Польши — детская игра!

Вечером я приготовился к отъезду. Мне показали одного из двух провожатых. Он вышел первым и ждал около дома. Увидев меня, он двинулся вперед, а я — за ним следом. Мы дошли до трамвайной остановки, сели в трамвай, выбрали места подальше друг от друга. Правила конспирации одинаковы во всем мире. В поезде мы, тоже порознь, сели в вагон третьего класса. Я тут же прикинулся спящим, но время от времени приоткрывал один глаз, чтобы оглядеть соседей и попробовать угадать, кто же из них мой второй телохранитель. То, что мне представили только одного, тоже укладывалось в принятый порядок.

Сложностей при контроле не возникло. Почти все пассажиры предъявляли документы в полусонном состоянии, и никого ни о

чем не спрашивали. Мы прибыли в Альхесирас, типичный средиземноморский портовый город. Идя следом за провожатым, я дошел до скромного домика на окраине. Там меня познакомили с солидным пожилым господином, которого я видел прежде — он ехал вместе с нами в трамвае. Я сказал, что уже и так его знаю.

— Что ж, — сказал он на превосходном английском, — то, что вы меня заметили, не делает мне чести. А чем я себя выдал?

— Ничем, — сказал я. — Но на трамвайной остановке, кроме нас, в вагон вошел только один человек. Простая логика подсказывает, что он-то и был второй провожатый.

— Значит, виноват не я. Не надо было говорить вам, что охранять вас будут двое.

Он рассказал мне о дальнейших планах. Когда стемнеет, мы совершим безобидную прогулку по улицам мирного, но прославленного международными интригами города[165], дойдем до самого моря, сядем в обычную рыбачью лодку и отплывем далеко от берега. А в открытом море поднимемся на борт английского катера.

Поздно вечером, пробираясь под дождем сквозь темень, мы вышли на берег. Лодка ждала нас и без промедления доставила на катер, который сигналил мощным лучом прожектора. Мой чемодан подняли на борт, потом поднялся я сам. Меня встретил сержант Арнольд. До самого Гибралтара мы с ним напряженно всматривались в темную водную гладь.

Наконец в тумане проступили громады гибралтарских скал. Лучи наших прожекторов несколько раз вспороли темноту, привлекая внимание английских патрульных судов. Меня впечатлил вид стоящих в гавани мощных кораблей в полной боевой готовности. Сержант Арнольд, видимо, угадал мои мысли.

— Жаль, вас тут не было, когда мы готовились к высадке в Северной Африке. Судов скопилось столько, что и воды не видно[166]. Вот это было зрелище!

Он рассказывал мне о Гибралтаре и связанных с ним морских историях, пока мы не причалили. На берегу нас встретил джип. Сержант сел за руль и отвез меня в двухэтажное здание, где жили офицеры. Мы прошли темным коридором в курительную, обставленную в духе классического «английского клуба». Глядя на глубокие кресла, толстые ковры и книжные полки, можно было подумать, что мы в центре Лондона.

Из соседней комнаты доносился уютный гул голосов. Мы вошли туда. Тут же ко мне подошел один из офицеров.

— Добрый вечер, — сказал он. — Я полковник Берджес. Мы все рады поздравить вас с благополучным прибытием. Завтра днем вас примет губернатор, а вечером вы полетите в Лондон на

бомбардировщике.

Он представил меня собравшимся и спросил, что я буду пить.

— Виски, чистый, — ответил я.

Полковник Берджес восторженно хлопнул себя по коленям и воскликнул:

— Вот наконец человек, который умеет пить виски! Можете себе представить, мистер Карский, тут у нас чуть не все офицеры портят виски содовой! Где вы научились пить чистый?

— Я год прожил в Великобритании. Еще до войны.

Один из офицеров, шотландец, полюбопытствовал, был ли я в Эдинбурге, а узнав, что был, спросил:

— Ну и как? Приходилось ли вам когда-нибудь видеть город красивее и лучше?

— В Великобритании — нет, — дипломатично ответил я.

— А где же? И что это за город?

— В Польше. Этот город называется Львов. Там я провел студенческие годы.

— Слыхали? Пьет виски, как шотландец, но предпочитает Львов Эдинбургу!

Компания подобралась на редкость приятная. Мы еще долго болтали и пили. Спать я пошел сильно навеселе.

А проснулся с ощущением невероятного комфорта. Как приятно, что ноги не превращаются в ледяные глыбы, стоит только высунуть их из-под одеяла. Как здорово, что завтрак в кои-то веки не будет состоять из куска черного хлеба с опилками и чашки холодного эрзац-кофе. Ради такого завтрака, какой мне подали в тот день, стоило перенести все тяготы опасного путешествия!

Поздно вечером мы вылетели в Англию на борту тяжелого американского бомбардировщика «либерейтор» и приземлились после восьми часов необременительного полета. Довольно долго со мной разбиралась британская служба контрразведки, и только через двое суток я поступил в распоряжение польских властей[167]. Первым делом я предстал перед Станиславом Миколайчиком, тогдашним вице-премьером Польши и министром внутренних дел правительства Сикорского. Именно это министерство управляло деятельностью Сопротивления, и его первостепенной задачей было поддерживать связь с подпольными организациями внутри страны, обеспечивать их деньгами и инструкциями.

Подготовка доклада обо всей системе польского Сопротивления и общем положении дел в оккупированной стране заняла немало времени. Как только я приступил к его составлению, ощущение того, что я на свободе, за границей,

тотчас исчезло. Умом и сердцем я снова очутился в Польше. Так продолжалось до тех пор, пока эта работа не была закончена. Рассказывая о том, что происходит в Польше, я снова и снова переживал события недавнего прошлого, погружался в напряженную атмосферу подпольной борьбы, чувствовал за спиной призрак гестапо.

Глава XXXIII
Я свидетельствую перед миром

Когда предварительный доклад был практически готов, меня принял премьер-министр генерал Сикорский[168]. Как и все мои соотечественники, я относился к нему с огромным уважением, которое со временем только выросло. Этот поистине великий человек обладал редким качеством: он не подавлял поляков своей личностью, никогда не навязывал народу свою волю, хотя положение главы правительства и верховного главнокомандующего всех вооруженных сил, включая Сопротивление на оккупированных территориях, давало ему полную возможность неограниченной власти.

В продолжительной беседе, которой он меня удостоил, я говорил ему о том, как представляется будущее Польши руководителям Сопротивления; о том, что все они хотят сделать свою страну по-настоящему демократической, предоставляющей всем гражданам право на свободу и справедливость. Говорил, что польский народ возлагает на него огромные надежды, считает бесспорным лидером новой Польши и готов на любые жертвы ради освобождения родины.

И вот что он мне ответил:

— Поляки не должны забывать, что генералу Сикорскому шестьдесят два года и у него уже не так много сил. Единственная цель, к которой он стремится, — это способствовать возрождению свободной и независимой Польши.

Сикорский честно служил отечеству и не собирался стать диктатором Польши.

Тогда я думал, что очень скоро вернусь на родину, поэтому спросил у генерала Сикорского, какова его политическая программа на военное время.

— Прежде всего, — ответил он, — я намерен всячески поддерживать единство Объединенных Наций. Только их общая воля может избавить народы от проклятого гитлеровского ига и обеспечить прочный мир. Мы должны проникнуться убеждением, что после этой войны следует навсегда забыть об империализме, изоляционизме и национализме. И должно восторжествовать активное международное сотрудничество ради коллективной безопасности.

Я спросил, считает ли он, что такая программа может осуществиться.

— Почему бы и нет? Посмотрите, каких результатов добились

совместными усилиями англичане и американцы. Разве мы не может перенять у них политический опыт, который оказался таким эффективным и принес свободу и демократию миллионам людей? Я рассчитываю на помощь Америки и Англии.

В то время Сикорский с оптимизмом смотрел в будущее. Это был конец января 1943 года, он только что вернулся из Соединенных Штатов, где встречался с президентом Рузвельтом, и, видимо, результаты этих встреч казались ему важными и обнадеживающими. По возвращении же он также был принят Уинстоном Черчиллем.

Когда я спросил, что он думает по поводу будущих польско-русских отношений[169], он задумался, потом встал, принялся мерить шагами кабинет и наконец заговорил, взвешивая каждое слово:

— Сегодня никто не может предвидеть, как будут развиваться события. Моя собственная политика всегда основывалась на необходимости согласованных действий всех Объединенных Наций. Как поляк и глава польского правительства я сделаю все, что в моих силах, чтобы способствовать этому взаимодействию. Польша готова сотрудничать с советской Россией во время и после войны. Не потому, что Россия — могущественная держава, а потому, что это сотрудничество отвечает интересам всей Европы. Разумеется, я имею в виду свободную суверенную Польшу, которой управляют избранные ее народом власти и в которой сохраняются ее собственные законы, традиции и культура.

На прощание Сикорский сказал мне:

— Вы немало потрудились на этой войне и будете награждены за ваши заслуги орденом *Virtuti Militari*[170]. Церемония состоится послезавтра. Но мне хотелось бы на память о нашей встрече в дни тяжелых испытаний и в знак моей личной симпатии подарить вам вот этот портсигар. Это подарок не от премьер-министра и верховного главнокомандующего, а от старого, усталого человека, который много повидал на своем веку, пережил немало черных дней и разочарований и умеет ценить преданность и дружбу. Подарок человека, который любит молодежь и надеется, что она построит новую Польшу и новый мир.

Он достал из ящика письменного стола серебряный портсигар с его выгравированной подписью и с улыбкой протянул мне. Я был смущен, но полон гордости. Генерал пожал мне руку и добавил:

— А теперь идите и отдохните. Не слишком утомляйте себя всеми этими встречами и докладами. Не позволяйте союзникам

преуспеть в том, чего не смогло сделать гестапо. Вы осунулись, у вас уставший вид — мне это не нравится. Я слышал, вы потеряли много зубов, что совсем не к лицу молодому человеку и блестящему офицеру, мы это непременно поправим. Не такие уж мы бедные — как-нибудь хватит средств вставить зубы доблестному воину. А кстати, покажите-ка мне руки, — вспомнил он и, осмотрев шрамы на моих запястьях, сказал: — Останутся навсегда. Я вижу, гестапо тоже по-своему наградило вас. Будет что вспомнить на старости лет.

— Шрамы уже не болят, пан генерал, — ответил я. — Но клянусь вам, ни я, ни мои дети, ни дети моих детей никогда не забудут, как они появились.

— Я вижу, — печально сказал генерал, — вы из тех, кто не прощает.

Через три дня мне вручили орден *Virtuti Militari,* высшую воинскую награду Польши. Церемония проходила в резиденции польского правительства на Кенсингтон-Пэлас-Гарденс, 18. Присутствовали многие министры. Вручал награду сам верховный главнокомандующий.

Сикорский скомандовал мне:

— Три шага назад, смирно!

От волнения я запомнил только обрывки фраз: «За ваши заслуги… за верную службу… за преданность родине… за самоотверженность и мужество… за веру в победу…»[171]

Я также представил отчет польскому президенту в изгнании Владиславу Рачкевичу. Этот человек стоял во главе государства, которое находилось за сотни километров от места его пребывания и все учреждения которого функционировали тайно. Кроме того, я встречался с несколькими членами правительства и лидерами партий по отдельности, отчитываясь перед каждым. Это была утомительная и скучная работа.

Была у меня встреча и с министром финансов.

— Рад вас видеть, — сказал он. — Вы, вероятно, хотите рассказать мне о политической ситуации в Польше?

— Сожалею, пан министр, — ответил я, — но я пришел к вам по другому делу. Обращаюсь к вам как к распорядителю государственной казны с просьбой о ссуде. По милости гестапо я лишился отличных зубов и теперь очень нуждаюсь в новых.

Мы оба рассмеялись.

Через несколько недель я приступил ко второй половине моей миссии, состоявшей в том, чтобы информировать о положении в Польше и деятельности польского Сопротивления представителей союзных государств. Я рассказывал о нашей

работе, о том, чем мы можем быть полезными им и чего ждем от них, — словом, о взаимодействии на благо общего дела.

Большое впечатление на меня произвела встреча с Энтони Иденом[172]. Сам того не зная, он оказал огромное влияние на меня в студенческие годы. В Женеве, когда я работал там в библиотеке Лиги Наций, он был кумиром для меня и моих друзей. Нас восхищали его манеры, биография, ораторское искусство; он представлялся нам образцом современного государственного деятеля. Мы старались подражать ему во всем, вплоть до мелочей. Помню, мы с приятелями по Высшей школе политических наук с большим трудом пробирались на теннисные корты и наблюдали, как элегантно он играет, успев с утра произнести речь в Лиге Наций. Я хотел рассказать ему об этом обожании, но сдержался.

— Подойдем к окну, — позвал меня Иден, выслушав доклад, — я хочу получше разглядеть вас.

А перед тем как я покинул его просторный министерский кабинет, он сказал:

— За эту войну вам пришлось испытать все, что только может случиться с человеком, за исключением одного — убить вас немцам не удалось. Я считаю за честь знакомство с вами, господин Карский, и желаю вам удачи[173].

— Я делаю то же, что и тысячи других, — ответил я.

Встречи с британскими официальными лицами продолжались. В общем, для меня в такой деятельности не было ничего нового — примерно то же самое я делал в Польше, бегая по разным явкам. Только там это сопровождалось голодом и страхом, а здесь меня возили на лимузинах и угощали отборными яствами.

Английских политиков интересовали разные аспекты информации, которой я владел. Я беседовал с лидером лейбористов Артуром Гринвудом, с руководителем Управления специальных операций лордом Селборном, консерватором лордом Кранборном, военно-экономическим министром Хью Дальтоном, с темпераментной Эллен Уилкинсон — депутатом палаты общин, с британским послом при польском правительстве Оуэном О'Мелли, с американским послом Энтони Дрексел-Биддлом и вице-министром иностранных дел Ричардом Лоу, — и у каждого из них был свой подход.

Я также выступал перед комиссией Объединенных Наций по расследованию военных преступлений под председательством юридического советника британского правительства сэра Сесила Херста и рассказал о том, чему был свидетелем в варшавском гетто и лагере смерти в Белжеце. Мое свидетельство было

принято, и мне сказали, что оно послужит основной статьей обвинения Германии со стороны Объединенных Наций[174].

У меня брали интервью английские журналисты и их коллеги из других союзных стран, меня приглашали члены парламента, научные и писательские общества, представители разных церквей. В то памятное время мне выпала честь познакомиться едва ли не со всей политической, культурной и религиозной элитой Великобритании. Вклад польского Сопротивления в союзные военные действия из Лондона виделся не таким, каким он представлялся на подпольном совещании в Варшаве. В Лондоне наши вооруженные силы оценивались в несколько сотен тысяч солдат, несколько кораблей да несколько тысяч летчиков, которые, несомненно, героически сражались в воздушных баталиях, но их подвиги растворялись на фоне действий мощных военно-воздушных сил союзников. Для англичан все, что сделали поляки, сводилось к короткой сентябрьской кампании да еще к упорному подпольному сопротивлению, слухи о котором до них смутно доходили.

С их точки зрения, это была капля в море. Лондон был частью колоссальной военной машины, на функционирование которой тратились миллиарды долларов и которая состояла из несметных воздушных и морских военных армад и сухопутных армий, несших тяжелые потери. Могли ли жертвы, которые выпали на долю поляков, сравниться с беспримерными страданиями и беспримерным героизмом русского народа? Велика ли роль Польши в этой мировой трагедии? И вообще, кто такие поляки?

В Варшаве перспектива была иной. Там участие Польши в войне выглядело значительным уже потому, что она не покорилась самой мощной военной державе мира при полной пассивности и попустительстве остальной Европы. Это участие выражалось в сопротивлении, начавшемся не ради защиты Данцигского коридора, а из этических принципов, без которых невозможно сосуществование народов. Для нас, в Варшаве, сопротивляться означало бороться, рисковать каждый день жизнью тысяч подпольщиков, и хотя в этой борьбе погибли миллионы поляков, мы до самой смерти сохраним уверенность в правоте нашего дела.

Я очень скоро понял, что внешний мир не может оценить по достоинству героизм целого народа, отказавшегося сотрудничать с немцами. Не может даже представить себе, какая стойкость потребовалась от поляков, среди которых не нашлось ни одного квислинга. Само понятие подпольного государства оставалось не очень ясным, потому что во всех других странах многие шли на компромисс и сотрудничество с оккупантами. То, что в условиях

подполья может нормально действовать государственный механизм с парламентом, правительством, судопроизводством и армией, казалось чистой выдумкой. Нередко даже поляки-эмигранты с трудом представляли себе, что происходило на их родине во время войны. Я много раз пытался объяснить эту ситуацию польским офицерам и солдатам, но большая часть из них испытывала своеобразный комплекс неполноценности. «Польская армия бездействует», — говорили они или спрашивали: «Когда наконец кончатся бесконечные учения и мы пойдем в настоящий бой?»

На это я говорил, что польская армия, включающая в себя и их в Лондоне, и нас внутри страны, понесла гораздо более тяжелые потери, чем западные союзники. Но все они рвались в бой, желали воевать, как воюют поляки в Польше.

Как-то раз в начале мая 1943 года меня вызвал генерал Сикорский и без всяких предисловий приказал:

— В ближайшее время вы отправитесь в Соединенные Штаты. С тем же заданием, которое выполняли здесь. Никаких дополнительных инструкций я вам не даю. Наш посол Ян Чехановский свяжет вас с влиятельными лицами. Расскажите им обо всем, что вы видели и что испытали в Польше, и передайте им то, что польские подпольщики поручили вам сообщить Объединенным Нациям. Но запомните: ни в коем случае не приспосабливайте свой рассказ к политической ситуации или к личности собеседника. Говорите правду, и ничего, кроме правды. Отвечайте на все вопросы, которые вам зададут, если только это не повредит вашим товарищам по Сопротивлению. Как видите, я многого жду от вас и полагаюсь на вашу беспристрастность[175].

— Благодарю за доверие и за доброе отношение, генерал, — ответил я.

Расставаясь с генералом, я и подумать не мог, что больше никогда его не увижу. Известие о его трагической гибели пришло меньше чем через два месяца после нашего разговора. Генерал Сикорский умер как солдат на боевом посту, его самолет разбился над Гибралтаром[176]. Злая судьба преследовала поляков в этой войне.

Через несколько недель, подплывая к Нью-Йорку, я увидел статую Свободы, приветствовавшую меня в Америке. Для меня это не только страна Вашингтона и Линкольна, с ней также связаны имена Костюшко и Пулаского[177].

Так же, как в Англии, началась череда выступлений, докладов, встреч и собраний. И самые видные люди задавали мне вопросы, которые я уже слышал: «Что мы можем для вас сделать? Чего вы ждете от нас? Скажите, как вам помочь?»

На это я отвечал: «Конечно, нас очень поддерживает ваша материальная помощь, но гораздо важнее, чтобы вы принесли в Европу свои идеалы, свой образ жизни, американскую публичность, демократию, честность во внешней политике. Европейцы считают вас самой сильной страной в мире, так постарайтесь поделиться с другими странами принципами, изложенными в Атлантической хартии. Постарайтесь не обмануть ожиданий Европы».

Мне снова пришлось рассказывать о своей стране политикам, священникам, бизнесменам, деятелям культуры. Госдеп представлял госсекретарь Генри Стимсон с подчиненными, многие из которых поддерживали тайные связи с группами Сопротивления в оккупированных странах. Информацию для Госдепа я также передавал через Адольфа Берля, члена «мозгового центра» президента Рузвельта, и других руководителей разных служб, в Министерство юстиции — через генерального прокурора Фрэнсиса Биддла, в Верховный суд — через судью Феликса Франкфуртера[178]. Я встречался с представителями католических кругов архиепископами Спеллманом, Муни и Стричем и с еврейской общественностью в лице раввинов Уайза и Мориса Вальдмана и Нахума Гольдмана, с которым виделся неоднократно[179].

Я понял тогда, как тесно связано все в мире, объединившемся против деспотизма и преступлений, против войны и ее трагедий. Мне казалось, что и я сам — частица некой всемирной системы.

Наконец настал час самой важной встречи. 28 июля 1943 года посол Ян Чехановский сообщил мне, что меня приглашает президент Соединенных Штатов, который хочет услышать от меня, что происходит в Польше и в других оккупированных странах.

Я спросил, как я должен разговаривать с президентом.

— Будьте точны и лаконичны, — ответил посол. — Президент Рузвельт — самый занятой человек в мире.

Белый дом показался мне большим, современным, выстроенным добротно, но в провинциальном духе. Вокруг него росло много деревьев и царила тишина. Я представил себе, как выглядело бы здание подобного назначения у меня на родине. Оно было бы окружено статуями, украшено затейливыми башенками и пирамидками, стены были бы увиты плющом, и на всем чувствовался бы отпечаток истории. Тут же передо мной была типичная усадьба богатого помещика. И все же, когда я вместе с послом переступал порог Белого дома, сердце у меня колотилось вовсю. Ведь я находился в самом сердце могучей державы, и мне предстояло встретиться с самым могущественным

человеком в мире.

Президент Рузвельт, казалось, никуда не спешит и ничуть не устал. Он оказался очень хорошо осведомлен о польских делах, вопросы задавал меткие, дельные и всегда по существу. Его интересовала наша система образования и все, что мы делаем, чтобы уберечь детей. Он подробно расспрашивал меня об организации Сопротивления и о потерях, которые понес польский народ. Хотел знать, почему Польша оказалась единственной страной без коллаборационизма. Спрашивал, правда ли то, что рассказывают об уничтожении евреев. И вникал во все детали партизанской тактики, диверсионных действий, саботажа.

По каждому вопросу он старался составить себе полное представление, чтобы почувствовать атмосферу подпольной работы, понять внутренний мир людей, которые занимаются ею изо дня в день. На меня произвела огромное впечатление широта его ума. Так же, как Сикорский, он не ограничивался интересами своей страны, а мыслил в масштабах человечества. По окончании беседы я оставил президента таким же свежим, бодрым и приветливым, каким он меня встретил. Сам же я изрядно устал.

Это была не обычная физическая усталость, а приятное утомление плотника, который вбил последний гвоздь в построенный им дом, или художника, который поставил подпись на завершенном полотне. Мой труд тоже был завершен, так что усталость сочеталась с чувством выполненного долга.

Посол предлагал отвезти меня на машине, но мне захотелось пройтись пешком. Я перешел Пенсильвания-авеню и вышел на Лафайет-сквер напротив Белого дома. Я знаю, почему меня туда тянуло, — там стоит памятник Костюшко. Я сел на скамейку и стал разглядывать прохожих. Все были хорошо одеты, выглядели сытыми, здоровыми и довольными. Война почти не затронула этих людей. Череда картинок промелькнула в моем воображении: роскошная гостиная португальского посла в Варшаве и сразу резкий контраст — пыль, зной, грохот снарядов, горечь поражения; беспорядочный изнурительный марш на восток в поисках несуществующей армии. И дальше: вой ветра и ледяной холод русских степей. Колючая проволока. Поезд. Немецкий концлагерь в Радоме и первое столкновение с чудовищной жестокостью, грязь, голод, унижение. Потом Сопротивление: постоянная конспирация и нервное напряжение. Лыжный переход через горы.

Порабощенный Париж… вездесущие немецкие шпионы… Татры… смертельная усталость… страшное пробуждение — и гестапо. Избиения, адская боль, кровь, заливающая глаза, уши и весь мир.

Памятные слова: «У нас было два приказа. Первый — сделать все возможное, чтобы устроить побег. А второй — ликвидировать тебя, если операция не удастся».

И снова кропотливая, тяжелая, опасная работа в Сопротивлении. Гетто и лагерь смерти… тошнота… неотступные голоса обреченных евреев. Потом Унтер-ден-Линден, Берта, Рудольф — когда-то любимые, а теперь ненавистные люди. Пиренеи — ночные и дневные… Дипломатические приемы, выступления… Мое награждение. И наконец я снова увидел перед собой — так же ясно, как вижу сейчас, когда пишу эти строки, — утомленного старого человека, он смотрел на меня отеческим взглядом и говорил: «Я не даю вам никаких инструкций. Вы не будете официально представлять польское правительство и его политику. Вы окажете нам помощь уже тем, что расскажете все, что видели и пережили, и повторите то, что вам поручили передать в Польше. Вот и все».

Эпилог[***]

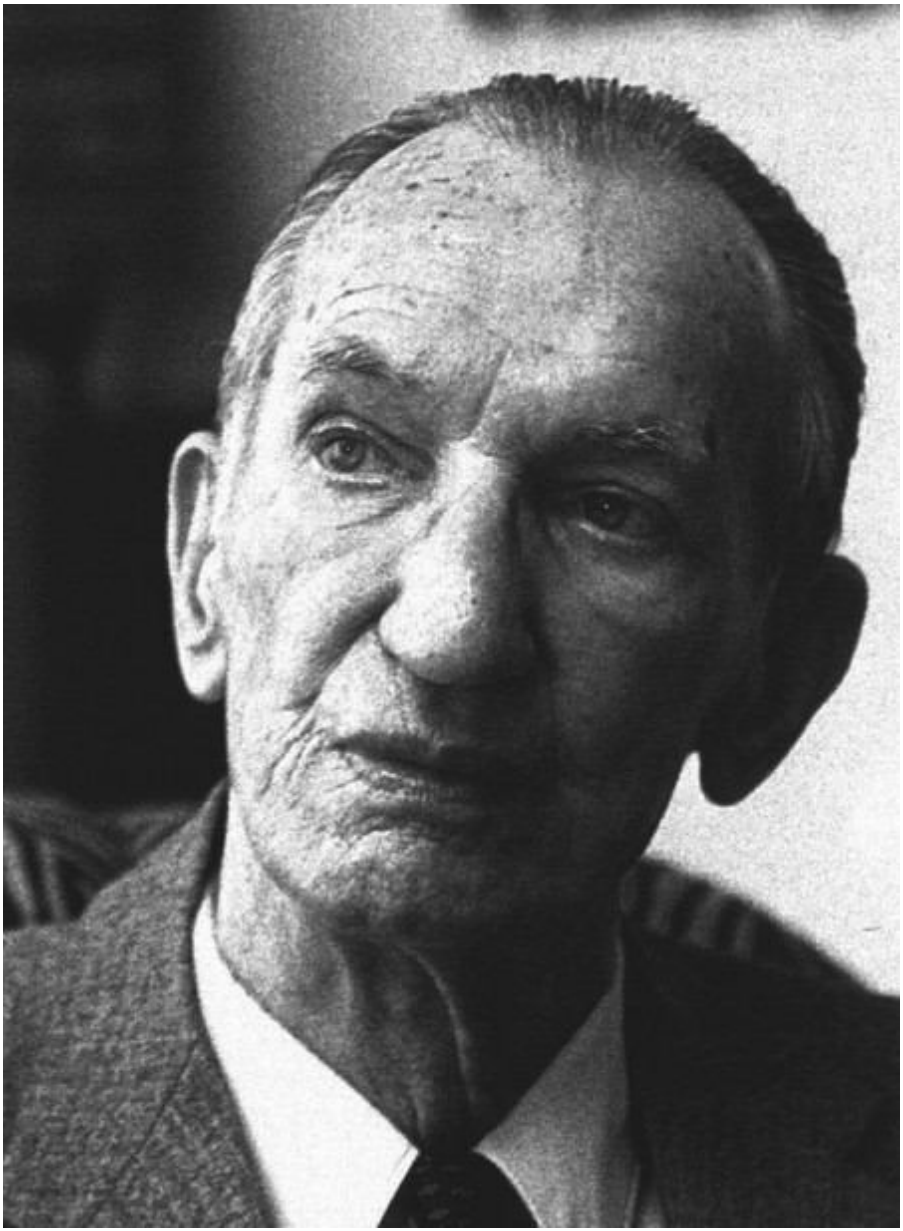
Я не претендую на то, что дал в своей книге исчерпывающее описание польского Сопротивления, его деятельности и структуры. Думаю, в данный момент никто и не способен дать такое описание. Это станет возможным не раньше, чем спустя несколько лет после войны, когда будет собрана и сопоставлена вся информация. Я основывался на своем личном опыте, старался вспомнить все, что со мной происходило, рассказать о событиях, в которых участвовал, и о людях, с которыми встречался[181].

Польским подпольным государством, которому я служил, руководило лондонское правительство в изгнании. Мне известно, что, помимо наших структур, существовали другие организации, действовавшие по указаниям или под влиянием Москвы. Но поскольку я писал лишь о том, чему сам был свидетелем, то не стал упоминать о них в книге[182].

Я первый из участников польского Сопротивления, кому удалось опубликовать то, что я о нем знаю. Надеюсь, это побудит сделать то же самое и других, и по этим рассказам свободные народы всего мира смогут судить о том, как жили и боролись поляки в годы нацистской оккупации[183].

Я. К.

Иллюстрации



Ян Карский у себя дома в городе Чеви-Чейз (штат Мэриленд, США).

4 апреля 1995 г.

UNIWERSYTET JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE

L. 3334 / 1935

DYPLOM

MY REKTOR I DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA
UNIWERSYTETU JANA KAZIMIERZA

POŚWIADCZAMY CO NASTĘPUJE:

PAN Kozielewski Jan Romuald

URODZONY dnia 24. kwietnia 1914 r. w Łodzi, rel. rz. kat.

PO ODBYCIU STUDJÓW PRAWNICZYCH W UNIWERSYTECIE JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE W LATACH 1931/32 - 1934/35 I ZŁOŻENIU PRZEPISANYCH EGZAMINÓW ROCZNYCH,

A MIANOWICIE:

EGZAMINU PIERWSZEGO

Z PRAWA RZYMSKIEGO, HISTORJI PRAWA POLSKIEGO, HISTORJI PRAWA NA ZACHODZIE EUROPY, TEORJI PRAWA

ZE STOPNIEM dobrym.

EGZAMINU DRUGIEGO

Z PRAWA KOŚCIELNEGO, EKONOMJI POLITYCZNEJ, PRAWA POLITYCZNEGO, PRAWA NARODÓW,

ZE STOPNIEM dobrym.

EGZAMINU TRZECIEGO

ZE SKARBOWOŚCI I PRAWA SKARBOWEGO, NAUKI ADMINISTRACJI I PRAWA ADMINISTRACYJNEGO, STATYSTYKI, PRAWA I POSTĘPOWANIA KARNEGO, FILOZOFJI PRAWA,

ZE STOPNIEM dostatecznym.

EGZAMINU CZWARTEGO

Z PRAWA CYWILNEGO, POSTĘPOWANIA SĄDOWO-CYWILNEGO, PRAWA HANDLOWEGO I WEKSLOWEGO, PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PRYWATNEGO,

ZE STOPNIEM dostatecznym.

W MYśl ART. 44 USTAWY O ORGANIZACJI AKADEMICKICH Z DNIA 1920 R. (DZ. U. RZ. P. NR. 30 POZ. 187 I § 6 ROZP. MIN. W. R. I O. P. Z DNIA 1920 R. NR. 5484-IV/20 (DZ. URZ. MIN. W. R. I O. P. NR. 23/20 POZ. 240)

OTRZYMAŁ Z DNIEM 27. września 1935 TYTUŁ

MAGISTRA PRAW

STANOWIĄCY DOWÓD UKOŃCZENIA UNIWERSYTECKICH STUDJÓW PRAWNICZYCH, UPRAWNIAJĄCY DO UBIEGANIA SIĘ O STOPIEŃ DOKTORSKI.

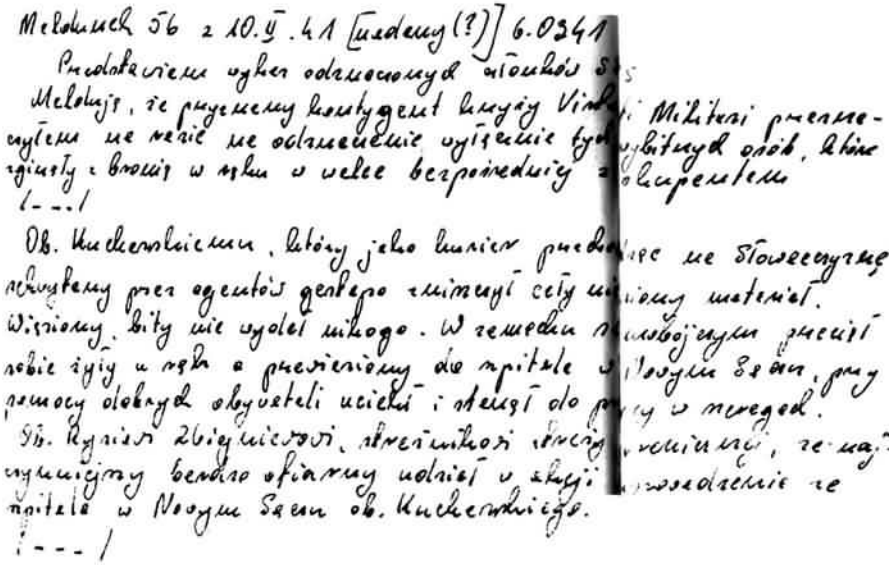
WYDANO WE LWOWIE, DNIA 8. października 1935.

REKTOR: DZIEKAN:

Диплом, выданный Яну Козелевскому 8 октября 1935 г. Львовским университетом Яна Казимира.

Вверху: семья Козелевских. Лодзь, 1918 г.

Внизу: слева Ян Козелевский, будущий Ян Карский, в студенческой форме. Рядом в военной форме его брат Мариан Козелевский. 1936 г.

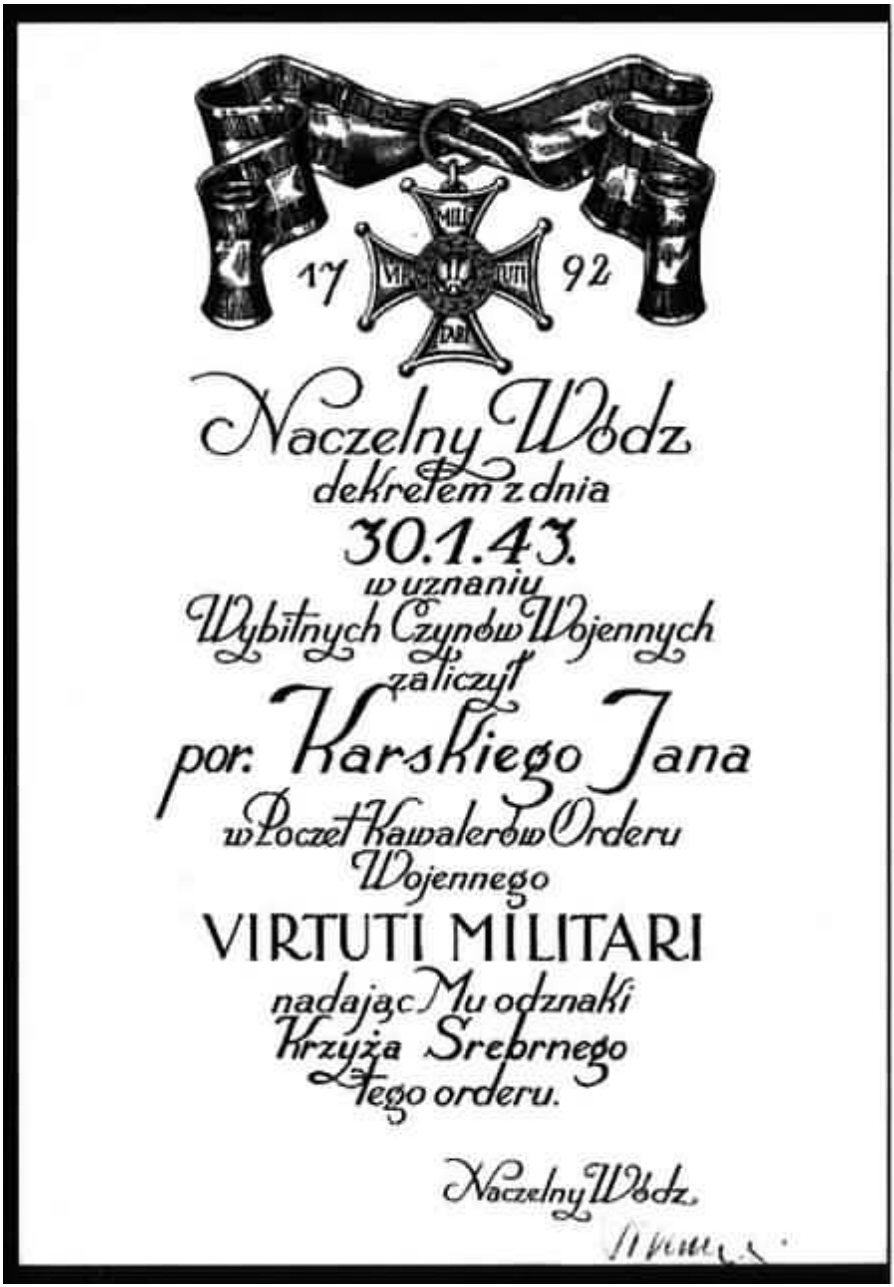


Rzeczy

Секретный указ главнокомандующего Армии Крайовой генерала Стефана Ровецкого от 10 февраля 1941 г. о награждении гражданина Кухарского (т. е. Яна Карского) орденом Воинской доблести (Virtuti Militari).

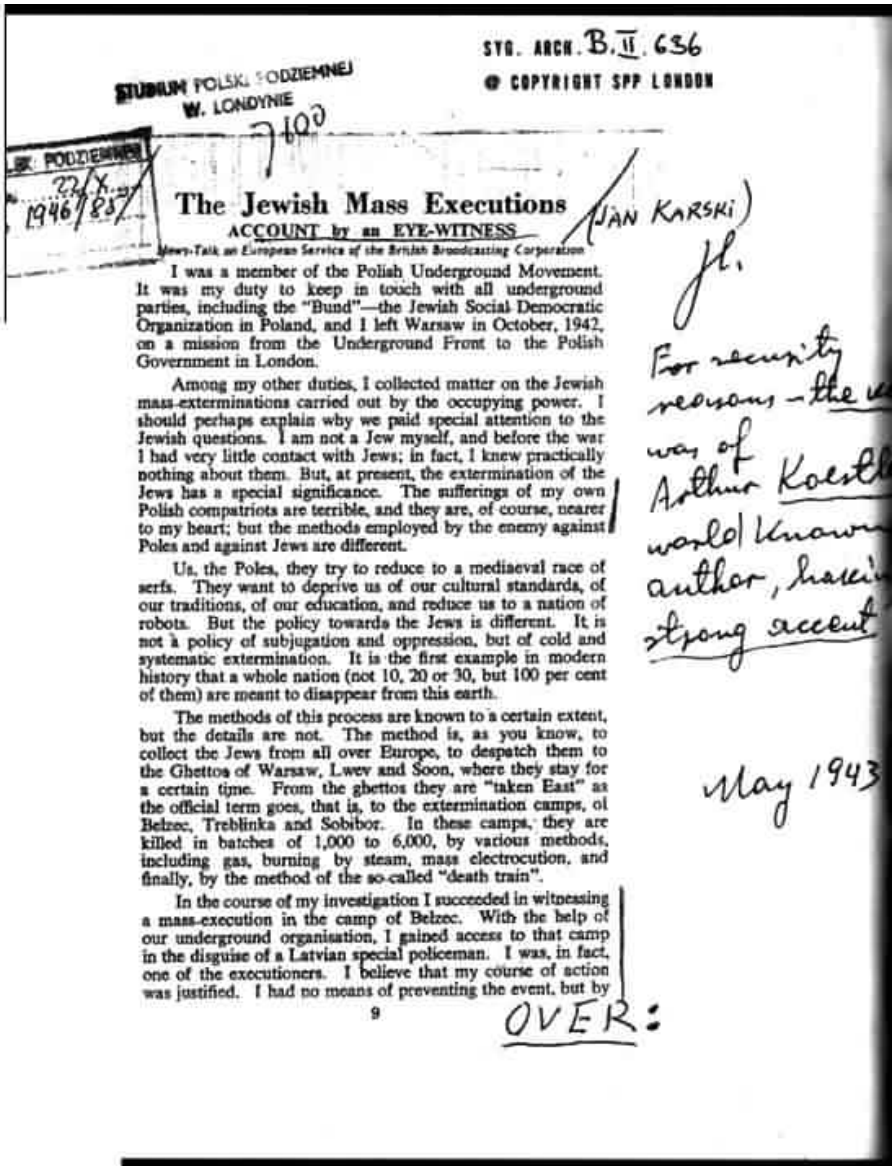
В тексте указа говорится:

> «Я произвожу в кавалеры ордена Virtuti Militari гражданина Кухарского, который, выполняя миссию курьера, проник в Словакию, был там схвачен агентами гестапо и успел уничтожить все документы, которые нес с собой. Его бросили в тюрьму, пытали, но он никого не выдал. Пытаясь покончить с собой, перерезал себе вены на руках. Был помещен в больницу в Новы-Сонче, совершил побег с помощью доблестных сограждан и вернулся в наши ряды».



Сам герой узнал о награждении только в девяностые годы.

Не знал о нем и генерал Сикорский, глава польского правительства в изгнании, когда в январе 1943 года вручил орден Virtuti Militari Яну Карскому в Лондоне.



SYG. ARCH. B.II.636
© COPYRIGHT SPP LONDON
STUDIUM POLSKI PODZIEMNEJ W. LONDYNIE
7102
PODZIEMNEJ 22.X.97 1946/85

The Jewish Mass Executions

(JAN KARSKI)

ACCOUNT by an EYE-WITNESS

News-Talk on European Service of the British Broadcasting Corporation

I was a member of the Polish Underground Movement. It was my duty to keep in touch with all underground parties, including the "Bund"—the Jewish Social-Democratic Organization in Poland, and I left Warsaw in October, 1942, on a mission from the Underground Front to the Polish Government in London.

Among my other duties, I collected matter on the Jewish mass-exterminations carried out by the occupying power. I should perhaps explain why we paid special attention to the Jewish questions. I am not a Jew myself, and before the war I had very little contact with Jews; in fact, I knew practically nothing about them. But, at present, the extermination of the Jews has a special significance. The sufferings of my own Polish compatriots are terrible, and they are, of course, nearer to my heart; but the methods employed by the enemy against Poles and against Jews are different.

Us, the Poles, they try to reduce to a mediaeval race of serfs. They want to deprive us of our cultural standards, of our traditions, of our education, and reduce us to a nation of robots. But the policy towards the Jews is different. It is not a policy of subjugation and oppression, but of cold and systematic extermination. It is the first example in modern history that a whole nation (not 10, 20 or 30, but 100 per cent of them) are meant to disappear from this earth.

The methods of this process are known to a certain extent, but the details are not. The method is, as you know, to collect the Jews from all over Europe, to despatch them to the Ghettos of Warsaw, Lwev and Soon, where they stay for a certain time. From the ghettos they are "taken East" as the official term goes, that is, to the extermination camps, ol Belzec, Treblinka and Sobibor. In these camps, they are killed in batches of 1,000 to 6,000, by various methods, including gas, burning by steam, mass electrocution, and finally, by the method of the so-called "death train".

In the course of my investigation I succeeded in witnessing a mass-execution in the camp of Belzec. With the help of our underground organisation, I gained access to that camp in the disguise of a Latvian special policeman. I was, in fact, one of the executioners. I believe that my course of action was justified. I had no means of preventing the event, but by

Jl.

For security reasons – the w
was of
Arthur Koestl
world known
author, having
strong accent

May 1943

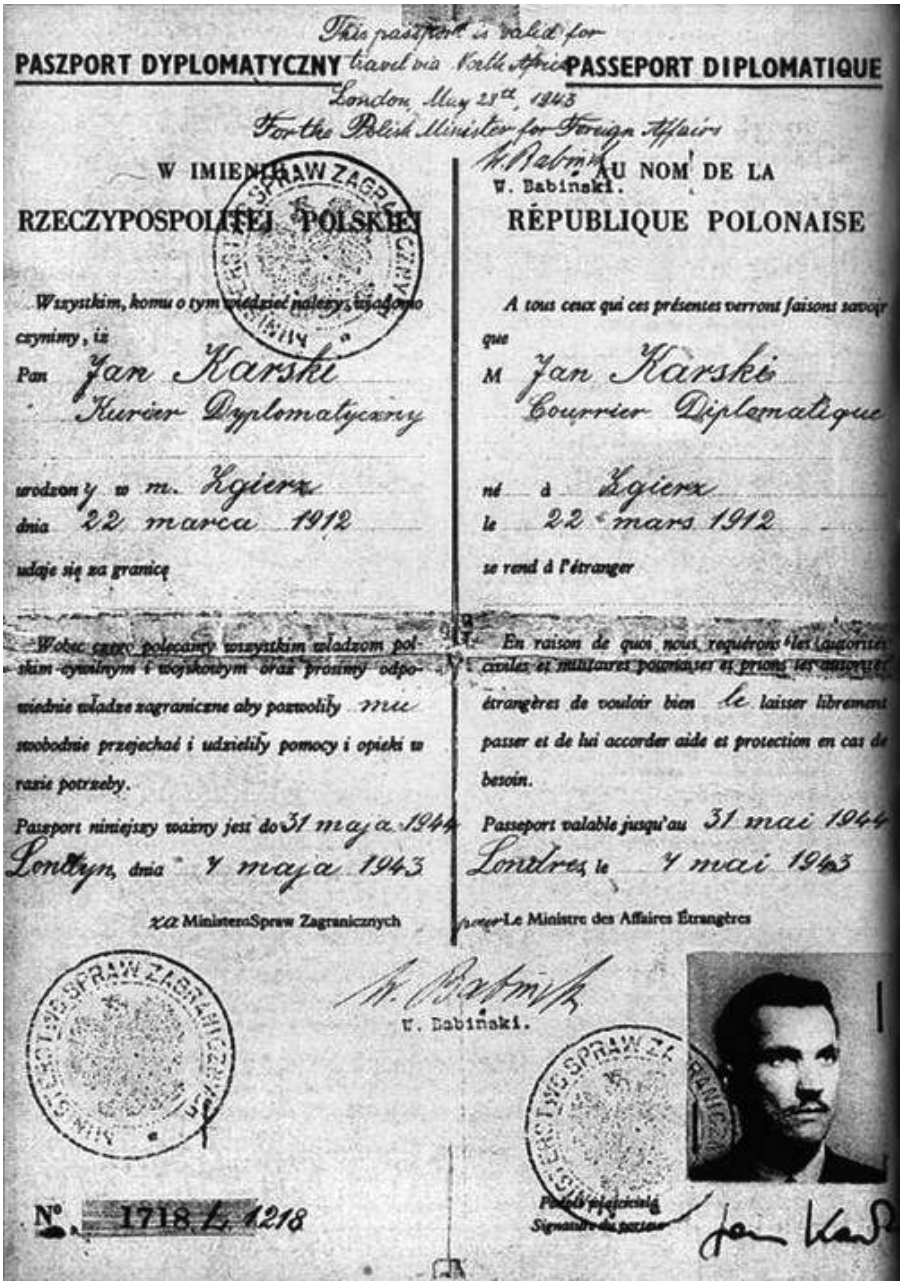
OVER:

«Свидетельство очевидца о массовом уничтожении евреев», написанное Яном Карским по-английски и прочитанное в мае 1943 г. по радио BBC.

Чтобы не выдать Карского, текст вместо него читал немецкий писатель Эрих Кестнер, выбранный на эту роль за сильный иностранный акцент.

9 часов утра 17 декабря 1942 г. Эдвард Рачинский, министр иностранных дел польского правительства в изгнании (1940–1943), читает по радио BBC сведения, доставленные курьером Яном Карским в ноябре 1942 г., о массовом уничтожении евреев:

> «Я хотел бы донести до вашего сознания, какая трагедия разыгрывается прямо сейчас вдали от Британии, на европейском материке, на польской земле… Польское правительство передало правительствам Объединенных Наций достоверную информацию о массовых убийствах не только польских евреев, попавших в руки немцев, но и сотен тысяч евреев, свезенных из других стран и помещенных в гетто и лагеря уничтожения, созданные оккупантами в нашей стране… По сведениям, имеющимся у польского правительства, более трети еврейского населения Польши, составлявшего три миллиона сто тридцать тысяч человек, уже истреблено».



This passport is valid for travel via South Africa

PASZPORT DYPLOMATYCZNY — PASSEPORT DIPLOMATIQUE

London, May 25th, 1943

For the Polish Minister for Foreign Affairs

W. Babiński

W. Babiński.

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE POLONAISE

Wszystkim, komu o tym wiedzieć należy, wiadomo czyniny, iż

A tous ceux qui ces présentes verront faisons savoir que

Pan Jan Karski
Kurier Dyplomatyczny

M Jan Karski
Courrier Diplomatique

urodzony w m. Zgierz
dnia 22 marca 1912

né à Zgierz
le 22 mars 1912

udaje się za granicę

se rend à l'étranger

Wobec czego polecamy wszystkim władzom polskim cywilnym i wojskowym oraz prosimy odpowiednie władze zagraniczne aby pozwoliły mu swobodnie przejechać i udzieliły pomocy i opieki w razie potrzeby.

En raison de quoi nous requérons les autorités civiles et militaires polonaises et prions les autorités étrangères de vouloir bien le laisser librement passer et de lui accorder aide et protection en cas de besoin.

Paszport niniejszy ważny jest do 31 maja 1944

Passeport valable jusqu'au 31 mai 1944

Londynu, dnia 4 maja 1943

Londres, le 4 mai 1943

za Ministera Spraw Zagranicznych

pour Le Ministre des Affaires Étrangères

W. Babiński.

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

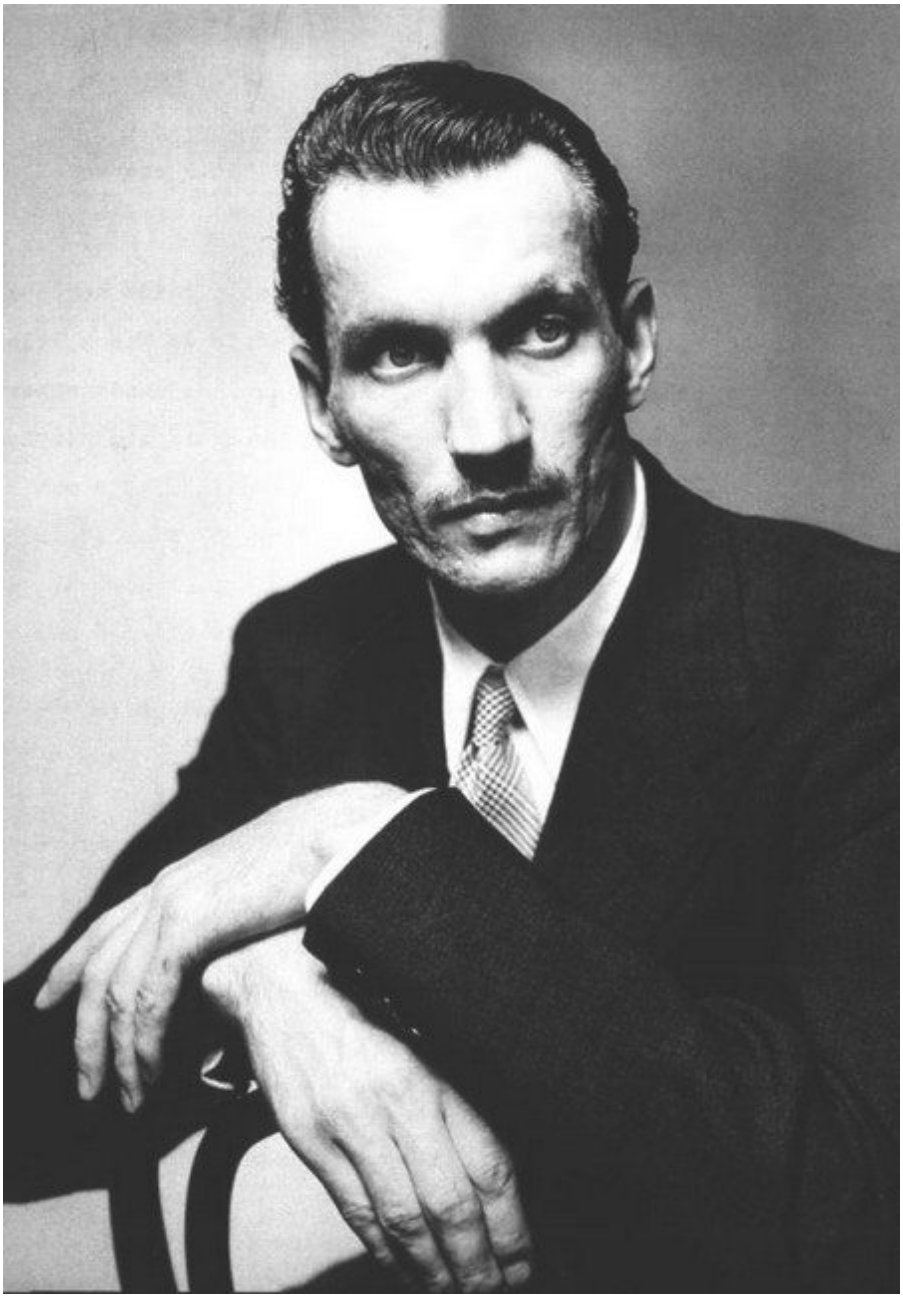
Podpis właściciela
Signature du titulaire

Jan Karski

No. 1718 L 1218

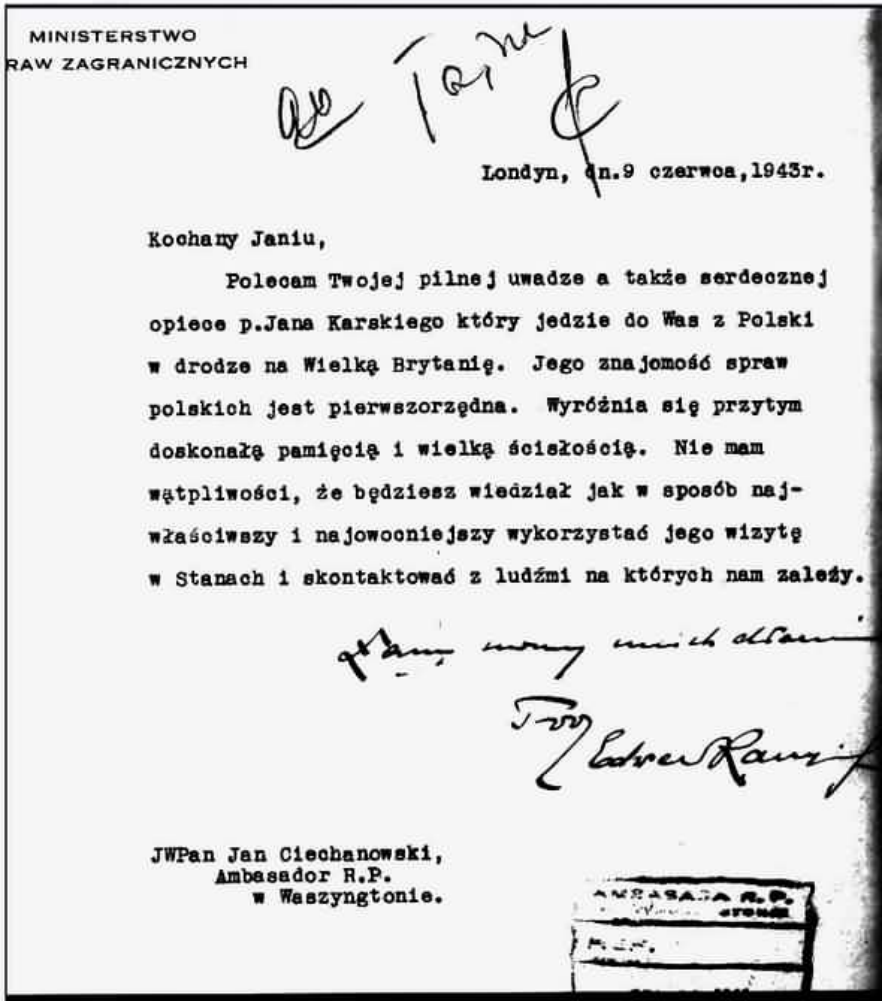
Дипломатический паспорт с въездной визой в Соединенные Штаты, выданный польским Министерством иностранных дел в Лондоне на имя Яна Карского.

Дата и место рождения в целях конспирации указаны неправильно.



Ян Карский в Вашингтоне во время его первого посещения США (июнь — сентябрь 1943 г.).

По просьбе польского посла Яна Чехановского, снимок не стали ретушировать, чтобы были видны шрамы, оставшиеся после пыток в гестапо летом 1940 г.



MINISTERSTWO
RAW ZAGRANICZNYCH

Londyn, dn.9 czerwca,1943r.

Kochany Janiu,

Polecam Twojej pilnej uwadze a także serdecznej opiece p.Jana Karskiego który jedzie do Was z Polski w drodze na Wielką Brytanię. Jego znajomość spraw polskich jest pierwszorzędna. Wyróżnia się przytym doskonałą pamięcią i wielką ścisłością. Nie mam wątpliwości, że będziesz wiedział jak w sposób najwłaściwszy i najowocniejszy wykorzystać jego wizytę w Stanach i skontaktować z ludźmi na których nam zależy.

JWPan Jan Ciechanowski,
Ambasador R.P.
w Waszyngtonie.

Рекомендательное письмо, выданное Яну Карскому министром иностранных дел Эдвардом Рачинским для польского посла в Вашингтоне Яна Чехановского:

«Лондон, 9 июня 1943 г.

Дорогой Ян,

Горячо рекомендую твоему вниманию и поручаю твоему попечению Яна Карского, который направляется к вам из Польши через Великобританию. Он прекрасно осведомлен о положении дел в Польше. Кроме того, это крайне пунктуальный человек, обладающий исключительной памятью. Уверен, что ты сможешь использовать его пребывание в Соединенных Штатах

наилучшим образом и связать его с важными для нас лицами.

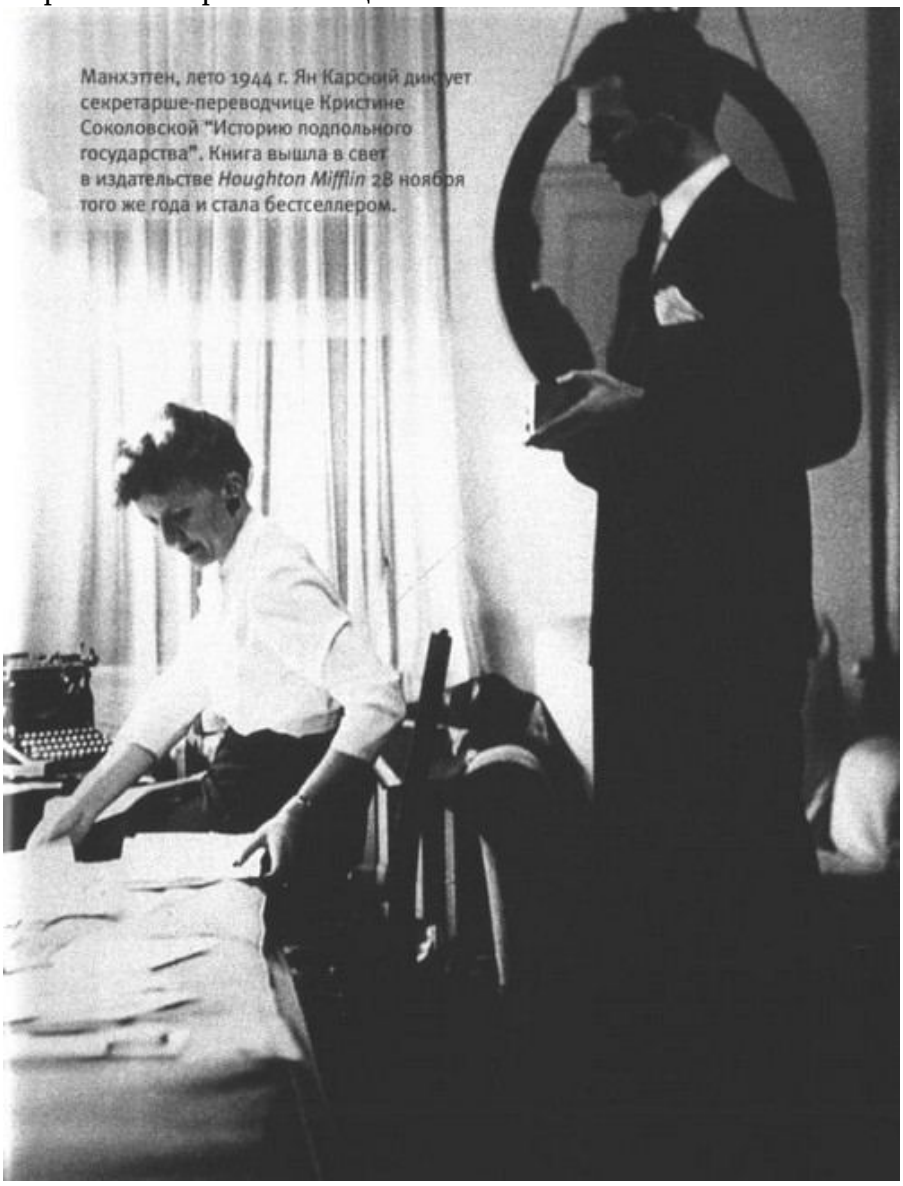
С дружеским приветом

Эдвард Рачинский».

Фотография польского посла Яна Чехановского (1887–1973) с дарственной надписью Яну Карскому, сделанной в июле 1943 г. во время его первого посещения США.

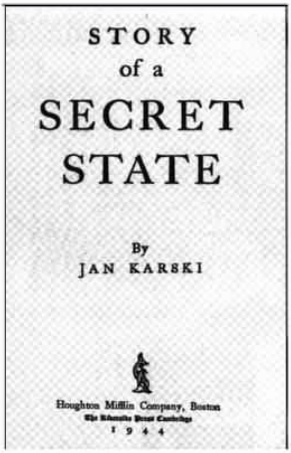
Фотография польского посла Яна Чехановского (1887–1973) с дарственной надписью Яну Карскому, сделанной в июле 1943 г.

во время его первого посещения США.


Манхэттен, лето 1944 г. Ян Карский диктует
секретарше-переводчице Кристине
Соколовской "Историю подпольного
государства". Книга вышла в свет
в издательстве *Houghton Mifflin* 28 ноября
того же года и стала бестселлером.

Манхэттен, лето 1944 г. Ян Карский диктует секретарше-переводчице Кристине Соколовской «Историю подпольного государства».

Книга вышла в свет в издательстве Houghton Mifflin 28 ноября того же года и стала бестселлером.



Обложки оригинального американского, шведского (1945) и французского (1948) изданий.

Диплом к медали Праведника мира, врученный Яну Карскому 7 июня 1982 г. Институтом Яд Вашем в Израиле после того, как он посадил дерево в Аллее праведников.

לאות
הוקרה על הצלת יהודים בתקופת השואה תוך הסתכנות והקרבה:
בהתאם לחוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם (תיקון) התשנ"ה - 1985
מיועדת בזה אזרחות כבוד של מדינת ישראל
ל פרופ. יאן קרסקי
כביטוי לדגשי כבוד ותודה שהוחש עם ישראל לחסידי אומות העולם
אצילי הנפש אשר בסערת-הזוועה [illegible] השכבת היהודים באירופה.
In recognition of the rescue of Jews during the Holocaust, fully
aware of the [illegible]
And in accordance with the resolution of the Knesset
of March Twenty Fifth Nineteen Hundred and Ninety Four
Honorary Citizenship
of the State of Israel is hereby awarded
To Prof. Jan Karski
LE PEUPLE JUIF
This recognition is extended to you, a citizen honoured by the
People of Israel for [illegible] nations who, through their
noble deeds, rekindled the light of humanity during the darkness of the Nazi
Jerusalem, Israel
January 20, 1994
ירושלים, ישראל
ז' שבט תשנ"ד
Avner Shalev
יושב ראש
יד ושם
Yad Vashem Directorate
The Commission for the Righteous
חבר הועדה לענין חסידי אומות העולם

Диплом почетного гражданина Израиля, врученный Яну Карскому 13 мая 1994 г. в посольстве Израиля в Вашингтоне на устроенной в его честь торжественной церемонии.

Присутствовавший там директор Музея Холокоста в Вашингтоне Майлс Лерман назвал это событие «актом справедливости». Ян Карский завершил свою речь высказыванием в духе Иоанна Павла II, ратовавшего за иудео-христианское

сближение и диалог:

> «Пусть Господь пошлет всем нам сил преодолеть и победить ненависть, фанатизм, расизм, антисемитизм, религиозную нетерпимость и ханжество».

notes

Примечания

1

«Зеленая граница» — так называли участки границы, где ее можно было нелегально пересечь. *(Прим. перев.)*.

2

Юзеф *Пилсудский* (1867–1935) — государственный и политический деятель, первый глава возрожденного польского государства, основатель польской армии. Установившийся в 1926 г. авторитарный режим, опиравшийся на армию и сторонников Пилсудского, получил название «санационного» — имелось в виду восстановление морального здоровья общества.

3

См. *Gazeta wyborcza,* 16 мая 2000 г.

4

«Кшиштоф Маслонь беседует с Яном Карским». — Газета *Kurier czytelniczy,* № 60, декабрь 1999 г.

5

Польское правительство в изгнании — правительство Польской Республики, действовавшее с 1939 г. после оккупации страны. Во время Второй мировой войны ему подчинялись вооруженные польские формирования за рубежом и польское подполье. Местопребыванием правительства с июня 1940 г. был Лондон. После войны оно продолжало существовать, не имея реальной власти, до последних дней коммунистического правления в Польше.

6

Здесь и далее автор предисловия цитирует документальную книгу Станислава М. Янковского «Карский» (*Stanislaw M. Jankowski.* Karski. Raporty tajnego emisariusza, Poznań, Rebis, 2009).

7

Армия Крайова — подпольная военная организация, действовавшая в оккупированной Польше в 1942–1945 гг., подчиняясь польскому правительству в изгнании.

8

Сезар де Соуза Мендеш (1885-?) — посол Португалии в Польше, брат-близнец Аристидеша де Соузы Мендеша (1885–1954), португальского консула в Бордо, который в годы Второй мировой войны, ослушавшись приказа Салазара, спас множество евреев и других нежелательных для нацистского режима лиц, выдавая им транзитные визы на выезд из оккупированной Франции.

9

Ян Козелевский (псевдоним Ян Карский он принял в 1942 г.) родился в Лодзи 24 июня 1914 г. Отца он потерял в 1920 г., в возрасте шести лет. Поскольку книга писалась в 1944 г., когда еще шла война, в ней намеренно переплетены истина и вымысел, чтобы замаскировать личность «курьера Карского» и не подвергать опасности его близких, оставшихся в Польше. Автор действительно блестяще закончил Львовский университет Яна Казимира, где одновременно изучал право и дипломатию (1931–1935); действительно в течение года проходил обязательную воинскую службу в конноартиллерийском училище во Владимире-Волынском (в настоящее время город находится на территории Украины), где ему было присвоено звание подпоручика; действительно учился и стажировался за границей, только не три, а полтора года (1936–1938): восемь месяцев в Женеве при Международном бюро труда и одиннадцать — при польском консульстве в Лондоне. В феврале 1938 г. его вызвали в Варшаву для продолжения образования в элитной дипломатической школе, которую он окончил первым из двадцати учащихся, и 1 февраля 1939 г. Козелевский приступил к штатной службе в Министерстве иностранных дел в качестве чиновника первой категории. Сначала работал референтом в отделе эмиграционной политики, а летом 1939 г. получил повышение и стал секретарем в отделе по работе с персоналом под началом Виктора Томира Дриммера.

10

Пьеса французского драматурга Викторьена Сарду (1831–1908).

11

До 1918 г. Освенцим находился на юго-западной границе Западной Галиции, в пределах империи Габсбургов, которой в 1795 г., во время третьего раздела Польши, досталась эта область, как и все Краковское воеводство, в состав которого средневековое Освенцимское княжество входило с 1454 г. Расположенный на границе с Верхней Силезией, отвоеванной у Австрии Фридрихом II, Освенцим с XVIII в. был военным городом, а с середины XIX в., когда город стал железнодорожным узлом, здесь появились предприятия новых промышленных отраслей. В независимой Польше Освенцим снова стал польско-еврейским городом (в 1939 г. более половины его населения, около 7000 человек, составляли евреи) в исторической области Малая Польша, был знаменит винокуренным заводом Якуба Хаберфельда (производившим «Песаховку», пасхальную водку) и фабрикой удобрений. В бывших австрийских казармах в августе 1939 г. был расквартирован 5-й конноартиллерийский дивизион, где служил Ян Карский. Когда Освенцим заняли немецкие войска, он был переименован в Аушвиц.

12

В силу своего положения в польском Министерстве иностранных дел автор не по слухам, а из надежных источников знал о давлении, которое оказывалось на Варшаву, в частности французским послом Леоном Ноэлем, чтобы секретный указ 23 августа 1939 г. о мобилизации был отменен. Он касался авиации, зенитной артиллерии; в шести военных округах были приведены в состояние полной боевой готовности 18 дивизий, 7 бригад кавалерии и набрано еще две с половиной дивизии резервистов. Как теперь стало известно, только подписание 25 августа соглашения о взаимопомощи, которым Англия давала Польше дополнительные гарантии, сорвало планы французского министра иностранных дел Жоржа Бонне об отмене соглашения 1921 г., связывавшего Францию обязательствами по отношению к Польше. Однако Лондон и Париж все еще пытались «сохранить мир любой ценой» и предпринимали попытки поддержать прямые переговоры между Берлином и Варшавой по поводу Данцигского коридора. Вечером 29 августа посол Леон Ноэль, проинформированный польским правительством о том, что оно вынуждено провести всеобщую мобилизацию, тут же потребовал, при поддержке своего британского коллеги, чтобы решение было отсрочено «на некоторое время, дабы не подыгрывать гитлеровской политике» и само слово «мобилизация» не произносилось; он яростно настаивал на этом перед польским министром иностранных дел Юзефом Беком. Таким образом Польша потеряла сутки. Только 30 августа президент Игнаций Мосцицкий официально объявил всеобщую мобилизацию. До чего же странно читать в солидном труде Жана-Батиста Дюроселя «Внешняя политика Франции. Катастрофа 1939–1945 гг.» (*Paris, Seuil,* 1990, *p.* 25) в главе «Можно ли спасти Польшу?» следующее утверждение: «Из-за иллюзий, которые питал Юзеф Бек, всеобщая мобилизация началась только 30 августа. И была совершенно парализована мощными бомбардировками».

13

Имеется в виду Мариан Козелевский (1897–1964), который был на восемнадцать лет старше Яна. Еще школьником, в сентябре 1914 г., Мариан убежал из дома в Галицию, записался в Польские легионы Юзефа Пилсудского и воевал на русско-австрийском фронте. После войны он вернулся в Лодзь, примкнул к местной ячейке подпольной Польской военной организации, которую вскоре возглавил, и в ноябре 1918 г. установил от имени независимой Польши контроль над местными железными дорогами. В 1919 г. был переведен офицером в новообразованную государственную полицию и в 1920 г., во время русско-польской войны, возглавлял 213-ю добровольческую полицейскую роту. С 1921 по 1926 г. он оставался офицером действующей армии, служащим в полиции, его начальником был Борецкий *(см. главу VIII)*. В 1931 г. был переведен во Львов начальником местной полиции. Перевез туда мать и брата Яна. Осенью 1934 г. маршал Пилсудский вызвал его в Варшаву и доверил ему пост начальника столичной полиции. В сентябре 1939 г. он не подчинился приказу перевести свое ведомство на восток страны, остался на своем посту и вместе с меньшинством полицейских перешел под начало гражданского комиссара оборонительных сил столицы, президента (мэра) Варшавы Стефана Стажинского, своего старого товарища по Легионам, и согласился остаться во главе польской полиции, подчинив ее непосредственно Сопротивлению.

14

После событий в Судетах и в Мюнхене выражение «пятая колонна», впервые появившееся в 1936 г. во время войны в Испании, стало употребляться по отношению к этническим немцам в странах Центральной Европы, выступавшим, вопреки статьям Версальского договора, за воссоединение с рейхом. Согласно переписи 1931 г., немецкое меньшинство в Польше составляло 800 000 человек (2,3 % населения страны) и было сконцентрировано в основном в Померании и Верхней Силезии. Нацизм распространялся в их среде через организацию «Югенддойче Партай», существовавшую в Бельско-Бяла, а также через подпольные ячейки «Ландесгруппе-Полен». Именно эти люди, вместе с заброшенными парашютистами-диверсантами, занимались саботажем с целью помешать мобилизации польской армии. В Катовице, Пщине и Бельско-Бяла немецкие меньшинства пытались поднять вооруженные мятежи посерьезнее, чем стрельба из окон в Освенциме.

15

На рассвете 1 сентября 1939 г. без объявления войны бомбардировщики люфтваффе нанесли первый удар устрашения по мирному городку Велюнь в Лодзинском воеводстве. Во время заранее спланированного налета на «цель», не имевшую никакого стратегического значения (зато там находились больницы с нарисованными на крышах большими красными крестами), было сброшено 46 тонн бомб. В результате пострадало 1200 человек, в том числе больные и дети, город был разрушен на 70 %, а его центр — практически целиком.

16

Тарнополь (9 августа 1944 г. переименован советскими властями в Тернополь) — город, расположенный в Подолии, на берегах реки Серет (левого притока Днестра).

17

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (известный как пакт Молотова — Риббентропа, по именам подписавших его министров иностранных дел) был заключен 23 августа 1939 г. К договору прилагался секретный протокол, который предусматривал присоединение к обеим странам некоторых областей, входящих в их «сферы влияния». В частности, Польшу предполагалось разделить на две части: восточная предназначалась СССР, а западная — Германии. В конце сентября 1939 г. этот раздел был завершен. Польское правительство о существовании секретного протокола не знало и было убеждено в нейтралитете СССР по крайней мере в начале войны, когда все, как считал министр иностранных дел Юзеф Бек, зависело от позиции союзников Польши — Франции и Великобритании. Зато французская разведка и президент Даладье, согласно архивным дипломатическим документам, обнаруженным польскими историками в 1990-е гг., еще в июне 1939 г. получили информацию (от агентов и послов в Москве и Берлине) о готовящемся советском вторжении в Польшу, но не передали ее «польским союзникам» из страха, что Польша предпочтет сразу капитулировать. Франции же нужно было закончить собственные приготовления к войне, а потому ей было выгодно, чтобы хотя бы какое-то время силы Германии были отвлечены «восточным фронтом».

18

Эта речь, произнесенная при встрече польских солдат под Тарнополем с танковыми частями 6-й армии Украинского фронта, повторяет аргументы, тщательно подготовленные Политотделом Красной армии и разосланные во все части Белорусского и Украинского фронтов, участвовавшие во вторжении в Польшу 17 сентября 1939 г.

19

17 сентября 1939 г. мэр Тарнополя обратился по радио к горожанам, призывая их благожелательно встретить войска Красной армии. Жители первых населенных пунктов на пути советских солдат тоже приняли их по-братски, обманутые обещаниями защитить поляков. Но уже к вечеру стало ясно, в чем заключается эта «защита»: все, кто носил хоть какую-то форму (полицейские, скауты, студенты, ученики лицеев) бьии задержаны и на следующий же день вывезены из города.

20

Чудотворная икона Остробрамской Божией Матери находится на городских воротах в Вильнюсе. Она написана в XVI веке и богато изукрашена. В Польше чрезвычайно распространен культ Богородицы, которая даже считается «Царицей Польши». В XIX в. этот культ особенно усилился и приобрел патриотический характер как ответ на притеснения со стороны царской России. 2 июля 1927 г. состоялась коронация иконы.

21

Речь идет о бывшем монастыре Оптина пустынь вблизи города Козельска Калужской области. Согласно утвержденному наркомом внутренних дел Лаврентием Берией «Положению об управлении делами военнопленных» от 19 сентября 1939 г., здесь и в семи других местах на территории страны были за десять дней развернуты лагеря для приема 126 000 польских военнослужащих, взятых в плен 17 сентября. В Козельский лагерь первоначально было направлено 5000 человек, а к 1 октября его вместимость приказано было увеличить до 10 000.

Такая дискриминация пленных резервистов, кадровых офицеров, полицейских и гражданской элиты была прямым следствием пропагандистской кампании, которую газета «Правда» начала с 14 сентября 1939 г., и указаний, полученных Красной армией накануне «освободительного похода» во имя «социальной справедливости». По совершенно секретному приказу Берии (№ 001177) от 3 октября 1939 г., все генералы, офицеры, крупные чиновники были переведены в специальный лагерь в Старобельске (позднее — в Козельске), а жандармы, полицейские, тюремные охранники и разведчики, в количестве 6192 человек, — в Осташковский лагерь. 13 апреля 1943 г. немецкое радио объявило о том, что в Катынском лесу под Смоленском обнаружены останки 4123 расстрелянных польских офицеров, связь с которыми внезапно прервалась весной 1940 г. Немцы обвиняли в этом преступлении русских. Польское правительство в изгнании, возглавляемое генералом Сикорским, инициировало тогда расследование под эгидой Красного Креста. Сталин воспользовался этим предлогом, чтобы разорвать отношения с Сикорским и начать на Западе кампанию против него, объявив его «союзником и прислужником Геббельса». Советские власти продолжали настаивать на этой лжи даже после начала перестройки. Михаил Горбачев, вопреки мнению своих советников, отказывался признать истину, и только Борис Ельцин 14 октября 1992 г. передал наконец польскому президенту Леху Валенсе засекреченные документы из спец-архивов ЦК КПСС, в том числе решение Политбюро от 5 марта 1940 г., подписанное Сталиным и членами Политбюро, о казни 14 568 военнопленных из Старобельского, Козельского и Осташковского лагерей, а также 11 000 тысяч поляков, содержавшихся в разных местах в Белоруссии и на Украине, то есть всего 25 568 жертв.

23

На самом деле в пакте Молотова — Риббентропа ничего не говорилось о пленных. Но 28 сентября 1939 г. был подписан еще один германо-советский договор «О дружбе и границе», в секретных дополнительных протоколах к которому были подкорректированы установленные 23 августа «сферы интересов» СССР и Германии, установлена «окончательная» граница и оговорено, что СССР не будет препятствовать желанию этнических немцев и других лиц немецкого происхождения эмигрировать в рейх. Это касалось прибалтийских немцев, колонистов и недавних беженцев. Обмен военнопленными, о котором идет речь, был следствием одного из протоколов и инициатив советского и немецкого военного командования. 11 октября Берия получил предложение от штаба 4-й немецкой армии отправить в СССР около 20 000 пленных украинцев и белорусов; в свою очередь, Берия написал Молотову о необходимости «скорейшего возвращения немецким властям пленных солдат, уроженцев немецкой части бывшей Польши, в количестве 30 000 человек». 18 октября немецкий военный атташе в Москве генерал Кстринг предложил произвести обмен. Первоначально были намечены три пункта приема пленных: Брест-Литовск и Хелм — для пленных, переправляемых в СССР, и Дорохуск — для подданных Германии. Позднее прибавили еще пограничный Пшемысль. Операция по обмену должна была начаться 20 октября, но, поскольку немцы не проявляли большого рвения, она началась чуть позже и растянулась с 24 октября до 15 ноября. В общей сложности из СССР на территорию рейха было переправлено от 43 000 до 44 500 военнопленных, немцы же переслали около 17 000 человек.

24

Новая советско-германская граница пересекала расположенный на реке Сан (приток Вислы) город Пшемысль (в российско-украинской традиции — Перемышль). Исторический центр (с еврейским кварталом) принадлежал Советскому Союзу. Засанье, то есть район на другом берегу реки Сан, входило в так называемое Генерал-губернаторство, которое было учреждено на оккупированных Германией польских территориях указом Гитлера от 12 октября 1939 г. Оно включало в себя 95 000 кв. км, где проживало 11 863 000 жителей, в том числе 9 792 000 поляков, 1 437 000 евреев, 526 000 украинцев, 65 000 немцев. Это образование не имело никакой автономии и делилось на четыре округа: Краковский, Варшавский, Люблинский и Радомский. Все управление осуществлялось немецкой администрацией. Генерал-губернатором был назначен Ганс Франк (1900–1946), видный деятель Национал-социалистской партии, крупный юрист, выбравший своей резиденцией Вавельский королевский замок в Кракове. Франк рассматривал Генерал-губернаторство как временную резервацию для «недочеловеков». В июле 1941 г., после вторжения в Советский Союз, к Генерал-губернаторству был присоединен еще один округ — Галицийский, с тремя польскими областями: Львовской, Тарнопольской и Станиславской. Таким образом, территория его увеличилась до 145 000 кв. км, а население — до 17 600 000 человек. Начиная с 1939 г. в Генерал-губернаторство переселялось множество немцев, так что число их выросло до 300 000. Другая часть страны, прежде входившая в состав Пруссии, была непосредственно присоединена к Третьему рейху.

25

Речь идет о договоре «О дружбе и границе» *(см. прим. 5 к главе II /В файле — примечание № 23 — прим. верст./),* согласно которому Сталин уступал Гитлеру Люблинское воеводство и восточную часть Варшавского воеводства в обмен на приобщенную к «сфере влияния СССР» Литву. В окончательном виде граница проходила по рекам Писа — Нарев — Сан. Гитлеру досталось 190 000 кв. км, то есть 48,6 % территории Польской Республики с населением 22 млн человек (из которых 6,4 % принадлежали к немецкому меньшинству), а Сталин захватил 200 000 кв. км восточных земель с 14 млн жителей, в числе которых было 5,5–6 млн поляков. Вильно и окрестности (6880 кв. км, 549 000 жителей) были «восстановлены» в составе Литвы. Специальная советско-германская комиссия окончательно закрепила новую границу протяженностью в 15 000 км установкой пограничных столбов, законченной 27 февраля 1940 г.

26

Наиболее известным из «непримиримых» в зоне немецкой оккупации был партизанский отряд Хубаля (псевдоним майора Генрика Добжанского; 1897–1940), который сражался в Свентокшиских горах и Спальских лесах, что привело к жестоким расправам с жителями окрестных деревень. В советской зоне отдельные части держали оборону в заболоченных лесах Полесья и под Белостоком до весны 1941 г., рассчитывая на наступление союзников.

27

Имеется в виду река Сан.

В 1945 г. стало известно, что почти все эти бывшие пленные, белорусы и украинцы, всего 17 000 человек, были отправлены в ГУЛАГ.

29

Весть о том, что 3 сентября Великобритания, а потом и Франция объявили войну Германии, была встречена в Польше с воодушевлением и благодарностью. Сам Гитлер, как стало известно позже, на какое-то время впал в панику. В самом деле, существовал договор, подписанный 17 мая 1939 г. генералами Гамеленом и Каспшицким, согласно которому «в случае немецкой агрессии против Польши» Франция «автоматически приведет в действие свои вооруженные силы», в частности «немедленно произведет воздушную атаку», а также «развернет наступление на Германию всем составом армии, начиная с пятнадцатого дня после объявления всеобщей мобилизации». Вот почему в Польше с такой надеждой ждали этого самого пятнадцатого дня и того, что за ним последует. Но единственное, что сделал французский Генштаб, чтобы помочь Польше, — это провел скромную локальную операцию: 7 сентября ввел войска в лес Варндт. Эта операция была остановлена 12 сентября и стоила немцам 196 убитых. В тот же день, 12 сентября, на заседании франко-британского военного совета было решено не начинать наступление на западе, но польским союзникам об этом решении не сообщили. Чемберлен заявил, что «Польше уже ничем помочь нельзя. Единственное средство — это выиграть войну». Никому не было дела до того, что Варшава ожесточенно оборонялась и не сдавалась до 28 сентября. И что последние польские части противостояли вермахту и выдерживали бои еще 4 и 5 октября, 2 октября французская газета *L'Œuvre* поместила карикатуру, на которой изображены Сталин и Гитлер, склонившиеся над картой Европы, и надпись: «Польша? Польша?.. Но ее больше нет!..»

30

Автор имеет в виду следующие события, оставившие глубокий шрам в памяти поляков: поражение восстания 1794 г. под предводительством Костюшко (взят в плен в битве при Мацеёвице) и последовавший за этим в 1795 г. третий раздел Польши (между Россией, Пруссией и Австрией), «навсегда уничтоженной», как поклялись монархи этих трех стран; подавленные восстания 1830 и 1863 гг. и неоднозначную реакцию как друзей, так и недругов возрожденной Польши, когда она отстояла свою независимость, одержав победу в русско-польской войне (1919–1921).

31

Польский историк Томаш Шарота приводит следующие данные: с 11 октября по 2 декабря 1939 г. нацистские власти предписали варшавянам рацион в 250 г хлеба на человека в день, еще полагалось на два месяца по 250 г сахара, 100 г риса, 200 г соли. 15 декабря была введена карточная система, самая скудная во всей оккупированной Европе, установленная с учетом расовых критериев для поляков и евреев. Продуктовые нормы в Варшаве были самыми низкими на территории Генерал-губернаторства.

32

Точнее, Пауль Модер, группенфюрер СС, командующий войсками СС и полицией Варшавы в ноябре 1939 — августе 1941 г.

33

Прага — правобережная часть Варшавы; здесь, по всей видимости, речь идет о прилегающем к Висле районе Саска Кемпа на юге Праги, в межвоенное двадцатилетие считавшемся шикарным и престижным.

34

Лаура Бялобжеская, урожденная Козелевская, сестра Яна Карского. Она пережила оккупацию и умерла в Польше после войны.

35

На самом деле речь идет о Ежи Гинтовт-Дзевалтовском, молодом скрипаче родом из Львова, с которым автор был дружен. Он действительно участвовал в Сопротивлении и погиб во время оккупации.

36

Товарищество народных школ было основано в 1891 г., в ознаменование столетия польской конституции 1791 г., в Галиции (входившей тогда в состав Австро-Венгрии), где уровень неграмотности в деревнях был крайне высоким. В 1898 г. при Товариществе открылся Краковский народный университет им. Адама Мицкевича, пользовавшийся поддержкой социалистической интеллигенции. Деятельность Товарищества, по большей части сосредоточенная в галицийских городах Кракове и Львове и тесно связанная с кооперативным движением, продолжилась и в годы между мировыми войнами.

37

Под именем *пани Новак* выведена жена Богдана Самборского, которого автор хорошо знал до 1939 г. — оба они служили в польском МИДе. После сентябрьской катастрофы Самборский бежал во Францию, в октябре 1942 г. Ян Карский встретился с ним в Лионе.

38

Повисле — район Варшавы между левым берегом Вислы и улицей Новый Свят.

То есть в подпольной военной организации, так называемой «Службе победе Польши» (СПП; первая военная и гражданская структура Сопротивления, преобразованная затем в Союз вооруженной борьбы), созданной в Варшаве уже в сентябре 1939 г. под командованием генерала Токажевского-Карашевича.

40

Аллея Шуха — улица в Варшаве, названная в честь архитектора Яна Христиана Шуха (1752–1813). В 1939–1945 гг. на ней в здании бывшего Министерства вероисповеданий и народного просвещения располагалось управление гитлеровской полиции безопасности, а в подземельях — следственная тюрьма гестапо.

41

Карский, по-видимому, имеет в виду расправу в Вавере, предместье Варшавы, в ночь с 26 на 27 декабря 1939 г., когда немецкие полицейские вытащили из домов и расстреляли 107 мужчин в отместку за двух убитых неподалеку в ресторане немецких унтер-офицеров. (К деятельности Сопротивления это отношения не имело: немцев убили двое уголовников-рецидивистов, когда их пытались арестовать.) Подобная практика «коллективной ответственности» была введена вермахтом с первых дней оккупации, чтобы сломить сопротивление польских диверсионных отрядов, действовавших в тылу врага. 5 сентября 1939 г. командующий 10-й армией генерал Вальтер фон Рейхенау приказал убивать по три заложника за каждого убитого или раненого солдата. Осада Варшавы сопровождалась массовыми казнями, которые продолжались и сразу после капитуляции (28 сентября) в расположенных вблизи Варшавы местностях Пальмиры, Магдаленка и Кабатском лесу.

42

Облавы лета 1940 г. были частью так называемой «чрезвычайной акции по усмирению», проводимой на всей территории Генерал-губернаторства по приказу Гиммлера.

43

Концентрационный лагерь Аушвиц-I начал функционировать 27 апреля 1940 г. Поначалу он предназначался для поляков с территории Генерал-губернаторства и из Верхней Силезии. 14 июня сюда прибыл первый этап — 728 польских политзаключенных из тарновской тюрьмы (близ Кракова), в их числе были и евреи. В марте 1941 г. Гиммлер принял решение построить в местечке Биркенау, в 4 км от первоначального, новый лагерь, Аушвиц-II, с газовыми камерами и кремационными печами. В России этот лагерь более известен под названием Освенцим.

44

В мае 1940 г. гражданское Сопротивление от имени правительства в изгнании издало приказ о «бойкоте захватчикам», а позднее, осенью, — «Гражданский моральный кодекс», в котором описывались все случаи повседневной жизни, когда запрещалось «любое сотрудничество с оккупантами».

45

Декретом от 8 октября 1939 г. Гитлер включил в состав рейха Поморье (Померанию), Верхнюю Силезию, воеводства: Познанское, большую часть Лодзинского, включая Лодзь (переименованную в *Litzmannstadt*), Сувалкское, западную часть Мазовецкого и часть Краковского. Таким образом он возвращал земли, принадлежавшие Пруссии с 1815 по 1918 г. Познань вошла в рейхсгау Вартеланд (рейхсгау — единица административного деления в 1939–1945 гг.) под управлением имперского наместника Артура Грейзера. Из Померании, Вартеланда и Верхней Силезии уже к весне 1940 г. было выселено около 400 000 поляков (и евреев), их имущество передавалось немецким переселенцам. Познанские поляки, которые желали и могли доказать свое немецкое происхождение, считались фольксдойче (так назывались лица, внесенные в специальный список граждан немецкого происхождения и обладавшие значительными привилегиями по сравнению с автохтонным населением). Этот статус немцы принуждали принять и поляков Силезии.

46

Генерал-губернаторство было учреждено на оккупированных Германией польских территориях указом Гитлера от 12 октября 1939 г. *(см. прим. 1 к главе III /В файле — примечание № 24 — прим. верст./).*

Рейхсдойче — немцы, живущие в рейхе.

48

В эту поездку, как и в последующие в Лодзь, Вильно, Краков и Львов, Яна Карского посылал его брат Мариан Козелевский, возглавлявший одну из ячеек Сопротивления, замаскированную под страховую фирму.

49

30 сентября 1939 г. в Париже начало действовать законное правительство Польской Республики, сформированное в соответствии с конституцией 1935 г., которая предоставляла президенту страны особые прерогативы «в военное время»: в случае невозможности исполнять свои обязанности он имел право личным решением назначить полномочного преемника. Интернированный 18 сентября 1939 г. в Румынию и отрезанный таким образом от союзнической Франции президент Игнаций Мосцицкий 29 сентября передал свои функции бывшему главе сената Владиславу Рачкевичу (1885–1947), находившемуся в Париже. 30 сентября Рачкевич принял присягу в польском посольстве, освободил от обязанностей старое правительство и назначил премьер-министром генерала Владислава Сикорского (1881–1943), что очень устраивало Францию. 1 октября был сформирован и приведен к присяге новый кабинет. На первых порах правительство Сикорского располагалось в помещении польского посольства в Париже, имевшем статус экстерриториальности, но 22 ноября правительственная резиденция была официально переведена в город Анже. Это было коалиционное правительство, объединявшее четыре крупные оппозиционные партии довоенного времени. Смена власти происходила под патронажем, если не под контролем, Франции в лице ее посланника, искусного дипломата Леона Ноэля, и при посредстве посла в Бухаресте Адриана Тьерри. Из-за выборочного интернирования, к которому вынудили Румынию, старое, так называемое «правительство полковников» и, главное, министр иностранных дел Юзеф Бек оказались заблокированными, что позволило выдвинуть на пост премьер-министра генерала Сикорского, который считался настроенным профранцузски.

50

Помимо «Службы победе Польши» *(см. прим. 5 к главе V /В файле — примечание № 39 — прим. верст./),* в разных областях страны существовало еще пять аналогичных организаций, но варшавская была самой мощной и эффективной. 13 ноября в Париже глава правительства генерал Сикорский и генерал Соснковский, возглавивший комитет министров по делам отечества, объявили о создании Союза вооруженной борьбы, который уже к началу 1940 г. объединил под своим руководством все очаги вооруженного сопротивления, а в 1942 г. был преобразован в Армию Крайову (АК), т. е. Отечественную армию.

51

В 1939 г. распоряжения отдавались не от лица Национальной партии *(см. след. прим.),* а от группы политических лидеров, объединившихся вокруг Рышарда Свентоховского, личного друга и доверенного лица генерала Сикорского.

52

Национальная партия — политическая партия движения «Национальная демократия» (эндеция — от НД), возникшая в ходе преобразований внутри лагеря эндеции: в 1905 г. была образована Национально-демократическая партия (НДП), в 1912 г. под эгидой эндеков возник Национально-крестьянский союз, который в 1928 г. стал Национальной партией, сокращенно СН — от польского названия *Stronnictwo Narodowe*.

Крестьянская партия (СЛ) — от *польск.* Stronnictwo Ludowe.

Польская социалистическая партия (ППС) — от *польск. Polska Partia Socjalistyczna;* в период оккупации (1940–1944) носила название *PPS-WRN* (Свобода, равенство, независимость).

55

Партия труда (СП) — от *польск. Stronnictwo Pracy,* партия христианско-демократического направления.

56

Под именем Борецкого в книге выведен Мариан Боженцкий (1889–1942). Боженцкий родился в г. Сувалки, в то время входившем в состав России, в семье государственного служащего. Изучал право в Санкт-Петербургском университете. В 1916 г. обосновался в Варшаве, с июня 1918 г. работал в Министерстве внутренних дел, был начальником департамента полиции. Именно он стал организатором государственной полиции, которой руководил в 1923–1926 гг. В эти годы под его началом работал брат Яна Карского Мариан Козелевский. Потеряв должность главного коменданта полиции после государственного переворота 1926 г., Боженцкий в 38 лет начал блестящую карьеру адвоката национал-демократической ориентации. С 1927 по 1934 г. — вице-президент (заместитель мэра) Варшавы. Активный деятель Национальной партии, с 1937 г. — член Партии труда. После начала войны решил остаться в Варшаве, принимал участие в руководстве героической обороной столицы. После капитуляции Варшавы 28 сентября стал одной из центральных фигур гражданского сопротивления. Мариан Козелевский порекомендовал ему своего брата Яна на роль специального агента связи с правительством; 30 марта 1940 г. Боженцкий был арестован и со своим агентом больше не встречался. Его пытали в тюрьме, затем отправили в концлагерь Заксенхаузен, а оттуда в Маутхаузен, где он был убит.

57

«Присяга» *(Rota)* — стихотворение Марии Конопницкой, написанное в 1908 г. в знак протеста против преследования поляков на польских землях, принадлежавших Пруссии, и в 1910 г. положенное на музыку Феликсом Нововейским. «Присяга» впервые была исполнена на церемонии открытия в Кракове памятника в честь победы в Грюнвальдской битве (1410), одержанной объединенными войсками польского короля Владислава II Ягайло и великого князя литовского Витольда над тевтонским войском. Борецкий намекает на слова: «Не плюнет нам пруссак в лицо, / Наш край не будет онемечен». Особой популярностью песня пользовалась перед обретением Польшей независимости в 1918 г.; она стала также гимном польских скаутов.

58

Как уточняют биографы Карского, он доехал на телеге не до «деревушки», а до приграничного городка Белжец, на окраине которого жил проводник, переводивший на советскую сторону еврейских беженцев.

59

Ежи Юр (наст. имя Ежи Лерский; 1917–1992) — друг Яна Козелевского (Карского), в 1936 г. возглавил во Львове Союз польской социал-демократической молодежи, затем стал одним из руководителей Демократической партии. В ноябре 1939 г. не сдался немцам и вместе со взводом, которым командовал, через Венгрию пробрался во Францию. Карский рекомендовал его польскому правительству в изгнании как надежного курьера. 23 февраля 1943 г. Ежи Юр был заброшен с парашютом в Польшу и направлен как представитель правительства и всех четырех партий, входивших в Национальный совет (совещательный орган при правительстве и президенте с функциями парламента, в который входили представители поддерживавших правительство Национальной, Народной, Польской социалистической партий и Партии труда), в Делегатуру (представительство лондонского правительства на родине, тайный высший орган административной власти в оккупированной Польше). Он возглавлял в Варшаве службу информации и пропаганды Делегатуры, в июне 1944 г. был переправлен в Лондон, в 1944–1947 гг. был личным секретарем главы польского правительства в изгнании Томаша Арчишевского. В 1949 г. эмигрировал в США, преподавал в университете Сан-Франциско. В 1984 г. опубликовал книгу воспоминаний.

60

Положение Сопротивления на оккупированной СССР территории в 1939–1941 гг. было сложным и трагическим. В декабре 1939 г. во Львов прибыли два курьера: один из Парижа, другой из Варшавы — с двумя разными приказами. В львовском Союзе вооруженной борьбы произошел раскол: одна группировка ориентировалась на Национальную партию, другая — на партию последователей Пилсудского. НКВД внедрил в их ряды своих агентов, и ячейки были разгромлены, подпольщики арестованы, а руководители расстреляны в феврале 1941 г.

61

Город Кошице был «возвращен» Венгрии Чехословакией 2 ноября 1938 г. после заключения Мюнхенского соглашения.

62

В сентябре 1939 г. Станислав Пузына (1917–1942) был поручиком авиации. После поражения Франции он перебрался в Великобританию и стал офицером 307-й эскадрильи ночных истребителей «Львовские филины» польских ВВС. Входит в число 8300 польских летчиков (среди них 1450 офицеров), которые принимали участие в так называемой воздушной Битве за Британию (9 июля — 30 октября 1940 г.), покрыли себя славой, но впоследствии были забыты. Пузына погиб в 1942 г.

63

С марта 1939 г., после захвата Венгрией части словацких земель, у Венгрии и Польши образовалась гоо-километровая общая граница. После советской агрессии 17 сентября 1939 г. именно через нее, а не через границу с союзнической Румынией, перебрасывались целые подразделения польской армии. Командование польским военным Сопротивлением устроило в Будапеште базу связи с правительством в изгнании под руководством полковника Альфреда Краевского. С ним-то и имел дело Ян Карский.

64

Точнее, недалеко от бульвара Бессьер, на границе 17-го округа, между заставами Клиши и Сент-Уан.

65

Адам *Кулаковский* (1916–1943) — верный сторонник и личный секретарь генерала Сикорского, погибший вместе с ним в авиакатастрофе близ Гибралтара.

66

Станислав *Кот* (1885–1975) — историк культуры, политик, профессор краковского Ягеллонского университета (1920–1933). Во время Первой мировой войны был членом учрежденного в Кракове в августе 1914 г. Верховного национального комитета, занимался набором добровольцев в Польские легионы при австро-венгерской армии. Кроме того, в Комитете возглавлял службу прессы и пропаганды военного ведомства, которым руководил Владислав Сикорский; это положило начало их многолетней дружбе. С 1933 г. С. Кот связан с крестьянской партией «Пяст», в 1936 г. избран членом ее исполнительного комитета. В сентябре 1939 г. вместе с группой сторонников Сикорского пробрался в Бухарест, затем в Париж. В польском правительстве в изгнании был сначала министром без портфеля, затем министром внутренних дел (1940–1941), послом в Москве (1941–1942), министром информации и документации (1943–1944). После войны примкнул к Временному правительству национального единства, подконтрольному коммунистам, и стал его первым послом в Риме (1945–1947). С 1947 г. — в эмиграции, где был одним из видных деятелей международного крестьянского движения.

67

«Странная война» — период Второй мировой войны с 3 сентября 1939 по 10 мая 1940 г., когда враждующие стороны вели только бои локального значения на франко-немецкой границе. После нападения Германии на Польшу Англия и Франция избрали тактику выжидания и пассивной обороны. Это позволило Германии за две недели разгромить польскую армию, 10 мая 1940 г. немецкие войска начали масштабное наступление на территории нейтральных Голландии и Бельгии, а затем быстро захватили большую часть Франции.

68

Речь идет о секретном отчета, который Ян Карский написал по просьбе Станислава Кота и в котором были затронуты четыре вопроса: о том, каким путем он добирался; об условиях жизни в оккупированной Польше; о раскладе политических сил в стране; о положении евреев в зоне советской и нацистской оккупации.

69

16 апреля 1940 г. польский комитет министров по делам отечества учредил тайные военные и гражданские суды, которые должны были разбирать дела о коллаборационизме, предательстве, доносительстве и шпионаже. В апреле 1942 г. при Делегатуре было создано отдельное Управление гражданского сопротивления под руководством Стефана Корбонского. Это Управление опубликовало списки должностей и постов, занимать которые объявлялось позорным.

70

Казимеж *Соснковский* (псевдоним Годземба; 1885–1969) — военный и политический деятель, один из руководителей Польских легионов; в период с сентября 1921-го по февраль 1924 г. неоднократно назначался военным министром Польши, в дальнейшем также занимал высокие военные посты. В сентябре 1939 г. командовал частями Южного фронта, после разгрома Польши пробрался во Францию, генералом Сикорским был назначен командующим Союзом вооруженной борьбы *(см. прим. 2 к гл. VIII /В файле — примечание № 50 — прим. верст./)* и председателем Комитета министров по делам отечества. Соснковский был яростным противником просоветской политики и в июле 1941 г. подал в отставку из-за несогласия с Сикорским, подписавшим соглашение с СССР о признании новых восточных границ Польши. В 1943 г., после гибели Сикорского, новый президент Рачкевич назначил Соснковского главнокомандующим Польских вооруженных сил. Соснковский был против начала Варшавского восстания (1944 г.), во время восстания добивался помощи союзников, обвиняя их в нарушении союзнических обязательств. 30 сентября 1944 г., по настоянию Черчилля, был отправлен в отставку. Эмигрировал в Канаду, где жил до самой смерти.

71

Тека (наст. имя Владислав Темпка; 1889–1940) — юрист, депутат сейма (1929–1935), глава действовавшей в Кракове подпольной организации Партии труда, соратник генерала Сикорского. Был арестован 18 апреля 1940 г., отправлен в Аушвиц и 12 июня 1940 г. расстрелян.

72

Юзеф Цина (наст. имя Юзеф Циранкевич; 1911–1989) — политический деятель социалистического, а затем коммунистического направления. С 1935 г. секретарь краковского комитета Польской социалистической партии, во время войны активно занимался организацией социалистических подпольных ячеек. 19 апреля 1941 г. был арестован и отправлен в Аушвиц, где участвовал в лагерном сопротивлении. В начале 1945 г. его перевели в Маутхаузен, откуда в мае он был освобожден американцами; в Маутхаузене Циранкевич сблизился с коммунистами. После войны вступил в правящую Польскую объединенную рабочую партию (ПОРП), занимал высокие государственные должности, был премьер-министром ПНР (1947–1952, 1954–1970). Карский в описываемое время жил не у Циранкевича, а у другого социалиста, своего старого школьного друга Тадеуша Пильца, в рабочем предместье Кракова (Пильц появится в главе XX под именем Келец — *см. прим 1 к главе XX /В файле — примечание № 112 — прим. верст./*). В 1940 г. квартира Пильца была одним из мест, где собирались социалисты-подпольщики, так что Циранкевич был, возможно, первым из политических лидеров Сопротивления, который встретился с курьером Витольдом.

73

События «странной войны» стали жестоким разочарованием для большинства поляков. Карский же еще в феврале — марте 1940 г. был поражен царившей в Париже атмосферой полнейшей беззаботности. В мае, после стремительного наступления вермахта, в «роковой ошибке» упрекали Сикорского — за то, что, будучи слишком доверчивым союзником Франции, он подставил под удар и вновь сформированную там 84-тысячную «новую польскую армию».

Людвик Тадеуш *Варынский* (1856–1889) — один из основоположников социалистического движения в Польше, в 1883 г. был арестован, приговорен к 16 годам каторжных работ и заключен в Шлиссельбургскую крепость, где умер.

Юзеф Анастазий *Мирецкий* (псевдоним *Монтвил*; 1879–1908) — социалист, один из руководителей Боевой организации ППС, организатор и участник многих покушений, повешен.

Стефан Александр *Окжея* (1886–1905) — рабочий, член ППС и Боевой организации ППС, был схвачен при нападении на полицейский участок в Варшаве, приговорен к смерти и повешен.

В независимой Польше эти свободы были гарантированы конституцией 17 марта 1921 г. и апрельской конституцией 1935 г.

Согласно переписи 1931 г., в Кракове насчитывалось 56 500 человек иудейского вероисповедания, то есть 25,8 % населения. 21 ноября 1939 г. нацистские власти зарегистрировали в городе 68 482 евреев (число их увеличилось за счет беженцев), в том числе 17 732 детей до 16 лет. В Кракове дискриминация евреев началась раньше, чем в других городах: с ноября 1939 г. было введено обязательное ношение белой повязки с голубой звездой Давида, затем евреям был запрещен доступ в публичные места, на улицах стали хватать стариков и обрезать им бороды. 28 ноября 1939 г. был образован юденрат (так назывались органы самоуправления во всех гетто на оккупированной территории). В мае 1940 г., когда листовка социалистов призывала к солидарности с согражданами-евреями, закрытого гетто еще не существовало — оно было устроено на правом берегу Вислы в марте 1941-го. К июлю 1941 г. там насчитывалось 14 000 тысяч жителей. В Кракове поляки и евреи издавна жили в согласии, поэтому многие спасали евреев, в арийской части Кракова выжило более двух тысяч евреев: сначала их из простой человечности прятали соседи или коллеги, позднее стало действовать организованное подполье. Инициатива исходила от верной своим традициям Польской социалистической партии, которая устроила около 150 укрытий. 12 марта 1943 г. было создано краковское отделение «Жеготы» (подпольного Совета помощи евреям; 1942–1945 — *подробнее см. прим. 5 к гл. XXIX /В файле — примечание № 146 — прим. верст./*). Помогали и католики: с одобрения архиепископа Адама Сапеги евреев прятали в монастырях и сиротских приютах.

77

Мечислав *Недзялковский* (1893–1940) — деятель ППС, публицист, главный редактор газеты *Robotnik*. Активно участвовал в обороне Варшавы в 1939 г., организовал отряды добровольцев, принимал участие в организации подпольной деятельности; был арестован и расстрелян нацистами 21 июня 1940 г.

78

Роман Дмовский (1864–1939) — политик, публицист, один из основателей национально-демократического движения (эндеции), идеолог польского национализма. Член II и III Государственной думы Российской империи (1907–1909). Во время Первой мировой войны выступал на стороне Антанты. Был делегатом Польши на Парижской мирной конференции, которая завершилась подписанием Версальского договора, восстанавливавшего независимое польское государство; в 1919 г. избран депутатом Законодательного сейма, в 1923 г. — министр иностранных дел. Дмовский был политическим противником Юзефа Пилсудского, сторонником мононационального польского государства, основателем националистической политической группировки «Лагерь великой Польши» (1926–1933).

79

Мацей Ратай (1884–1940) возглавил Крестьянскую партию в 1935 г. и оставался номинальным главой исполкома партии до 1939 г. Во время осады Варшавы входил в Гражданский комитет обороны, представлял Крестьянскую партию в «Службе победе Польши», организовал подпольное руководство Крестьянской партией. Расстрелян 21 июня 1940 г. вместе с 13 другими деятелями подполья.

80

Собственно, авторитарный строй установился в Польше после майского (1926 г.) переворота, организованного Юзефом Пилсудским. Через месяц после принятия новой конституции (апрель 1935 г.) был принят также новый избирательный закон, лишавший оппозиционные партии права самостоятельно выдвигать своих кандидатов в сейм. Следствием этого и был упомянутый в тексте бойкот.

81

Видкун *Квислинг* (1887–1945) — глава коллаборационистской партии оккупированной Норвегии (1941–1945). После капитуляции Третьего рейха был казнен. Имя Квислинга стало нарицательным для обозначения предателей-коллаборационистов.

Торжественная присяга, которую принимал каждый боец «Союза вооруженной борьбы», позднее Армии Крайовой, звучала так: «Клянусь перед Всемогущим Господом и Пресвятой Девой Марией верно служить своему Отечеству, Польской Республике, защищать Ее честь и, не жалея сил и жизни своей, бороться за Ее освобождение из неволи. Клянусь безоговорочно повиноваться президенту Польской Республики и приказам верховного главнокомандующего, а также назначенному им командующему Армией Крайовой и ни при каких обстоятельствах не выдавать нашу тайную организацию». Курьеры, такие как Ян Карский, прибавляли еще: «Клянусь перед Богом никому не открывать содержания доверенных мне писем, докладов и документов и передавать их только адресатам». Заканчивалась клятва словами: «Да поможет мне Бог!»

83

Гурали — этнокультурные группы поляков. Живут в горных областях на юге Польши, на северо-западе Словакии и северо-востоке Чехии.

Этого человека звали Франтишек Мусял (прозвище Мышка). Булочник по профессии, он стал членом отряда проводников, присягнувших на верность Сопротивлению. К моменту встречи с Карским он совершил уже 31 переход через венгерскую границу. Его тоже держали в тюрьме, пытали, он побывал в разных концлагерях, но выжил и закончил свои дни в 1970 г.

85

Прешов — словацкий город, расположенный между довоенной польско-словацкой границей и Кошице.

86

СС — сокращение от *Schutzschtaffel* («эшелон прикрытия»). Первоначально — созданная в 1925 г. военизированная организация для охраны Гитлера, входившая в состав штурмовых отрядов. Отряды СС подчинялись лично Гитлеру и Гиммлеру. В 1940 г. были созданы войска СС *(Waffen SS)* — сорок элитных дивизий. В ведении СС находились концентрационные лагеря, лагеря смерти; эсэсовцы причастны к огромному числу военных преступлений.

87

От *нем. Ordensburg* — «орденский замок». Эти школы, существовавшие под эгидой Бальдура фон Шираха (1907–1974), располагались в средневековых замках. Их целью было воспитание молодежи в «подлинно германском духе».

88

Капитуляция Франции была подписана 22 июня 1940 г., место подписания имело символический смысл: именно здесь, в лесу близ города Компьень, и ноября 1918 г. было подписано позорное для Германии Компьенское перемирие, положившее конец Первой мировой войне.

89

Стоит напомнить, что сдача Варшавы 28 сентября вовсе не означала капитуляции Польши. 17 сентября 1939 г. польское правительство попросило у союзной Румынии «право прохода», чтобы в полном составе, включая верховного главнокомандующего, переместиться во Францию и таким образом не подписывать никакой капитуляции, а продолжать борьбу с оккупантами.

90

10 мая 1940 г. Уинстон Черчилль, сторонник бескомпромиссной борьбы с Гитлером, стал премьер-министром Великобритании, сменив на этом посту Невилла Чемберлена, сторонника политики «умиротворения агрессора», подписавшего Мюнхенское соглашение, по поводу которого Черчилль сказал в палате общин: «У вас был выбор между войной и бесчестьем. Вы выбрали бесчестье, и теперь вы получите войну».

91

С 27 мая по 4 июня 1940 г. Великобритания при участии кораблей французского флота успешно эвакуировала с материка свои, а также французские и бельгийские части, блокированные немцами у города Дюнкерка на севере Франции.

92

Крыница — курортный город на юге Польши, недалеко от границы со Словакией. Ян Карский назвал его вместо города Новы-Сонч, так как в 1944 г. еще нужно было соблюдать конспирацию.

93

Стефа Рысинская, в действительности Зофья Рысь, была сестрой не проводника, а Збигнева Рыся, руководителя подпольной ячейки в Новы-Сонче, обеспечивавшей сообщение с Будапештом.

94

Крест храбрых (Krzyz Walecznych) — учрежденный в 1920 г. польский орден, которым награждали военных за «отвагу и героизм».

95

Доктор Ян Словиковский (псевдоним Дятел; 1927–2011) — один из организаторов побега Яна Карского, член местной организации Союза вооруженной борьбы. Выдающийся хирург, после войны заведовал детской хирургической клиникой во Вроцлаве.

Этим силачом был командир группы Збигнев Рысь.

97

Река Дунаец с быстрым течением, приток Вислы.

98

Сташек Роса (наст. имя Станислав Росенский; 1919–1943) руководил операцией по спасению Яна Карского по приказу Юзефа Циранкевича. Он был убит в Варшаве в 1943 г. при невыясненных обстоятельствах.

Имеется в виду город Новы-Сонч.

100

О цене, которую пришлось заплатить тем, кто организовал его побег, Карский узнал лишь в 1986 г., когда были опубликованы исторические исследования Станислава М. Янковского на эту тему. Из четырех членов спасательной группы на свободе остался только Збигнев Рысь, который впоследствии сам стал курьером Армии Крайовой между Польшей и Венгрией. Его сестру Зофью Рысь гестапо арестовало в Варшаве, в 1941 г. ее отправили в лагерь Равенсбрюк. В 1945 г. она вернулась и после войны стала популярной в Польше актрисой; скончалась в 2003 г. Троих других членов группы и лесника, который прятал курьера Витольда, арестовали и пытали, никто из них не выжил. Учитель Тадеуш Шафран был расстрелян 21 августа 1941 г. в окрестностях Новы-Сонча, а лесник Феликс Видель, Кароль Глуд и семнадцатилетний Юзеф Енет погибли в Аушвице. Все они были награждены Крестом храбрых. А к жителям Новы-Сонча немцы применили правило «коллективной ответственности»: 32 человека, в том числе два священника, были расстреляны 28 августа 1940 г. за предполагаемую помощь в организации побега Карского.

101

На самом деле — Данута Славик (псевдоним Глория), член Союза вооруженной борьбы.

102

Усадьба, расположенная в деревне Конты (к юго-востоку от Кракова), служила опорным пунктом военизированной подпольной организации при Союзе землевладельцев, поддерживавшем Сопротивление и действовавшем с 1941 г. до окончания войны на всей территории Генерал-губернаторства. Члены этого Союза, в частности, принимали и прятали в своих усадьбах евреев, которых присылали локальные отделения Союза вооруженной борьбы/Армии Крайовой еще до того, как начала работать «Жегота» *(подробнее см. прим. 5 к главе XXIX /В файле — примечание № 146 — прим. верст./)*.

103

Альберт *Форстер* (1902–1952) — гауляйтер (глава областной организации национал-социалистической партии) образованной Гитлером области Данциг — Западная Пруссия, организатор германизации оккупированных польских территорий и репрессий в отношении поляков и евреев.

Родине *(нем.)*.

105

Речь идет о газетах *Der Hammer* и *Der Front-Kampf,* издававшихся на немецком языке и распространявшихся в немецкой армии в целях ее морального разложения. Они содержали критику нацистских властей и самого Гитлера, с которой якобы выступала некая оппозиция из высших военных кругов Германии.

106

Дануту Славик (Глорию), ее брата Люциана и их мать действительно арестовали в 1941 г. Но пани Славик и Люциан остались в живых. Дануту расстреляли в 1942 г.

107

В Кракове Витольд (Кухарский) работал под началом руководителя областного отделения Союза вооруженной борьбы генерала Коморовского (псевдонимы Корчак, Бур). Именно Коморовский отдал приказ о его спасении и поручил ему пропагандистскую работу, которую Витольд вел, находясь в поместье в деревне Конты. Прослушивать зарубежные радиостанции было чрезвычайно опасно, немецкие власти карали за это смертной казнью. Даже держать дома радиоприемники полякам было запрещено. Автор жил в Кракове у старых друзей-социалистов, Юзеф Циранкевич, с которым он снова встретился, предложил ему сотрудничать с подпольной социалистической прессой — газетами *Naprzód* («Вперед») и *Wolność* («Свобода»).

108

Имеется в виду декрет, подписанный президентом Польской республики Владиславом Рачкевичем еще 2 октября 1939 г., который объявлял «не имеющими силы все законодательные акты оккупантов» на основании статьи IV Гаагской международной конвенции (1907 г.).

109

Военная структура Сопротивления была создана 13 ноября 1939 г. указом генерала Сикорского как премьер-министра и верховного главнокомандующего вооруженными силами и получила название Союза вооруженной борьбы, командование которым было поручено генералу Соснковскому. Когда после поражения Франции правительство эвакуировалось в Лондон, Соснковский назначил (30 июня 1940 г.) бригадного генерала Стефана Ровецкого командующим Союзом вооруженной борьбы на всей территории в границах 1939 г. — его-то автор и называет в данном случае верховным главнокомандующим. 3 сентября генерал Сикорский присвоил Ровецкому титул командующего вооруженными силами в отечестве, а 12 февраля 1942 г. Союз вооруженной борьбы был официально переименован в Армию Крайову (АК). Участники польского вооруженного Сопротивления в советской оккупационной зоне подверглись в 1940 — первой половине 1941 г. массовым арестам и депортациям, когда же после немецкого вторжения в СССР 22 июня 1941 г. польско-советская граница была уничтожена, это парадоксальным образом способствовало объединению сил Сопротивления. Уже в 1942 г. партизанские отряды под управлением или контролем АК действовали на территории Белоруссии и Литвы, а также в Львовской и Волынской областях. Одновременно в состав АК были интегрированы боевые отряды разных политических сил (за исключением двух — ультраправой и ультралевой в лице ультралевых коммунистов, не признававших легитимность правительства в изгнании). Всего в АК насчитывалось около 350 000 человек.

110

Этот подпольный парламент получил название Политический согласительный комитет; с 1943 г. — Политическое представительство в отечестве, а с января 1944 г. — Совет национального единства; распущен в августе 1945 г.

111

Управление гражданского сопротивления было создано осенью 1940 г. В конце того же года Стефан Ровецкий установил «принципы гражданского сопротивления»: бойкотирование оккупантов, бойкотирование и наказание коллаборационистов, малый саботаж в виде распространения листовок, срыва организованных немцами кино- и театральных представлений и т. д., обязательная помощь жертвам нацистов. В апреле 1941 г. главой Управления был назначен адвокат Стефан Корбонский. (В 1943 г. это Управление объединилось с созданным при Армии Крайовой в 1942 г. Управлением конспиративного сопротивления в Управление подпольного сопротивления.) Первые смертные приговоры были вынесены в Варшаве в марте 1943 г., население было оповещено о них с помощью расклеенных ночью по городу листовок. 18 марта были обнародованы предупреждения вымогателям, которые шантажировали и выдавали прятавшихся в «арийской части» столицы евреев.

112

Тадеуш Келец — в действительности Тадеуш Пильц. Он был другом детства и юности автора, в Кракове с 1937 г. был связан с левыми социалистами, среди которых был также Юзеф Циранкевич. Пильц был одним из организаторов побега Карского из Новы-Сонча. В 1941 г. Карский жил у него в Кракове, на Праской улице, на берегу Вислы. В то время он не знал, что его друг был членом коммунистической ячейки, которому поручили внедриться в ряды социалистов. Пильц был арестован гестапо в октябре 1941 г., отправлен в Бухенвальд и там казнен.

113

Вероника *Ляскова* — в действительности Бронислава Лянгродова, урожденная Брунер (1902–1975). Была членом подпольной социалистической партии, сотрудницей Циранкевича, входила в редакцию подпольной газеты *Wolność (см. прим. 2 к главе XI и прим. 1 к главе XIX /В файле — примечания № 72 и 107 — прим. верст./)*. После войны вместе с мужем эмигрировала в США.

114

Кара, т. е. подполковник Ян Чихоцкий (псевдоним Кабат), — начальник штаба Краковского округа Союза вооруженной борьбы. В ночь с 17 на 18 апреля 1941 г. гестапо арестовало его и устроило засаду у него дома, куда Цина (Циранкевич) имел неосторожность прийти 19 апреля. Вскоре были схвачены еще семнадцать подпольщиков.

115

Мариан Козелевский официально оставался главой варшавской полиции при немцах, что позволяло ему поставлять фальшивые документы для подпольщиков и арийские паспорта для евреев. Уже в октябре 1939 г. он создал первую ячейку Сопротивления из по-лицейских-патриотов. Поддерживал тесную связь с Боженцким. Именно он послал своего брата Яна во Францию, чтобы наладить связь Сопротивления с правительством в изгнании. Через Яна он также передал генералу Сикорскому список оставшихся верными Польше офицеров полиции и попросил брата спросить, должны ли полицейские присягать на верность рейху, если от них это потребуют. Сам для себя, по свидетельству Яна, он такую возможность исключал и говорил, что если немцы станут принуждать его к присяге, он покончит с собой. 7 мая 1940 г. его и еще нескольких офицеров полиции арестовали, а 14 августа отправили первым эшелоном из Варшавы в Аушвиц-I. В мае его освободили по ходатайству жены Ядвиги, урожденной Кжолль, принадлежавшей к старинному роду польских немцев. Так что Мариан Козелевский был в числе первых свидетелей, рассказавших полякам об ужасах Аушвица летом 1941 г. Это свидетельство было передано в Лондон и опубликовано. После освобождения Мариан возобновил связь с Сопротивлением, долгое время возглавлял службу безопасности при Делегатуре. 5 августа 1945 г. во время Варшавского восстания он был тяжело ранен, но сумел покинуть столицу и добраться до Лодзи. После окончания войны его разыскивали новые, коммунистические, власти. В январе 1946 г. он вместе с супругой покинул Польшу и перебрался во Францию, потом в Канаду (где Ян купил ему маленькую ферму). В 1960 г. поселился в Вашингтоне. Отказываясь от пенсии американского правительства, он работал ночным сторожем в художественной галерее и ежемесячно высылал небольшие суммы в Польшу, в помощь разным людям. 8 августа 1964 г. Мариан покончил с собой, а Ян Карский взял на себя заботу о его вдове.

116

У Яна Карского было шестеро братьев, четверо из которых — Мариан, Эдмунд, Юзеф и Стефан Игнаций — были живы во время войны. Любимая племянница Саломея, дочь Эдмунда (в книге она выведена под именем Люся), работала в Сопротивлении связной.

117

В Варшаве был установлен самый низкий во всем Генерал-губернаторстве рацион. В 1940–1943 гг. взрослым полякам полагалось там в среднем от 385 до 784 калорий в день. В конце 1941 г. польским немцам из гражданского населения Варшавы выдавали паек из расчета 2631 калория в день, полякам — 669, евреям — 253. 70–80 % продуктов покупалось на черном рынке.

118

Отец Эдмунд Краузе (1908–1943), приходской священник костела Святого Креста, был другом семьи Козелевских и до 1939 г. по-соседски заходил к полковнику Мариану Козелевскому, чей рабочий кабинет находился в доме, примыкающем к приходским зданиям. Это через него Ян Карский познакомился с Зофьей Коссак и членами Фронта возрождения Польши.

119

В ходе немецких карательных операций в 1939–1941 гг. было заживо сожжено население целых деревень в районе Кельце, Люблина и Радома.

120

Польский историк Чеслав Мадайчик считает, что общее число вывезенных в рейх и бесследно исчезнувших детей — от 150 до 200 тысяч. Самая известная акция по этнической чистке происходила в 1942–1943 гг., в ходе ее в концлагеря и специальные детские «центры/ школы» было отправлено 30 тысяч детей с Замойщины. После войны удалось установить судьбу только 800 из них.

121

По всей вероятности, Карский цитирует эти заповеди по памяти.

122

Карский имеет в виду автономные вооруженные отряды, организованные Крестьянской партией. Крестьянские батальоны (как они стали называться с весны 1941 г.) насчитывали к концу 1943 г. 100 000–120 000 человек, у них было центральное командование, региональные отделения, боевые группы, большая их часть не пожелала войти в состав АК. Именно из этих людей состояли первые партизанские отряды, в том числе отряды образованной позднее коммунистической Армии Людовой.

123

Институт *тройхендеров* (от *нем. Treuhänder* — доверенное лицо, распорядитель) был создан в Генерал-губернаторстве в ноябре 1939 г. Управлению подлежали государственные предприятия, частные фирмы, имеющие значение для обороноспособности, а также фирмы, недвижимость и земельные владения, принадлежащие евреям и прочим «врагам» Польши. Тройхендерами назначались не только немцы, но и поляки.

Этот долг так и не был выплачен. В июле 1944 г., когда Красная армия, преследуя отступающих немцев, вступила на территорию Польши, в Люблине был создан просоветский Польский комитет национального освобождения (ПКНО). Когда 1 августа 1944 г. в Варшаве вспыхнуло восстание Армии Крайовой под руководством генерала Тадеуша Коморовского против нацистов, советские войска, занимавшие в то время позиции на другом берегу Вислы, приостановили наступление и дожидались, пока восстание будет подавлено и город разрушен. 31 декабря 1944 г. ПКНО был преобразован во Временное правительство Польской Республики. Установившийся после войны коммунистический режим Польской Народной Республики, естественно, не признал обязательства по займу, проведенному «бандитами» из АК от имени «фашистского» (таково было официальное отношение коммунистической власти к польскому Сопротивлению) правительства в изгнании.

125

На самом деле Юзеф Пилсудский, в то время неуловимый «товарищ Виктор», напечатал в Лодзи всего два номера (34 и 35) газеты *Robotnik,* в октябре 1899 и феврале 1900 гг. До этого с 1894 г. он издавал эту газету в Вильно, под носом у царской полиции. Типографский станок весил 120 кг и стоял не в рабочих трущобах, а в благоустроенной буржуазной квартире, которую снимал Пилсудский.

126

30 апреля 1942 г. вышла подпольная антология «Непокоренная песнь. Польская поэзия военного времени», составленная будущим нобелевским лауреатом Чеславом Милошем. В ней были представлены молодые поэты Варшавской школы, в том числе любимый поляками Кшиштоф Камиль Бачинский (1921–1944), погибший на четвертый день Варшавского восстания, Здислав Строинский (1921–1944), погибший, как и его друг Тадеуш Гайцы (1922–1944), на баррикадах, Анджей Тшебинский (1922–1943), расстрелянный в центре Варшавы, Вацлав Боярский (1921–1943), смертельно раненный во время демонстрации, Тадеуш Боровский (1922–1951), выживший в концлагере, Тадеуш Ружевич (р. 1921), также переживший это страшное время.

127

Речь идет о Витольде Беньковском (псевдонимы Кальский, Венцкий; 1906–1965), политике и католическом публицисте, соредакторе (вместе с Зофьей Коссак — *см. ниже*) подпольной газеты *Polska żyje!* («Польша жива!»), одном из организаторов в 1941 г. Фронта возрождения Польши (подпольная католическая организация) и редакторе печатного органа этой организации *Prawda* («Правда»). Он также активно сотрудничал с «Жеготой». В феврале 1943 г. Беньковский возглавил еврейский отдел департамента внутренних дел Делегатуры. В декабре 1944 г. был арестован НКВД. Выйдя на волю, предпочел сотрудничество с новой коммунистической властью.

128

Имеется в виду известная в Польше и за ее пределами писательница Зофья Коссак (псевдонимы Вероника и Тетя, в первом браке Щуцкая; 1890–1968), одна из создателей Фронта возрождения Польши и «Жеготы», лично спасшая, рискуя собой, многих еврейских детей. В сентябре 1943 г. арестована и отправлена в Аушвиц, а оттуда — в варшавскую тюрьму Павяк и приговорена к смерти, но в последний момент была выкуплена Делегатурой и освобождена. Принимала участие в Варшавском восстании, а после его подавления уехала сначала в Ченстохову, где написала книгу воспоминаний об Аушвице, затем — в Великобританию. В 1957 г. вернулась в Польшу. Имя Зофьи Коссак увековечено в Аллее праведников в иерусалимском музее Холокоста Яд Вашем.

129

Ванда (то есть Ванда Беньковская, урожденная Вильчанская; 1913–1972) — связная и секретарь Витольда Беньковского. Она была арестована 16 января 1942 г., сидела в женском отделении тюрьмы Павяк, возглавляла там работу группы (состоявшей из засланных Сопротивлением надзирательниц), собиравшей и передававшей на волю информацию об узницах. Впоследствии, видимо, была переведена в Равенсбрюк.

130

Per procura — по доверенности *(лат.)*. Церковный брак *per procura* — заочное бракосочетание, на котором вместо жениха или невесты выступает их представитель.

131

Зофья Коссак овдовела в 1921 г., а в 1925 г. вышла замуж за капитана Зигмунта Шатковского, попавшего в 1939 г. в немецкий плен. Но книги она продолжала подписывать как Зофья Коссак-Щуцкая.

132

Одним из самых известных выступлений Зофьи Коссак было воззвание «Протест», опубликованное 10 августа 1942 г. Оно написано от имени польских католиков и осуждает уничтожение и депортацию в лагеря смерти евреев из варшавского гетто, а также из сотен других польских городов и поселков. Воззвание обличает также молчание и пассивность свидетелей этих преступлений: «Умирают тысячи евреев, а вокруг множество понтиев пилатов умывают руки», «Люди видят и молчат». Этот текст был среди прочих документов, которые курьер Карский доставил в Лондон.

133

Настоящее имя связного Яна Карского — Кшиштоф Лясоцкий (1924–2002), он был скаутом, членом АК, участвовал в Варшавском восстании.

134

Речь идет о созданной в начале 1940 г. скаутской организации «Вавер», занимавшейся мелким саботажем и пропагандой. Название напоминало о жертвах расправы в варшавском предместье Вавер, казненных нацистами в конце 1939 г. *(см. прим. 2 к главе VI /В файле — примечание № 41 — прим. верст./)*. В 1940–1944 гг. организацию, действовавшую под контролем Союза вооруженной борьбы / АК, возглавлял один из руководителей довоенного скаутского движения Александр Каминский.

135

Немцы оставили на территории Генерал-губернаторства систему начального польского образования, но уже 28 сентября 1939 г. были закрыты средние и высшие школы. Исключение было сделано только для нескольких профессиональных и технических двухгодичных немецких училищ. Тогда польское общество возродило систему подпольного образования, сложившуюся до Первой мировой войны, когда велась борьба против русификации и германизации страны. Учителя, профсоюзы и родители создали подпольные курсы при закрытых школах и лицеях. Такие подпольные отделения действовали в годы Второй мировой при 90 из 103 варшавских средних школ, и в них обучалось 25 000 детей (в их число не входили евреи). Только в Варшаве до 1944 г. было выписано 6500 подпольных аттестатов зрелости, 30 % из них так и не были востребованы — те, кому они предназначались, погибли во время Варшавского восстания. От 4200 до 5000 студентов учились в подпольных вузах Варшавы. Созданный в январе 1941 г. департамент народного образования Делегатуры, который курировали Крестьянская и Польская социалистическая партии, провел демократическую образовательную реформу. В мае 1942 г. Станислав Кот *(см. прим. 6 к главе X /В файле — примечание № 66 — прим. верст.)* основал фонд поддержки науки и культуры, благодаря которому было издано 150 научных книг. С 1939 по 1944 г. было подготовлено несколько сот дипломных работ и диссертаций, что обеспечило преемственность в науке после «освобождения».

136

Карский пишет о бритве из соображений конспирации. На самом деле микрофильмы были спрятаны в ключе — таким тайником часто пользовались польские подпольщики.

137

Имеется в виду Стефан Ровецкий (псевдонимы *Грот,* Грабица, Раконь, Калина; 1895–1944), дивизионный генерал, организатор и с 1942 г. главнокомандующий АК. Ему удалось объединить в АК соперничающие друг с другом отряды и ячейки, кроме фашистов и коммунистов. Гестапо постоянно охотилось на него, и наконец 30 июня 1943 г. он был арестован по доносу, переправлен в Берлин, а затем в лагерь Заксенхаузен, где был расстрелян в августе 1944 г.

138

Такой псевдоним не носил ни один из глав Делегатуры. В данном случае речь идет о Сириле Ратайском (1875–1942; псевдонимы Вжос, Вартский), главе Делегатуры с 3 декабря 1940 г. по 5 августа 1942 г.

139

Речь, вероятно, идет о Яне Доманском (псевдоним Бартницкий; 1898–1978), руководителе администрации Делегатуры (с осени 1941 по ноябрь 1942 г.).

140

В 1982 г. в письме главному редактору польской эмигрантской газеты «Культура» Ежи Гедройцу, в котором Карский называет подлинные имена многих упомянутых в книге людей, он пишет, что этот «лидер социалистов» — Казимеж Пужак (псевдонимы Базилий, Серет; 1883–1950), генеральный секретарь исполкома ППС в 1921–1939 гг. В 1939 г. по его инициативе организуется подпольная ППС — ВРН. В феврале 1940 г. принимал участие в создании Политического согласительного комитета, где действительно представлял свою партию. Карский много раз встречался с ним в мае 1940 г. Однако с сентября 1941 по март 1943 г. место Пужака в Комитете занимает представитель фракции левых социалистов Винцентий Марковский (псевдоним Павел; 1874–1958). Его-то и должен был Карский видеть на упомянутом заседании, а с Пужаком он, без сомнения, встречался отдельно, чтобы получить от него информацию для передачи лондонским депутатам Национального совета от ППС — ВРН.

141

3 сентября 1942 г. Сирил Ратайский (Вжос) направил в Лондон вице-премьеру Миколайчику шифрованную депешу: «Посылаю курьером Карского, которого правительство отправило в Польшу из Франции в апреле 1940 г. Он будет в Париже примерно 15-го, в Тулузе — 20-го, в Берне — около 1 октября. Сообщите ответным письмом адреса возможных явок в Париже и в неоккупированной зоне Франции <…> Он также везет авторизованные сообщения от представителей партий». Настоящий пароль был: «Я Витольд, от Вацека».

142

Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России) — еврейская социалистическая партия, объединявшая рабочих и ремесленников западных областей Российской империи; основан в 1897 г. в Вильно.

143

Это был Леон Фейнер (1888–1945), до войны известный адвокат, состоятельный человек, один из руководителей польского отделения Бунда.

Имя этого человека точно неизвестно.

145

Вести о расстрелах евреев доходили в варшавское гетто уже осенью 1941 г. В феврале 1942-го до Варшавы добрался человек, которому удалось бежать из лагеря уничтожения Хелмно. Он рассказал о том, как евреев уничтожают там в газовых камерах. Были и другие очевидцы, которые свидетельствовали о страшных злодеяниях нацистов. В феврале 1942 г. начались планомерные массовые убийства евреев на территории Польши, а в июле 1942 г. — депортации из варшавского гетто в лагерь смерти Треблинка. О том, что происходило в Треблинке, обитатели гетто узнали уже месяц спустя от двух беглецов.

146

В декабре 1942 г. была создана организация спасения польских евреев — Совет помощи евреям «Жегота», которую финансировали польское правительство в изгнании, Бунд и Еврейский национальный комитет. «Жегота», куда входили люди разных национальностей, религиозных и политических взглядов, снабжала евреев фальшивыми документами, помогала им укрываться, хотя такое укрывательство каралось смертью. Несколько тысяч еврейских детей были размещены в семьях, монастырях и детских домах. Но нехватка сил и средств не позволяла сделать эту помощь более масштабной.

147

Адам *Черняков* (1880–1942) — инженер, в 1930-е гг. — сенатор Польши, в 1939–1942 гг. возглавлял юденрат (еврейский административный орган самоуправления) варшавского гетто.

148

С 19 апреля по 12 мая 1943 г. в варшавском гетто происходило героическое вооруженное восстание, подавленное войсками СС. Около 13 000 обитателей гетто погибли во время восстания, около 15 000 оставшихся в живых были отправлены в Треблинку. Спастись удалось немногим (около 3000).

149

После встречи с Карским Шмуль Зигельбойм (1895–1943) лично обращался к Черчиллю и Рузвельту, выступал по английскому радио с призывом к общественности помочь польским евреям. 13 мая 1943 г., когда в Лондон пришло известие об окончательном подавлении восстания в варшавском гетто (там погибли его жена и сын), Зигельбойм покончил с собой, оставив предсмертную записку, в которой говорилось: «Моя смерть — выражение негодования и протеста против пассивности, с которой мир взирает на полное уничтожение еврейского народа и мирится с этим. <…> Может быть, моя смерть поможет сломить стену равнодушия тех, кто еще может спасти остатки польского еврейства».

150

В Белжеце находился один из трех лагерей уничтожения (Белжец, Собибор, Треблинка), устроенных нацистами для приведения в исполнение плана полного уничтожения евреев на территории Польши. Лагерь существовал с 1939 по 1943 г. За это время в нем было уничтожено более 600 000 евреев и около 2000 цыган.

151

Служащие польских железных дорог были первыми, кто свидетельствовал о судьбе депортированных евреев. И в Белжеце и в Треблинке некоторые из железнодорожников входили в ячейки Сопротивления, именно они сообщали своим руководителям о том, что в лагеря прибывают составы, набитые людьми, но не доставляется еда для них. Ячейка в Замосце, подкупив лагерных охранников, узнала о существовании газовых камер и огромных рвов, где погребали трупы. Уже в июле 1942 г. эта информация была передана командованию Армии Крайовой и в лондонское правительство, однако никто не поверил в то, что она правдива.

152

В американском издании Карский в силу политической обстановки *(см. предисловие)* писал об охранниках-эстонцах (действительно служивших в охране Белжеца и других лагерей), однако в польском издании 1999 г. автор восстановил истину: в данном случае речь шла именно об украинской охране.

153

Лагерь, в котором побывал Ян Карский, находился, как установлено польскими историками, в Избице Любельской, на полпути между Люблином и Белжецем, и примыкал к Белжецкому лагерю. Сюда привозили людей, часть которых уничтожали на месте так, как описал Карский, остальных отвозили в Белжец, где функционировали газовые камеры.

Все евреи, марш, марш отсюда! *(нем.)*.

155

К порядку, к порядку! *(нем.)*.

156

Хорошо, проходите *(нем.)*.

157

Карский имеет в виду уже упоминавшуюся Зофью Коссак.

Отец Владислав Станишевский в годы войны служил в польском храме Ченстоховской Божией Матери в Лондоне.

159

В Париже Карского принял сам Александр Кавалковский (псевдоним Юстин; 1899–1965), основатель и глава действовавшей во Франции Польской организации борьбы за независимость, *POWN (см. ниже)*. Ему Карский передал драгоценный ключ с микрофильмами. Кавалковский отправил ключ в Лондон самым надежным и коротким путем — через знакомого дипломата в Брюсселе, он же был организатором пребывания курьера во Франции и его перехода через Пиренеи.

160

Имеется в виду упомянутая в предыдущем примечании организация *POWN* (условное название — Моника). До 1942 г. ее деятельность разворачивалась в основном в так называемой «свободной», южной зоне Франции, затем распространилась на север Франции и Бельгии, а в 1943 г., когда «свободная зона» также была оккупирована, Юстин перебрался в Париж. В 1944 г. у *POWN* было более 300 ячеек и насчитывалось около 5000 членов. Кроме того, существовала еще подпольная организация *F2* (Петра Калиновского), работавшая в Тулузе и Лионе.

161

«Польский капитан», которого Карский встретил в Лионе, — бывший высокопоставленный чиновник МИДа, глава группы *POWN* «Франция-Юг» Богдан Самборский, муж той самой «пани Новак» *(см. прим. 3 к главе V /В файле — примечание № 37 — прим. верст./)*, у которой Витольд жил в Варшаве в 1939 г.

162

Лион, важнейший промышленный центр «свободной зоны» и второй по величине город Франции, был «столицей» французского Сопротивления. Гораздо менее известно, что он был также центром польского Сопротивления до 1943 г.

163

Настоящее имя проводника — Хосе. Бежавший в Перпиньян испанский республиканец, он был пламенным коммунистом, и Карскому было приказано делать вид, что он тоже коммунист, чтобы Хосе согласился его вести. На самом деле они добирались вместе до самой Барселоны.

То есть в консульство Великобритании. Точная дата, когда Яна Карского переправили в Мадрид английские или американские спец службы, неизвестна, но 24–25 ноября 1942 г. он уже был в Гибралтаре у губернатора Мэйсона-Макфарлана.

165

В 1906 г. в испанском городе Альхесирасе состоялась международная конференция для разрешения марокканского кризиса, вокруг которого сплелись интересы нескольких европейских стран.

166

8 ноября 1942 г. войска союзников высадились в Северной Африке (в Марокко и Алжире).

167

Ян Карский приземлился на лондонской военной базе 25 ноября 1942 г. и был немедленно доставлен в центр размещения беженцев где его «обрабатывали» двое суток. Британские спецслужбы желали первыми ознакомиться с документами, которые он вез. Между тем микрофильмы, спрятанные в ключе, еще 17 ноября были в руках польского правительства в изгнании. Обозленный Карский засыпал допрашивавшего его офицера вымышленными именами и на званиями. И только 28 ноября, после официальной ноты протеста польского правительства, его наконец выпустили.

168

Генерал Сикорский принимал Яна Карского в конце ноября 1942 г. но встреча была очень короткой, целью ее было придать официальный характер пребыванию Карского в Лондоне. Уже 29 ноября Сикорский отбыл в США, Канаду и Мексику и вернулся только 13 января 1943 г. Но Сикорский до отъезда передал Карскому длинный перечень вопросов, подробные ответы на которые эмиссар продиктовал специально приставленной секретарше — это и был упомянутый в тексте «предварительный доклад». Зато по возвращении из Америки Сикорский принимал Карского два дня подряд — 20 и 21 января 1943 г. Январские беседы Карский и описывает в этом месте воспоминаний.

169

Польско-советские отношения непрерывно ухудшались. Сталин дождался, пока Сикорский покинет Нью-Йорк, чтобы обнародовать 19 января 1943 г. ноту, врученную 16 января опытному дипломату Тадеушу Ромеру — польскому послу с октября 1942 г. В ноте подтверждалось советское гражданство всего населения — включая этнических поляков — территорий, присоединенных к Советскому Союзу законами 1 и 2 ноября 1939 г., то есть Западной Белоруссии, Западной Украины и Вильно. Это решение отменяло договоренности между Сталиным и Сикорским, достигнутые 1 декабря 1941 г., оно лишило возможности вернуться на родину тысячи детей-сирот и поляков, депортированных в Казахстан и Сибирь и не успевших присоединиться к армии Андерса. Сталин ясно давал понять, что считает линию Молотова — Риббентропа окончательной границей и намерен заставить союзников признать территориальные уступки, сделанные ему Гитлером. В Москве 1 марта 1943 г. польскими общественными и политическими деятелями был создан Союз польских патриотов. В составе активистов преобладали коммунисты и сторонники левых взглядов; это был просоветский инструмент, призванный сместить и заменить собой законное лондонское правительство. Окончательный разрыв дипломатических отношений произошел 25 апреля 1943 г. — поводом для него послужил катынский расстрел.

170

Орден Воинской доблести *(Virtuti Militari),* высшая польская военная награда, был учрежден 22 июня 1792 г. последним королем Польши Станиславом Августом Понятовским в ознаменование победы в битве под Зеленцами над вторгшимися в страну российскими войсками. Первыми эту награду получили национальный герой Тадеуш Костюшко и князь Юзеф Понятовский.

171

Звание кавалера Серебряного креста ордена *Virtuti Mlitari* было присвоено Карскому указом генерала Сикорского от 30 января 1943 г. Сикорский не знал, что этот орден уже был присвоен курьеру Витольду в феврале 1941 г. указом главнокомандующего АК генерала Стефана Ровецкого.

172

Энтони Иден (1897–1977) — британский государственный деятель, консерватор, министр иностранных дел в 1935–1938 гг. и в правительстве Черчилля в 1940–1945 гг., премьер-министр Великобритании в 1955–1957 гг.

173

В действительности Карский встречался с Иденом дважды. Во второй раз, 5 февраля 1943 г., Иден интересовался, как, по мнению Карского, польское Сопротивление отреагирует на возможный территориальный компромисс между Сталиным и Сикорским.

174

Комиссия Объединенных Наций по расследованию военных преступлений *(United Nations War Crimes Commission)* была создана 17 октября 1943 г. Но еще 17 декабря 1942 г. была обнародована декларация двенадцати союзных стран и Комитета Свободной Франции, осуждающая уничтожение европейских евреев и требующая наказания за это преступление.

175

Решение об отъезде Карского в США было принято в начале мая 1943 г.; 9 июня он отплыл и 16-го прибыл в Нью-Йорк.

176

Генерал Сикорский возвращался в Лондон после инспекции польской армии на Ближнем Востоке. 4 июля 1943 г. его самолет потерпел аварию над Гибралтаром и упал в море. Спасся только пилот. Вместе с Сикорским погибли его дочь и ближайшая помощница Зофья Леснёвская и личный секретарь Адам Кулаковский.

177

Национальный герой Польши Тадеуш *Костюшко* (1746–1817) участвовал в Войне за независимость США (1775–1783) и получил звание бригадного генерала и американское гражданство (1783). В 1920 г. его именем была названа укомплектованная американскими добровольцами эскадрилья истребителей под командованием майора Фаунтлероя, которая участвовала в русско-польской войне (1919–1920). Другой польский герой, Казимеж *Пулаский* (1747–1779), после первого раздела Польши эмигрировал во Францию, а затем в Америку, где участвовал в Войне за независимость; был убит во время штурма Саванны. Считается отцом американской кавалерии; его имя носят населенные пункты, улицы и школы в нескольких штатах.

178

Феликс *Франкфуртер* (1882–1965) — видный американский правовед, советник по юридическим вопросам президентов Вильсона и Рузвельта, член Верховного суда (1939–1962). Был убежденным сионистом, однако, обладая еще с сентября 1942 г. информацией о массовом истреблении европейских евреев, не стал употреблять свое влияние для того, чтобы организовать им помощь.

179

Нахум Гольдман (1894–1982) родился в Белоруссии, до 1933 г. жил с родителями в Германии, один из лидеров сионистского движения. Перебравшись в Америку, основал Всемирный еврейский конгресс (1936), был его первым президентом (1936–1949). Вместе с Уайзом пытался поднять американское общественное мнение и правительства союзников на защиту европейских евреев.

Морис Давид *Вальдман* (1879–1963) — раввин, в 1928–1945 гг. был исполнительным секретарем еврейской благотворительной организации Джойнт.

Стивен Сэмюэл *Уайз* (1874–1949) — раввин, один из лидеров сионизма, президент Всемирного еврейского конгресса (1949–1977).

***

Этот постскриптум, сделанный в ноябре 1944 г. для первого американского издания книги, был упразднен в первом польском издании (перевод и обработка Вальдемара Пясецкого) 1999 г., в которое вносил дополнения и изменения сам автор.

181

В авторском предисловии к польскому изданию книги 1999 г. Ян Карский поясняет: «При написании этой книги в 1944 году я честно и точно рассказал обо всем, что помнил. Но обстоятельства того времени накладывали некоторые ограничения на то, о чем можно было говорить».

182

Карский имеет в виду Польскую рабочую партию (ППР), организованную в январе 1942 г. «инициативной группой» переброшенных из СССР польских коммунистов, а также созданную ППР весной 1942 г. на базе вооруженных отрядов коммунистического подполья партизанскую организацию под названием Гвардия Людова (Народная гвардия), в 1942–1943 гг. действовавшую на территории Польши, оккупированной Третьим рейхом; 1 января 1944 г. преобразована в Армию Людову. Очевидно, автор намекает также на учрежденный ППР 1 января 1944 г. Национальный совет *(KPH, Krajowa rada narodowa)* под руководством Болеслава Берута, секретного агента Коминтерна, внедренного осенью 1943 г. в варшавское подполье и возглавившего ППР.

Этот призыв Яна Карского был услышан: вскоре после войны были опубликованы воспоминания генерала Владислава Андерса, генерала Бур-Коморовского, Яна Чехановского, Станислава Миколайчика, Збигнева Стыпулковского (его книга называется «Приглашение в Москву» и рассказывает о том, как НКВД похитил и арестовал 16 руководителей польского подпольного государства — 15 штатских лиц, в том числе самого автора, и последнего командующего АК генерала Леопольда Окулицкого, — и о процессе над ними, происходившем в Москве 18–21 июня 1945 г.) и др. Однако все эти книги, так же как свидетельство Яна Карского, оказались не в силах преодолеть идеологическую слепоту и предвзятые мнения о Польше и уникальной судьбе польского народа во время Второй мировой войны.